ISSN 0130-6545

7.1992

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

КАДЗУО ИСИГУРО
Остаток дня

У. СОМЕРСЕТ МОЭМ
Рассказы

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ
Англия, ваша Англия

Специальный номер журнала
«Английская литература
сегодня и вчера»
выходит при содействии и поддержке
Британского Совета
и Центра
«Великобритания — Россия»

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

Британский Совет рад случаю приветствовать читателей журнала «Иностранная литература»

Международная деятельность Британского Совета охватывает широкий круг тем и предметов, но важной ее частью является литература. Поэтому нам особенно приятно внести свой скромный вклад в специальный номер журнала, посвященный английской литературе сегодня и вчера.

В Великобритании существует традиция уважения к классической русской литературе, особенно к великим русским романистам XIX века, а в России существует такое же традиционное уважение к английской литературе. Но в обеих наших странах, хотя и по разным причинам, были серьезные пробелы в знакомстве с современной литературой, как и с некоторыми сторонами литературного наследия.

Многие из нас осознают это. Специальный номер «Иностранной литературы», будем надеяться, пробудит новый интерес к английской литературе. Так же как недавно учрежденный литературный приз «Букер» за лучший русский роман года будет способствовать еще большей популярности современной русской литературы среди английских читателей и во всем мире.

По причинам, которые не нужно здесь объяснять, английская литература как предмет преподавания в школах и университетах и даже как предмет исследования специалистов страдала в прошлом от искажений внелитературного характера. Творчество некоторых ведущих писателей и целые направления игнорировались.

Настало время пересмотреть подход к английской литературе, существовавший в России в советский период. И многие специалисты и отдельные институты уже делают это.

В России, как и в Великобритании, продолжают создаваться заметные литературные произведения, и несмотря на многочисленные проблемы последнего десятилетия XX века мы не должны забывать о непреходящих ценностях литературы, которые выше и долговечнее, чем временные экономические трудности.

ТЕРРИ САНДЭЛЛ,
Директор Британского Совета в Москве

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ — заместитель главного редактора,
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ — ответственный секретарь,
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы,
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заведующий отделом критики и публицистики

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, М. Н. ВАКСМАХЕР, Е. Ю. ГЕНИЕВА, В. П. ГОЛЫШЕВ,
Т. П. ГРИГОРЬЕВА, А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ,
А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. Э. ИВАНОВА, В. Б. ИОРДАНСКИЙ,
А. В. КАРЕЛЬСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА,
А. С. МУЛЯРЧИК, В. Ф. ОГНЕВ, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. Л. САЛГАНИК,
Е. М. СОЛОНОВИЧ, Н. Л. ТРАУБЕРГ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания),
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия), НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

7 июль 1992

СОДЕРЖАНИЕ

КАДЗУО ИСИГУРО — Остаток дня (*Роман. Перевод и послесловие В. Скороденко*) 5

ПЯТЬ ВЕКОВ АНГЛИЙСКОГО АФОРИЗМА 119, 175, 180, 186, 193, 218, 225

ДЕННИС ДЖОЗЕФ ЭНРАЙТ — Стихи (*Переводы А. Казарновского, А. Грибанова, А. Кудрявицкого. Вступление А. Кудрявицкого*) 120

УИЛЬЯМ СОМЕРСЕТ МОЭМ — Рассказы (*Перевод и вступление А. Кудрявицкого*) 127

А. С. БАЙЕТТ — Розовые чашки *(Рассказ. Перевод Л. Беспаловой)* 176

ДУГЛАС ДАНН — Стихи *(Переводы Г. Кружкова, В. Орла, А. Грибанова. Вступление А. Грибанова)* 181

РОАЛД ДАЛ — Семейный пансион *(Рассказ. Перевод А. Ливерганта)* 187

П. Г. ВУДХАУС — Эссе. Рассказы *(Перевод и вступление А. Ливерганта)* 194

Литературное наследие

ДЖЕФФРИ ЧОСЕР — Троил и Крессида *(Фрагмент поэмы. Перевод и вступление М. Бородицкой)* 219

Публицистика

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ — Англия, ваша Англия *(Фрагмент эссе. Перевод В. Воронина)* 226

Критика

ХЕНРИК БЬЯЛЬКЕ — «Литература — это новости, которые не устаревают» *(Перевод с датского Норы Киямовой и Алекса Фришмана)* 232

АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА СТРАНИЦАХ «ИЛ» 232

НИКЛАС ШЕКСПИР — Грэм Грин *(Перевод Н. Трауберг)* 242

МАЙКЛ КЕЙН — Премия «Букер» приходит в Россию *(Перевод О. Басинской)* 245

ДЖОН РОБЕРТС — Долой «мир и дружбу»! Да здравствует доброжелательство! 247

У книжной витрины 250

Курьер «ИЛ» 252

Авторы этого номера 254

© «Иностранная литература», 1992

В 1992 году
выйдут следующие спецномера
«Иностранной литературы»

Американская литература вчера и сегодня

Современная классика детективного и криминального жанра

На первой, второй и третьей страницах обложки — витражи английских художников:
«Музыка» ДАНТЕ ГАБРИЭЛА РОССЕТТИ, «Архитектура» МЕДОКСА БРАУНА, «Скульптура» ЭДВАРДА БЕРНА БЕРН-ДЖОНСА (1-я стр.);
«Живопись» ЭДВАРДА БЕРНА БЕРН-ДЖОНСА (2-я стр.);
«Адам и Ева» ЭДВАРДА БЕРНА БЕРН-ДЖОНСА (4-я стр.);
На третьей странице — обложка журнала «Тудэй», редактором которого в 1893—1897 гг. был ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ.

В номере (стр. 118 и далее) публикуются шаржи английского художника УИЛЬЯМА Д. БРЭМХОЛЛА.

По всем вопросам, связанным со сроками выхода и распространения журнала, редакция просит обращаться в издательство «Известия».

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**
Технический редактор **Г. И. Голосовская**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47

При участии издательства «Известия», Москва, Пушкинская пл., 5.
Номер выпущен при содействии банка «Деловая Россия»

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 08.04.92. Подписано в печать 10.06.92. Формат 70x108¹/16. Печать офсетная. Бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 24.64. Зак. 2798.

Тираж 141 000 экз. Цена по подписке 3 р. 75 к.

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика». Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473. Москва, Краснопролетарская, 16.

КАДЗУО ИСИГУРО

Остаток дня

РОМАН

Перевод и послесловие В. СКОРОДЕНКО

Памяти миссис Леноры Маршалл

ПРОЛОГ: ИЮЛЬ 1956 года

Дарлингтон-холл

Все вероятней и вероятней, что я и в самом деле предприму поездку, которая занимает мои мысли вот уже несколько дней. Поездку, нужно заметить, я предприму один, в удобнейшем «форде» мистера Фаррадея; направлюсь же в западные графства, что, как я ожидаю, позволит по дороге обозреть много красивейших мест сельской Англии. В Дарлингтон-холле, таким образом, меня не будет дней пять, а то и шесть. Идея путешествия, должен я подчеркнуть, принадлежит мистеру Фаррадею, который пару недель тому назад самолично сделал мне это в высшей степени любезное предложение, когда я протирал портреты в библиотеке. Если не ошибаюсь, я как раз стоял на стремянке и вытирал пыль с портрета виконта Уэзебери, когда вошел хозяин со стопкой книг, каковые он, вероятно, собирался поставить на полку. Увидев мою персону, он воспользовался случаем и сообщил, что сию секунду принял окончательное решение отбыть в Соединенные Штаты на пять недель в августе — сентябре. Объявив об этом, хозяин положил книги на стол, уселся в chaise-longue [2] и вытянул ноги. Глядя на меня снизу вверх, он сказал:

— Послушайте, Стивенс, мне вовсе не нужно, чтобы все время, пока меня не будет, вы сидели взаперти в этом доме. Почему бы вам не взять машину да не съездить куда-нибудь на несколько дней? Поглядеть на вас, так отдых очень даже пойдет вам на пользу.

Предложение это обрушилось на меня так неожиданно, что я, право, не знал, что и сказать. Помнится, я поблагодарил его за заботу, но, видимо, не ответил ничего определенного, потому что хозяин продолжал:

— Я серьезно, Стивенс. Мне и в самом деле кажется, что вам следует отдохнуть. Бензин я вам оплачу. А то вы, ребята, всю жизнь торчите в этих старых особняках, всегда при деле, так где же вам выкроить время поездить по своей прекрасной стране?

Хозяин не впервые заговаривал на эту тему; больше того, это, кажется, по-настоящему его беспокоит. На сей раз, однако, мне прямо на стремянке пришло в голову, как можно было бы ответить; ответить в том смысле, что лица нашей профессии, хотя и не часто видят страну, если понимать под

© Kazuo Ishiguro, 1989

Переводчик выражает глубокую благодарность Британскому Совету, Европейскому Совету и Международному центру художественного перевода при Университете Восточной Англии (Норвич). Без творческого содействия и щедрой поддержки со стороны этих организаций настоящий перевод вряд ли был бы осуществлен.

[1] Шезлонг *(франц.)*.

этим поездки по графствам и осмотр достопримечательностей, на самом деле «видят» больше Англии, чем многие прочие, благо находятся в услужении там, где собираются самые важные дамы и господа государства. Разумеется, все это я мог изложить мистеру Фаррадею, лишь пустившись в объяснения, которые, не дай Бог, показались бы самонадеянными. Посему я ограничился тем, что просто сказал:

— Я имел честь видеть лучшее, что есть в Англии, на протяжении многих лет, сэр, в стенах этого дома.

Вероятно, мистер Фаррадей меня не понял, потому что продолжал:

— Нет, в самом деле, Стивенс. Чтоб на собственную страну да не посмотреть — это никуда не годится. Послушайте моего совета, выберитесь из дому на несколько дней.

Как и следовало ожидать, в тот раз я отнесся к предложению мистера Фаррадея недостаточно серьезно, посчитав это очередным проявлением незнакомства американского джентльмена с тем, что принято и что не принято в Англии. Потом я, правда, изменил отношение к этому предложению, больше того, идея автомобильной поездки на западное побережье овладевает мной все сильнее. В основном это, конечно, объясняется — и с какой стати мне это скрывать? — письмом от мисс Кентон, первым чуть ли не за семь лет, если не считать поздравительных открыток на Рождество. Сразу же поясню, что́ именно я имею в виду; я имею в виду, что письмо мисс Кентон вызвало у меня некоторые соображения касательно моих профессиональных занятий в Дарлингтон-холле. Хотелось бы подчеркнуть, что озабоченность по поводу указанных профессиональных занятий и заставила меня пересмотреть отношение к великодушному предложению хозяина. Тут, однако, требуется более подробное объяснение.

Дело в том, что за последние несколько месяцев я допустил ряд погрешностей при исполнении своих прямых обязанностей. Нужно сказать, что все эти погрешности сами по себе не заслуживают серьезного внимания. Тем не менее вам, полагаю, понятно, что у лица, не привыкшего допускать такие погрешности, подобное развитие событий вызвало известное беспокойство; пытаясь установить причину ошибок, я и вправду начал придумывать разного рода панические объяснения, но, как часто бывает в таких случаях, проглядел очевидное. И только поразмыслив над письмом мисс Кентон, я прозрел и понял простую истину — все погрешности последних месяцев проистекают всего лишь из-за неверного распределения обязанностей между слугами.

Всякий дворецкий, само собой разумеется, несет ответственность за тщательнейшую разработку схемы распределения обязанностей. Кто сочтет, сколько раздоров, возведенной напраслины, необоснованных отказов от места, сколько загубленных в самом начале карьер следует отнести на счет небрежности дворецких при составлении схемы распределения обязанностей? Могу заявить, что я безусловно согласен с теми, для кого способность составить хорошую схему распределения обязанностей — краеугольный камень искусства приличного дворецкого. Мне за свою жизнь довелось составлять много таких схем, и я могу без ложной скромности сказать, что лишь считанные из них приходилось впоследствии дорабатывать. И если в Дарлингтон-холле обязанности между слугами распределены неправильно, то вина за это ложится только на меня и ни на кого другого. Однако справедливости ради нужно отметить, что в данном случае мне пришлось столкнуться с беспримерно трудной задачей.

Но расскажу по порядку. Когда обе стороны пришли к соглашению и этот дом, два века принадлежавший семейству Дарлингтонов, перешел в другие руки, мистер Фаррадей сообщил, что не станет сразу же переселяться, а задержится в Соединенных Штатах еще на четыре месяца: покончить с делами. Между тем ему бы очень хотелось сохранить в Дарлингтон-холле штат, служивший при прежнем владельце,— штат, о кото́ром он слышал много хорошего. Названный «штат» представлял собой всего-навсего рабочую группу из шести человек, которых наследники лорда Дарлингтона оставили следить за домом до завершения переговоров о про-

даже; к сожалению, сразу же по продаже все ушли, и единственное, что мне удалось сделать для мистера Фаррадея,— это уговорить остаться миссис Клементс. Я написал новому хозяину и извинился, что так получилось; в ответном письме он распорядился нанять новых слуг, «достойных великолепного старинного английского дома». Я постарался незамедлительно исполнить пожелание мистера Фаррадея, но, как вы знаете, в нынешние времена весьма нелегко подыскать новых слуг, удовлетворяющих принятым требованиям. Я был рад нанять Розмари и Агнес по рекомендации миссис Клементс, однако больше никого не нашел вплоть до дня нашей первой деловой встречи с мистером Фаррадеем весной прошлого года, когда он ненадолго приезжал в Англию осмотреться. Именно в тот день мистер Фаррадей в непривычно пустом хозяйском кабинете Дарлингтон-холла впервые пожал мне руку, хотя к тому времени мы уже были достаточно наслышаны друг о друге: со слугами вышла незадача, но мой новый хозяин имел возможность и по другим поводам проверить способности, каковых я, по счастью, видимо, не лишен, и, рискну утверждать, нашел, что на них можно положиться. По этой причине, как мне кажется, он сразу же смог вступить со мной в деловую доверительную беседу, а отбыв, оставить в моем распоряжении немалую сумму для оплаты расходов на разнообразные приготовления в связи с его предстоящим переселением в Дарлингтон-холл. Во всяком случае, я хочу сказать, что в ходе именно этого собеседования я затронул вопрос о трудностях найма в наше время подходящей прислуги; мистер Фаррадей немного подумал и попросил меня как-нибудь да изобрести такую схему распределения обязанностей («что-то вроде расписания дежурств прислуги», как он выразился), при которой для поддержания в доме порядка хватило бы наличного штата из четырех человек — миссис Клементс, двух юных горничных и меня самого. Он согласился, что для этого, вероятно, потребуется «зачехлить» какие-то помещения, но призвал меня использовать весь мой опыт и знания, чтобы этих помещений было по возможности меньше. Вспомнив о временах, когда под моим началом было семнадцать человек прислуги, и зная, что не столь уж давно штат Дарлингтон-холла насчитывал двадцать восемь человек, я подумал, что распределять обязанности таким образом, чтобы тот же самый дом обслуживали всего четверо,— дело, мягко говоря, неблагодарное. Я попытался скрыть обуревавшие меня сомнения, но, видимо, не вполне в этом преуспел, ибо мистер Фаррадей тут же добавил, как бы для ободрения, что при необходимости можно нанять еще человека. Однако, повторил он, ему бы очень хотелось, чтобы я постарался «управиться пока вчетвером».

Как многие коллеги, я, естественно, питаю неприязнь к основательным изменениям в заведенном порядке. Но в отличие от некоторых не вижу ничего хорошего и в приверженности традиции ради нее самой. В век электричества и современных отопительных систем нет ровным счетом никакой нужды держать столько слуг, сколько требовалось всего одно поколение назад. Больше того, я давно пришел к выводу, что раздувание служебного штата только ради поддержания традиции — а это ведет к тому, что избыток свободного времени развращает слуг,— является существенной причиной резкого падения уровня профессиональных стандартов. К тому же мистер Фаррадей дал ясно понять, что крайне редко намерен устраивать большие приемы вроде тех, какие в прошлом часто бывали в Дарлингтон-холле. Вот почему я со рвением взялся исполнять задание мистера Фаррадея: много часов просидел над схемой распределения обязанностей и уж никак не меньше времени потратил на ее обдумывание, пока выполнял другие свои обязанности или перед сном, отдыхая в постели после рабочего дня. Когда мне казалось, что решение найдено, я всякий раз тщательно проверял, не допустил ли какой оплошности, и рассматривал его со всех сторон. Наконец я разработал схему, которая, вероятно, не вполне отвечала требованиям мистера Фаррадея, однако мне казалась лучшей из всех, какие можно придумать. Самая красивая часть дома сохранялась в рабочем состоянии; требовалось законсервировать

обширные служебные помещения, включая задние комнаты, две кладовые и старую прачечную, а также комнаты для гостей на третьем этаже; весь первый этаж и изрядное число комнат для гостей оставались, таким образом, открытыми. Подразумевалось, что нынешний штат из четырех человек мог справиться со своими обязанностями лишь с помощью приходящей прислуги. Поэтому предложенная мною схема предусматривала услуги садовника один раз в неделю (летом — два раза) и двух уборщиц, занятых по два дня в неделю. Помимо этого, моя схема требовала радикального перераспределения обязанностей внутри постоянного штата из четырех человек. Я знал, что двум горничным нетрудно будет приспособиться к таким изменениям, но по мере сил постарался облегчить перемены для миссис Клементс — вплоть до того, что возложил на себя кое-какие обязанности, исполнение которых, как вы можете догадаться, требует от дворецкого немалой терпимости.

Даже теперь я бы не стал утверждать, что схема дурна; в конце концов она позволяет вчетвером справляться с невероятным объемом работы. Но вы, несомненно, согласитесь, что оптимальное распределение обязанностей должно учитывать возможность ошибок в случае болезни одного из слуг или иного нарушения нормального хода жизни и свести число этих ошибок до минимума. В данном, конкретном случае передо мной, конечно, стояла несколько необычная задача, но я тем не менее не забыл определить указанный «минимум» там, где это было возможно. Меня особенно беспокоило, что миссис Клементс или горничные еще и не захотят браться за исполнение обязанностей, не положенных им по должности, укрепившись в этом своем нежелании мыслями о том, что их рабочая нагрузка существенно возрастает. Поэтому, мучительно размышляя над схемой, я упорно стремился добиться, чтобы миссис Клементс с горничными не только преодолели нежелание выступать в более «эклектичных» ролях, но и сочли для себя новое распределение обязанностей приятным и необременительным.

Боюсь, однако, что в стремлении добиться поддержки у миссис Клементс и горничных я, видимо, не оценил столь же трезво свои собственные возможности; хотя опыт и привычная предусмотрительность в подобных делах не позволили мне брать на себя сверх того, что я был в состоянии выполнить, я, вероятно, проявил небрежность и не предусмотрел для себя запаса свободного времени. Неудивительно поэтому, что на протяжении семи с лишним месяцев эта оплошность заявляет о себе мелкими, однако красноречивыми просчетами. Одним словом, я пришел к выводу, что все объясняется очень просто: я взвалил на себя слишком много.

Вы, пожалуй, удивитесь, как я мог не заметить столь очевидной оплошности при распределении обязанностей. Согласитесь, однако, что подобные вещи не редкость, если долго и упорно думаешь об одном и том же: истина открывается лишь тогда, когда на нее совершенно случайно наталкивают посторонние обстоятельства. Так было и в этот раз: письмо от мисс Кентон, в котором, при всех длинных и довольно невразумительных рассуждениях, звучали явная тоска по Дарлингтон-холлу и, в чем я абсолютно уверен, вполне определенное желание сюда вернуться, побудило меня взглянуть на распределение обязанностей свежим взглядом. И только тут до меня дошло, что нам безусловно нужен еще один человек, призванный сыграть поистине решающую роль; что к отсутствию этой штатной единицы и восходят все мои недавние трудности. Чем больше я над этим размышлял, тем очевиднее мне становилось, что мисс Кентон, с ее привязанностью к этому дому и образцовым знанием дела — по нынешним временам такое почти невозможно найти,— именно тот человек, который мне нужен, и без нее схема укомплектования Дарлингтон-холла обслуживающим персоналом не сможет удовлетворять всем требованиям.

Проанализировав таким образом сложившуюся ситуацию, я снова вернулся к любезному предложению, которое мне за несколько дней до того сделал мистер Фаррадей. Мне пришло в голову, что эту автомобильную поездку можно прекрасно использовать в интересах дела, а именно — я мог бы по дороге к западному побережью заодно навестить мисс Кентон

и лично выяснить, с чем связано ее желание возобновить службу здесь, в Дарлингтон-холле. Следует пояснить, что я не раз перечитал последнее письмо мисс Кентон и не допускаю, чтобы намеки на это с ее стороны были просто плодом моего воображения.

При всем том я несколько дней не мог решиться снова заговорить об этом с мистером Фаррадеем. Во всяком случае, я чувствовал — тут есть много такого, что следует прояснить для себя самого, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги. Например, проблема расходов. Даже с учетом щедрого предложения хозяина «оплатить бензин» такая поездка все равно грозит обернуться немалыми и непредвиденными тратами, если учесть ночевки в гостиницах, завтраки, ленчи и ужины, не говоря уж о том, что в дороге я просто могу захотеть перекусить. Опять же вопрос о костюме: какой именно подойдет для подобного путешествия и имеет ли смысл вкладывать деньги в приобретение новой пары? У меня достаточно прекрасных костюмов, каковые за многие годы достались мне от щедрот самого лорда Дарлингтона и различных гостей, на которых уровень здешнего обслуживания произвел самое благоприятное впечатление. Многие из этих костюмов, возможно, слишком парадны для автомобильной поездки или же старомодны по нынешним временам. Впрочем, есть одна пиджачная пара, которую в 1931 или 1932 году мне подарил сэр Эдвард Блэр; тогда костюм смотрелся как с иголочки и сидел на мне почти по фигуре; в нем, пожалуй, вполне уместно появиться вечером в гостиной или столовой любого пансиона, где я мог бы остановиться. Чего у меня, однако, нет, так это подходящего дорожного костюма, то есть такого, в каком было бы не стыдно сидеть за рулем; вот разве надеть подаренный в войну молодым лордом Чалмерсом — этот костюм мне хоть и явно мал, но зато сшит безупречно. В конце концов я подсчитал, что мои сбережения позволяют покрыть все возможные дорожные расходы и в придачу купить новый костюм. Надеюсь, из-за этой покупки вы не сочтете меня человеком тщеславным; просто если обстоятельства заставят меня отрекомендоваться путешественником из Дарлингтон-холла, тут уж необходим костюм сообразно занимаемому положению.

В те дни я также провел немало минут над дорожными картами и проштудировал соответствующие тома «Чудес Англии» миссис Джейн Симонс. Если вы не читали книг миссис Симонс — всего семь, каждая посвящена одному району Британских островов,— горячо их рекомендую. Написаны они в тридцатые годы, но во многом не устарели и сегодня: в конце концов, немецкие бомбы, думается, не изменили нашу провинцию столь уж неузнаваемо. Кстати, до войны миссис Симонс часто гостила в этом доме и даже была в числе тех, кто пользовался у слуг особым расположением, поскольку не стеснялась выказывать им свою признательность. Тогда-то я, питая к этой даме чувство вполне понятного восхищения, и приохотился читать ее книги в библиотеке, как только выпадала свободная минутка. Помнится, вскоре после отъезда мисс Кентон в Корнуолл в 1936 году я часто просматривал том III труда миссис Симонс, в котором перед читателем предстают красоты Девона и Корнуолла в сопровождении фотографий и, что, на мой взгляд, еще более впечатляет, разнообразных рисунков этого края. Таким образом я смог составить определенное представление о местах, куда мисс Кентон перебралась жить с мужем и где сам я никогда не бывал. Но все это, как я говорил, было еще в тридцатые, когда, если не ошибаюсь, книги миссис Симонс пользовались успехом в родовитых домах и на севере, и на юге. Много лет я не заглядывал в эти тома, однако новые обстоятельства побудили меня еще раз снять с полки том про Девон с Корнуоллом и вновь погрузиться в эти чудесные описания и разглядывание иллюстраций. Представьте себе, как я радовался и волновался при мысли, что теперь и сам смогу предпринять автомобильную поездку по тем краям.

В конце концов мне, похоже, не осталось ничего другого, как снова поднять тему поездки в разговоре с мистером Фаррадеем. Я, разумеется, не исключал, что его предложение двухнедельной давности могло быть продиктовано минутным капризом и он уже отказался от этой идеи. Но по моим

наблюдениям последних месяцев мистер Фаррадей не принадлежит к джентльменам, склонным к проявлению самого неприятного из свойств, которое только может быть у хозяина,— непоследовательности. Не было никаких оснований считать, что на сей раз он менее благосклонно отнесется к им же предложенной автомобильной поездке, больше того, что не повторит своего весьма щедрого предложения «оплатить бензин». Тем не менее я всесторонне обдумал, по какому случаю удобней всего заговорить с ним на эту тему; хотя, как было сказано, мне бы и в голову не пришло заподозрить мистера Фаррадея в непоследовательности, однако же представлялось разумным не касаться проблемы, когда он занят или думает совсем о другом. В подобных обстоятельствах отказ вполне мог и не отражать истинного отношения хозяина к существу дела, но после отрицательного ответа мне было бы нелегко еще раз вернуться к этой теме. Отсюда со всей очевидностью следовало, что нужно осмотрительно подгадать момент.

В конце концов я решил, что самое удобное время — когда я днем подаю ему в гостиную чай. Обычно к этому часу мистер Фаррадей возвращается с короткой прогулки по дюнам и редко сразу же садится читать или писать, обычно он занимается этим по вечерам. Вообще-то, когда я вхожу с подносом, мистер Фаррадей имеет обыкновение закрывать книгу или журнал, если до этого читал, вставать, подходить к окнам и потягиваться, словно предвкушая забавный разговор.

Как бы там ни было, я полагаю, что абсолютно точно рассчитал подходящее время, и если все обернулось так, как оно обернулось, то в этом целиком и полностью виновата допущенная мною ошибка — я не учел совсем другого фактора. То есть не придал должного значения тому, что в этот час суток мистер Фаррадей любит беседовать в непринужденных, шутливых тонах. Зная за ним эту склонность и отдавая себе отчет в его предрасположенности к подтруниванию надо мной в такие минуты, я не должен был бы, конечно, вообще упоминать про мисс Кентон, когда вчера принес ему чай. Но прошу принять во внимание, что я в конце концов обращался к хозяину с просьбой о щедрой милости, а потому, естественно, хотел намекнуть, что эта просьба продиктована вполне профессиональными соображениями. Вот так и вышло, что я принялся объяснять, почему решил съездить в западные графства, и вместо того, чтобы ограничиться упоминанием о заманчивых достопримечательностях, описанных миссис Симонс, необдуманно заявил, что в тех краях проживает бывшая экономка Дарлингтон-холла. Вероятно, дальше я собирался сказать мистеру Фаррадею, что таким образом получаю возможность проработать вариант, каковой мог бы стать идеальным решением возникших в доме небольших затруднений. Но только я произнес имя мисс Кентон, как до меня внезапно дошло, что распространяться на эту тему в высшей степени неуместно. Мало того, что я не мог быть уверен в согласии мисс Кентон к нам возвратиться,— я, разумеется, со времени предварительной нашей беседы больше года тому назад ни разу не поднимал перед мистером Фаррадеем вопроса о дополнительной штатной единице. Высказывать свои соображения о будущем Дарлингтон-холла было бы в этих обстоятельствах, мягко говоря, весьма самонадеянно с моей стороны. Боюсь, я довольно внезапно замолк и несколько растерялся. Во всяком случае, мистер Фаррадей воспользовался случаем, широко ухмыльнулся и произнес, растягивая слова:

— Ай-ай-ай, Стивенс. Так вы у нас женолюб — в ваши-то годы.

В высшей степени неудобное положение, лорд Дарлингтон никогда бы не поставил в такое слугу. Я не хочу сказать о мистере Фаррадее ничего плохого — в конце-то концов он американский джентльмен и часто ведет себя не так, как английский. Он не думал меня обидеть, об этом не может быть и речи, но вы-то, конечно, представляете, до чего мне было неловко.

— Вот уж не подозревал, Стивенс, что вы у нас такой женолюб,— продолжал он.— Помогает душой не стареть, верно? Право, не знаю, стоит ли потворствовать вам в столь сомнительной затее.

Меня, понятно, одолевало искушение тут же, на месте, самым недвус-

мысленным образом отмежеваться от побуждений, какие он мне приписывал, но я вовремя сообразил, что это значило бы попасться мистеру Фаррадею на удочку и усугубить и без того неприятное положение. Поэтому я продолжал стоять перед ним, сгорая от неловкости, и ждал, когда же он разрешит обещанную поездку.

Притом что я пришел тогда в немалое замешательство, мне не хотелось бы быть превратно понятым. Я никоим образом не виню мистера Фаррадея, которого никак нельзя назвать человеком недобрым. Я уверен, что и в тот раз он всего лишь забавлялся, шутил, что в Соединенных Штатах такое подтрунивание, несомненно, свидетельствует о добром, дружеском взаимопонимании между хозяином и слугой и ему предаются как своего рода сердечной потехе. Дабы представить вещи в их истинном свете, я должен сказать, что мои отношения с новым хозяином на протяжении всех этих месяцев были отмечены именно такими розыгрышами с его стороны, хотя, должен признаться, мне так и неясно, как на них реагировать. Честно говоря, в первые дни пребывания мистера Фаррадея в Дарлингтон-холле его слова пару раз просто-напросто ставили меня в тупик. Так, однажды мне понадобилось спросить у него, прибудет ли джентльмен, которого ждали в гости, вместе с супругой.

— Боже упаси,— ответил мистер Фаррадей.— Но если она все-таки явится, не могли бы вы, Стивенс, избавить нас от нее? Сводили бы, скажем, в какой-нибудь хлев, их полно в усадьбе у мистера Моргана. Порезвились бы с ней на сене. Вдруг окажется, что она в вашем вкусе.

Поначалу я не уразумел, о чем это он. Потом сообразил, что хозяин изволит шутить, и попытался соответственно улыбнуться, но, боюсь, легкая тень замешательства, чтобы не сказать потрясения, промелькнула у меня на лице.

Потом, однако, я научился принимать хозяйские шутки подобного рода как должное и улыбался положенным образом всякий раз, как улавливал в его голосе подтрунивание. Тем не менее я так и не понял, что именно требуется от меня в таких случаях. Возможно, от всей души рассмеяться или даже подбросить в ответ уместную реплику. Последняя мысль беспокоит меня вот уже несколько месяцев, но я так и не пришел к определенному решению. Отнюдь не исключено, что в Америке умение быть всегда наготове с остроумным ответом входит в число достоинств образцового слуги в их, американском, понимании. Да вот же, помнится, мистер Симпсон, хозяин «Герба пахаря», как-то сказал, что, будь он барменом в Америке, не болтал бы он с нами по-дружески, хотя и уважительно, но грубо тыкал бы носом в наши пороки и недостатки, обзывал бы пьянчугами и еще похлеще, а то бы не справился с ролью и не оправдал ожиданий клиентов. Еще вспоминаю, как несколько лет назад мистер Рейн, который ездил в Америку камердинером при сэре Реджинальде Мовисе, заметил, что нью-йоркский таксист в разговорах с пассажирами запросто употребляет такие выражения, что повтори он их в Лондоне — дело кончилось бы скандалом, а то еще сволокли бы голубчика в ближайший полицейский участок.

В свете этого вполне вероятно, что хозяин, подтрунивая надо мной, искренне рассчитывает, что я ему подыграю, а мою неспособность к этому рассматривает как своего рода служебное упущение. Я уже говорил, что эта проблема изрядно меня беспокоит. Однако боюсь, что подыгрывание не относится к тем служебным обязанностям, каковые я способен исполнять с воодушевлением. Приспособиться к новым обязанностям, исконно не входящим в круг моей деятельности,— еще куда ни шло по нынешним переменчивым временам; но подыгрывание и подтрунивание — это совершенно другая область. Начать с того, что никогда не скажешь наверняка: как раз сейчас от тебя и ждут этого самого подыгрывания. А о чудовищной вероятности промаха — отпустишь шутливое замечание и сразу поймешь, насколько оно неуместно,— и говорить не приходится.

И, однако, не так давно я набрался-таки смелости и попробовал ответить хозяину надлежащим образом. Как-то утром я подавал мистеру Фаррадею кофе в малой столовой, и он обратился ко мне:

— Надеюсь, Стивенс, это не вы спозаранку раскаркались как ворона у меня под окнами?

Я понял, что хозяин имеет в виду пару цыган, собиравших старое железо,— те прошли мимо дома рано утром, выкликая по своему обыкновению: «Кастрюль берем-покупаем». Случилось так, что в то утро я как раз ломал голову над вопросом, ждут или нет от меня подыгрывания господским шуткам, и всерьез растревожился, прикинув, что в этом отношении подводил хозяина не раз и не два и что́ он может обо мне подумать. Поэтому я принялся ломать голову над остроумным ответом, таким, который прозвучал бы вполне невинно и в том случае, если б я неверно оценил положение. Подумав, я сказал:

— Я бы скорей повел речь о ласточках, чем о воронах, сэр. Как-никак — перелетные птицы.

Эту фразу я сопроводил легкой улыбкой, недвусмысленно дав понять, что сострил: не хотелось бы, чтобы мистер Фаррадей подавил взрыв непринужденного смеха из-за моей неуместной почтительности.

Но мистер Фаррадей только взглянул на меня и спросил:

— Что-что, Стивенс?

И лишь тут до меня дошло — разумеется, мою остроту трудно оценить человеку, не знающему, что это были цыгане. В такой ситуации я не увидел возможности продолжить обмен остроумными репликами, больше того, счел за благо поставить точку и, притворившись, что вспомнил о каком-то неотложном деле, поспешил удалиться, оставив хозяина несколько озадаченным.

Таким образом, первая попытка исполнить то, что вполне могло бы стать для меня совершенно новой фо́рмой служебных обязанностей, закончилась весьма обескураживающе; и даже настолько обескураживающе, что, признаюсь, я больше не отваживался на попытки такого рода. Однако же меня гнетут опасения — вдруг мистер Фаррадей недоволен реакцией с моей стороны на его подтрунивания? А то, что в последнее время они участились, можно даже воспринимать как настойчивое его стремление вопреки всему добиться от меня подыгрывания в нужном духе. Как бы там ни было, но после той первой остроты касаемо цыган я ни разу не сумел быстро найтись с другой.

В наши дни такие затруднения тем более удручают, что нет возможности обсудить их и обменяться взглядами с коллегами по профессии, как бывало в свое время. Не так уж давно, если возникали похожие сомнения относительно своих обязанностей, можно было успокаивать себя мыслью о том, что вскорости кто-нибудь из уважаемых коллег обязательно прибудет в Дарлингтон-холл со своим хозяином и мы основательно обсудим это дело. Ну и, конечно, во времена лорда Дарлингтона, когда дамы и господа гостевали у нас по многу дней кряду, было нетрудно достигнуть с прибывающими коллегами полного взаимопонимания. Воистину, в те хлопотные дни у нас в лакейской часто собирался самый цвет нашей профессии со всей Англии, и за беседами мы, бывало, просиживали у пылающего камина далеко за полночь. Уверяю вас — если б вы появились в лакейской в один из таких вечеров, вы бы услышали не просто сплетни, а скорее всего стали бы свидетелем споров о великих делах, которыми наверху были заняты наши хозяева, или о важных событиях, о которых писали газеты; и, разумеется, мы были бы поглощены, как то пристало коллегам по службе на всякой жизненной стезе, всесторонним обсуждением чисто профессиональных проблем. Порой, естественно, мнения резко расходились, но большей частью среди нас царил дух глубокого взаимного уважения. Чтобы вы лучше представили себе атмосферу таких собраний, упомяну, скажем, о том, что среди их постоянных участников были мистер Гарри Грэм, дворецкий-камердинер сэра Джеймса Чемберса, мистер Джон Доналдс, камердинер мистера Сиднея Дикенсона, и им подобные. Бывали и другие лица, вероятно, не столь видные, однако они вносили в компанию оживление, что и делало их приезд событием достопамятным. К примеру, мистер Уилкинсон, дворецкий-камердинер мистера Джона Кемпбелла, известный

тем, что блестяще изображал выдающихся джентльменов; мистер Дэвидсон из Истерли-хауса — он, бывало, отстаивал свою точку зрения с таким пылом, что человек посторонний мог даже испугаться, но во всех прочих отношениях располагал к себе простотой и благожелательностью; мистер Герман, камердинер мистера Джона Генри Питерса,— его крайние взгляды всегда вызывали на спор, однако же нельзя было не полюбить его за характерный утробный смех и йоркширское обаяние. И это далеко не все. В те дни среди лиц нашей профессии, при всех незначительных расхождениях в подходах, царило доброе товарищество. В основе своей все мы, образно говоря, были слеплены из одного теста. Теперь совсем не то: если редкий гость и берет с собою слугу, последний скорее всего оказывается человеком приезжим; с таким не о чем говорить, разве что о футболе, а вечера он предпочитает коротать не в лакейской у камина, а за выпивкой в «Гербе пахаря» или даже — что встречается нынче все чаще — в «Звездном подворье».

Я вот упомянул мистера Грэма, дворецкого-камердинера сэра Джеймса Чемберса. Могу сообщить, что месяца два назад меня порадовало известие о предстоящем приезде в Дарлингтон-холл сэра Джеймса. Я с нетерпением ждал этого не только потому, что гости лорда Дарлингтона крайне редко бывают гостями теперешнего хозяина — окружение мистера Фаррадея, понятно, совсем иное, чем окружение его светлости,— но еще и по той причине, что предполагал: мистер Грэм будет сопровождать сэра Джеймса, как в доброе старое время, и я смогу обсудить с ним проблему подыгрывания. Поэтому я был и удивлен и огорчен, узнав накануне приезда сэра Джеймса, что тот прибывает один. Больше того, за время пребывания сэра Джеймса в доме я пришел к выводу, что мистер Грэм уже не находится в услужении у сэра Джеймса, каковой вообще не держит теперь постоянной прислуги. Мне хотелось узнать о судьбе мистера Грэма, ибо хотя мы и не были близко знакомы, однако, я бы сказал, прекрасно ладили при встречах. К сожалению, обстоятельства сложились так, что разузнать о нем мне не выпало подходящего случая. Должен признаться, я несколько огорчился, ибо надеялся потолковать с ним о проблеме подыгрывания.

Однако возвратимся к нашему повествованию. Как я уже говорил, вчера мне пришлось пережить в гостиной несколько неприятных минут, пока мистер Фаррадей надо мной подтрунивал. В ответ я, как обычно, улыбался — не широко, но ровно настолько, чтобы показать, что на свой лад принимаю участие в шутке и отношусь к ней так же добродушно, как и сам хозяин; в то же время я ждал, даст ли мистер Фаррадей разрешение на поездку. Как я и предполагал, разрешение было милостиво дано, и довольно быстро; больше того, мистер Фаррадей был настолько любезен, что вспомнил и подтвердил свое щедрое предложение «оплатить бензин».

Итак, сейчас я не вижу разумных оснований к тому, чтобы отказаться от автопоездки в западные графства. Разумеется, надо будет написать мисс Кентон и уведомить, что по пути я мог бы к ней завернуть; предстоит также решить вопрос о костюмах. Понадобится утрясти и еще кое-что в связи с надзором за домом на время моего отсутствия. При всем том я не вижу, однако, серьезных причин отказываться от этой поездки.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — ВЕЧЕР

Солсбери

Итак, нынче вечером я уже в Солсбери. Остановился в пансионе. Первый день поездки подошел к концу, и, должен сказать, в общем и целом я им вполне доволен. Я выехал утром почти на час позже задуманного, хотя покончил со сборами и загрузил в «форд» все необходимое задолго до восьми часов. Миссис Клементс и девушки тоже разъехались на неделю, и я отдавал себе полный отчет в том, что с моим отбытием Дарлингтон-холл опустеет, вероятно, впервые за нынешнее столетие, а быть может, впервые со дня своего основания. Странное то было ощущение; им-то,

возможно, и объясняется, почему я долго тянул с отъездом и несколько раз обошел весь дом, в последний раз убеждаясь, что все в полном порядке.

Трудно передать мои чувства, когда я наконец тронулся в путь. Не скажу, чтобы в первые двадцать минут поездки я испытал какое-то там волнение или радость. Объясняется это, несомненно, тем, что хоть я с каждой секундой и отдалялся от дома, местность, по крайней мере, оставалась знакомой. Я всегда считал, что очень мало поездил, ибо обязанности по дому ограничивали мое передвижение, но, разумеется, за долгие годы мне доводилось совершать разные вылазки по той или иной служебной надобности, и я, как выяснилось, знал окрестности много лучше, чем мог предполагать. Итак, я ехал под ясным небом в сторону беркширской границы и, как уже было сказано, не переставал удивляться, насколько все вокруг мне знакомо.

В конце концов, однако, я перестал узнавать местность и понял, что так далеко еще никогда не забирался. Я слышал рассказы людей, кто плавал под парусом, о той минуте, когда берег пропадает из вида. Думаю, та смесь легкой тревоги и возбуждения, о которой говорят применительно к этой минуте, весьма напоминает мои ощущения за рулем, когда пошли незнакомые места. Это случилось после того, как я свернул на развилке и выехал на дорогу, огибающую выступ холма. Я почувствовал, что слева от обочины склон круто обрывается вниз, хотя из-за деревьев и густого кустарника этого не было видно. До меня внезапно дошло, что Дарлингтон-холл и вправду остался позади. Должен признаться, я таки ощутил легкую панику, которую еще усугубило опасение, что я, чего доброго, свернул не там и забираюсь куда-то в глушь. То было всего лишь мимолетное чувство, однако я сбавил скорость. И даже уверившись, что дорога та самая, я тем не менее невольно остановился, чтобы осмотреться и понять, куда я попал.

Я решил вылезти из машины и немного размяться. Ступив на землю, я еще сильнее почувствовал, что нахожусь высоко на склоне холма. Справа от дороги кустарник и маленькие деревья лезли все выше и выше, а слева сквозь просветы в листве я увидел далеко внизу поля и луга.

Если не ошибаюсь, я еще немного прошел вдоль обочины, высматривая просвет пошире, чтобы полюбоваться видом, когда сзади раздался голос. До этого я, конечно, считал, что тут никого нет, поэтому удивленно обернулся. Чуть впереди от дороги справа отходила тропинка, круто забиравшая вверх и исчезавшая в зарослях. На большом валуне, от которого она начиналась, сидел худющий седой старик в суконной кепке и курил трубку. Он снова меня окликнул; слов я не разобрал, но по его жестам понял, что он меня подзывает. Поначалу я принял его за бродягу, но потом сообразил, что это кто-то из местных — вышел подышать свежим воздухом и погреться на летнем солнышке. Отчего было не подойти?

— Я тут прикидывал, сэр,— произнес он, когда я приблизился,— крепки ли вы на ноги.

— Виноват?

Местный махнул рукой в сторону тропинки.

— Чтоб туда подняться, нужны сильные легкие и сильные ноги. У меня ни того ни другого, вот и сижу себе тут внизу. Будь я покрепче, сидел бы наверху. Отличное там местечко, есть скамейка и вообще. А другого такого вида, как оттуда, не найти во всей Англии.

— Если это действительно так,— сказал я,— то, пожалуй, не стоит подниматься. Я еду в автомобиле и по ходу поездки рассчитываю полюбоваться многими отличнейшими видами. Едва ли разумно обозреть самый лучший из них, когда я только-только отъехал от дома.

Видимо, местный не понял, потому что повторил:

— Другого такого вида во всей Англии не найти. Но тут, учтите, требуются сильные ноги и сильные легкие.— Подумал и добавил: — Вижу, сэр, что для ваших лет вы хорошо сохранились. По-моему, вам не будет большого труда взобраться наверх. Я и то умудряюсь в хорошую погоду.

Я посмотрел на тропинку, которая и в самом деле выглядела крутой и неровной.

— Послушайте меня, сэр, взберитесь туда, а то сами потом пожалеете. Ведь кто его знает, глядишь, через пару годков уже поздно будет,— и он грубовато хихикнул.— Лучше взобра́ться, пока еще сил достанет.

Теперь-то мне кажется, что мужчина мог просто шутить; то есть он всего лишь надо мной подтрунивал. Но тогда, утром, его слова, не скрою, показались мне очень обидными, и, возможно, одно только желание доказать, сколь беспочвенны эти его намеки, заставило меня подняться по тропинке.

Как бы там ни было, я очень рад, что решился. Подъем, конечно, оказался весьма утомительным, хотя, должен заметить, серьезной трудности для меня не представил. Тропинка длиною примерно в сто ярдов поднималась, петляя, по склону и вывела меня на маленькую поляну, несомненно, ту самую, которую имел в виду местный. Здесь путника поджидали скамейка и поистине чудесный вид на много миль вокруг.

Моему взору открылись поля, убегавшие одно за другим до самого горизонта. Пологие всхолмья перемежались долинами, границы между полями были отмечены живыми изгородями и рядами деревьев. На дальних полях виднелись темные точки — насколько я понял, овцы. Справа, почти на линии горизонта, я вроде бы различил квадратную башенку колокольни.

Стоять вот так наверху и вправду было приятно; воздух полнился звуками лета, легкий ветерок овевал лицо. Думаю, именно там и тогда я впервые пришел в расположение духа, соответствующее предстоящему путешествию, ибо именно там ощутил трепет здорового любопытства и предвкушения тех волнующих переживаний, что наверняка выпадут мне в ближайшие дни. Тогда же я испытал новый прилив решимости бестрепетно выполнить единственную служебную задачу, какую поставил себе на эту поездку,— я имею в виду мисс Кентон и вопрос пополнения штата прислуги.

Но то было утром. А вечер застал меня здесь, в уютном пансионе неподалеку от центра Солсбери. Заведение, как мне представляется, сравнительно скромное, но очень чистенькое и полностью отвечает моим нуждам. Хозяйка, дама лет сорока или около того, видимо, считает меня довольно важной фигурой — из-за «форда» мистера Фаррадея и дорогого костюма. Я прибыл в Солсбери около половины четвертого и когда указал в регистрационной книге адрес — «Дарлингтон-холл», хозяйка, как я заметил, посмотрела на меня с некоторым беспокойством: наверняка подумала, что я привык останавливаться в таких отелях, как «Ритц» или «Дорчестер», и выскочу поэтому, чертыхаясь, из пансиона, едва взглянув на отведенную мне комнату. Она сообщила, что я могу занять свободный двухместный номер с видом на улицу, заплатив за него, как за одноместный.

Меня провели наверх в номер; на солнце цветочный узор на обоях гляделся очень мило. В комнате были два широких окна и две одинаковые кровати. На вопрос где находится ванная добрая женщина ответила дрожащим голосом, что прямо напротив, однако горячую воду дадут только после ужина. Я попросил принести в номер чаю и, когда она удалилась, внимательно осмотрел комнату. Постели идеально чистые и аккуратно застелены. Раковина в углу тоже сияет чистотой. Из окна видна противоположная сторона улицы, а на ней пекарня с разным хлебом и печеньем в витрине, аптека и парикмахерская. Дальше улица переходит в горбатый мостик, а за ним приобретает уже сельский вид. Я ополоснул в раковине лицо и руки холодной водой, уселся в стоящее у окна кресло с жесткой спинкой и принялся ждать чай.

Приблизительно в начале пятого я вышел из пансиона погулять по Солсбери. Ширина и открытость здешних улиц сообщают городу ощущение удивительного простора, так что я и не заметил, как прогулял несколько часов под ласковым теплым солнышком. Более того, я обнаружил в городе много дивных мест; не раз и не два проходил я очаровательными кварталами, где стоят старые дома с деревянными фасадами, и пересекал каменные пешеходные мостики, переброшенные через

многочисленные речушки, каковыми изобилует этот город. Не преминул я, разумеется, осмотреть и прекрасный собор, который миссис Симонс так превозносит в своей книге. Найти это царственное строение было совсем нетрудно, благо его вознесшийся шпиль виден в Солсбери отовсюду. И верно, когда вечером на обратном пути в пансион я несколько раз по разным причинам оглядывался, знаменитый шпиль неизменно представал взору на фоне заходящего солнца.

И все же, сидя сейчас в этой тихой комнате, я нахожу, что самым сильным моим впечатлением от первого дня путешествия останется не Солсберийский собор и не какая-нибудь иная достопримечательность этого города, но, пожалуй, чудесная панорама всхолмленной английской земли, открывшаяся мне нынче утром. Нет, я охотно допускаю, что в других странах найдутся ландшафты много эффектнее. Я сам встречал в энциклопедиях и «Национальном географическом журнале» потрясающие снимки разных уголков земного шара — великолепные каньоны и водопады, восхитительные зубчатые утесы. Мне, конечно, не привелось воочию полюбоваться на эти дива, но тем не менее я не без основания рискну утверждать: английский ландшафт в своем совершенстве — каким я видел его нынче утром — обладает качеством, которым никоим образом не могут похвалиться ландшафты других краев, сколь бы захватывающими ни казались они на поверхностный взгляд. По глубокому моему убеждению, это качество бросится в глаза любому непредвзятому наблюдателю, поскольку оно отличает английский ландшафт от всех прочих на свете как дарующий самое полное душевное удовлетворение. Вероятно, точнее всего это качество можно определить словом «величие». Поистине, когда я утром стоял на том высоком уступе и обозревал раскинувшиеся передо мной земли, я отчетливо испытал редкое чувство, которое не спутаешь ни с каким другим,— чувство человека перед лицом величия. Свою родину мы называем *Велико*британией, и кое-кто может посчитать это нескромным. Однако я осмелюсь утверждать, что один наш ландшафт уже оправдывает это высокое определение.

Но что именно представляет собой это «величие»? Где или в чем оно обретается? Я прекрасно понимаю, что за ответом на подобный вопрос следует обращаться к человеку помудрее, но если б меня заставили предложить мои собственные соображения, я бы сказал: как раз очевидное *отсутствие* эффектности и театральности и отличает красу нашей земли перед всеми другими. Существенна тут безмятежность этой красы, ее сдержанность. Словно сама земля знает о своей красе, о своем величии и не считает нужным громко о них заявлять. Напротив, виды, которыми может похвастаться Африка или, скажем, Америка, хотя, вне сомнения, впечатляют, однако, уверен, в глазах непредубежденного наблюдателя уступят нашим по причине своей откровенной картинности.

Вся эта проблема сродни одному вопросу, который люди моей профессии с жаром обсуждают вот уже долгие годы: что такое «великий» дворецкий? Вспоминаю увлекательные споры на эту тему, которые часами велись в лакейской у огня в конце трудового дня. Прошу обратить внимание — я говорю «что», а не «кто» есть великий дворецкий, поскольку не наблюдалось серьезного расхождения во мнениях о том, кто именно олицетворяет собой профессиональный эталон среди представителей нашего поколения. То есть я имею в виду такие фигуры, как мистер Маршалл из Чарлевилл-хауса или мистер Лейн из Брайдвуда. Если вам выпала честь водить знакомство с такими людьми, вы, конечно, понимаете, о каком присущем им качестве я говорю. Но вы, разумеется, понимаете и другое — что́ я имею в виду, замечая, что совсем нелегко определить, в чем именно заключается это качество.

Если подумать как следует, то утверждение, будто о том, *кто* суть великие дворецкие, совсем не было споров, не вполне соответствует истине. Следовало бы сказать, что серьезных споров не велось между достойнейшими представителями нашей профессии, теми, кто разбирался в подобных вещах. В лакейской Дарлингтон-холла, как и во всякой лакейской, естест-

венно, случалось принимать слуг разного интеллектуального уровня и проницательности, и, помнится, мне не раз приходилось сдерживаться, когда кто-нибудь из гостей, а то, к сожалению, и из моих подчиненных рассыпался в славословиях по адресу, скажем, мистера Джека Нейборса и ему подобных.

Я ничего не имею против мистера Джека Нейборса, который, насколько мне известно, был убит на войне, что весьма прискорбно. И упомянул я о нем лишь как о типичном примере. В середине тридцатых годов чуть ли не в каждой лакейской по всей стране на протяжении двух или трех лет, кажется, только о нем и говорили. Как я сказал, Дарлингтон-холл не был тут исключением — многие приезжие слуги привозили рассказы о новейших свершениях мистера Нейборса, так что мне и таким, как мистер Грэм, постоянно приходилось с горечью выслушивать о нем бесконечные истории. Но горше всего было видеть, как после каждой такой истории слуги, во всех прочих отношениях весьма достойные, изумленно качали головой и произносили что-нибудь вроде: «Ох, уж этот мистер Нейборс, второго такого и впрямь не сыщешь».

Учтите, я не ставлю под сомнение способности мистера Нейборса; насколько я понимаю, он блестяще справился с немалым числом грандиозных приемов и тому подобных мероприятий. Но ни на единой ступени своей профессиональной карьеры он так и не стал великим дворецким. Я утверждал это, когда его карьера была в зените, и уже тогда предсказывал, что после нескольких лет популярности для него все кончится крахом.

Вам ведь доводилось слышать о дворецком, которого сегодня прославляют как самого великого во всем его поколении, а через несколько лет — извольте — наглядно доказывают, что никогда он им не был? И те самые слуги, что когда-то превозносили его до небес, теперь бросаются восхвалять какую-нибудь новую фигуру, да еще с таким рвением, что им просто недосуг остановиться и здраво оценить собственные суждения. Героем подобных разговоров в лакейской неизменно становится дворецкий, внезапно оказавшийся на виду, благо его взяли в какой-нибудь известнейший дом и он, быть может, сумел не без успеха провести два-три крупных мероприятия. Тут-то по лакейским от Шотландии до Корнуолла начинают ползти разного рода слухи — что-де им заинтересовалось то или иное значительное лицо или что несколько лучших домов пытаются его переманить, суля неслыханное жалованье. Но проходит несколько лет — и что? Сей неуязвимый герой оказывается повинным в грубой ошибке или по другой причине впадает в немилость у хозяев, уходит из дома, на службе в котором прославился, и все о нем забывают. А те же самые досужие языки находят себе новую фигуру для восхваления. Приезжающие с хозяевами камердинеры, установил я, зачастую ведут себя хуже всех, ибо, как правило, спят и видят себя на месте дворецкого. Они-то обычно и склонны выдавать то или иное лицо за образец для подражания или слепо повторять известные им с чужих слов высказывания своего кумира по профессиональным вопросам.

Впрочем, спешу добавить, существует, разумеется, множество камердинеров, кому и в голову не придет заниматься подобными глупостями и кто действительно является профессионалом самой высокой пробы. Когда у нас в лакейской собирались два-три таких человека — то есть масштаба, допустим, мистера Грэма, с которым я ныне, к сожалению, скорее всего утратил связь,— мы весьма увлеченно, компетентно и всесторонне обсуждали нашу профессию. Эти вечера и теперь остаются в числе самых дорогих моих воспоминаний о тех днях.

Но позвольте вернуться к вопросу, представляющему подлинный интерес, к вопросу, который мы с таким удовольствием обсуждали, когда наши вечера не омрачала болтовня тех, кому отказано в глубоком понимании нашей профессии; а именно к вопросу о том, «*что* такое великий дворецкий?»

Если не ошибаюсь, во всех спорах, которые на протяжении ряда лет порождал этот вопрос, со стороны моих коллег было сделано всего

несколько попыток дать на него профессиональный ответ. Единственное, что приходит на память,— попытка Общества Хейса разработать требования к вступающим в его ряды. Вы, возможно, не слышали о таком Обществе — в наши дни о нем помнят немногие. Но в двадцатые годы и в начале тридцатых оно пользовалось значительным влиянием в большинстве районов Лондона и в шести окрестных графствах. Больше того, многие считали это влияние чрезмерным и приветствовали вынужденное закрытие Общества году, по-моему, в 1932-м или 1933-м.

Общество Хейса заявляло, что допускает в свои ряды дворецких «исключительно высшего класса». Власть и престиж, которых оно в дальнейшем добилось, во многом объясняются тем, что, в отличие от других подобных организаций со свободным членством, оно ухитрялось оставаться крайне малочисленным и тем самым как бы подтверждало упомянутое притязание. В нем, по слухам, ни разу не состояло свыше трех десятков членов, большей же частью их насчитывалось человек девять-десять. Это, а также тот факт, что Общество Хейса предпочитало окружать свою деятельность завесой тайны, превращало его по тем временам в нечто загадочное и придавало изредка исходившим из его недр заявлениям по профессиональным вопросам непреложность десяти заповедей.

Но по одному вопросу Общество долгое время воздерживалось от заявлений — о собственных требованиях к вступающим в его ряды. Призывы к Обществу с таким заявлением выступить становились все настоятельней, и в ответ на подборку писем, помещенную в «Ежеквартальнике для джентльменов при джентльменах», Общество признало, что необходимым условием членства является «служба соискателя в выдающемся доме». «Хотя, понятно,— уточняло Общество,— самого по себе этого факта еще недостаточно, чтобы удовлетворять всем требованиям». Более того, далее разъяснялось, что дома дельцов, или «нуворишей», Общество не рассматривает как «выдающиеся»; убежден, что именно этот устарелый подход в корне подорвал саму возможность завоевания Обществом должного авторитета, который позволил бы ему выступать третейским судьей в спорах о критериях нашей профессии. Отвечая на возражения, «Ежеквартальник» опубликовал новые письма; Обществу пришлось на них ответить. Оно оправдывало свою установку, утверждая, что хотя и разделяет высказанную авторами некоторых писем мысль о том, что в домах отдельных дельцов можно встретить образцового дворецкого, «надлежит все же исходить из того, что *истинные* леди и джентльмены не преминули бы в таком случае пригласить этих лиц к себе на службу». Следует руководствоваться концепцией «истинных леди и джентльменов», доказывало Общество, в противном случае «нам грозит скатывание до уровня большевистской России». Это выступление усугубило полемику, посыпались новые письма, понуждающие Общество более полно сформулировать требования к своим членам. В конце концов в коротком письме, опубликованном на страницах «Ежеквартальника», Общество заявило, что с его точки зрения — попытаюсь привести дословно по памяти — «основополагающее требование — соискатель должен отличаться достоинством, отвечающим занимаемому им положению. Каковы бы ни были все прочие совершенства соискателя, он будет сочтен не удовлетворяющим требованиям, если обнаружит частичное несоответствие в этом отношении».

При всем моем критическом отношении к Обществу Хейса я убежден, что это их суждение, по крайней мере, опирается на важную истину. Возьмем тех, кого все считают «великими» дворецкими, возьмем, к примеру, мистера Маршалла или мистера Лейна; так вот, я и вправду считаю, что свойство, отличающее их от других дворецких, не более чем прекрасных знатоков своего дела, точнее всего можно выразить словом «достоинство».

Тут, естественно, возникает новый вопрос: что включает в себя понятие «достоинство»? На эту тему мы с мистером Грэмом и другими такими, как он, вели увлекательнейшие споры. Мистер Грэм неизменно исходил из посылки, что «достоинство» в дворецком — то же, что в женщине красота, и поэтому бессмысленно пытаться в нем разобраться. Я, со своей стороны,

держался мнения, что подобные параллели принижают «достоинство» коллег типа мистера Маршалла, и не только. Главное мое возражение против сравнения, предложенного мистером Грэмом, заключалось в том, что оно как бы предполагает: «достоинство» — качество, каковым человек либо наделен, либо не наделен от природы, а стало быть, если оно не проявилось в человеке со всей очевидностью, стремиться к нему так же тщетно, как дурнушке пытаться выбиться в красавицы. Я готов согласиться с тем, что для большинства дворецких «достоинство» в конечном счете оказывается недостижимым, однако же твердо верю: к «достоинству» можно осознанно стремиться на протяжении всей карьеры. Те «великие» дворецкие вроде мистера Маршалла, у кого оно есть, обрели его, не сомневаюсь, путем многолетнего самовоспитания и глубокого осмысления профессионального опыта. Вот почему, на мой взгляд, от установок вроде той, которую отстаивал мистер Грэм, в чисто профессиональном плане отдает пораженчеством.

Во всяком случае, я помню, как мы с мистером Грэмом, невзирая на весь его скептицизм, не один вечер убили на то, чтобы ухватить за хвост самое существо «достоинства». К согласию мы так и не пришли, но, со своей стороны, могу сказать, что в этих спорах я развил свои собственные довольно твердые представления, каковых в общем придерживаюсь и по сей день. С вашего позволения, мне бы хотелось попытаться здесь изложить, как я понимаю это «достоинство».

Полагаю, вы не станете оспаривать, что мистер Маршалл из Чарлевилл-хауса и мистер Лейн из Брайдвуда в недавние времена являли собой двух великих дворецких. Может быть, вас удастся убедить, что к этим немногим относится и мистер Гендерсон из Брэнбери-касла. Но вы просто-напросто сочтете меня лицом заинтересованным, если я скажу, что по многим причинам в один ряд с ними можно поставить моего родного отца и что я неизменно изучал его послужной список в поисках определения «достоинства». Однако же я твердо верю, что на вершине своей карьеры в Лафборо-хаусе отец доподлинно выступал олицетворением «достоинства».

Понимаю, если подойти со всей объективностью, то придется признать: отец был лишен некоторых отличительных качеств, которые принято находить в великом дворецком. Но каждое из этих недостающих качеств, посмею я возразить, носит поверхностный и прикладной характер; качества, несомненно, привлекательные, как глазурь на торте, но не относящиеся к числу существенно важных. Я имею в виду хорошее произношение и безукоризненное словоупотребление или общее представление о широком круге явлений, скажем, о соколиной охоте или разведении тритонов; нет, ни одним из таких качеств отец не мог бы похвастаться. Больше того, не следует упускать из виду, что отец был дворецким старой школы и начинал карьеру в те времена, когда подобные качества не считались приличествующими, тем паче желательными для человека в его должности. Увлечение красноречием и нахватанностью пришло, по всей видимости, уже с нашим поколением, вероятно, по пятам за мистером Маршаллом, когда дворецкие рангом помельче, пытаясь подражать его величию, перепутали главное с второстепенным. Я считаю, что наше поколение слишком много значения начало придавать «отделке»; одному Господу ведомо, сколько времени и сил ушло у него на постановку произношения и языковую практику, сколько часов потеряно за изучением энциклопедий и справочника «Проверьте ваши знания», тогда как время следовало тратить на овладение первоосновами.

Отнюдь не стремясь перекладывать на других ответственность, которая в конечном счете ложится на нас самих, нужно, однако, заметить, что отдельные хозяева немало споспешествовали распространению этих влияний. Как ни горько об этом говорить, но в последнее время, похоже, появилось много домов, в том числе и высокородных, которые, вступив друг с другом в своего рода соревнование, дошли до того, что «похваляются» перед гостями наличием у своих дворецких этих пустых совершенств.

Я могу привести ряд примеров, когда во время приемов дворецкого заставляли выступать в роли дрессированной мартышки, что крайне прискорбно. В одном таком случае — я сам был тому свидетель — у гостей дома вошло в обычай вызывать дворецкого и забрасывать беспорядочными вопросами типа «Кто победил на скачках в Эпсоме в таком-то и таком-то году?» — словно он не дворецкий, а Человек-Всезнайка из мюзик-холла.

Отцовское поколение, как я говорил, по счастью, не ведало подобного искажения наших профессиональных ценностей. Я буду настаивать на том, что отец, при всей ограниченности его словаря и отсутствии широкой эрудиции, не только знал все, что можно и нужно, о содержании дома в образцовом порядке, но и приобрел в расцвете лет «достоинство, отвечающее занимаемому им положению», как то сформулировало Общество Хейса. Так вот, если я попробую вам объяснить, что именно делало отца в моих глазах столь выдающейся личностью, я, возможно, сумею раскрыть и свое представление о «достоинстве».

Есть одна история, которую отец из года в год не уставал пересказывать. Помнится, я еще мальчиком слышал, как он рассказывал ее приезжим коллегам; слышал и позже, когда под его наблюдением начал службу лакеем. Ее же, вспоминается мне, он повторял и в тот раз, как я впервые приехал его проведать, уже заступив на должность дворецкого у неких мистера и миссис Маггеридж, имевших сравнительно скромный дом в Олшоте, графство Оксфордшир. Ясно, что для отца эта история многое значила. Люди его поколения, в отличие от нашего, не имели привычки все обсуждать и анализировать; так что, рассказывая и повторяя эту историю, отец тем самым как бы критически оценивал для себя избранную профессию, и с этой точки зрения история дает важный «ключ» к его образу мыслей.

История, судя по всему, взята из жизни и повествует о некоем дворецком, который отправился со своим хозяином в Индию и много лет прослужил там, предъявляя к местной прислуге те же высокие требования, которые предъявлял в Англии. Как-то раз этот дворецкий зашел в столовую, вероятно, проверить, все ли накрыто к обеду, и увидел тигра, который вальяжно разлегся под столом. Дворецкий на цыпочках вышел из комнаты, не забыв закрыть дверь, и невозмутимо проследовал в гостиную, где хозяин и гости пили чай. Вежливо кашлянув, он привлек к себе внимание хозяина и прошептал тому на ухо:

— Весьма сожалею, сэр, но в столовой, кажется, появился тигр. Разрешите применить двенадцатимиллиметровое?

Как гласит легенда, через несколько минут хозяин и гости услышали три ружейных выстрела. Когда по прошествии некоторого времени дворецкий снова появился в гостиной — обновить в чайниках заварку,— хозяин осведомился, все ли в порядке.

— В полнейшем, благодарю вас, сэр,— последовало в ответ.— Обед будет подан в обычный час, и я рад сообщить, что к этому времени от недавнего происшествия не останется никаких заметных следов.

Последнюю фразу — «к этому времени от недавнего происшествия не останется никаких заметных следов» — отец обычно повторял со смехом и восхищенно тряс головой. Он никогда не говорил, будто знает имя того дворецкого либо кого-нибудь из его знакомых, но неизменно утверждал, что все происходило именно так, как он рассказывает. Во всяком случае, правда это или нет — существенного значения не имеет; важно, конечно, другое — свет, который эта история проливает на идеалы отца. Ибо, мысленно обозревая его жизненный путь, я задним числом понимаю, что на протяжении отпущенных ему лет он стремился непостижимым образом *воплотиться* в дворецкого из этой истории, и в зените своей карьеры, считаю я, отец реализовал эту честолюбивую мечту. Хотя ему, понятно, не выпало случая заметить под обеденным столом тигра, но, припоминая все, что сам о нем знаю и слышал от других, я могу привести по меньшей мере десяток примеров, когда он с избытком выказывал то самое качество, каким так восхищался в дворецком из своей любимой истории.

Об одном эпизоде такого рода мне рассказал мистер Дэвид Чарльз («Компания Чарльза и Реддинга»), который при лорде Дарлингтоне время от времени наведывался в Дарлингтон-холл. Как-то вечером мне довелось прислуживать мистеру Чарльзу, и тот сообщил, что несколько лет назад видел отца, когда гостил в Лафборо-хаусе, поместье промышленного магната мистера Джона Сильверса, где отец провел в услужении пятнадцать самых плодотворных лет жизни. С тех пор, сказал мистер Чарльз, он так и не смог забыть отца благодаря одному происшествию, случившемуся в ту пору.

Как-то раз мистер Чарльз, к своему стыду и сожалению, позволил себе выпить лишнего в компании с двумя другими гостями — назову этих джентльменов мистером Смитом и мистером Джонсом, поскольку в определенных кругах о них еще могут помнить. Посидев за бутылкой с час или около того, они решили, что желают проехаться по окрестным деревушкам — в те годы автомобиль все еще был в новинку. Они уговорили мистера Чарльза присоединиться, а поскольку шофер был в отпуске, посадили за руль отца.

Не успели они тронуться, как мистер Смит и мистер Джонс, даром что каждому было уже за сорок, начали вести себя как мальчишки — распевать грубые песни и отпускать еще более грубые замечания обо всем, что видели из окон машины. Больше того, эти джентльмены углядели на местной карте три деревни с названиями Морфи, Солташ и Бригун. Не ручаюсь за точность, но важно другое — мистеру Смиту и мистеру Джонсу эти названия напомнили о мюзик-холльном номере «Мэрфи, Солтман и Бригид, Женщина-Кошка», про который вы, может быть, слышали. Отметив это курьезное совпадение, джентльмены вознамерились посетить три указанные деревеньки, чтобы почтить тем самым артистов эстрады. По словам мистера Чарльза, отец исправно довез их до одной деревни и почти доехал до следующей, когда то ли мистер Смит, то ли мистер Джонс обратил внимание, что это Бригун, то есть третья по счету, а не вторая, если идти по фамилиям. Они осерчали и потребовали от отца немедленно развернуться, чтобы объехать деревни «в должной последовательности». Вышло так, что пришлось возвращаться чуть не до Морфи, но, как заверил меня мистер Чарльз, отец исполнил их требование, словно оно и впрямь было разумным, и вообще продолжал держаться с безукоризненной вежливостью.

Но теперь внимание мистера Смита и мистера Джонса сосредоточилось на отце. Им, вероятно, надоело созерцать окрестные виды, и они принялись развлекаться, во весь голос отпуская нелестные замечания по поводу отцовской «ошибки». Как вспоминал мистер Чарльз, его привело в восхищение, что отец ни малейшим намеком не дал почувствовать, что обижен или сердит, но продолжал вести машину, сохраняя на лице выражение, в котором личное достоинство гармонично сочеталось с готовностью услужить. Однако невозмутимости отца скоро был положен конец. Устав поливать отца оскорблениями с заднего сиденья, два джентльмена начали перемывать кости тому, кто их пригласил, то есть отцовскому хозяину, мистеру Джону Сильверсу. Выпады делались все грязнее и оскорбительней, так что мистер Чарльз — по крайней мере, он так утверждал — вынужден был вмешаться и указать, что от подобных разговоров отдает дурным тоном. Его слова были встречены столь решительным несогласием, что мистер Чарльз не только испугался, как бы джентльмены не избрали очередной мишенью его самого, но начал подумывать, уж не грозит ли ему прямая физическая расправа. Но тут, вслед за особенно гнусным оскорблением по адресу хозяина, отец рывком остановил машину. А дальше случилось то самое, что произвело на мистера Чарльза совершенно неизгладимое впечатление.

Задняя дверца салона распахнулась, и перед ними предстал отец. Он стоял, немного отступив от машины и сверля взглядом сидящих. Как описывал мистер Чарльз, до трех пассажиров словно разом дошло, какой недюжинной физической силой наделен отец. В нем и вправду было целых

шесть футов три дюйма, а лицо, вселяющее уверенность, если знаешь, что он стремится вам услужить, при иных обстоятельствах могло выглядеть в высшей степени грозно. По словам мистера Чарльза, отец не выказывал внешних признаков гнева. Он, похоже, всего лишь открыл дверцу. Однако от нависшей над ними фигуры исходило столь мощное осуждение и в то же время ощущение такой неприступности, что пьяные спутники мистера Чарльза съежились на глазах, как мальчишки, пойманные на краже яблок.

Отец простоял несколько секунд — в полном молчании, только придерживая рукой открытую дверцу. Наконец то ли мистер Смит, то ли мистер Джонс робко спросил:

— Мы что, дальше не поедем?

Отец не ответил, он продолжал молча стоять, не требуя, чтобы те вышли, но и не выказывая каких-либо иных желаний или намерений. Представляю, как он тогда выглядел: заполняя собой проем дверцы, его суровая, мрачная фигура заставляла напрочь забыть о мягком хертфордширском ландшафте, что был у него за спиной. В эту минуту, как вспоминал мистер Чарльз, все непонятно чего испугались и даже его, не принимавшего участия в безобразии, охватило чувство вины. Молчание, казалось, затягивалось до бесконечности, и наконец не то мистер Смит, не то мистер Джонс набрался мужества и выдавил:

— Похоже, мы тут лишнего наболтали. Больше не повторится.

Отец подумал, осторожно закрыл дверцу, сел за руль, и поездка по трем деревням была продолжена — и завершена, как уверял мистер Чарльз, при почти полном молчании.

Рассказав об этом эпизоде, я вспоминаю о другом событии — оно случилось примерно в ту же пору и, возможно, еще наглядней и ярче раскрывает особое качество, которое отец в себе выработал. Тут следует пояснить, что нас в семье было два брата и старшего, Леонарда, убили в бурскую войну, когда я был еще мальчишкой. Отец, естественно, страшно переживал потерю, тяжесть которой усугублялась еще и тем, что обычное утешение родителей в таких случаях — уверенность, что сын с честью отдал жизнь за короля и отечество, было испорчено: брат погиб в особо бесславной операции. Стало известно, что это было нападение на мирный бурский поселок — дело, в высшей степени недостойное истинного британца. Хуже того, со всей очевидностью было доказано, что операцию провели безответственно, с несоблюдением ряда элементарных мер военной безопасности, так что павшие солдаты, и брат в том числе, погибли, как выяснилось, бессмысленно. В свете того, о чем мне предстоит рассказать, с моей стороны, было бы неподобающим уточнять, о какой операции пойдет речь, хотя вы легко об этом догадаетесь, когда я скажу, что в свое время она вызвала волну негодования и тем самым изрядно приумножила споры, которые шли по поводу военного конфликта в целом. Раздавались призывы отправить в отставку, а то и предать суду руководившего операцией генерала, но армия взяла его под защиту, и ему позволили завершить кампанию. Менее известно другое — к концу конфликта в Южной Африке этого самого генерала без лишнего шума проводили в отставку, после чего он поступил в фирму, занимавшуюся торговыми перевозками из Южной Африки. Я потому обо всем этом рассказываю, что лет через десять после бурской войны, то есть когда рана утраты только-только успела затянуться, мистер Джон Сильверс вызвал отца к себе в кабинет и сообщил, что то самое лицо — я буду называть его просто Генералом — должно прибыть в гости на несколько дней и участвовать в большом приеме, на котором отцовский хозяин рассчитывал договориться об одной выгодной коммерческой сделке. Мистер Сильверс, однако, подумал о том, каково отцу будет встретиться с Генералом, поэтому специально вызвал его, чтобы предложить пойти в отпуск на те несколько дней, что Генерал пробудет в доме.

Генерала отец, естественно, ненавидел всеми фибрами души; но понимал он и то, что хозяин мог рассчитывать на успех в своих тогдашних деловых начинаниях, только если прием пройдет без сучка без задоринки, а это было не так-то просто, учитывая, что гостей ожидалось человек

восемнадцать. Поэтому отец поблагодарил за то, что с его чувствами посчитались, однако заверил мистера Сильверса: обслуживание, как всегда, будет обеспечено на самом высоком уровне.

Как показало дальнейшее, отец подвергся еще большему испытанию, чем можно было предполагать. Прежде всего, надежды на то, что, встретив Генерала во плоти, он почувствует к нему уважение и симпатию, каковые могли бы смягчить предубеждение против этого человека, оказались беспочвенными. Генерал был тучный, уродливый мужчина; манеры его не отличались утонченностью, а разговаривая, он все стремился перевести на военный язык. Хуже того, этот господин, как выяснилось, прибыл без камердинера, поскольку тот заболел. А так как еще один гость тоже явился без слуги, возник щекотливый вопрос: кому из гостей предложить в качестве камердинера дворецкого, а кому — простого лакея? Оценив положение, в каком очутился хозяин, отец сразу же вызвался обслуживать Генерала; таким образом, отцу целых четыре дня пришлось состоять при ненавистном ему человеке. Генерал же, отнюдь не догадываясь о чувствах отца, воспользовался случаем и при всякой возможности пускался в рассказы о своих воинских подвигах — занятие, которому, как известно, склонны предаваться многие джентльмены из военных, оставаясь в своих спальнях наедине с камердинером. И тем не менее отец так умело скрывал свои чувства, с таким профессиональным блеском исполнял положенные обязанности, что Генерал, отбывая, поздравил мистера Джона Сильверса с завидным дворецким и в благодарность оставил необычно крупные чаевые. Отец не задумываясь попросил хозяина передать их на благотворительные цели.

Вы, полагаю, согласитесь, что в каждом из этих двух эпизодов — я оба проверил и подтверждаю их соответствие истине — отец не только демонстрирует, но, можно сказать, воплощает собой то, что Общество Хейса именует «достоинством, отвечающим занимаемому положению». Если подумать, каков был отец в описанных обстоятельствах, и сравнить его, допустим, с мистером Джеком Нейборсом, когда тот выступал во всеоружии профессионального мастерства, то, полагаю, можно приблизиться к пониманию, чем именно «великий» дворецкий отличается от всего лишь компетентного. Теперь мы лучше поймем и то, почему отец так любил историю про дворецкого, который не испугался, обнаружив в столовой под столом тигра: интуиция подсказывала отцу, что где-то в этой истории скрыт ответ на вопрос, что такое истинное «достоинство». А теперь разрешите выдвинуть такой постулат: решающим компонентом «достоинства» является способность дворецкого никогда не расставаться со своим профессиональным лицом. Дворецкие меньшего калибра по самому ничтожному поводу сменяют свой профессиональный облик на индивидуальный. Для них быть дворецким все равно что выступать в пантомиме; легкий толчок, ничтожная зацепка — и маска спадает, обнажая подлинное лицо актера. Великие дворецкие тем и велики, что способны сживаться со своим профессиональным лицом, срастаться с ним намертво; их не могут потрясти никакие внешние обстоятельства, сколь бы внезапными, тревожными и досадными ни были эти последние. Для великих дворецких профессиональный облик — то же, что для порядочного джентльмена костюм: он не даст ни бандитам, ни стихиям сорвать его с себя на людях, а разоблачится тогда и только тогда, когда сам того пожелает, и непременно без свидетелей. В этом, как я говорю, и состоит «достоинство».

Порой высказывается мнение, что настоящие дворецкие встречаются только в Англии. В других странах существует лишь мужская прислуга, каким именем ее там ни называй. Европейцы не могут быть дворецкими, ибо, в отличие от англичан, по самому своему складу не способны обуздывать душевные переживания. Европейцы, а в большинстве своем и кельты, с чем вы, конечно, не станете спорить, как правило, не способны к самоконтролю в минуты сильного возбуждения и поэтому сохраняют профессиональную невозмутимость лишь в самых спокойных ситуациях. Если вернуться к ранее предложенной метафоре — она грубовата, прошу уж меня извинить,— то я уподоблю их человеку, который по ничтожному поводу

готов сорвать с себя костюм и рубашку и носиться, вопя во все горло. Одним словом, «достоинство» таким людям недоступно. В этом отношении у нас, англичан, большое преимущество перед иностранцами, вот почему великий дворецкий, как мы его представляем, чуть ли не по определению обязан быть англичанином.

Вы, разумеется, можете возразить, как возражал мистер Грэм всякий раз, стоило мне во время наших приятных споров у камина развить эту точку зрения: если я прав в своих утверждениях, великого дворецкого можно признать таковым, лишь понаблюдав его в каких-нибудь чрезвычайных обстоятельствах. В действительности же такие люди, как мистер Маршалл или мистер Лейн, хотя мы в большинстве своем никогда не видели их в указанных обстоятельствах, все равно становятся великими в наших глазах. Тут я вынужден согласиться с мистером Грэмом, однако замечу — прослужив в дворецких с мое, обретаешь способность интуитивно судить о профессиональных достоинствах другого дворецкого, даже не видя того в экстремальных условиях. Больше того, если выпадает счастье встретиться с великим дворецким, тут не только не испытываешь маловерного позыва потребовать для него «испытания», но, напротив, не можешь даже вообразить обстоятельства, способные поколебать профессиональное достоинство, столь властно заявленное. Я и в самом деле уверен, что именно такого рода прозрение, пробившись сквозь густой туман опьянения, заставило в тот давний воскресный день джентльменов в машине пристыженно замолчать. С такими дворецкими — то же самое, что с английским ландшафтом, если поглядеть на него с лучшей точки, как мне довелось нынче утром: раз увидел — становится ясно, что находишься пред лицом великого.

Я понимаю, всегда найдутся желающие возразить, будто любая попытка разобраться в величии, в том числе и моя, обречена на неудачу.

— Сразу ясно, у кого оно есть, а у кого нет,— таков неизменный довод мистера Грэма.— Так-то вот, и нечего ломать голову.

Я, однако, считаю, что здесь наш долг — не соглашаться заранее с поражением. Сама профессия, конечно же, требует от всех нас глубоких размышлений по этому поводу, с тем чтобы каждый мог успешней стремиться к обретению «достоинства».

ДЕНЬ ВТОРОЙ — УТРО

Солсбери

На новом месте мне почти всегда плохо спится, и с час назад я проснулся после непродолжительной и довольно беспокойной дремоты. Было еще темно, я знал, что мне целый день сидеть за рулем, и попытался снова заснуть. Ничего не вышло, я наконец решил встать; все еще не развиднелось, и мне пришлось включить электричество, чтобы побриться над раковиной в углу. Когда же после бритья я его выключил, из-под краев занавесок просочился серый рассвет.

Я только что их раздвинул — на улице по-прежнему сумеречно, туман застит вид на пекарню и аптеку. Да и, пробежав взглядом вдоль улицы до горбатого мостика, я увидел, как от реки поднимается туман, который почти полностью окутал одну из свай. На улице ни души, повсюду полная тишина, если не считать долетающего откуда-то издали эха тяжелых ударов да кашля, что изредка раздается в одной из задних комнат. Хозяйка еще явно не вставала и не бралась за дело, поэтому мало надежды на то, что завтрак подадут раньше обещанной половины восьмого.

В этот тихий рассветный час, когда мир еще не проснулся, перед моим мысленным взором возникают строки из письма мисс Кентон. Кстати, давно следовало объяснить, почему я именую ее «мисс Кентон». Строго говоря, «мисс Кентон» вот уже двадцать лет как миссис Бенн. Поскольку, однако, мы с нею работали бок о бок лишь до ее замужества и не виделись

с тех пор, как она перебралась в западные графства, чтобы превратиться в «миссис Бенн», вы, надеюсь, разрешите мне называть ее по-старому, как я называл ее про себя все эти годы. Да и письмо дает лишние основания думать о ней как о «мисс Кентон», ибо из него явствует, что на своей семейной жизни она, увы, поставила крест. В письме она не приводит подробностей, да такое было бы на нее не похоже, однако недвусмысленно заявляет, что окончательно выехала из дома мистера Бенна в Хелстоне и в настоящее время проживает у знакомой в близлежащей деревне Литтл Комптон.

Разумеется, очень грустно, что ее брак завершается разрывом. Не сомневаюсь, что в эту самую минуту она с горечью размышляет о принятом в ту далекую пору решении, из-за которого теперь, в отнюдь не молодые годы, обречена на одиночество и тоску. Легко представить, что в подобном состоянии духа мысль о возвращении в Дарлингтон-холл дарует ей утешение. Правда, мисс Кентон ни разу не пишет открыто о желании вернуться, но оно, это желание, определенно сквозит в общей интонации многих строк, исполненных глубокой ностальгии по дням, проведенным в Дарлингтон-холле. Разумеется, мисс Кентон не приходится рассчитывать, что запоздалое возвращение вернет ей потерянные годы, и при встрече я первым долгом обязан ей это внушить. Придется ей объяснять, как все переменилось и что времена, когда под началом у нас была многочисленная прислуга, вероятно, навсегда отошли в прошлое. Но мисс Кентон — женщина умная и должна бы уже все это понять. В общем и целом, я и вправду не вижу, почему бы ей не вернуться в Дарлингтон-холл и не прослужить там до старости — такое решение дарует душе, изнемогающей под бременем впустую прожитых лет, самое драгоценное утешение.

Ну и, разумеется, с чисто профессиональной точки зрения появление в Дарлингтон-холле мисс Кентон даже после столь долгого перерыва, несомненно, станет идеальным решением проблемы, беспокоящей нас в настоящее время. Вообще говоря, я, пожалуй, преувеличиваю, называя это «проблемой». В конце-то концов речь идет о цепочке допущенных мной небольших погрешностей, и нынешние мои действия — всего-навсего способ упредить любые «проблемы» до того, как они успели возникнуть. Правда, эти небольшие погрешности поначалу меня тревожили, но потом я на досуге подумал и правильно их оценил — как проявления элементарной нехватки обслуживающего персонала. С тех пор я перестал из-за них беспокоиться. Как я сказал, с прибытием мисс Кентон им придет конец раз и навсегда.

Но вернемся к письму. Местами в нем и впрямь проступает отчаяние по поводу ее нынешнего положения, что вызывает у меня известную озабоченность. Вот начало одной фразы: «Хотя я не представляю, как с пользой употребить остаток жизни...» В другом месте она опять же пишет: «Оставшиеся годы лежат передо мной как пустыня...» Однако большей частью в письме преобладают ностальгические тона, о чем я уже говорил. Например, в одном месте она пишет:

«Этот случай привел мне на память Алису Уайт. Вы ее помните? Конечно, помните, вы едва ли могли ее позабыть. У меня до сих пор стоят в ушах чудовищно растянутые гласные и невероятно корявые фразы, придумать которые могла лишь она одна! Вы не знаете, что с нею стало?»

Сказать по правде, не знаю, хотя, готов признаться, было забавно вспомнить об этой невозможной горничной, которая в конечном счете оказалась у нас одной из самых работящих.

В другом месте мисс Кентон замечает:

«Я так любила вид из окон спален третьего этажа — на лужайку и дальнюю гряду известняковых холмов. Он не изменился? Летними вечерами в нем было какое-то волшебное очарование, и я, так и быть, признаюсь, что отрывала от работы много драгоценных минут, чтобы как завороженная постоять у какого-нибудь из окон».

И добавляет:

«Простите, если это воспоминание окажется для вас неприятным, но

я никогда не забуду, как мы вдвоем наблюдали за вашим батюшкой, который прохаживался взад-вперед у беседки, уставясь себе под ноги, словно обронил драгоценный камень и теперь надеется его отыскать».

Для меня стало откровением, что мисс Кентон тридцать с лишним лет не забывала об этом, как не забыл я сам. Должно быть, это случилось как раз в один из летних вечеров, о каких она пишет, ибо я отчетливо помню, что поднялся на площадку третьего этажа и увидел, что двери всех спален стоят нараспашку, а из них, рассекая сумрак коридора, рвутся полосы оранжевого закатного света. Проходя коридором, я заметил в одной из спален четкий силуэт мисс Кентон на фоне окна. Она обернулась и вполголоса позвала:

— Мистер Стивенс, можно вас на минутку?

Я вошел, а мисс Кентон снова повернулась к окну. Внизу под нами длинные тени тополей легли на газон. Немного правее газон поднимался к невысокой насыпи, где стояла беседка; перед ней и маячила фигура отца, который медленно расхаживал с озабоченным видом — словно, как прекрасно описала мисс Кентон, «обронил драгоценный камень и теперь надеется его отыскать».

Тому, что этот эпизод не выветрился у меня из памяти, есть немаловажные причины, которые я бы хотел объяснить. Больше того, сейчас, задним числом, мне представляется не столь уж и удивительным, что этот случай произвел глубокое впечатление также и на мисс Кентон, принимая во внимание некоторые аспекты ее взаимоотношений с моим родителем, когда она только начала служить в Дарлингтон-холле.

Мисс Кентон и отец поступили к нам на службу почти одновременно — а было это весной 1922 года,— когда мы разом лишились и экономки, и помощника дворецкого. Дело в том, что двое последних надумали вступить в брак и оставить службу. Я всегда видел в таких вот любовных связях большую угрозу для заведенного в доме порядка. С того времени я в аналогичных обстоятельствах лишился еще многих слуг. Конечно, этого следует ожидать от лакеев и горничных, и хороший дворецкий обязан предусмотреть такие случаи в своих расчетах; но браки подобного рода между слугами более высокого ранга способны повлечь за собой крайне нежелательные для службы последствия. Разумеется, двое штатных слуг могут влюбиться друг в друга и решить вступить в брак, и выяснять, кто из них виноват в большей степени, а кто в меньшей,— занятие неблагодарное; меня, однако, безмерно раздражают лица — и чаще всего это экономки,— не преданные службе всей душой и по существу кочующие с места на место в погоне за любовными приключениями. Такие люди порочат доброе имя профессионалов своего дела.

Позвольте сразу оговориться, что все сказанное отнюдь не распространяется на мисс Кентон. Правда, в конце концов и она ушла от нас, чтобы выйти замуж, но я могу подтвердить, что за время службы экономкой в моем подчинении она всю себя отдавала служебным обязанностям, от исполнения коих ее ничто не было в силах отвлечь.

Впрочем, я уклоняюсь от темы. Я остановился на том, что нам одновременно понадобились экономка и помощник дворецкого, и мисс Кентон, прибывшая, как помнится, с исключительно хорошими рекомендациями, поступила на вакантное место. По стечению обстоятельств, примерно в эту же пору из-за кончины хозяина, мистера Джона Сильверса, отец завершил свою безупречную службу в Лафборо-хаусе и не совсем ясно представлял, где искать работу и крышу над головой. Хотя он, понятно, оставался слугой наивысшего класса, ему тогда было уже за семьдесят, и его здоровье было основательно подорвано артритом и прочими недугами. Поэтому возникали опасения, что он не выстоит в борьбе за место против представителей более молодого поколения отлично подготовленных дворецких. В свете всего этого самым разумным выходом представлялось пригласить отца в Дарлингтон-холл, где бы его огромный опыт и авторитет весьма пригодились.

Если не ошибаюсь, как-то утром вскоре после того, как отец и мисс Кентон пополнили собой штат нашего персонала, я сидел за столом у себя в буфетной, просматривая бумаги. Раздался стук. Помнится, меня тогда немного шокировало, что мисс Кентон открыла дверь и вошла, не дожидаясь приглашения. Она внесла огромную вазу с цветами и с улыбкой сказала:

— Мистер Стивенс, я подумала, что цветы оживят ваши покои.

— Простите, мисс Кентон, не понял.

— Ну как же, мистер Стивенс, у вас в комнате темно и уныло, а на улице такое яркое солнышко. Вот я и подумала, что с цветами будет повеселее.

— Очень любезно с вашей стороны, мисс Кентон.

— Так обидно, что солнце сюда почти не заглядывает. Даже стены чуточку отсырели, правда, мистер Стивенс?

Я вернулся к счета́м, заметив:

— Я бы сказал, элементарная конденсация влаги, мисс Кентон.

Она поставила вазу передо мною на стол, снова обвела взглядом буфетную и предложила:

— Хотите, мистер Стивенс, я принесу еще?

— Благо́дарю за любезность, мисс Кентон, но эта комната — служебное помещение, и меня вполне устраивает, что тут мне ничто не мешает.

— Но, мистер Стивенс, разве из-за этого комната обязательно должна быть голой и унылой?

— До сих пор она прекрасно служила мне и такой, но все равно спасибо за внимание, мисс Кентон. И раз уж вы здесь, я хотел бы обсудить с вами один вопрос.

— Слушаю, мистер Стивенс.

— Да, мисс Кентон, один маленький вопрос. Вчера мне случилось проходить мимо кухни, и я услышал, как вы обратились к кому-то, назвав его Уильямом.

— Неужто, мистер Стивенс?

— Вот имéнно, мисс Кентон. Я слышал, как вы несколько раз позвали «Уильям». Могу я поинтересоваться, к кому именно вы обращались таким образом?

— Господи, мистер Стивенс, да к кому же еще, как не к вашему батюшке! По-моему, у нас других Уильямов нет.

— Тут легко было ошибиться,— сказал я, слегка улыбнувшись.— Мисс Кентон, могу я просить вас впредь обращаться к отцу как к «мистеру Стивенсу»? Если же вы заговорите о нем с третьим лицом, будьте добры называть его «мистером Стивенсом-старшим», чтобы не путали со мною. Буду вам крайне обязан, мисс Кентон.

С этими словами я снова взялся за бумаги. Но, к моему удивлению, мисс Кентон и не подумала удалиться.

— Прошу прощения, мистер Стивенс,— произнесла она, чуть замявшись.

— Да, мисс Кентон?

— Боюсь, я не совсем поняла, что вы имели в виду. Я давно привыкла обращаться к младшему персоналу по имени и не вижу причин отступать от этого правила.

— Весьма понятное заблуждение, мисс Кентон. Стоит вам, однако, трезво оценить положение, и вы увидите всю неуместность снисходительного обращения со стороны вам подобных к таким, как мой отец.

— Я по-прежнему не понимаю, что вы хотите сказать, мистер Стивенс. Вы говорите о «мне подобных», но я, по-моему, служу здесь экономкой, тогда как ваш отец всего лишь помощник дворецкого.

— Разумеется, по штату он помощник дворецкого, как вы изволили выразиться. Но меня удивляет, как вы, при всей вашей наблюдательности, до сих пор не осознали, что на самом деле он представляет собой нечто большее. И в значительной степени.

— Вероятно, мистер Стивенс, наблюдательность мне и впрямь изменила. Я всего лишь заметила, что ваш отец — умелый помощник дворецкого,

и соответственно к нему обращалась. Ему, верно, и вправду неприятно было выслушивать подобное обращение от такой, как я.

— Мисс Кентон, по вашему тону ясно, что вы просто не пригляделись к моему отцу. В противном случае неуместность обращения к нему по имени со стороны лица ваших лет и вашего положения была бы для вас самоочевидной.

— Мистер Стивенс, я, может, и недолго хожу в экономках, но за это время, смею сказать, мои способности удостоились весьма лестных отзывов.

— Я нимало не сомневаюсь в вашей компетентности, мисс Кентон. Но добрая сотня мелочей должна была бы вам подсказать, что мой отец — человек особо выдающийся, у которого вы могли бы многому научиться, когда б были готовы приглядеться внимательнее.

— Премного обязана за совет, мистер Стивенс. Вы уж будьте добры, растолкуйте, каким таким чудесам я могла научиться, приглядываясь к вашему батюшке.

— По-моему, не увидеть этого может только слепой, мисс Кентон.

— Но мы ведь выяснили, что как раз наблюдательности мне и не хватает.

— Мисс Кентон, если у вас создалось впечатление, будто в свои годы вы уже добились совершенства, вам никогда не подняться на ту высоту, которой вы, несомненно, способны достигнуть. Я мог бы, к примеру, указать на то, что вы не всегда еще точно знаете, где какой вещи место и что есть что.

Это, похоже, слегка охладило пыл мисс Кентон. Во всяком случае, на какое-то мгновение она, судя по всему, несколько растерялась, но затем сказала:

— У меня были кое-какие трудности, когда я только приступила к работе, но ведь это же в порядке вещей.

— Ага, вот видите, мисс Кентон. Если б вы присмотрелись к моему отцу, а он появился здесь неделей позже вашего, то могли бы заметить: про Дарлингтон-холл он знает решительно все и знал чуть ли не с первой минуты, как переступил порог этого дома.

Мисс Кентон задумалась, а потом, чуть надувшись, произнесла:

— Не сомневаюсь, что мистер Стивенс-старший прекрасно знает свое дело, но уверяю вас, мистер Стивенс, я тоже прекрасно знаю мое. Впредь же постараюсь следить за собой и обращаться к вашему отцу по фамилии. А сейчас, с вашего позволения, мне нужно идти.

После этой стычки мисс Кентон больше не приносила цветов в буфетную и в целом, как я с удовольствием отметил, весьма успешно обживалась на новом месте. Больше того, стало ясно, что она из тех экономок, кто очень ответственно подходит к своим обязанностям; несмотря на молодость, она, видимо, без труда завоевала уважение у подчиненных ей слуг.

Я также заметил, что она и вправду стала называть отца мистером Стивенсом. Но однажды, недели через две после разговора в буфетной, когда я был чем-то занят в библиотеке, туда вошла мисс Кентон со словами:

— Прошу прощения, мистер Стивенс, но если вы ищете совок для мусора, то он в холле.

— Не понял, мисс Кентон?

— Совок для мусора, мистер Стивенс. Вы его там оставили. Сходить принести?

— Мисс Кентон, я сегодня не пользовался совком.

— Тогда прошу прощения, мистер Стивенс. Я, конечно, подумала, что вы работали с совком и его там оставили. Напрасно я вас потревожила.

Она направилась к двери, но на пороге обернулась и сказала:

— Ох, мистер Стивенс, я бы сама отнесла его на место, только мне срочно нужно наверх. Может, вы позаботитесь?

— Разумеется, мисс Кентон. Спасибо, что обратили мое внимание на этот непорядок.

— Ну что вы, мистер Стивенс.

Я прислушался, как она пересекла холл и стала подниматься по парадной лестнице, а потом и сам вышел. Из дверей библиотеки великолепно просматриваются до блеска натертый пол и парадные двери дома. На самом видном месте, можно сказать, в самой середке пустого холла лежал совок, о котором говорила мисс Кентон.

В этом я усмотрел хоть и мелкое, однако досадное упущение. Совок нельзя было не заметить не только из выходящих в холл всех пяти дверей первого этажа, но и с лестницы, а также с галереи второго этажа. Я подошел и нагнулся за этим неуместным в холле предметом, и тут до меня дошел истинный смысл случившегося: отец, вспомнил я, с полчаса назад убирался в холле со шваброй. Поначалу я даже не поверил, чтобы отец мог так оплошать, но напомнил себе, что мелкие упущения вроде этого время от времени случаются с каждым, и раздражение мое быстро обратилось на мисс Кентон — незачем было поднимать шум из-за такой мелочи.

С того случая прошло не больше недели, и вот, когда я возвращался из кухни коридором для слуг, мисс Кентон появилась из своей гостиной и обрушилась на меня с наизусть затверженной речью. Ей крайне неудобно указывать на упущения подначальных мне слуг, сказала она, но нам с ней вместе работать, и она надеется, что я не премину поступить точно так же, обнаружив упущения со стороны женского персонала. После этого вступления она сообщила, что на нескольких выложенных к обеду серебряных приборах оказались явные следы порошка для чистки. У одной вилки зубья были так просто черные. Я поблагодарил, и мисс Кентон ретировалась в свою гостиную. Ей, разумеется, не нужно было напоминать мне о том, что чистка столового серебра — одна из главных обязанностей отца и тот этим очень гордится.

Весьма вероятно, что были и другие подобные случаи, о которых я просто забыл. Вспоминаю, однако, как все это дошло до своего рода кульминации. День был серый, моросило. Я в бильярдной приводил в порядок спортивные призы лорда Дарлингтона, когда вошла мисс Кентон и с порога заявила:

— Мистер Стивенс, я только что заметила перед этой дверью нечто непонятное.

— Что именно, мисс Кентон?

— Это его светлость распорядился, чтобы фарфорового китайца с верхней площадки поменяли местами с тем, что стоял перед бильярдной?

— Фарфорового китайца, мисс Кентон?

— Да, мистер Стивенс. Того, который стоял на верхней площадке, вы найдете теперь перед этой дверью.

— Боюсь, мисс Кентон, вы несколько заблуждаетесь.

— А я, мистер Стивенс, уверена, что нисколько не заблуждаюсь. Моя обязанность — знать, какое место в этом доме положено каждой вещи. Китайцев, осмелюсь предположить, взяли, протерли, а затем неверно расставили. Если сомневаетесь, мистер Стивенс, благоволите выйти в коридор и самолично убедиться.

— Мисс Кентон, я сейчас занят.

— Но вы, мистер Стивенс, мне, кажется, не верите. Поэтому я прошу вас выйти за дверь и самому посмотреть.

— Мисс Кентон, в настоящий момент я занят и займусь этим позже. Не вижу тут никакой срочности.

— Стало быть, мистер Стивенс, вы признаете, что я не ошиблась?

— Я не признаю ничего подобного, мисс Кентон, пока сам в это не вникну. Однако сейчас я занят.

Я вернулся к тому, чем занимался, но мисс Кентон продолжала стоять в дверях, не сводя с меня взгляда. Наконец она сказала:

— Я вижу, вы скоро освободитесь, мистер Стивенс. Я подожду вас в коридоре, вы выйдете, и мы наконец разберемся с этим делом.

— Мисс Кентон, по-моему, вы придаете этому вопросу такое значение, которого он едва ли заслуживает.

Но мисс Кентон уже ушла, и, разумеется, когда я вернулся к призам, скрип половицы у нее под ногой или другие звуки то и дело напоминали мне, что она все еще там, в коридоре. Поэтому я надумал заняться в бильярдной кое-какими другими делами, рассудив, что по прошествии известного времени она поймет всю нелепость своего поведения и удалится. Однако время прошло, я завершил все дела, с какими мог управиться при помощи подручных средств, а мисс Кентон, как я понимал, еще стояла под дверями. Решив больше не ждать из-за ее детских капризов, я уже было собрался выйти через одно из доходящих до пола двустворчатых окон. Осуществлению этого плана помешала погода, то есть имевшиеся в наличии несколько больших луж и участков грязи, а также и то, что потом все равно пришлось бы возвращаться в бильярдную — запереть окно. Итак, в конце концов я решил, что лучше всего внезапно выйти из бильярдной и удалиться быстрым шагом. Поэтому я по возможности тихо занял исходную позицию для броска и, прижав к груди бархатку, коробку с порошком и метелочку, благополучно проскочил в дверь и удалился от нее на несколько ярдов, прежде чем ошарашенная мисс Кентон успела сообразить, что к чему. Однако же сообразила она довольно быстро, мгновенно меня нагнала и выросла у меня на пути, загородив дорогу.

— Мистер Стивенс, вы согласны, что это не тот китаец?

— Мисс Кентон, я очень занят. Удивляюсь, что вы не нашли ничего лучшего, как весь день торчать в коридоре.

— Мистер Стивенс, тот китаец или не тот?

— Мисс Кентон, я просил бы вас не повышать голоса.

— А я бы просила вас, мистер Стивенс, обернуться и взглянуть на китайца.

— Мисс Кентон, будьте любезны не повышать голоса. Что подумают слуги внизу, услыхав, как мы во всю глотку спорим, тот это китаец или не тот?

— Дело в том, мистер Стивенс, что в этом доме все китайцы давно стоят непротертые. А теперь еще и не на своих местах!

— Мисс Кентон, не делайте из себя посмешище. А теперь, будьте добры, разрешите пройти.

— Мистер Стивенс, окажите любезность — взгляните на китайца у себя за спиной.

— Если вам, мисс Кентон, это так важно, я готов допустить, что китаец у меня за спиной может оказаться не на своем месте. Но должен сказать, мне не совсем ясно, почему вас так волнует это ничтожнейшее из упущений.

— Сами по себе эти упущения, может быть, и ничтожны, но говорят о многом, и кому, как не вам, мистер Стивенс, об этом задуматься.

— Мисс Кентон, я вас не понимаю. А теперь будьте любезны, позвольте пройти.

— Дело в том, мистер Стивенс, что вашему отцу поручают куда больше того, с чем человек в его годы способен управиться.

— Мисс Кентон, вы явно не отдаете себе отчета в собственных словах.

— Кем бы ни был ваш отец в свое время, мистер Стивенс, силы и возможности у него теперь совсем не те. Вот что стоит за этими, как вы их называете, «ничтожными упущениями», и если вы будете закрывать на это глаза, недолго ждать, чтобы ваш отец допустил упущение покрупнее.

— Такими разговорами, мисс Кентон, вы только выставляете себя в глупом свете.

— Простите, мистер Стивенс, но я должна закончить. Я считаю, что вашего отца следует освободить от исполнения многих обязанностей. Прежде всего, нельзя поручать ему носить тяжелые подносы. Поглядеть, как у него руки трясутся, когда он входит с подносом в столовую, так прямо ужас берет. Не сегодня — завтра опрокинет он, опрокинет поднос на колени какой-нибудь даме или джентльмену. Я вам больше скажу, мистер Стивенс, хоть и не хочется,— я обратила внимание на нос вашего батюшки.

— Вот как, мисс Кентон?

— К сожалению, да, мистер Стивенс. Позавчера вечером я проследила, как ваш отец медленно-медленно движется с подносом в столовую, и ясно увидела, что с самого кончика носа у него свисает огромная капля, да прямо над супницей. Не сказала бы, что такое зрелище благоприятствует хорошему аппетиту.

Размышляя об этом сегодня, я не рискну утверждать, что мисс Кентон в тот день говорила со мной так смело. Разумеется, за долгие годы работы бок о бок нам случалось вступать в весьма резкие перепалки, но разговор, который я тут привел, имел место все же на раннем этапе нашего знакомства, и мне представляется маловероятным, чтобы даже мисс Кентон могла тогда столь далеко зайти. Да, я не рискну утверждать, что она и вправду могла позволить себе высказывания типа: «Сами по себе эти упущения, может быть, и ничтожны, но говорят о многом, и кому, как не вам, об этом задуматься». Больше того, теперь, по здравом размышлении, у меня возникает чувство, что эти слова, возможно, произнес сам лорд Дарлингтон, когда вызвал меня к себе в кабинет месяца через два после пикировки с мисс Кентон у дверей бильярдной. К тому времени дела с отцом значительно осложнились: произошло его падение у беседки.

Двери кабинета расположены прямо напротив парадной лестницы. Сейчас у кабинета стоит стеклянная горка с различными наградами и значками мистера Фаррадея, но при лорде Дарлингтоне на этом месте находился стеллаж с многотомными энциклопедиями, включая полный комплект «Британники». Лорд Дарлингтон обычно прибегал к маленькой хитрости. Когда я спускался по лестнице, он поджидал, стоя у стеллажа и разглядывая корешки; иной раз, чтобы встреча выглядела совсем уж случайной, вытягивал какой-нибудь том и притворялся, будто с головой погрузился в чтение. Тем временем я оказывался внизу и должен был так или иначе пройти мимо; тут он и произносил:

— А, Стивенс, весьма кстати, я как раз собирался с вами поговорить.

С этими словами он входил в кабинет, для вида по-прежнему погруженный в изучение тома, который держал открытым в руках. Лорд Дарлингтон неизменно прибегал к этой уловке, когда предстоящий разговор вызывал у него чувство неловкости, и даже после того, как двери кабинета закрывались за нами, он часто подходил к окну и, беседуя, делал вид, будто о чем-то справляется в энциклопедии.

Между прочим, этот пример — лишь один из многих, какие я мог бы вам привести, дабы подчеркнуть, сколь стеснителен и скромен был по натуре лорд Дарлингтон. За последние годы наболтали и напечатали много глупостей касательно его светлости и выдающейся роли, которую ему довелось сыграть в великих делах, а отдельные совершенно неосведомленные лица распускают слухи, будто его побуждало к этому самомнение, если не самонадеянность. Позволю себе в связи с этим заметить, что во всех подобных утверждениях нет и крупицы истины. Шаги, которые лорд Дарлингтон предпринял на общественном поприще, претили самому его естеству, и если он все-таки их предпринял, то — свидетельствую со всей убежденностью — переступить через собственную застенчивость его светлость побудило исключительно глубокое чувство морального долга. Что бы ни говорилось сегодня о его светлости — а в подавляющем большинстве случаев, как я сказал, о нем несут несусветную чушь,— я могу заявить, что в глубине души он был истинно добрым человеком и джентльменом до кончиков ногтей, и сегодня я горд, что прослужил у него лучшие годы жизни.

В тот день, о котором я повествую, его светлости было никак не более пятидесяти пяти, но, помнится, он уже совсем поседел, а в его высокой худой фигуре наметились первые признаки сутулости, которая резко обозначилась в последние годы жизни. Не отрывая глаз от энциклопедии, он спросил:

— Отцу лучше, Стивенс?

— Счастлив сообщить, что он полностью выздоровел, сэр.

— Весьма этому рад. Весьма рад.

— Благодарствую, сэр.

— Да, послушайте, Стивенс, а нет ли каких-то... гм... признаков? То есть признаков того, что ваш отец не против расстаться с частью обременительных для него обязанностей? Помимо этого его падения, хочу я сказать.

— Осмелюсь повторить, сэр, что отец, по всей видимости, полностью выздоровел и, как мне кажется, на него все еще можно в немалой степени полагаться. Правда, за последнее время в отправлении им своих обязанностей было отмечено одно-два упущения, но во всех случаях речь идет о вещах по существу ничтожных.

— Но никому из нас не хочется, чтобы подобное повторилось, верно? Я имею в виду, чтобы ваш отец еще раз свалился и все прочее.

— Ни в коем случае, сэр.

— И, конечно, раз это случилось с ним на лужайке, то могло бы случиться где угодно. И в любое время.

— Да, сэр.

— Скажем, во время обеда, когда ваш отец прислуживал за столом.

— Не исключено, сэр.

— Послушайте, Стивенс, до приезда первых представителей остается меньше двух недель.

— Все подготовлено, сэр.

— То, что произойдет в стенах этого дома, когда все соберутся, может иметь весьма серьезные последствия.

— Да, сэр.

— Я хочу сказать — *весьма* серьезные. Для всего будущего политического курса Европы. С учетом того, кто́ будет присутствовать, не думаю, чтобы я сильно преувеличивал.

— Ни в коем случае, сэр.

— Не самое подходящее время идти на риск, которого легко избежать.

— Полностью с вами согласен, сэр.

— Послушайте, Стивенс, нет и речи о том, чтобы расстаться с вашим отцом. Однако же вам придется пересмотреть круг его обязанностей.

Вот тогда-то, мне кажется, его светлость и произнес, снова заглянув при этом в энциклопедию и неловко ткнув пальцем в какую-то статью:

— Сами по себе эти упущения, Стивенс, может быть, и ничтожны, но говорят о многом, и кому, как не вам, об этом задуматься. Прошло время, когда на вашего отца можно было во всем полагаться. Не нужно направлять его туда, где ошибка может подпортить успех нашей предстоящей конференции.

— Разумеется, сэр. Полностью с вами согласен.

— Вот и прекрасно. Стало быть, Стивенс, вы об этом подумаете.

Следует заметить, что отец упал — случилось это примерно неделей раньше — прямо на глазах у лорда Дарлингтона. Его светлость принимал в летней беседке двух гостей — молодую даму и джентльмена — и видел, как отец идет к ним по лужайке с подносом долгожданных закусок. Перед беседкой лужайка поднимается в гору, и в те дни, как, впрочем, и ныне, утопленные в земле плиты, числом четыре, помогали одолеть подъем. Между этими плитами отец и упал, опрокинув поднос со всем, что было на нем — чайником, чашками, блюдцами, сандвичами и кексами,— на траву у верхней плиты. К тому времени как до меня дошла страшная весть, я выбежал из дому, его светлость и гости уложили отца на бок, подсунув под голову подушечку из беседки и накрыв пледом. Отец был без сознания, лицо у него стало непонятного серого цвета. За доктором Мередитом уже было послано, но его светлость посчитал, что отца следует перенести в тень, не дожидаясь доктора. Распорядились доставить и кресло на колесах, и отца с немалым трудом перевезли в дом. К приезду доктора Мередита отцу значительно полегчало, и доктор вскоре уехал, неопределенно высказавшись в том смысле, что отец, вероятно, «перенапрягался».

Этот случай, понятно, основательно выбил отца из колеи, но ко време-

ни описанного разговора с его светлостью отец давно уже встал на ноги и вернулся к исполнению своих обычных обязанностей. Каким образом объявить ему о сокращении круга обязанностей? — этот вопрос оказался теперь довольно сложным. Мне было вдвойне трудно начинать такой разговор, потому что за последние годы мы с отцом постепенно отвыкли — по какой причине, не пойму до сих пор,— друг с другом беседовать. То есть так отвыкли, что после его переезда в Дарлингтон-холл необходимость обратиться к нему с несколькими словами по работе и то повергала нас в обоюдное смущение.

В конце концов я решил, что лучше всего поговорить с ним с глазу на глаз у него в комнате, чтобы после моего ухода он смог в одиночестве обдумать свое новое положение. Застать отца у себя можно было два раза в сутки — рано утром либо поздно вечером. Выбрав первое, я однажды ни свет ни заря поднялся в его комнатенку на чердаке служебной половины дома и тихо постучался.

Раньше у меня редко возникала необходимость входить к отцу в комнату, и меня снова поразило, до чего она маленькая и голая. В тот раз, помнится, мне даже показалось, что я попал в тюремную камеру; впрочем, такое впечатление могло в равной степени быть вызвано как серыми утренними сумерками, так и размерами комнаты и голыми стенами. Отец успел раздвинуть занавески и сидел, чисто выбритый и в полной служебной форме, на краю койки, глядя, судя по всему, на предрассветное небо. По крайней мере, легко было предположить, что он смотрит именно на небо, поскольку из подслеповатого окошка были видны только небо, черепичная кровля да водосточные желоба. Керосиновая лампа на столике у кровати была задута; заметив, что отец неодобрительно покосился на лампу, которой я освещал дорогу на шаткой лестнице, я тоже поспешил прикрутить фитиль. В наступившем полумраке серый свет, сочившийся из окна, делал комнату еще более унылой; я видел, как в этом призрачном свете проступают контуры отцовского лица — бугристого, изрезанного морщинами и все еще внушающего почтение.

— Ну вот,— произнес я с коротким смешком,— я так и знал, что папенька уже встал и готов начать новый день.

— Я уже три часа, как встал,— сказал он, смерив меня довольно прохладным взглядом.

— Надеюсь, артрит не перебивает папеньке сон?

— Сколько нужно, столько и сплю.

Отец потянулся к единственному в комнате маленькому деревянному стулу и, опершись руками на спинку, тяжело поднялся. Когда он выпрямился, я подумал: почему он так горбится — от слабости или привык ходить у себя согнувшись из-за крутых потолочных скатов?

— Я пришел, папенька, кое-что сообщить.

— Ну так сообщай поскорее и покороче, некогда мне все утро выслушивать твою болтовню.

— В таком случае, папенька, перейду к делу.

— Вот и переходи, да поживее, а то меня ждет работа.

— Хорошо. Раз уж просили покороче, постараюсь исполнить. Дело в том, что папенька с каждым днем слабеет, и это зашло так далеко, что теперь даже обязанности помощника дворецкого ему не по силам. Его светлость считает, да и сам я того же мнения, что исполнение папенькой и впредь нынешнего круга обязанностей станет постоянной угрозой для образцового порядка, в каковом содержится этот дом, и прежде всего — для намеченной на следующую неделю важной международной встречи.

В полумраке лицо отца оставалось совершенно бесстрастным.

— В принципе,— продолжал я,— было сочтено, что папеньке не следует более прислуживать за столом как при гостях, так и без оных.

— За последние пятьдесят четыре года не было дня, чтобы я не прислуживал за столом,— заметил отец недрогнувшим голосом.

— Больше того, решено, что папеньке не следует разносить нагруженные подносы — неважно с чем и даже из комнаты в комнату. Принимая во

внимание указанные ограничения и зная о любви папеньки к краткости, я письменно изложил пересмотренный круг обязанностей, исполнение каковых отныне на него возлагается.

Я держал листок наготове, но мне как-то не хотелось передавать его отцу из рук в руки, поэтому я положил листок в изножье постели. Отец бросил взгляд на бумажку, потом посмотрел на меня. На лице его по-прежнему не было ни малейшего проблеска чувств, руки все так же неподвижно покоились на спинке стула. Даже сгорбленный, он давил на окружающих уже одним своим телесным присутствием, и это давление — то самое, от которого однажды протрезвели на заднем сиденье два пьяных джентльмена,— ощущалось все время. Наконец он сказал:

— В тот раз я упал только из-за плит. Их перекосило. Нужно сказать Шеймасу, пусть их выровняет, а то еще кто-нибудь грохнется.

— Несомненно. Во всяком случае, я могу быть уверен, что папенька внимательно прочитает этот листок?

— Нужно сказать Шеймасу, пусть выровняет плиты. И, уж конечно, до того, как господа начнут прибывать из Европы.

— Несомненно. Итак, папенька, всего хорошего.

Летний вечер, о котором мисс Кентон вспоминает в письме, случился вскоре после этого разговора — да что там, может быть, в тот самый день. Не помню, что привело меня тогда на верхний этаж, где вдоль коридора рядком идут спальни для гостей. Но, кажется, я уже говорил, что отчетливо запомнил, как лучи заходящего солнца вырывались из открытых дверей и рассекали полумрак коридора полосами оранжевого света. Я проходил вдоль пустующих комнат, и тут меня окликнула мисс Кентон, чей силуэт четко вырисовывался на фоне окна одной из спален.

Когда думаешь об этом, когда вспоминаешь, с каким рвением мисс Кентон жаловалась мне на отца в первые месяцы своей службы в Дарлингтон-холле, то понимаешь, почему она пронесла через все эти годы память о том вечере. Конечно же, ее глодала совесть, когда мы стояли там у окна и наблюдали за отцом. На траву легли длинные тени от тополей, но солнце еще высвечивало далекий уголок, где лужайка поднималась к беседке. Мы видели, что отец застыл у тех самых четырех плит, погруженный в свои мысли. Ветерок слегка трепал ему волосы. Потом отец медленно взошел по плитам — а мы всё стояли у окна. На последней он повернулся и чуть быстрее спустился вниз. Опять повернулся, помедлил, внимательно посмотрел на плиты и наконец решительно поднялся во второй раз. Теперь он прошел чуть не до самой беседки, повернулся и медленно побрел назад, упершись взглядом в землю. Нет, мне решительно не описать его вида в ту минуту лучше, чем это сделала в своем письме мисс Кентон; действительно — «словно обронил драгоценный камень и теперь надеется его отыскать».

Однако, смотрю, я слишком увлекся воспоминаниями, что, вероятно, не совсем разумно с моей стороны. В конце-то концов эта поездка дает мне возможность сполна насладиться многими красотами сельской Англии; знаю — сам буду потом горько жалеть, если позволю неподобающим мыслям отвлечь себя от этих красот. Действительно, я ведь еще не описал, как доехал до Солсбери, если не считать беглого упоминания об остановке на горной дороге в самом начале моего путешествия. Это серьезное упущение, а ведь вчерашний день доставил мне столько радости.

Я тщательно продумал маршрут до Солсбери, с тем чтобы по возможности избегать главных магистралей; кому-то маршрут может показаться излишне окольным, зато мне он позволил охватить значительное число ландшафтов, рекомендованных миссис Дж. Симонс в ее замечательном труде, и, должен сказать, я получил от этого немалое удовольствие. Большей частью я ехал среди лугов и пашен, где воздух напоен нежным запахом полевых цветов, и нередко снижал скорость «форда» до черепашьей, чтобы по достоинству оценить прелесть какой-нибудь речки или долины. Однако, насколько мне помнится, второй раз я вышел из машины только у самого Солсбери.

Я проезжал тогда по длинной прямой дороге, справа и слева расстилались широкие луга. Местность и вправду пошла ровная и плоская, так что во всех направлениях открывался далекий обзор, а впереди уже маячил на горизонте шпиль Солсберийского собора. На меня снизошла какая-то умиротворенность, и по этой причине, как мне кажется, я снова сбавил скорость миль, вероятно, до пятнадцати в час. Оно оказалось и к лучшему — в самый последний момент я успел заметить курицу, которая неспешно переходила дорогу прямо перед машиной. Я затормозил, и «форд» остановился всего в каком-то футе или двух от птицы; та в свою очередь тоже остановилась и замерла посреди дороги. Когда по прошествии минуты она так и не двинулась, я нажал на клаксон, но в ответ упрямая тварь принялась долбить клювом землю. Теряя терпение, я начал выбираться из автомобиля и уже ступил одной ногой на дорогу, когда услыхал женский голос:

— Ох, сэр, простите, как можете.

Оглянувшись, я увидел придорожную ферму, которую только что миновал; оттуда выскочила молодая женщина в фартуке — несомненно, на звук клаксона. Она пробежала мимо меня, подхватила курицу на руки и стала ее оглаживать, продолжая сыпать извинениями. Когда я заверил ее, что курица не пострадала, она сказала:

— Огромное вам спасибо, что остановились и не задавили бедняжку Нелли. Она у нас умница, несет такие яйца, каких вы не видывали. Какой вы хороший, что остановились. А ведь вы, верно, тоже спешите.

— Нет, отнюдь не спешу,— возразил я с улыбкой.— Впервые за многие годы я располагаю временем, и, должен признаться, мне это очень нравится. Я, видите ли, разъезжаю просто для удовольствия.

— Как это мило, сэр. А сейчас, я так думаю, вы держите путь в Солсбери?

— Именно. Кстати, это там не собор вдалеке? Прекрасное, я слышал, здание.

— Еще бы, сэр, очень красивое. Сама-то я, чтоб не соврать, в Солсбери, почитай, не бываю, так что какой он там вблизи — сказать не скажу. А скажу я вам, сэр, что шпиц отсюда каждый божий день видно. В иной день наползает туману, и он вроде как совсем пропадает, но в ясный день, как сегодня, он глядится красиво, правда?

— Очаровательно.

— Уж как я вам благодарна, сэр, что вы не переехали нашу Нелли. Три года назад нашу черепаху вот так же задавило и на этом же самом месте. Мы так все переживали.

— Какая трагедия,— посочувствовал я.

— Еще бы, сэр. Другие вот говорят, что мы, фермерские, привычные, когда животных калечат или убивают, так это неправда. Мой малыш много дней плакал. Как вы добры, сэр, что не переехали Нелли. Может, выпьете чашечку чая, раз вы все равно вышли, мы будем рады. После чая и в дороге полегче.

— Вы очень любезны, но, честное слово, я, пожалуй, не смогу. Хочу добраться до Солсбери пораньше, чтобы до темноты осмотреть достопримечательности.

— И то верно, сэр. Что ж, еще раз большое спасибо.

Я снова пустился в путь, однако почему-то — вероятно, из опасения, как бы другие домашние животные не забрели на дорогу,— ехал с той же малой скоростью. Должен признаться, что-то в этой мимолетной встрече привело меня в прекрасное расположение духа; простая любезность, за которую мне сказали спасибо, и простая любезность, предложенная в ответ, непонятным образом вселили в меня большие надежды на успех всего, что мне предстояло в ближайшие дни. С таким настроением я и въехал в Солсбери.

Но сперва мне хочется еще на минутку вернуться к отцу, ибо, как мне показалось, из сказанного может сложиться впечатление, будто я несколько в лоб повел разговор о том, что силы его убывают. Но так уж вышло, что

выбора у меня тогда, можно сказать, не было, и вы наверняка согласитесь с моим подходом, когда я открою вам всю подоплеку событий тех дней. А именно: важная международная конференция, имевшая вот-вот состояться в Дарлингтон-холле, не давала нам возможности смотреть на происходящее сквозь пальцы или «ходить вокруг да около». Кроме того, не следует упускать из виду, что хотя в последующие пятнадцать с лишним лет стены Дарлингтон-холла были свидетелями многих других столь же значительных событий, однако первым в их чреде явилась именно конференция в марте 1923 года; можно, таким образом, заключить, что отсутствие солидного опыта по этой части не позволяло полагаться на волю случая. Я и в самом деле часто вспоминаю эту конференцию и по целому ряду причин рассматриваю ее как поворотный пункт в моей жизни. Во-первых, я, пожалуй, считаю, что именно тогда я по-настоящему состоялся как дворецкий. Это не следует понимать в том смысле, будто я утверждаю, что стал непременно «великим» дворецким; во всяком случае, не мне об этом судить. Но если кто-нибудь когда-нибудь захочет сказать, что за долгие годы службы я, по меньшей мере, обрел хотя бы крупицу основополагающего качества, именуемого «достоинством», то этому лицу желательно обратиться к конференции 1923 года, ибо именно тогда я впервые проявил потенциальные способности к обретению такого качества. Это было одно из тех событий, какие происходят на решающем этапе нашего профессионального и духовного роста, бросают нам вызов, требуют предельного напряжения — и перенапряжения — сил, так что после таких событий начинаешь оценивать самого себя уже иначе. Разумеется, конференция памятна мне и по другим, не связанным с упомянутой, причинам, что и хотелось бы здесь пояснить.

Конференция 1923 года увенчала собой период долгой подготовительной работы со стороны лорда Дарлингтона; оглядываясь назад, видишь, как его светлость шел к ней добрых три года. Вспоминаю, что поначалу он не был столь озабочен мирным договором, подписанным в конце Великой войны, и, думаю, справедливо будет сказать, что его светлость побудило к действиям не столько изучение условий договора, сколько дружба с герром Карлом-Хайнцем Бреманом.

Когда герр Бреман впервые посетил Дарлингтон-холл вскоре после войны, он еще носил форму немецкого офицера, и всякому, кто видел его вместе с лордом Дарлингтоном, становилось понятно, что между ними возникла тесная дружба. Меня это не удивляло, поскольку с первого взгляда было ясно: герр Бреман — джентльмен из весьма благородных. Уволившись из армии, он в течение двух лет более или менее регулярно наезжал в Дарлингтон-холл; от приезда к приезду он опускался все больше и больше, что невольно бросалось в глаза и вызывало тревогу. Одевался он с каждым разом все хуже и хуже, заметно худел, взгляд у него сделался какой-то затравленный, а в последний свой приезд он подолгу сидел, уставившись в пустоту, забывая о том, что находится в компании его светлости, и порой даже не слышал, когда к нему обращаются. Я было подумал, что у герра Бремана тяжелый недуг, но меня разубедили некоторые высказывания его светлости.

Примерно в конце 1920 года лорд Дарлингтон предпринял первую из своих многочисленных поездок в Берлин, которая, помнится, его просто потрясла. Вернувшись из Германии, он на много дней погрузился в тяжелые думы; вспоминаю, как однажды в ответ на мой вопрос, хорошо ли прошла поездка, он заметил:

— Неприятно, Стивенс. Крайне неприятно. Подобное обращение с поверженным противником навлекает на нас позор. Полный разрыв с традициями нашей страны.

В связи с этим мне живо вспоминается еще один случай. Теперь в старой банкетной зале нет уже стола, мистер Фаррадей удачно приспособил это просторное помещение с великолепным потолком под своеобразную галерею. Но во времена его светлости залу регулярно использовали, как и длинный стол, в ней стоявший, за которым умещалось тридцать

с лишним гостей; банкетная зала вообще настолько просторна, что при необходимости к имевшемуся столу приставляли еще несколько и рассаживали без малого пятьдесят человек. В обычные дни лорд Дарлингтон, разумеется, изволил кушать, как сейчас мистер Фаррадей, в более уютной столовой, где идеально размещается до дюжины обедающих. Но в тот зимний вечер, что так мне запомнился, столовую по какой-то причине было невозможно использовать, и лорд Дарлингтон обедал со своим единственным гостем — если не ошибаюсь, сэром Ричардом Фоксом, коллегой его светлости по работе в Министерстве иностранных дел в прежние времена,— под высокими сводами банкетной залы. Вы, конечно, согласитесь, что нет ничего хуже, чем прислуживать за столом, когда обедают двое. По мне, так лучше уж прислуживать одному человеку, пусть даже его первый раз видишь в глаза. Когда же за столом двое, будь даже один из них ваш хозяин, безумно тяжело добиться равновесия между расторопностью и незаметностью, которое так важно для хорошего обслуживания: все время кажется, что своим присутствием не даешь обедающим свободно поговорить.

В тот раз большая часть залы была погружена в темноту; два джентльмена сидели рядом по длинную сторону стола примерно посередине — ширина столешницы не позволила занять места друг против друга,— в круге света, который отбрасывали стоящие на столе канделябры и пылающий перед ними камин. Чтобы не бросаться в глаза, я решил отступить в тень много дальше от стола, чем обычно. Явный недостаток подобной стратегии заключался, понятно, в том, что всякий раз, как я выходил на свет обслужить джентльменов, долгое глухое эхо моих приближающихся шагов опережало само мое появление, привлекая к нему внимание весьма нарочитым образом; великим же ее преимуществом было то, что меня почти не было видно, когда я оставался на месте. Именно там, стоя в тени на некотором расстоянии от двух джентльменов, сидевших в окружении пустующих стульев, я услышал, как лорд Дарлингтон рассуждает о герре Бремане; он изъяснялся, как всегда, спокойно и тихо, но в этих могучих стенах голос хозяина звучал с какой-то особенной глубиной.

— Он был моим противником,— говорил его светлость,— но всегда поступал как джентльмен. Мы относились друг к другу как приличные люди, хотя шесть месяцев друг друга обстреливали. Он по-джентльменски исполнял свой долг, и я не питал к нему зла. Я ему заявил: «Послушайте, сейчас мы враги, и я буду сражаться с вами всем наличным оружием. Но когда закончится эта мерзкая заваруха, мы больше не будем врагами и вместе посидим за бутылкой». Хуже всего, что сейчас этот договор выставляет меня лжецом. Я хочу сказать, что заверил его, будто мы прекратим враждовать, когда все это кончится. Имею ли я теперь право смотреть ему в глаза и утверждать, что так оно и есть?

В тот вечер, но несколько позже его светлость произнес, озабоченно покачав головой:

— Я сражался в этой войне ради справедливости в нашем мире. Насколько я тогда понимал, речь вовсе не шла о кровной мести германской нации.

И когда слышишь сегодня сплетни о его светлости, слышишь все эти глупые домыслы о побуждениях, какими он руководствовался, а слышать такое приходится слишком часто, я с радостью призываю воспоминание о той минуте, когда он произнес эти прочувствованные слова в почти пустой банкетной зале. Каким бы сложным ни был путь его светлости в последующие годы, я лично никогда не усомнюсь, что в основе всех его действий лежало желание видеть «справедливость в нашем мире».

А немного спустя пришла печальная весть: герр Бреман застрелился в поезде между Гамбургом и Берлином. Его светлость, естественно, был очень расстроен и немедленно принял решение направить фрау Бреман деньги и соболезнования. Однако после многодневных усилий, в которых я тоже принимал посильное участие, его светлость так и не смог установить местожительство никого из родных герра Бремана. Судя по всему, тот в последнее время не имел крыши над головой, а семья его рассеялась.

Я считаю, что и без этой трагедии лорд Дарлингтон все равно избрал бы тот же самый образ действий; желание положить конец несправедливости и страданию пустило в его душе слишком глубокие корни, чтобы он мог вести себя по-другому. Во всяком случае, непосредственно после смерти герра Бремана его светлость уделял все больше и больше времени проблемам германского кризиса. В доме стали регулярно бывать могущественные и знаменитые джентльмены, в их числе, помнится, такие видные фигуры, как лорд Дэниэлс, профессор Мейнард Кейнс и мистер Г. Дж. Уэллс, прославленный литератор, а также ряд других лиц, каковых — поскольку прибывали они «неофициально» — я не хочу называть. Они часто вели с его светлостью бесконечные дебаты при закрытых дверях.

Некоторые гости и вправду прибывали настолько «конфиденциально», что я получал указания позаботиться, чтобы никто из слуг не узнал их имен, а порой и не увидел в лицо. Однако лорд Дарлингтон — об этом я говорю с благодарностью и не без гордости — ни разу не пытался ничего скрыть от моих глаз и ушей. Могу привести много случаев, когда кто-нибудь из гостей, оборвав себя на полуслове, бросал на меня настороженный взгляд и в ответ слышал от его светлости неизменное:

— Не беспокойтесь. Уверяю вас, при Стивенсе можно говорить откровенно.

Итак, в течение двух лет, последовавших за смертью герра Бремана, его светлость вместе с сэром Дэвидом Кардиналом, ставшим в то время его самым верным союзником, методично создавал широкое объединение единомышленников, убежденных в том, что нетерпимому положению в Германии должен быть положен конец. В этот союз входили не одни лишь британцы и немцы, но также бельгийцы, французы, итальянцы, швейцарцы; среди них были дипломаты и политические деятели высокого ранга, видные священнослужители, отставные военные, писатели и философы. Одни, как и его светлость, твердо верили, что в Версале была допущена несправедливость и безнравственно продолжать наказывать народ за войну, которая уже кончилась. Другие, видимо, не столько пеклись о Германии и ее населении, сколько опасались, что экономический хаос в этой стране, если его не остановить, может с чудовищной быстротой перекинуться на весь мир.

К началу 1922 года его светлость ясно определил для себя, чего он хочет добиться,— собрать, и не где-нибудь, а в стенах самого Дарлингтон-холла, наиболее влиятельных джентльменов из числа тех, чьей поддержкой он заручился, и устроить «неофициальную» международную конференцию для обсуждения путей и средств пересмотра наиболее суровых положений Версальского договора. Дабы подобные мероприятия не проходили впустую, им следовало быть авторитетными, причем в такой степени, чтобы оказывать решающее воздействие на «официальные» международные конференции,— несколько последних уже имели место, и, хотя целью их был объявлен пересмотр договора, породили они лишь неразбериху и чувство горечи. Наш тогдашний премьер-министр, мистер Ллойд Джордж, призвал провести в Италии весной 1922 года еще одну большую конференцию, и поначалу его светлость хотел собрать совещание в Дарлингтон-холле как раз для того, чтобы обеспечить принятие на этой конференции решений, которые бы его удовлетворили. Они с сэром Дэвидом сделали все возможное, но сроки оказались слишком жесткие. После того как конференция мистера Джорджа снова не дала результатов, его светлость взял на прицел очередную большую конференцию, которую планировалось на следующий год созвать в Швейцарии.

Вспоминаю, как в это примерно время я принес лорду Дарлингтону в малую столовую утренний кофе и он, складывая «Таймс», брезгливо заметил:

— Французы. Ну в самом деле, Стивенс, что тут скажешь! Французы.

— Да, сэр.

— А ведь мы обнимались с ними на глазах у всего мира. Как вспомнишь — впору в ванну лезть отмываться.

— Да, сэр.

— Когда я последний раз был в Берлине, Стивенс, ко мне подошел старый приятель еще моего отца барон Оверат и сказал: «Почему вы с нами так поступаете? Вы что, не видите, что мы больше не можем?» Так и подмывало заявить ему, что это все мерзавцы французы. То есть я хотел сказать — совершенно не похоже на англичан. Но, вероятно, нельзя такого себе позволить. Негоже ругать наших милых союзничков.

Но уже тот факт, что самую непримиримую позицию в вопросе освобождения Германии от суровостей Версальского договора занимали французы, настоятельно требовал участия в совещании в Дарлингтон-холле хотя бы одного французского джентльмена, обладающего безусловным влиянием на внешнюю политику своей страны. Больше того, я несколько раз слышал, как его светлость высказывал мнение, что без участия такого лица любое обсуждение германской проблемы выльется в пустопорожнюю болтовню. Таким образом, в подготовке этого мероприятия они с сэром Дэвидом перешли к последней, решающей, партии. Видеть, какое неколебимое упорство они проявляли перед лицом повторяющихся неудач, значило учиться смирению. Рассылались бесчисленные письма и телеграммы, его светлость за два месяца три раза лично побывал в Париже. Наконец, заручившись согласием одного в высшей степени известного француза — я буду именовать его просто «мсье Дюпон» — участвовать в совещании на сугубо «неофициальной» основе, согласовали время проведения конференции: тот памятный март 1923 года.

С приближением назначенной даты мои заботы, хотя куда более скромные по сравнению с теми, какие одолевали его светлость, тем не менее соответственно возрастали. Я прекрасно понимал, что если кто-нибудь из гостей останется не вполне доволен условиями пребывания в Дарлингтон-холле, последствия могут быть самые непредсказуемые. К тому же я не знал точно, сколько народа прибудет, и это осложняло подготовку к предстоящему событию. Поскольку конференция предполагалась на очень высоком уровне, число участников было ограничено всего восемнадцатью весьма видными джентльменами и двумя дамами — одной немецкой графиней и грозной миссис Элеонорой Остин, тогда еще проживавшей в Берлине. Но следовало исходить из того, что все они прибудут с секретарями, слугами и переводчиками, и не было никакой возможности уточнить число этих лиц. Более того, стало ясно, что кое-кто прибудет не накануне открытия конференции, которая должна была продлиться три дня, а заблаговременно, чтобы успеть подготовить почву и прощупать настроение коллег, но и тут даты прибытия опять же оставались неизвестными. Было ясно, что в этих условиях слугам предстоит основательно поработать и проявить не только чудеса проворства, но и выказать необыкновенную гибкость. Говоря по правде, я какое-то время думал, что нам не справиться с этим грандиозным испытанием без дополнительного персонала со стороны. Однако такой вариант мог вызвать у его светлости опасения, как бы не пошли лишние разговоры. К тому же это означало, что мне придется полагаться на неизвестных людей, и тут любая ошибка могла обойтись очень дорого. Поэтому я занялся приготовлениями, как, вероятно, генерал готовится к предстоящему сражению: с исключительной тщательностью разработал специальную схему распределения обязанностей, рассчитанную на всевозможные непредвиденные обстоятельства; определил, где у нас наиболее уязвимые места, и занялся составлением аварийных программ для ликвидации последствий возможных срывов; я даже провел со слугами нечто вроде «боевого инструктажа», внушив, что хотя им и предстоит работать на износ, зато потом они будут гордиться тем, что исполняли свои обязанности в эти исторические дни. «В этих стенах,— сказал я им,— могут быть приняты исторические решения». И они, зная меня как человека, не склонного к преувеличениям, прониклись мыслью, что надвигается нечто чрезвычайное.

Теперь, надеюсь, вы получили известное представление об общей

атмосфере, царившей в Дарлингтон-холле, когда отец свалился у беседки, а случилось это за две недели до ожидаемого прибытия первых участников конференции. Можете вы понять и то, что я имел в виду, говоря, что у нас не было возможности «ходить вокруг да около». Отец, во всяком случае, быстро нашел способ, как сохранить за собой некоторые из прежних обязанностей, обходя запрет носить нагруженные подносы. Он завел тележку. Принадлежности для уборки, швабры, щетки и прочее непривычно, хотя всегда аккуратно соседствовали на ней с чайниками, чашками и блюдечками; он ходил, толкая тележку перед собой, как уличный торговец, и в доме привыкли к этому зрелищу. Понятно, что с обязанностями по обслуживанию обедающих ему все же пришлось расстаться, но в остальном тележка позволяла ему делать на удивление много. Да что там, с приближением конференции, этого грандиозного испытания, отец поразительным образом изменился. В него будто вселилась некая сверхъестественная сила, заставив сбросить с плеч лет двадцать; осунувшееся за последнее время лицо выглядело уже не столь изможденным, а в работе он проявлял такое поистине юношеское рвение, что посторонний вполне мог бы подумать — не один, а несколько похожих друг на друга слуг толкают тележки по коридорам Дарлингтон-холла.

Что до мисс Кентон, то, боюсь, возрастающее напряжение тех дней заметно сказалось на ней. Помнится, я как-то столкнулся с ней в служебном коридоре. Служебный коридор, этот в известном смысле спинной хребет той части Дарлингтон-холла, что отдана слугам,— место довольно унылое: дневной свет проникает туда лишь кое-где, при том что сам коридор изрядной длины. Даже при ярком солнце в нем так темно, что кажется, будто идешь по тоннелю. В тот день я узнал мисс Кентон по звуку шагов — она спешила навстречу,— а то бы пришлось вглядываться в силуэт, чтобы понять, что это она. Я остановился в одном из немногих мест, где на дощатый пол падал яркий луч света, и, когда она приблизилась, произнес:

— А, мисс Кентон.

— Да, мистер Стивенс?

— Мисс Кентон, могу ли я обратить ваше внимание на то, что постельное белье для верхнего этажа непременно должно быть готово к послезавтрему?

— С бельем все в полном порядке, мистер Стивенс.

— Что ж, рад слышать. Я просто вспомнил об этом, только и всего.

Я собрался идти дальше, но мисс Кентон осталась на месте, а когда шагнула ко мне, полоска света упала ей на лицо, и я увидел, что она злится.

— К сожалению, мистер Стивенс, сейчас я страшно занята и за хлопотами не найду ни единой свободной минутки. Будь у меня столько свободного времени, сколько, очевидно, есть у вас, я с удовольствием отплатила бы вам той же монетой — пустилась разгуливать по дому, напоминая *вам* о делах, с которыми вы и так прекрасно справляетесь.

— Ну что вы, мисс Кентон, не надо так раздражаться. Мне всего лишь захотелось удостовериться, что от вашего внимания не ускользнуло...

— Мистер Стивенс, за последние два дня такое желание появляется у вас в четвертый или в пятый раз. Очень странно, что у вас полно свободного времени и вы можете просто так разгуливать по дому, приставая к другим с необоснованными замечаниями.

— Мисс Кентон, если вам хоть на миг показалось, будто у меня полно свободного времени, это яснее ясного свидетельствует о вашей великой неопытности. Надеюсь, впоследствии вы составите более четкое представление о том, что происходит в таких домах, как этот.

— Вы постоянно твердите о моей «великой неопытности», мистер Стивенс, а между тем, видимо, не в состоянии найти в моей работе никаких упущений. В противном случае, не сомневаюсь, уже давно бы указали мне на них и долго об этом распространялись. А сейчас у меня полным-полно дел, и я бы попросила вас не ходить за мной по пятам и не приставать с подобными указаниями. Если у вас столько свободного времени, лучше бы пошли погуляли на свежем воздухе — это куда полезнее.

Она обошла меня и устремилась по коридору, стуча каблуками. Сочтя за благо не углублять конфликта, я отправился своим путем и почти дошел до кухонной двери, когда услышал за спиной бешеную дробь нагоняющих меня шагов.

— И вообще, мистер Стивенс,— крикнула она,— я бы попросила вас отныне не обращаться ко мне непосредственно.

— То есть как, мисс Кентон?

— Если вам понадобится что-нибудь мне передать, извольте делать это через третьих лиц. Или соблаговолите написать записку и мне отослать. Уверена, это значительно упростит наши рабочие взаимоотношения.

— Мисс Кентон...

— Я страшно занята, мистер Стивенс. Записка, если в двух словах о деле не скажешь. Остальное соблаговолите передавать через Марту, или Дороти, или кого-нибудь из лакеев, которого сочтете надежным. А теперь я должна вернуться к работе, а вы гуляйте себе дальше по дому.

Как ни раздражало меня поведение мисс Кентон, я тогда не мог позволить себе много думать о ней: уже прибыли первые гости. Зарубежных участников ожидали через два-три дня, но джентльмены, которых его светлость именовал «нашей командой» — два советника Министерства иностранных дел, действовавших сугубо «неофициально», и сэр Дэвид Кардинал,— приехали пораньше, чтобы наилучшим образом «подготовить почву». Как всегда, от меня почти ничего не скрывали, я свободно входил в комнаты, где упомянутые джентльмены вели увлеченные дебаты, и потому, сам того не желая, получил представление об общей атмосфере, определявшей данный этап работы. Его светлость и коллеги, понятно, стремились как можно обстоятельней обменяться мнениями о каждом из предполагаемых участников; в основном, однако, всех их тревожила одна личность — мсье Дюпон, джентльмен из Франции, и его вероятные симпатии и антипатии. Как-то раз я вошел, кажется, в курительную и услышал слова одного из джентльменов:

— Поймите, судьба Европы и в самом деле может зависеть от того, сумеем ли мы переубедить Дюпона по данному вопросу.

В самый разгар этих предварительных обсуждений его светлость поручил мне одно дело, настолько необычное, что я и по сей день храню его в памяти наряду с другими действительно незабываемыми происшествиями, случившимися в ту выдающуюся неделю. Лорд Дарлингтон вызвал меня к себе в кабинет, и я сразу увидел, что он волнуется. Он сидел за своим письменным столом и, как обычно обратившись за помощью к книге — на сей раз к справочнику «Кто есть кто»,— бесцельно перелистывал страницы.

— А, Стивенс,— начал он с напускным безразличием, но тут же, похоже, растерялся и замолк. Я стоял, поджидая удобного случая вывести его из затруднения. Его светлость немного потыкал пальцем в страницу и произнес:

— Стивенс, я понимаю, что это несколько необычная просьба.

— Сэр?

— Просто сейчас столько важных дел навалилось, что до всего руки не доходят.

— Буду рад оказаться полезным, сэр.

— Не хотелось бы мне говорить на эту тему, Стивенс. Я понимаю, у вас самого дел сейчас невпроворот. Но просто не представляю, как выпутаться.

Я промолчал, а лорд Дарлингтон снова погрузился в «Кто есть кто». Потом он сказал, не подымая глаз:

— Полагаю, вам знакомы... реальности жизни.

— Сэр?

— Реальности жизни, Стивенс. Отношения полов. Ну, птички там всякие, пчелки. Знакомы, не правда ли?

— Боюсь, я не понял, сэр.

— Ладно, Стивенс, раскрою карты. Сэр Дэвид — мой старый друг. Сыграл неоценимую роль в организации нынешней конференции. Без него, смею сказать, мы бы не уговорили мсье Дюпона приехать.

— Несомненно, сэр.

— Однако же, Стивенс, сэр Дэвид — человек не без странностей. Да вы и сами могли заметить. Он привез с собой сына, Реджинальда. В качестве секретаря. Закавыка в том, что он обручен и скоро женится. Я говорю о юном Реджинальде.

— Да, сэр.

— Сэр Дэвид вот уже пять лет порывается объяснить сыну реальности жизни. Молодому человеку уже двадцать три.

— Да, сэр.

— Перехожу к делу, Стивенс. Мне довелось стать крестным отцом этого юнца. Вот сэр Дэвид и попросил — меня — объяснить юному Реджинальду, что к чему.

— Да, сэр.

— Сам сэр Дэвид пасует перед этой задачей, боится, что так и не справится с ней до свадьбы Реджинальда.

— Да, сэр.

— А я, Стивенс, чертовски занят. Уж кому об этом и знать, как не сэру Дэвиду, но он таки все равно попросил меня.

Его светлость замолк и уставился в справочник.

— Правильно ли я понял, сэр,— спросил я,— что вы желаете, чтобы я проинструктировал молодого джентльмена?

— Если вы не против, Стивенс. У меня груз с души свалится. Сэр Дэвид пристает ко мне буквально каждую минуту, спрашивает, сделал я это или нет.

— Понимаю, сэр. В нынешних обстоятельствах это, должно быть, очень вам докучает.

— Разумеется, Стивенс, это совсем не входит в ваши обязанности.

— Постараюсь исполнить, сэр. Правда, подыскать подходящее время для соответствующей беседы может оказаться довольно сложно.

— Буду весьма благодарен, Стивенс, если вы хотя бы попытаетесь. С вашей стороны это очень мило. И послушайте, не стоит с ним разводить турусы на колесах. Объясните ему, что и как,— и дело с концом. Чем проще, тем лучше, вот вам мой совет, Стивенс.

— Да, сэр. Не пожалею усилий.

— Огромнейшее спасибо, Стивенс. И держите меня в курсе.

Легко догадаться, что этой просьбой я был несколько ошарашен и в нормальных условиях не спеша бы ее обдумал. Но поскольку сие поручение свалилось на меня в самый разгар напряженной работы, я не мог себе позволить чрезмерно отвлекаться, а потому решил с ним покончить при первом удобном случае. Припоминаю, что всего через час после того, как мне поручили это дело, я увидел в библиотеке молодого мистера Кардинала. Он был один, сидел за столиком и изучал какие-то бумаги. Приглядевшись к юному джентльмену, можно было понять, как понял и я, всю сложность ситуации, в которой пребывал его светлость, не говоря о родителе юного джентльмена. Крестник хозяина производил впечатление серьезного ученого юноши, на лице его читалось много достоинств; принимая, однако, во внимание тему предстоящей беседы, предпочтительней, конечно, было бы иметь дело с более беспечным, даже легкомысленным молодым человеком. Тем не менее, настроенный довести дело до победного конца как можно скорее, я вошел в библиотеку и, остановившись в двух шагах от столика, за которым работал мистер Кардинал, кашлянул.

— Прошу прощения, сэр, но я к вам с поручением.

— Вот как? — живо откликнулся мистер Кардинал, поднимая глаза от бумаг.— От отца?

— Да, сэр. То есть фактически.

— Минуточку.

Молодой человек наклонился к стоявшему на полу портфелю и извлек оттуда карандаш и блокнот.

— Выкладывайте, Стивенс.

Я снова кашлянул и заговорил самым бесстрастным голосом, на какой был способен:

— Сэр Дэвид хочет, чтобы вы знали, сэр, что дамы и господа имеют различия в нескольких важнейших отношениях.

Я, видимо, сделал паузу, чтобы сформулировать про себя следующую фразу, потому что мистер Кардинал вздохнул и сказал:

— Это-то мне известно, Стивенс, и еще как. Давайте-ка к делу.

— Известно, сэр?

— Отец меня постоянно недооценивает. Я много читал и изучил проблему в целом и в частностях.

— В самом деле, сэр?

— Последний месяц я, можно сказать, только об этом и думаю.

— Понимаю, сэр. В таком случае в данном мне поручении, вероятно, не было особенной надобности.

— Можете успокоить отца, что я прекрасно осведомлен. Этот вот портфель,— он ткнул в него носком ботинка,— битком набит заметками о всех сторонах проблемы, какие можно себе представить.

— В самом деле, сэр?

— Да, по-моему, я проиграл все возможные варианты. Так что ступайте успокойте отца.

— Не премину, сэр.

Напряжение, видимо, слегка отпустило мистера Кардинала. Он еще раз лягнул портфель, от которого я все время отводил взгляд, и произнес:

— Вы, наверно, задавались вопросом, почему я всегда держу его при себе. Теперь будете знать. Вдруг бы он попал в чужие руки — представляете?

— Возникло бы весьма щекотливое положение, сэр.

— Впрочем,— сказал он, внезапно выпрямляясь в кресле,— разве что отцу пришел в голову какой-то совершенно новый фактор, который, по его мнению, я должен осмыслить.

— Не думаю, сэр.

— Нет? Дополнительных сведений об этом Дюпоне не поступало?

— Боюсь, что нет, сэр.

Я с огромным трудом скрыл овладевшее мной отчаяние, обнаружив, что задача, которую я считал почти что решенной, на самом деле стоит передо мной во всей своей неприступности. Кажется, я как раз собирался с мыслями для нового приступа, но тут молодой человек вдруг вскочил и сказал, прижимая портфель к груди:

— Ну ладно, пойду-ка я подышу свежим воздухом. Спасибо за помощь, Стивенс.

Я намеревался безотлагательно провести с мистером Кардиналом новое собеседование, но к этому не представилось случая, главным образом, потому, что в тот же день к нам пожаловал американский сенатор мистер Льюис, которого мы ожидали только через двое суток. Я находился внизу в буфетной и составлял заказ на продукты, когда над головой у меня послышался шум, который не спутаешь ни с каким другим,— во двор въехали автомобили. Я поспешил наверх и — надо же такому случиться! — столкнулся с мисс Кентон в служебном коридоре, разумеется, том самом, где произошла наша последняя размолвка. Это неудачное совпадение, возможно, и побудило ее с детским упрямством настаивать на том, о чем она заявила в прошлый раз. Ибо когда я поинтересовался, кто приехал, мисс Кентон бросила на ходу:

— Через третьих лиц или запиской, мистер Стивенс, если дело не терпит.

Очень, очень досадно, но выбора у меня, разумеется, не оставалось — я должен был спешить наверх.

Мистер Льюис вспоминается мне как весьма дородный джентльмен, с лица которого почти не исчезала добродушная улыбка. Преждевременное его появление причинило очевидные неудобства его светлости и коллегам — они рассчитывали побыть одни еще день-другой, чтобы все подготовить. Однако же обаятельная непринужденность мистера Льюиса

и произнесенная им за обедом фраза о том, что Соединенные Штаты «неизменно стоят на стороне справедливости и готовы признать, что в Версале были допущены ошибки», в немалой, видимо, степени помогли ему снискать доверие у «нашей команды». За обедом разговор о достоинствах Пенсильвании, родного штата мистера Льюиса, медленно, но верно возвращался к предстоящей конференции. Когда же джентльмены достали сигары, то пошли высказывания, так же мало предназначенные для чужих ушей, как и соображения, звучавшие за столом до приезда мистера Льюиса. Тут-то мистер Льюис и произнес:

— Да, господа, наш мсье Дюпон человек непредсказуемый. Но позвольте заметить, что в одном отношении можно держать пари, не рискуя остаться внакладе.— Тут американец подался вперед и махнул сигарой, чтобы привлечь внимание.— Дюпон ненавидит немцев. Ненавидел еще до войны и ненавидит теперь, да так, что вам, господа, этого просто не понять.— С этими словами мистер Льюис снова откинулся на спинку кресла, и на лице у него заиграла привычная добродушная улыбка.— Но согласитесь,— продолжал он,— трудно винить француза за ненависть к немцам. В конце концов у француза на это хватает причин.

И мистер Льюис обвел взглядом стол, за которым воцарилось легкое замешательство. Потом лорд Дарлингтон заметил:

— Известная горечь тут, естественно, неизбежна. Но ведь и мы, англичане, мы тоже упорно и долго воевали с Германией.

— Но вы, англичане, кажетесь мне другими в том смысле,— сказал мистер Льюис,— что, в сущности, больше не питаете к немцам ненависти. Однако французы считают, что немцы уничтожили вашу европейскую цивилизацию и поэтому заслужили любую самую страшную кару. Конечно, нам в Соединенных Штатах такой подход представляется непрактичным, но чему я не перестаю удивляться, так это отчего вы, англичане, не заодно с французами. В конце концов, как вы сами сказали, Британия тоже понесла в войне большие потери.

Снова последовало неловкое молчание, после чего сэр Дэвид довольно неуверенно возразил:

— Мы, англичане, нередко расходимся с французами во взглядах на такие вопросы, мистер Льюис.

— Понятно. Так сказать, различие в национальных темпераментах.

При этих словах улыбка мистера Льюиса сделалась еще шире. Он молча кивнул, словно подтверждая, что теперь ему многое стало ясно, и затянулся сигарой. Задним числом, вероятно, кое-что вспоминается теперь по-другому, но у меня твердое ощущение, что именно в ту минуту я уловил в обаятельном американском джентльмене некую странность, может быть, двуличие. Если у меня, однако, в ту минуту и родились подозрения, лорд Дарлингтон, судя по всему, их не разделял, ибо после очередной неловкой паузы его светлость, похоже, пришел к определенному решению.

— Мистер Льюис,— произнес он,— позвольте высказаться начистоту. Тут, в Англии, у большинства из нас нынешняя французская позиция вызывает презрение. Можете называть это различием в национальных темпераментах, но я рискну утверждать, что речь идет о вещах посерьезней. Негоже злобствовать на противника после того, как конфликт исчерпан. Уложили его на обе лопатки — и схватке конец. Поверженного врага не бьют ногами. С нашей точки зрения, французы ведут себя все более варварски.

Мистер Льюис, видимо, не без удовлетворения выслушал эту тираду. Пробормотав что-то одобрительное, он одарил всех сидящих довольной улыбкой сквозь густое облако табачного дыма, висевшее над столом.

Наутро прибыли две дамы из Германии — тоже раньше, чем их ожидали. Они ехали вместе, несмотря на бросающуюся в глаза разницу в происхождении и общественном положении, и привезли с собой внушительную команду горничных и лакеев, не считая горы чемоданов. Во второй половине дня пожаловал джентльмен из Италии в сопровождении камердинера, секретаря, «эксперта» и двух телохранителей. Не представляю, что́

этот джентльмен мог думать о нашей стране, раз прихватил этих последних, но, должен сказать, довольно дико было видеть в Дарлингтон-холле двух молчаливых громил, которые всегда околачивались в нескольких ярдах от того места, где в данный момент находился итальянский джентльмен, и подозрительно косились по сторонам. Как потом, кстати, выяснилось, телохранители работали посменно: кто-то из них днем спал в самое неурочное время, с тем чтобы ночью у хозяина оставался хотя бы один бодрствующий страж. Едва узнав про эти меры предосторожности, я попытался сообщить о них мисс Кентон, но она снова отказалась вступать в разговор, и мне, дабы довести дело до конца, пришлось-таки написать ей записку и подсунуть под дверь гостиной.

На другой день приехали новые гости, и, хотя до открытия конференции оставалось целых двое суток, Дарлингтон-холл оказался набит людьми разных национальностей; они разбредались по комнатам и беседовали или бесцельно бродили по холлу, коридорам и лестничным площадкам, разглядывая картины и предметы старины. Друг с другом гости были неизменно предупредительны, однако на этой стадии воздух в доме как бы пропитался напряженностью, порожденной большей частью взаимным недоверием. Заразившись беспокойством хозяев, приезжие слуги и камердинеры поглядывали друг на друга явно неприветливо, и мои подчиненные были, пожалуй, только рады, что работа не оставляет им времени на общение с чужаками.

В один из таких дней, когда меня рвали на части со всякими делами и просьбами, я случайно глянул в окно и заметил юного мистера Кардинала — тот прогуливался на свежем воздухе, как всегда, при портфеле. Молодой человек медленно шел по дорожке вокруг лужайки, погруженный в глубокое раздумье. Одинокая эта фигура, конечно, напомнила мне о поручении его светлости, и я прикинул, что открытый воздух, непосредственная близость к природе и, в частности, пасущиеся неподалеку гуси, которые годятся в качестве примера,— неплохая обстановка для того, чтобы провести порученный разговор. Я даже сообразил, что если, не теряя времени, выскочить из дома и укрыться за пышным кустом рододендрона у дорожки, то мистер Кардинал как раз пройдет мимо. Тогда я смогу выступить из-за укрытия и исполнить порученное. Допускаю, что мой стратегический план не отличался особой тонкостью, но прошу принять во внимание, что и стоявшая передо мной задача, хотя, конечно, важная, в то время едва ли могла считаться первоочередной.

Почву и листву на кустах и деревьях прихватило легким инеем, но для этой поры день выдался мягкий. Я быстро пересек лужайку, схоронился за кустом и вскоре услышал шаги мистера Кардинала. К несчастью, я немного ошибся в расчетах. Я собирался выйти из-за куста, когда мистер Кардинал будет еще на подходе, с тем чтобы он меня заблаговременно увидел и решил, что я направляюсь к беседке, а может, и к домику садовника. Я бы в свою очередь сделал вид, будто только что его заметил, и затеял непринужденный разговор. Получилось, однако, так, что я затянул с выходом и, боюсь, несколько испугал юного джентльмена, который отпрянул и обеими руками прижал к груди портфель.

— Виноват, сэр.

— О Господи, Стивенс! Как вы меня напугали! Я было подумал, что обстановка у нас накаляется.

— Виноват, сэр. Но дело в том, что мне нужно вам кое-что передать.

— О Господи, ну и напугали же вы меня.

— С вашего позволения, сэр, я сразу перейду к существу дела. Извольте обратить внимание вон на тех гусей.

— Гусей? — Он удивленно огляделся.— Да, вижу. Действительно, гуси.

— А также на цветы и кустарник. Сейчас, понятно, не самое подходящее время года, чтобы любоваться их красотой, но вы понимаете, сэр, что с наступлением весны повсюду вокруг мы сможем наблюдать перемены — перемены особого свойства.

— Да, разумеется, у поместья сейчас не лучший вид. Но если начистоту, Стивенс, я не очень-то обращал внимание на красоты природы. Тут у нас неприятности. Этот мсье Дюпон прибыл в самом гнусном настроении. Этого нам только не хватало!

— Мсье Дюпон прибыл, сэр?

— С полчаса назад. И в прескверном расположении духа.

— Простите, сэр, но мне нужно немедленно им заняться.

— Разумеется, Стивенс. Что ж, с вашей стороны, было очень любезно выйти со мной поболтать.

— Великодушно простите, сэр. Дело в том, что я бы сказал вам еще пару слов на тему, как вы изволили выразиться, красот природы. Если б вы соблаговолили меня послушать, я был бы вам очень признателен. Но боюсь, что с этим придется повременить до другого подходящего случая.

— Что ж, буду с нетерпением ждать этого разговора, Стивенс. Хотя сам я, скорее, по рыбной части. О рыбе я знаю все, и о морской, и о пресноводной.

— Для нашей предстоящей беседы, сэр, все живые твари годятся. Однако прошу меня великодушно простить. Я и не знал, что мсье Дюпон уже прибыл.

Я заторопился в дом, где меня сразу перехватил старший лакей, сообщивший:

— Мы вас обыскались, сэр. Приехал французский джентльмен.

Мсье Дюпон оказался высоким изящным джентльменом с седой бородкой и при монокле. Он прибыл в платье того типа, какое часто видишь на джентльменах с континента, когда они отдыхают, а он и в самом деле все время, что у нас прогостил, старательно делал вид, будто приехал в Дарлингтон-холл исключительно с одной целью: отдохнуть и пообщаться с приятелями. Как справедливо отметил мистер Кардинал, мсье Дюпон прибыл не в лучшем расположении духа. Теперь уж и не припомню всего, что раздражало его с той самой минуты, как он ступил на английскую землю несколькими днями раньше; там было много чего, но главное — он стер ноги, гуляя по Лондону, и теперь опасался, что на потертости попала инфекция. Я адресовал его камердинера к мисс Кентон, но это не помешало мсье Дюпону через каждые два-три часа вызывать меня как простого лакея и требовать:

— Дворецкий! Еще бинтов.

Настроение у него, по-видимому, значительно улучшилось, когда он встретился с мистером Льюисом. Они с американским сенатором поздоровались как старые приятели и до конца дня были неразлучны, смеялись, вспоминали случаи из прошлого. Было заметно, что почти беспрерывная опека мистера Льюиса над мсье Дюпоном причиняет серьезные неудобства лорду Дарлингтону, который по понятным соображениям стремился установить с этим важным джентльменом тесные личные контакты еще до начала дебатов. Я своими глазами видел, как его светлость несколько раз предпринимал попытки отвести мсье Дюпона в сторонку, чтобы поговорить без свидетелей, но тут же появлялся мистер Льюис со своей неизменной улыбкой, произносил что-нибудь вроде: «Прошу прощения, господа, но я никак не могу понять...» — и его светлость обнаруживал, что ему приходится выслушивать очередную порцию забавных историй из репертуара мистера Льюиса. Однако, не считая мистера Льюиса, все прочие гости, то ли из страха, то ли от неприязни, сторонились мсье Дюпона; это бросалось в глаза даже в общей атмосфере настороженности и только усиливало ощущение, что от мсье Дюпона одного и зависит исход предстоящих переговоров.

Конференция открылась дождливым утром в последнюю неделю марта 1923 года; местом ее проведения выбрали не совсем подходящую для этих целей гостиную, приноравливаясь к «неофициальному» статусу многих участников. Надо сказать, что, на мой взгляд, от этой игры в неофициальность начало уже отдавать нелепицей. Как-то странно было видеть в сугубо дамской гостиной такое множество суровых джентльменов в темных пид-

жаках; им зачастую приходилось сидеть втроем или вчетвером на одном диване; но некоторые из присутствующих так усердно изображали обычный светский прием, что даже умудрились разложить на коленях раскрытые журналы и газеты.

В то первое утро мне по долгу службы приходилось все время входить и выходить из гостиной, так что я не имел возможности следить за происходящим от начала до конца. Но я помню, как лорд Дарлингтон открыл конференцию, приветствовал гостей, а после этого обрисовал настоятельную нравственную необходимость смягчить различные статьи Версальского договора и сделал упор на огромных страданиях, которые сам наблюдал в Германии. Я, конечно, и раньше часто слышал от его светлости аналогичные высказывания, но перед этим высоким собранием он говорил со столь искренней верой в свою правоту, что его слова взволновали меня, словно я внимал им впервые. Затем выступил сэр Дэвид Кардинал; речь его, большую часть которой я пропустил, была посвящена в основном технической стороне вопроса и, честно признаться, оказалась выше моего разумения. Однако общая ее суть, по-моему, сводилась к тому же, о чем говорил его светлость; сэр Дэвид закончил призывом к замораживанию германских репараций и выводу французских войск из Рура. Потом взяла слово немецкая графиня, но в эту минуту, не помню, в связи с чем, мне пришлось надолго уйти из гостиной. Когда я вернулся, начались уже прения; говорили преимущественно о торговле и процентных ставках, в которых я ничего не понимал.

Насколько я мог наблюдать, мсье Дюпон не принимал участия в прениях, а по его угрюмому виду трудно было сказать, слушает ли он выступающих или погружен совсем в другие мысли. Помнится, когда мне случилось покинуть гостиную посреди выступления одного из немецких джентльменов, мсье Дюпон вдруг поднялся и вышел следом.

— Дворецкий,— произнес он, едва мы оказались в холле,— нельзя ли устроить, чтобы мне перебинтовали ноги? Так больно, что я уже не воспринимаю, о чем говорят эти господа.

Вспоминаю, что я послал мисс Кентон призыв о помощи — естественно, с курьером,— и оставил мсье Дюпона в бильярдной дожидаться сиделки, когда по лестнице торопливо спустился перепуганный старший лакей с сообщением, что отцу стало плохо на втором этаже.

Я поспешил наверх и, повернув с площадки, увидел необычную картину. В дальнем конце коридора, перед большим окном, за которым стоял дождливый серый день, четко вырисовывалась фигура отца, замершего в странной позе и словно совершавшего некий церемониальный обряд. Он опустился на одно колено и склонил голову; казалось, он подталкивает стоящую перед ним тележку, которая почему-то упрямо не двигается. Две горничные стояли на почтительном удалении от него, с ужасом взирая на эти усилия. Я подошел к отцу, разжал пальцы, которыми он цеплялся за край тележки, и опустил его на ковер. Глаза у него были закрыты, лицо мертвенно-бледное, на лбу выступили капельки пота. Послали за слугами, прикатили инвалидное кресло, и отца доставили в его комнату.

После того как отца уложили в постель, я растерялся, не зная, как поступить. С одной стороны, мне не хотелось бы оставлять отца в таком положении, с другой — я больше не мог терять ни минуты. Пока я нерешительно топтался в дверях, появилась мисс Кентон. Она заявила:

— Мистер Стивенс, в данный момент у меня чуть больше времени, чем у вас. Если угодно, я посижу с вашим отцом. Я провожу к нему доктора Мередита и дам вам знать, если доктор найдет что-то серьезное.

— Спасибо, мисс Кентон,— ответил я и ушел.

Когда я вернулся в гостиную, какой-то священник рассказывал, как страдают бедные берлинские дети. Меня ждали: требовалось снова налить гостям чай или кофе, чем я незамедлительно и занялся. Некоторые джентльмены, как я заметил, пили спиртное, а один или двое закурили, несмотря на присутствие дам. Помнится, я как раз выходил из гостиной с пустым чайником, когда меня остановила мисс Кентон. Она сообщила:

— Мистер Стивенс, доктор Мередит сейчас уезжает.

Не успела она закончить, как я увидел в холле доктора, который надевал макинтош и шляпу, и подошел к нему все с тем же чайником в руке. Доктор сердито на меня посмотрел.

— Ваш отец не очень хорош,— сказал он.— Если станет хуже, немедленно вызывайте меня.

— Да, сэр. Благодарю вас, сэр.

— Сколько лет отцу, Стивенс?

— Семьдесят два, сэр.

Доктор Мередит подумал и повторил:

— Если станет хуже, немедленно вызывайте меня.

Я еще раз поблагодарил и проводил доктора до дверей.

В тот же вечер, перед самым обедом, я нечаянно услышал разговор между мистером Льюисом и мсье Дюпоном. Мне зачем-то понадобилось подняться в комнату мсье Дюпона. Я хотел постучать, но сперва, по своему обыкновению, остановился и прислушался, чтобы, не дай Бог, не явиться в самый неподходящий момент. Для вас эта маленькая предосторожность — дело, может, и непривычное, но я к ней всегда прибегаю и готов ручаться, что ею широко пользуются лица многих профессий. То есть это никакая не уловка, и лично я совсем не собирался подслушивать столько, сколько пришлось в тот вечер. Однако судьба распорядилась иначе. Приложив ухо к дверям мсье Дюпона, я услышал голос мистера Льюиса; не припомню, какие слова первыми до меня донеслись, но интонация, с какой их произнесли, заставила меня насторожиться. Я слышал все тот же неторопливый сердечный голос, которым американский джентльмен успел со дня приезда многих обворожить, однако на сей раз в интонациях этого голоса безошибочно угадывался некий тайный умысел. Это открытие наряду с тем фактом, что мистер Льюис находился в комнате у мсье Дюпона и, вероятно, обращался именно к этому столь жизненно важному для успеха конференции лицу, удержало мою руку и побудило прислушаться.

Двери у спален в Дарлингтон-холле довольно толстые, так что услышать разговор полностью я, разумеется, не мог; по этой причине мне трудно сейчас передать, что именно я услышал, как, впрочем, трудно было и тогда, когда вечером того же дня я докладывал об этом случае его светлости. Тем не менее это вовсе не значит, что я не получил достаточно ясного впечатления о происходившем за дверями комнаты мсье Дюпона. Американский джентльмен фактически утверждал, что лорд Дарлингтон и другие участники конференции «обрабатывают» мсье Дюпона; что последнего специально просили приехать к самому началу, чтобы остальные успели до его приезда обсудить важные проблемы; что даже после его прибытия можно было наблюдать, как его светлость проводит краткие собеседования один на один с наиболее влиятельными делегатами за спиной у мсье Дюпона. После этого мистер Льюис пустился пересказывать отдельные замечания, которые слышал от его светлости и других гостей за обедом в первый же день по прибытии в Дарлингтон-холл.

— Если уж совсем откровенно, сэр,— говорил мистер Льюис,— меня ужаснуло их отношение к вашим соотечественникам. Они употребляли такие слова, как «презрение» и «все более варварски». Да, да, я их записал в дневнике всего несколько часов спустя.

Мсье Дюпон бросил в ответ короткую фразу, которую я не расслышал, и мистер Льюис продолжал:

— Позвольте сказать вам, сэр, что я был в ужасе. Разве можно так отзываться о союзнике, вместе с которым всего несколько лет назад сражался плечом к плечу?

Сейчас уже и не помню, постучался я в конце концов или нет; учитывая тревожный характер услышанного, я, вероятней всего, посчитал нужным удалиться. Во всяком случае, я ушел раньше — как мне вскоре пришлось объяснять его светлости,— чем услышал что-нибудь, что позволяло судить об отношении мсье Дюпона к речам мистера Льюиса.

На другой день дискуссия в гостиной, судя по всему, разгорелась

с новой силой, а перед ленчем острые реплики так и сыпались со всех сторон. У меня сложилось впечатление, что высказывания приобрели обвинительный характер и все решительнее и непосредственней адресовались креслу, где восседал мсье Дюпон, теребя бородку и отмалчиваясь. Всякий раз, как объявляли перерыв, я замечал — и его светлость, разумеется, тоже, и не без тревоги,— что мистер Льюис мигом уводил мсье Дюпона в какой-нибудь уголок и они начинали о чем-то вполголоса совещаться. Я хорошо помню, как однажды, сразу после завтрака, застал обоих джентльменов украдкой беседующими в дверях библиотеки, и мне определенно показалось, что, заметив меня, они тут же умолкли.

Тем временем отцу не было ни лучше и ни хуже. Насколько я понял, он большей частью спал; спящим я его и находил, когда, выкроив минутку, поднимался в его комнатушку под крышей. Первая возможность с ним перемолвиться выпала мне только к вечеру на второй день после того, как он снова слег.

Отец и на этот раз спал, когда я вошел. Но горничная, которую мисс Кентон прислала сидеть с ним, завидев меня, встала и принялась трясти его за плечо.

— Вот глупая! — воскликнул я.— Немедленно перестань!

— Мистер Стивенс наказал его разбудить, сэр, если вы придете.

— Пусть спит. Переутомление — оно его и уложило.

— Он непременно велел, сэр,— ответила девушка и снова потрясла отца за плечо.

Отец открыл глаза, повернул голову на подушке и поглядел на меня.

— Надеюсь, папеньке уже полегчало,— сказал я.

Он помолчал, не сводя с меня взгляда, и спросил:

— Внизу все под присмотром?

— Положение довольно сложное. Сейчас самое начало седьмого, так что папенька вполне может представить, что творится на кухне.

По лицу отца пробежала досада.

— Но все под присмотром? — переспросил он.

— Да, об этом, смею сказать, можно не беспокоиться. Я счастлив, что папеньке полегчало.

Он медленно вытащил руки из-под одеяла и погасшим взглядом уставился на тыльные стороны кистей. Так продолжалось какое-то время.

— Я счастлив, что папеньке основательно полегчало,— наконец повторил я.— А теперь мне нужно спускаться. Как я сказал, положение довольно сложное.

Он еще поразглядывал руки, а потом произнес:

— Надеюсь, я был тебе хорошим отцом.

Я улыбнулся и сказал:

— Как я рад, что тебе уже полегчало.

— Я горжусь тобой. Хороший сын. Надеюсь, я был тебе хорошим отцом. Хотя навряд ли.

— К сожалению, сейчас у нас масса дел, но утром мы сможем поговорить.

Отец по-прежнему разглядывал руки, словно они чем-то ему досаждали.

— Как я рад, что тебе уже полегчало,— повторил я и ушел.

Спустившись, я застал на кухне форменный ад, а весь персонал в состоянии крайнего напряжения. Однако я с удовольствием вспоминаю, что, когда через час с небольшим был подан обед, моя команда проявила чудеса расторопности и профессиональной невозмутимости.

Великолепная банкетная зала во всем ее блеске — зрелище всегда достопамятное, и тот вечер не был в этом отношении исключением. Правда, сплошные ряды облаченных в вечерние костюмы джентльменов, решительно подавляющих своим числом представительниц прекрасного пола, производили довольно мрачное впечатление; но, с другой стороны, в двух огромных люстрах, висящих над столом, тогда еще горел газ, дававший приглушенное, очень мягкое освещение,— не то что сейчас, когда провели

электричество и люстры заливают помещение ярким, слепящим светом. За этим вторым и последним обедом участников конференции — большинство намеревалось разъезжаться после ленча на другой день — гости почти совсем избавились от скованности, которая бросалась в глаза на протяжении всех предыдущих дней: застольный разговор стал оживленней и громче, да и наполнять бокалы нам приходилось все чаще и чаще. В завершение обеда, организовать который с профессиональной точки зрения было довольно несложно, его светлость встал и обратился к гостям.

Для начала он поблагодарил всех присутствующих в связи с тем, что на протяжении этих двух дней дискуссии, «хотя временами и отличались бодрящей откровенностью», велись в духе дружбы и стремления узреть торжество добра. В эти дни все присутствующие оказались свидетелями такого единения, на которое он не смел и надеяться; на предстоящем утром «подведении итогов», он уверен, каждый из участников конференции возьмет на себя обязательства предпринять определенные шаги в преддверии важной международной конференции в Женеве. После этого (не знаю, было ли так первоначально задумано) его светлость пустился в воспоминания о своем покойном друге герре Карле-Хайнце Бремане, что вышло не совсем кстати; его светлость был склонен подолгу распространяться на эту тему, ибо принимал ее близко к сердцу. Следует, видимо, упомянуть, что лорд Дарлингтон никогда не был, как говорится, прирожденным оратором, и вскоре легкий шум нетерпения, верный признак того, что аудитория устала слушать, начал усиливаться, распространяясь по всей зале. Хуже того, когда лорд Дарлингтон наконец призвал гостей встать и выпить за «мир и справедливость в Европе», уровень этого шума — возможно, по причине весьма щедрого принятия спиртных напитков — едва не перешел, на мой взгляд, границы всякого приличия.

Гости снова уселись, и общий разговор возобновился, но тут раздался властный стук костяшками пальцев о столешницу, и мсье Дюпон встал во весь рост. Зала разом притихла. Достойный джентльмен окинул публику почти что суровым взглядом и произнес:

— Надеюсь, я не посягаю на право, предоставленное кому-нибудь из здесь присутствующих, но я пока что не слышал, чтобы кто-нибудь предложил поднять бокал за здоровье нашего хозяина, достопочтенного и любезного лорда Дарлингтона.

Послышался одобрительный шепот. Мсье Дюпон продолжал:

— За последние дни в этих стенах было сказано много интересного. И много важного.

Он сделал паузу, и в зале воцарилась гробовая тишина.

— Много было сказано и такого,— продолжал он,— что косвенно или иным образом есть критика — и это еще не самое сильное слово,— критика внешней политики моей страны.— Он снова сделал паузу, с мрачным, можно даже сказать — рассерженным видом.— За два дня мы выслушали несколько глубоких и проницательных обзоров нынешней весьма сложной европейской ситуации. Но ни в одном из обзоров, позволю себе заметить, не было полного понимания причин, объясняющих позицию, занятую Францией по отношению к соседнему государству. Однако,— он поднял палец,— теперь не время об этом спорить. В сущности, я все эти дни сознательно не вступал в споры, потому что приехал сюда, главным образом, слушать. Поэтому разрешите сказать, что некоторые услышанные здесь доводы произвели на меня впечатление. Но какое? — можете вы спросить.— Мсье Дюпон сделал очередную паузу, почти лениво обвел взглядом обращенные к нему лица и наконец продолжал: — Господа — и дамы, прошу прощения,— я много думал об этой проблеме и хотел бы вам доверительно заявить, что хотя между мной и многими из присутствующих остаются расхождения в понимании того, что в настоящее время происходит в Европе, да, несмотря на это, я убежден, господа, *убежден* в справедливости и осуществимости основных предложений, которые обсуждались в этих стенах.

Стол вздохнул, как мне показалось, одновременно и с облегчением,

и с торжеством, но на сей раз мсье Дюпон чуть повысил голос и перекрыл шум:

— Я рад заверить присутствующих в том, что использую все мое скромное влияние, дабы содействовать определенным переменам во французской политике в согласии со многим здесь сказанным. И постараюсь сделать это заблаговременно, до начала Швейцарской конференции.

Последовали аплодисменты. Я заметил, как его светлость и сэр Дэвид обменялись взглядами. Мсье Дюпон поднял руку, то ли благодаря за аплодисменты, то ли кладя им конец.

— Но прежде чем поднять тост за нашего хозяина, лорда Дарлингтона, мне бы хотелось снять с души небольшой груз. Кто-то, возможно, скажет, что снимать груз с души за обеденным столом несовместимо с хорошим тоном.— Оживление и смех в зале.— Я, однако, сторонник откровенности в таких делах. Как существует необходимость официально поблагодарить лорда Дарлингтона, который нас здесь собрал и без кого не возник бы нынешний дух согласия и доброй воли, так существует, я полагаю, и необходимость открыто осудить всякого, кто прибыл сюда злоупотреблять гостеприимством хозяина и тратить силы лишь на разжигание взаимного недовольства и подозрительности. Такие персоны не только вызывают отвращение в глазах общества, но и представляют исключительную опасность в нынешней обстановке.

Он опять замолчал, и воцарилась гробовая тишина. Потом заговорил, спокойно и четко:

— В отношении мистера Льюиса у меня всего один вопрос. В какой мере его гнусное поведение отражает позицию нынешней американской администрации? Дамы и господа, позвольте мне самому попытаться ответить, ибо от господина, способного, как показали эти несколько дней, на столь черный обман, не приходится ждать правдивого ответа. Так что я рискну предложить собственную версию. Америка, разумеется, обеспокоена тем, как мы будем платить ей долги в случае замораживания германских репараций. Но за последние месяцы мне довелось обсуждать эту тему с несколькими весьма высокопоставленными американцами, и у меня сложилось впечатление, что в этой стране мыслят куда дальновидней, чем можно судить по присутствующему здесь ее представителю. Те из нас, кому дорого будущее процветание Европы, с удовлетворением воспримут тот факт, что в настоящее время мистер Льюис — как бы это лучше сказать? — уже не имеет того влияния, каким пользовался раньше. Вы, возможно, сочтете, что мне не подобает говорить об этом так резко и прямо. Но на самом деле, дамы и господа, я еще проявляю снисходительность. Как видите, я умалчиваю о том, что именно рассказывал мне этот господин — *о каждом из вас*. И делал это так примитивно, так нагло и грубо, что я просто не верил собственным ушам. Но хватит уличать. Пришло время благодарить. Дамы и господа, прошу вас последовать моему примеру и поднять бокалы за лорда Дарлингтона.

Мсье Дюпон за все свое выступление ни разу не посмотрел в сторону мистера Льюиса, да и гости, выпив за его светлость и снова усевшись, старательно отводили глаза от американского джентльмена. На минуту воцарилось неловкое молчание, но тут поднялся сам мистер Льюис. На лице у него играла привычная приятная улыбка.

— Раз уж все тут выступают с речами, я тоже позволю себе взять слово,— начал он, и по тому, как он это сказал, стало ясно, что он изрядно принял.— Наш французский друг тут нагородил чепухи, но я не стану с ним спорить. На подобную болтовню я просто не обращаю внимания. Мне многие пытались нос утереть, да только, скажу я вам, мало кому удавалось.— Мистер Льюис остановился и, казалось, на миг потерял нить рассуждений, но потом опять улыбнулся и продолжал: — Как я сказал, не собираюсь я тратить время на нашего французского друга, который тут сидит. Но вообще-то у меня есть что сказать. Раз уж мы все такие откровенные, я тоже не стану темнить. Все вы, джентльмены, всего лишь, прошу прощения, компания наивных мечтателей. И если б упорно не лезли

в большие дела, от которых зависят судьбы нашего мира, так были бы просто прелесть. Взять хоть нашего радушного хозяина. Кто он? Он джентльмен, против этого, думаю, никто тут не рискнет возражать. Образцовый английский джентльмен. Порядочный, честный, исполненный лучших намерений. Но его светлость — *любитель*.— Тут он остановился и обвел взглядом стол.— Он любитель, а сегодня международная политика уже не для джентльменов-любителей, и чем скорее вы у себя в Европе это поймете, тем лучше. Вы все порядочные, исполненные лучших намерений джентльмены — а позвольте-ка вас спросить: вы хоть представляете себе, какие радикальные перемены идут сейчас по всему миру? Кончилось время, когда вы могли действовать из своих благородных побуждений. Только вы тут, в Европе, похоже, об этом и не догадываетесь. Джентльмены вроде нашего доброго хозяина все еще уверены, что их прямая обязанность — лезть в то, в чем они не смыслят. За эти дни какой только чуши я здесь не наслушался! Благородной наивной чуши. Вам тут, в Европе, требуются профессионалы, чтобы за вас дело делали. Если до вас это быстренько не дойдет, ждите катастрофы. Тост, господа. Позвольте предложить тост. За профессионализм.

Наступила оглушительная тишина, все окаменели. Мистер Льюис пожал плечами, поднял бокал, выпил и опустился на место. Почти сразу же поднялся лорд Дарлингтон.

— Я отнюдь не желаю,— сказал его светлость,— затевать пререкания в наш заключительный вечер и омрачать это радостное и торжественное событие. Но из уважения к вашим взглядам, мистер Льюис, я не считаю возможным отмахнуться от них, как от рассуждений какого-нибудь чудака оратора в Гайд-парке. Позволю себе сказать: то, что вы, сэр, называете «любительством», большинство из присутствующих, я думаю, по-прежнему предпочитают именовать «честью».

Эти слова вызвали одобрительное перешептывание, возгласы «Правильно, правильно!» и аплодисменты.

— Более того, сэр,— продолжал его светлость,— надеюсь, я хорошо представляю себе, что вы разумеете под «профессионализмом». По всей видимости, это означает — добиваться своих целей путем обмана и «обработки» людей. Это означает — ставить на первое место корысть и выгоду, а не стремление увидеть в мире торжество справедливости и добра. Если именно таков этот ваш «профессионализм», то у меня он не вызывает ни особого интереса, ни желания его обрести.

Это заявление было встречено шумным ликованием и теплыми продолжительными аплодисментами. Я увидел, как мистер Льюис улыбнулся себе в бокал и устало покачал головой. Но тут я заметил рядом старшего лакея, который шепнул мне на ухо:

— Сэр, мисс Кентон хочет с вами поговорить. Она ждет за дверью.

Я выскользнул как можно незаметней в ту минуту, когда его светлость, отнюдь не думая садиться, перешел к новому пункту своего выступления.

Вид у мисс Кентон был крайне встревоженный.

— Мистер Стивенс, вашему отцу очень плохо,— сказала она.— Я вызвала доктора Мередита, но он, как я понимаю, немного задержится.

Должно быть, лицо у меня вытянулось, потому что мисс Кентон поспешила добавить:

— Мистер Стивенс, ему и вправду очень худо. Вы бы к нему поднялись.

— Я вышел всего на секунду. Джентльмены вот-вот перейдут в курительную.

— Разумеется. Но вам, мистер Стивенс, лучше подняться, а то как бы не пришлось потом горько жалеть.

Мисс Кентон повернулась и пошла, я поспешил за ней. Мы прошли через весь дом и поднялись на чердак к отцу. У постели стояла в рабочем фартуке кухарка миссис Мортимер.

— Ох, мистер Стивенс,— сказала она, когда мы вошли,— очень уж ему худо.

И верно, лицо у отца стало какого-то тускло-красноватого цвета, я такого у живых людей не встречал. За спиной у меня мисс Кентон сказала:

— Пульс почти не прощупывается.

Я поглядел на отца, прикоснулся к его лбу и убрал руку.

— По-моему,— сказала миссис Мортимер,— его хватил удар. Мне доводилось два раза видеть такое, я вам точно говорю — это удар.

И она расплакалась. От нее жутко разило жиром и кухонным чадом. Я обернулся и сказал мисс Кентон:

— Это большое несчастье. И все-таки мне надо идти вниз.

— Ну, конечно, мистер Стивенс. Я сообщу, когда доктор приедет. Или если произойдут изменения.

— Спасибо, мисс Кентон.

Я поспешил вниз и поспел как раз к тому времени, когда джентльмены перебирались в курительную. Увидев меня, лакеи воспрянули духом, и я тут же сделал им знак разойтись по своим местам.

Не знаю, что произошло в банкетной зале после моего ухода, но сейчас гости пребывали в откровенно праздничном настроении. Джентльмены разбились на кучки по всей курительной, смеялись, хлопали друг друга по плечу. Мистер Льюис, вероятно, удалился к себе — я его не видел. Я поставил на поднос бутылку портвейна и принялся обносить гостей, протискиваясь сквозь толпу; я только что наполнил бокал какого-то джентльмена, когда сзади послышалось:

— А, Стивенс, так вы, кажется, интересуетесь рыбами?

Я обернулся и встретил лучезарную улыбку юного мистера Кардинала. Улыбнувшись в ответ, я осведомился:

— Рыбами, сэр?

— В детстве у меня был аквариум с тропическими рыбками разных пород. Прямо маленький комнатный бассейн. Послушайте, Стивенс, у вас все в порядке?

Я снова улыбнулся:

— В полном порядке, сэр, благодарю вас.

— Как вы верно заметили, мне надо бы приехать сюда весной. Весной в Дарлингтон-холле, должно быть, очень красиво. В прошлый раз я, помнится, тоже приезжал зимой. Нет, правда, Стивенс, у вас действительно все в порядке?

— В абсолютном порядке, сэр, благодарю вас.

— И чувствуете вы себя нормально?

— Совершенно нормально, сэр. Прошу прощения.

Я принялся наполнять бокал другому гостю. Сзади раздался взрыв громкого смеха, бельгийский священник воскликнул:

— Да это же настоящая ересь! Чистейшей воды! — и сам рассмеялся. Я почувствовал, как меня тронули за локоть, и, обернувшись, увидел лорда Дарлингтона.

— Стивенс, у вас все в порядке?

— Да, сэр. В полном порядке.

— У вас такой вид, словно вы плачете.

Я рассмеялся, извлек носовой платок и поспешно вытер лицо.

— Прошу прощения, сэр. Сказывается тяжелый день.

— Да, крепко пришлось поработать.

Кто-то обратился к его светлости, тот повернулся ко мне спиной, чтобы ответить. Я собирался продолжить обход, но заметил мисс Кентон, которая из холла подавала мне знаки. Я начал продвигаться к выходу, но дойти до дверей не успел — мсье Дюпон поймал меня за руку.

— Дворецкий,— сказал он,— не могли бы вы достать свежих бинтов, а то ноги у меня опять разболелись.

— Слушаюсь, сэр.

Направившись к дверям, я понял, что мсье Дюпон идет следом. Я повернулся и сказал:

— Я вернусь и разыщу вас, сэр, как только достану бинты.

— Пожалуйста, побыстрее, дворецкий. Просто сил нет терпеть.

— Слушаюсь, сэр. Весьма сожалею, сэр.

Мисс Кентон стояла в холле на том же месте, где я заметил ее из курительной. Когда я вышел, она медленно направилась к лестнице, и непривычно было, что она никуда не торопится. Потом она обернулась и произнесла:

— Мне очень жаль, мистер Стивенс. Ваш отец скончался четыре минуты назад.

— Понятно.

Она поглядела сперва на свои руки, потом на меня.

— Мне очень жаль, мистер Стивенс,— повторила она и добавила: — Не знаю, что и сказать вам в утешение.

— Не нужно ничего говорить, мисс Кентон.

— Доктор Мередит так пока и не приехал.

Она опустила голову, всхлипнула, но сразу взяла себя в руки и спросила твердым голосом:

— Вы подниметесь на него поглядеть?

— Как раз сейчас у меня дел по горло, мисс Кентон. Может, немного попозже.

— В таком случае, мистер Стивенс, разрешите, я закрою ему глаза?

— Буду вам очень признателен, мисс Кентон.

Она стала подниматься по лестнице, но я ее задержал, окликнув:

— Мисс Кентон, пожалуйста, не считайте меня таким уж бесчувственным, раз сейчас я не пошел попрощаться с отцом на смертном одре. Понимаете, я знаю, что, будь отец жив, он не захотел бы отрывать меня сейчас от исполнения обязанностей.

— Конечно, мистер Стивенс.

— Мне кажется, сделай я по-другому, я бы его подвел.

— Конечно, мистер Стивенс.

Я повернулся и все с тем же подносом, на котором стояла бутылка портвейна, возвратился в курительную — сравнительно небольшую комнату, где в сигарном дыму перемешались черные смокинги и седые головы. Я медленно обходил гостей, поглядывая, у кого опустели бокалы. Мсье Дюпон похлопал меня по плечу и спросил:

— Дворецкий, вы распорядились, о чем я просил?

— Весьма сожалею, сэр, но на данный момент помощь еще не подоспела.

— Что вы хотите сказать, дворецкий? У вас что, иссякли запасы простейших перевязочных средств?

— Дело в том, сэр, что ожидается прибытие доктора.

— Ага, очень хорошо. Значит, вызвали врача?

— Да, сэр.

— Прекрасно, прекрасно.

Мсье Дюпон вернулся к прерванному разговору, и я продолжал обход. Помню, как расступилась группа джентльменов и передо мной вдруг возникла немецкая графиня; я даже не успел предложить ей портвейна — она схватила с подноса бутылку и сама себе налила.

— Похвалите повара от моего имени, Стивенс,— сказала она.

— Непременно, мадам. Благодарю вас, мадам.

— Вы со своими ребятами тоже хорошо поработали.

— Благодарю вас, мадам.

— Один раз во время обеда я готова была поклясться, что здесь не один, а по меньшей мере три Стивенса,— сказала она и рассмеялась.

Я тоже поспешил рассмеяться и ответил:

— Рад быть к услугам мадам.

Через секунду я заметил юного мистера Кардинала; он по-прежнему стоял в одиночестве, и мне подумалось, что собрание столь высоких гостей, возможно, внушает молодому джентльмену нечто вроде благоговейного ужаса. Во всяком случае, бокал у него был пуст, так что я направился в его сторону. Мое появление, видимо, очень его воодушевило, и он протянул мне бокал.

— По-моему, это просто замечательно, Стивенс, что вы любите природу,— сказал он, пока я ему наливал.— Ей-богу, лорду Дарлингтону здорово повезло, что у него есть кому со знанием дела приглядеть за садовником.

— Простите, сэр?

— Природа, Стивенс. Вчера мы с вами говорили о чудесах мира природы. Полностью с вами согласен, все мы слишком самодовольны и не ценим великих чудес, которые нас окружают.

— Совершенно верно, сэр.

— Мы ведь об этом и говорили. Договоры и границы, репарации и оккупации. А Матушка-Природа знай занимается себе своим милым делом. Как-то странно вот так о ней думать, правда?

— Истинная правда, сэр.

— Я вот думаю, а не лучше ли было бы, если б Всемогущий сотворил нас всех в виде... ну... как бы растений? Понимаете, крепко укорененных в земле. Тогда бы с самого начала не было всего этого вздора с войнами и границами.

Молодой человек, видимо, счел эту мысль очень забавной. Он рассмеялся, немного подумал и опять рассмеялся. Я к нему присоединился. Тут он подтолкнул меня в бок, сказал:

— Представляете, Стивенс? — и еще раз рассмеялся.

— Да уж, сэр,— ответил я со смехом,— весьма любопытная получилась бы картина.

— Но молодцы вроде вас все так же сновали бы между нами с поручениями, приносили чай и все такое прочее. В противном случае мы бы оказались совсем беспомощными. Представляете, Стивенс? Все мы — укорененные в земле. Каково, а?

В эту минуту сзади подошел лакей и сказал:

— Мисс Кентон хотела бы вас на два слова, сэр.

Я извинился перед мистером Кардиналом и пошел к дверям.

Мсье Дюпон решил, видимо, их охранять — стоило мне подойти, он спросил:

— Дворецкий, доктор приехал?

— Именно это я и собираюсь выяснить, сэр. Это не займет и минуты.

— У меня болит.

— Весьма сожалею, сэр. Доктор должен сейчас приехать.

На этот раз мсье Дюпон вышел за мной в холл. Мисс Кентон стояла на том же самом месте.

— Мистер Стивенс,— сказала она,— доктор Мередит прибыл и прошел наверх.

Она говорила очень тихо, но стоявший у меня за спиной мсье Дюпон сразу воскликнул:

— Ну, прекрасно!

Я повернулся к нему и предложил:

— Благоволите следовать за мной, сэр.

Я провел его в бильярдную и зажег в камине огонь; тем временем он устроился в одном из кожаных кресел и принялся стаскивать ботинки.

— Сожалею, что здесь немного прохладно, сэр. Доктор сейчас придет.

— Спасибо, дворецкий, я вами доволен.

Мисс Кентон все так же ждала меня в холле, мы молча поднялись наверх. В отцовской комнате доктор Мередит что-то записывал, а миссис Мортимер горько рыдала. На ней по-прежнему был фартук, которым она, видимо, утирала слезы; из-за этого по всему лицу у нее пошли жирные разводы, что делало ее похожей на хористку, загримированную под негритянку. Я ожидал, что в комнате будет стоять запах смерти, но из-за миссис Мортимер — или ее фартука — в комнате пахло кухонным чадом.

Доктор Мортимер поднялся и произнес:

— Примите мои соболезнования, Стивенс. У него было обширное кровоизлияние. Если вам от этого будет легче, скажу, что особой боли он не должен был испытать. Спасти его не могло ничего на свете.

— Благодарю вас, сэр.

— А сейчас мне пора. Вы тут сами распорядитесь?

— Да, сэр. Однако, с вашего позволения, один очень важный джентльмен дожидается внизу вашей помощи.

— Это срочно?

— Он выразил настоятельное желание с вами встретиться.

Я спустился с доктором Мередитом, провел его в бильярдную, а сам поторопился вернуться в курительную, где все было без перемен, разве что стало еще веселее.

Не мне, понятно, намекать на то, что я достоин стать в один ряд с «великими» дворецкими нашего поколения, такими, как мистер Маршалл или мистер Лейн, хотя, должен заметить, есть люди, которые, возможно, из ложно понятого великодушия, склонны считать именно так. Позвольте разъяснить: когда я говорю, что конференция 1923 года и в особенности описанный вечер явились поворотным пунктом в моем профессиональном развитии, то исхожу в основном из собственных, более скромных требований. Но и в этом случае, принимая во внимание груз непредвиденных обстоятельств, обрушившихся на меня в тот вечер, вы, может быть, согласитесь — не так уж я сильно и обольщаюсь, позволяя себе предположить, что перед лицом всего этого продемонстрировал, пусть в скромной степени, «достоинство», которое пристало бы и самому мистеру Маршаллу или, если на то пошло, моему отцу. В самом деле, почему я должен это отрицать? При всех прискорбных для меня событиях того вечера, я обнаруживаю, что теперь вспоминаю его с чувством законной гордости.

ДЕНЬ ВТОРОЙ — ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ

Мортимеров пруд, Дорсет

Кажется, у вопроса «что такое «великий» дворецкий?» имеется еще одно обширное измерение, которому я до сих пор не уделял должного внимания. Последнее, признаюсь, мне довольно досадно, поскольку речь идет о проблеме, которую я принимаю так близко к сердцу и над которой к тому же столько размышлял на протяжении многих лет. Но мне приходит в голову, что я, возможно, несколько поторопился закончить обсуждение требований, предъявляемых Обществом Хейса к вступающим в его ряды, и опустил некоторые существенные стороны этих требований. Прошу понять меня правильно, я вовсе не собираюсь пересматривать свои соображения касательно «достоинства» как неотъемлемой предпосылки «величия». Но я еще немного поразмышлял о другом заявлении, сделанном Обществом Хейса, а именно — о том, что необходимое предварительное условие членства — «служба соискателя в выдающемся доме». Я считал и продолжаю считать, что со стороны Общества это было проявлением бездумного снобизма. Мне, однако же, представляется, что возражения тут вызывает не столько сам общий принцип, сколько, в частности, устаревшее понимание того, что такое «выдающийся дом». Сейчас, когда я возвращаюсь к этому заявлению, мне кажется, что в нем есть своя правда: «служба в выдающемся доме» и в самом деле необходимое предварительное условие величия дворецкого — но только если в данном контексте наделить термин «выдающийся» более глубоким смыслом, чем вкладывало в него Общество Хейса.

Действительно, сравнение моей интерпретации понятия «выдающийся дом» с тем, что подразумевало под ним Общество Хейса, наглядно, как мне кажется, демонстрирует коренное различие между ценностями, исповедуемыми дворецкими нынешнего и предшествующего поколений. Утверждая это, я не просто обращаю ваше внимание на тот факт, что мое поколение с меньшим снобизмом воспринимает статус хозяев, не вникая, у кого они из потомственного земельного, а у кого из «промышленного» дворянства. Я пытаюсь сказать другое — и думаю, в моем толковании нет ничего

несправедливого,— а именно: мы были куда большими идеалистами. Там, где наших отцов заботило, есть ли у хозяина титул и ведет ли он род от одной из «старых» фамилий, мы куда больше склонны были интересоваться нравственным обликом нанимателя. Я отнюдь не имею в виду, будто нас интересовала их личная жизнь. Я хочу подчеркнуть, что у нас было честолюбивое желание, не свойственное предыдущему поколению, служить джентльменам, которые, если можно так выразиться, способствуют прогрессу человечества. Для нас, например, было бы куда заманчивее служить такому джентльмену, как мистер Джордж Кеттеридж, который хоть и вышел из низов, но внес неоспоримый вклад в будущее процветание Империи, чем какому-нибудь джентльмену, пусть самого родовитого происхождения, который попусту тратит время в клубах или на площадках для гольфа.

На самом деле, конечно, многие джентльмены из самых благородных семейств имеют склонность отдавать свои силы решению важнейших проблем современности, так что на поверхностный взгляд может показаться, будто честолюбивые помыслы нашего поколения мало чем отличаются от помыслов предшественников. Но я готов поручиться, что коренное различие в жизненных установках было и находило отражение не только в суждениях, которыми обменивались собратья по профессии, но и в том, как и почему многие из способнейших представителей нашего поколения меняли хозяев. Такие решения диктовались уже не одними соображениями жалованья, числом подчиненных слуг или блеском родового имени; для нашего поколения профессиональный престиж, считаю я нужным заметить в интересах справедливости, был прежде всего связан с моральными достоинствами хозяина.

Мне, пожалуй, удастся наилучшим образом высветить разницу между поколениями, прибегнув к сравнению. Дворецкие из отцовского поколения, сказал бы я, взирали на мир, как на лестницу, где на верхних ступенях располагались особы королевской крови, герцоги и лорды из древнейших родов, пониже — дворяне из «новоденежных» и так далее, пока не доходило до уровня, на котором иерархия определяется всего лишь богатством или отсутствием такового. Любой честолюбивый дворецкий просто-напросто карабкался по этой лестнице вверх, насколько хватало сил, и, в общем и целом, чем выше он забирался, тем выше становился и его профессиональный престиж. Именно эти ценности и воплощались в представлениях Общества Хейса о «выдающемся доме», и тот факт, что оно даже в 1929 году выступало с подобными самонадеянными заявлениями, ясно показывает, почему конец Общества был неминуем, а то и должен был наступить много раньше. Ибо к тому времени этот образ мыслей шел вразрез с настроениями достойнейших мужей, выдвинувшихся в нашей профессии на передний план. Ибо не будет натяжкой сказать, что наше поколение воспринимало мир не как лестницу, а скорее как *колесо*. Я, пожалуй, разверну эту метафору.

Мне кажется, наше поколение впервые осознало то, что ускользнуло от внимания всех предшествующих, а именно: великие решения, затрагивающие судьбы мира, в действительности принимаются отнюдь не в залах народных собраний и не за те несколько дней, какие международная конференция работает на глазах у публики и прессы. Скорее, настоящие споры ведутся, а жизненно важные решения принимаются за закрытыми дверями в тишине великих домов этой страны. То, что устраивают публично с такой помпой и церемониями, зачастую венчает собой или всего лишь ратифицирует договоренности, к которым неделями, если не месяцами приближались за стенами этих домов. Для нас, таким образом, мир был подобен вращающемуся колесу, а великие дома — его ступице, и их непререкаемые решения, исходя из центра, распространялись на всех, равно на богатых и бедных, что вокруг них вращались. Те из нас, кто не был лишен профессионального честолюбия, стремились по мере сил пробиться к этой ступице. Ибо наше поколение, как я уже говорил, было поколением идеалистов, для которых вопрос заключался не только в том, с каким блеском, но и — *ради чего* использовать свое мастерство. Каждый из нас в глубине души мечтал

внести и свою скромную лепту в созидание лучшего мира и понимал, что с профессиональной точки зрения самый надежный способ добиться этого — служить великим людям современности, тем, кому вверена судьба цивилизации.

Все это, разумеется,— широкие обобщения, и я охотно допускаю, что в нашем поколении встречалось слишком много таких, у кого не хватало терпения разбираться в этих тонких материях. С другой стороны, я уверен, что многие из отцовского поколения подсознательно исходили в своей деятельности из этого «нравственного» измерения. Но в общем и целом, я полагаю, эти обобщения правильны, да и в моей собственной профессиональной судьбе вышеописанные «идеалистические» побуждения сыграли немалую роль. В первые годы службы я довольно часто менял хозяев, когда начинал понимать, что то или иное место не способно меня надолго удовлетворить, пока наконец судьба не послала мне награду — возможность поступить в услужение к лорду Дарлингтону.

Странно, что до сего дня я никогда не подходил к предмету с этой точки зрения. В самом деле, на протяжении многих часов, которые мы с мистером Грэмом и нам подобными провели у камина в лакейской, обсуждая природу «величия», эта сторона дела ни разу не была затронута. И хотя мне бы не хотелось пересматривать сказанное ранее о признаках «достоинства», я должен признать — в рассуждении о том, что дворецкий, независимо от степени, в какой он обрел эти признаки, едва ли может надеяться стать «великим» в глазах коллег, если все его совершенства так и не найдут должного применения,— в этом рассуждении есть зерно истины. Безусловно, привлекает внимание, что такие личности, как мистер Маршалл и мистер Лейн, находились в услужении исключительно у джентльменов неоспоримых моральных достоинств — лорда Уэйклинга, лорда Кемберли, сэра Леонарда Грея,— и невольно напрашивается вывод, что этим дворецким никогда бы не пришло в голову предлагать свои услуги менее достойным джентльменам. И верно, чем больше об этом думаешь, тем очевидней: служба в истинно великих домах — подлинно необходимое предварительное условие «величия».

«Великим», конечно же, может быть лишь такой дворецкий, который, сославшись на долгие годы службы, имеет право сказать, что поставил свои способности на службу великому человеку, а тем самым — и человечеству.

Как уже говорилось, я ни разу не задумывался над проблемой именно в этом плане; но, может быть, и впрямь надо отправиться в такое вот путешествие, чтобы натолкнуться на поразительные новые подходы к предметам, о которых, казалось бы, все давно думано-передумано. На подобные мысли меня, несомненно, навело и пустячное происшествие, случившееся с час тому назад и, должен признаться, несколько меня огорчившее.

Утро выдалось великолепное, проехался я с удовольствием, вкусно поел в сельском трактирчике и вот уже пересек границу между графствами и оказался в Дорсете. Тут я ощутил, что от двигателя пахнет перегревом. Я, конечно, пришел в ужас, подумав, что ненароком испортил хозяйский «форд», и сразу остановился.

Выяснилось, что я нахожусь на узкой дороге, окаймленной по обеим сторонам зеленью, сквозь которую трудно что-нибудь разглядеть. Впереди обзор был тоже закрыт, так как ярдах в двадцати дорога круто сворачивала. Я сообразил, что здесь опасно надолго задерживаться — встречная машина вполне может выскочить из-за этого самого поворота и врезаться *в хозяйский «форд». Так что я снова включил* двигатель и с некоторым облегчением обнаружил, что пахнет, кажется, не так сильно, как раньше.

Я понимал, что мне лучше всего поискать гараж или какое-нибудь большое частное поместье, где скорее всего найдется шофер, который сумеет разобраться, в чем дело. Однако дорога все вилась и вилась, живые изгороди по сторонам тянулись все той же плотной стеной, закрывая обзор, и я, миновав несколько ворот — за некоторыми из них явно начинались подъездные дорожки,— так и не смог разглядеть самих домов. Это продолжалось еще примерно с полмили, причем настораживающий запах усили-

вался с каждой минутой, и тут я наконец выехал на прямой участок дороги. Теперь передо мной открывался довольно приличный обзор и, главное, впереди слева виднелся высокий викторианский дом, а перед ним — внушительных размеров лужайка и, несомненно, подъездная дорожка, проложенная по старому проселку. Поравнявшись с домом, я через открытые двери пристроенного к нему гаража углядел «бентли», и это вселило в меня надежду.

Ворота тоже стояли открытыми, поэтому я свернул на дорожку, подъехал поближе к дому, остановился, вылез и пошел к задней двери. Мне открыл мужчина в одной рубашке и без галстука, который, когда я спросил о шофере, жизнерадостно ответил, что я «сорвал банк с первой попытки». Узнав о моих затруднениях, он немедленно направился к «форду», поднял капот, за несколько секунд осмотрел двигатель и сказал:

— Вода, шеф. Нужно залить радиатор.

Случившееся его, видимо, позабавило, но малый он оказался любезный — сам сходил в дом и вернулся с кувшином воды и воронкой. Склонившись над радиатором, он стал заливать воду и одновременно затеял со мной дружескую болтовню. Узнав, что я предпринимаю поездку по этим местам, он посоветовал мне взглянуть на местную достопримечательность — некий пруд меньше чем в полумиле от дома.

Тем временем я воспользовался случаем и разглядел дом: в высоту он был больше, чем в ширину,— целых четыре этажа, разросшийся плющ закрывал основную часть фасада и вился до самой крыши. Но по окнам можно было понять, что, по крайней мере, половина помещений на замке, а мебель стоит в чехлах. Я поделился этим наблюдением с шофером, после того как тот залил радиатор и опустил капот.

— И правда обидно,— ответил он.— Замечательный старый дом. Честно говоря, полковник пытается сбыть его с рук. Такая громадина ему теперь без надобности.

Я не удержался — спросил, сколько в доме прислуги, и, пожалуй, совсем не удивился, услыхав в ответ, что только он сам да приходящая по вечерам кухарка. Сам он, судя по всему, совмещал в одном лице дворецкого, камердинера, шофера и уборщика. Он объяснил, что в войну был у полковника ординарцем; они вместе служили в Бельгии, когда туда вторглись немцы, и вместе же участвовали в высадке союзных войск во Франции. Потом он внимательно ко мне пригляделся и заметил:

— Теперь допер. Все никак не мог понять, кто вы будете, а теперь допер. Вы из больших дворецких, из тех, что служат в огромных шикарных домах.

Я ответил, что он почти угадал, а он продолжал:

— Вот только теперь допер. А то все, знаете, никак не мог понять, разговор-то у вас джентльменский. Ну, почти. Да еще прикатили на этой старой красотке,— он указал на машину,— так я сперва и подумал: вот это шикарный старикан. Оно и верно, начальник. То есть что вправду шикарный. Сам-то я, понимаете, ничему такому не обучен. Простой старый ординарец на гражданке.

Потом он спросил, где я служу, и, услышав ответ, озадаченно помотал головой.

— Дарлингтон-холл,— пробормотал он,— Дарлингтон-холл. Должно быть, и вправду шикарный дом, если даже такой кретин, как ваш покорный, что-то когда-то слыхал про него. Дарлингтон-холл. Постойте-ка, постойте-ка, уж не тот ли это Дарлингтон-холл, где живет лорд Дарлингтон?

— Лорд Дарлингтон пребывал в нем до своей смерти, случившейся три года назад,— сообщил я.— А сейчас там пребывает мистер Джон Фаррадей, джентльмен из Америки.

— Вы и впрямь из самых больших, раз служите в таком доме. Вас, должно быть, уже мало на свете осталось, а? — заметил он и спросил уже совсем другим тоном: — Вы что, и вправду служили у этого самого лорда Дарлингтона?

И снова на меня уставился. Я ответил:

— Нет, меня нанял мистер Джон Фаррадей, американский джентльмен, купивший поместье у наследников лорда Дарлингтона.

— Значит, самого этого лорда Дарлингтона не знали. А то меня просто интерес разбирает, какой он был. Что за тип.

Я сказал, что мне пора трогаться, и тепло поблагодарил за помощь. Малый он оказался добрый, помог мне выползти задним ходом за ворота, а на прощание наклонился к окошку и еще раз посоветовал съездить поглядеть на местный пруд, повторив, как туда проехать.

— Красивое местечко,— добавил он,— потом будете локти кусать, что не завернули. Кстати, полковник как раз сидит там сейчас с удочкой.

«Форд» как будто снова был в полном порядке, и, поскольку до указанного пруда было легко добраться, сделав совсем маленький крюк, я решил послушаться совета бывшего ординарца. Его указания казались достаточно ясными, но стоило мне им последовать и свернуть с главной дороги, как я заблудился среди узких извилистых проселков вроде того, где впервые уловил тревожный запах. Местами заросли по обе стороны становились такими густыми, что полностью застили солнце, и приходилось отчаянно напрягать зрение, чтобы разобраться в мешанине ярких просветов и глубоких теней. Однако, поплутав немного, я в конце концов выехал к столбу с дощечкой «Мортимеров пруд». Вот так я приехал сюда, на это самое место, немногим более получаса назад.

Теперь я думаю, что оказался у ординарца в большом долгу, ибо, не говоря уж о том, как он выручил меня с «фордом», он открыл мне совершенно очаровательное местечко, которого сам бы я наверняка не нашел. Пруд невелик, может быть, с четверть мили по окружности, так что с любого пригорка на берегу его можно охватить одним взглядом. Здесь царит атмосфера удивительного покоя. Пруд весь обсажен деревьями как раз на таком расстоянии, чтобы берега находились в приятной тени, а из воды здесь и там поднимаются островки тростника и камыша, раскалывая ясное зеркало с отраженным в нем небом. Обувь не позволяет мне обойти пруд по окружности — даже с того места, где я сейчас сижу, на тропинке видны участки непролазной грязи,— но, должен сказать, прелесть этого уголка столь велика, что поначалу меня так и подмывало обойти весь пруд целиком. Только мысль о возможных бедах, какими чревата подобная вылазка, и о сопутствующем ей ущербе для моего дорожного костюма заставила меня всего лишь присесть на скамейку. На ней я и сижу вот уже полчаса, созерцая фигуры с удочками в руках, здесь и там замершие у самой воды. С моего места видно около дюжины рыбаков, но чередование яркого света и тени из-за свисающих почти до земли ветвей не дает никого основательно разглядеть, и мне пришлось отказаться от небольшой игры, которую я так предвкушал,— угадать, кто из них тот самый полковник, в чьем доме мне оказали сегодня столь нужную помощь.

Обступившая меня со всех сторон тишина, несомненно, позволила мне особенно глубоко погрузиться в мысли, которые пришли мне на ум с полчаса тому назад. Действительно, когда б не безмятежность этого места, я бы, возможно, не стал так уж углубляться в причины, определившие мое поведение при общении с ординарцем. То есть не стал бы обдумывать, почему я недвусмысленно дал ему понять, что никогда не был в услужении у лорда Дарлингтона. А что я поступил именно так, сомневаться не приходится. Он спросил: «Вы что, и вправду служили у этого самого лорда Дарлингтона?» — и я дал ответ, из которого однозначно следовало, что не служил. Может, это просто был какой-то внезапный бессмысленный каприз, но такое объяснение моего, безусловно, странного поведения едва ли прозвучит убедительно. Во всяком случае, я уже смирился с мыслью о том, что случай с ординарцем — не первый такого рода; маловероятно, чтобы не было какой-то связи — какой именно, это мне и самому неясно,— между ним и тем, что имело место несколькими месяцами раньше, когда приезжали Уэйкфилды.

Мистер и миссис Уэйкфилд — американцы, обосновавшиеся в Англии, если не ошибаюсь, в Кенте, и живущие здесь вот уже около двадцати лет.

Поскольку у них с мистером Фаррадеем много общих знакомых в бостонском свете, они как-то нанесли в Дарлингтон-холл короткий визит: остались на ленч, но отбыли до чая. Сейчас я говорю о том времени, когда мистер Фаррадей всего несколько недель, как въехал в дом, и его восторги по поводу нового приобретения не знали границ. По этой причине хозяин не пожалел времени и устроил Уэйкфилдам излишне, как может кое-кому показаться, подробную экскурсию по дому, в том числе и по зачехленным помещениям. Однако мистер и миссис Уэйкфилд, видимо, были увлечены осмотром не меньше мистера Фаррадея; до меня — а я занимался своими делами — время от времени долетали из тех частей дома, где в ту минуту находились хозяин и гости, чисто американские изъявления восторга. Мистер Фаррадей начал экскурсию с верхнего этажа; к тому времени, когда компания сошла вниз и перед гостями во всем своем великолепии предстали помещения первого этажа, хозяин, как видно, окончательно воспарил. Он не уставал обращать внимание Уэйкфилдов на детали карнизов и оконных переплетов и увлеченно описывал, «чем занимались английские лорды» в каждой из комнат. Я, разумеется, специально не прислушивался, однако непроизвольно улавливал суть пояснений и поразился обширным познаниям хозяина, которые, несмотря на отдельные погрешности, свидетельствовали о глубоком его восхищении английскими обычаями и образом жизни. Больше того, было очевидно, что Уэйкфилды, особенно мистер Уэйкфилд, и сами прекрасно разбираются в традициях нашей страны, а по их многочисленным репликам можно было понять, что они тоже владеют английским домом, причем отнюдь не из второразрядных.

И вот на каком-то этапе осмотра — я как раз проходил через холл, полагая, что все вышли поглядеть на поместье,— я увидел, что миссис Уэйкфилд осталась в доме и внимательно изучает каменную арку, которая обрамляет двери в столовую. Пробормотав вполголоса: «Прошу прощенья, мадам», я хотел было пройти мимо, но она обернулась и обратилась ко мне:

— А, Стивенс, может быть, именно вы мне и скажете. Эта арка *напоминает* семнадцатый век, но соорудили-то ее совсем недавно? Возможно, уже при лорде Дарлингтоне?

— Вполне возможно, мадам.

— Она очень красивая. Но, вероятно, умелая подделка под старину, выполненная всего несколько лет тому назад. А, Стивенс?

— Не уверен, мадам, но вполне возможно.

Тогда миссис Уэйкфилд спросила, понизив голос:

— А скажите, Стивенс, что за человек был этот лорд Дарлингтон? Как я понимаю, вы у него служили?

— Нет, мадам, не служил.

— О, а я-то думала, что служили. Интересно, почему мне так показалось.

Миссис Уэйкфилд повернулась к арке и, погладив камень, заметила:

— Стало быть, точно мы этого не знаем. И все-таки, на мой взгляд, подделка. Очень искусная, но подделка.

Вероятно, этот разговор быстро выветрился бы у меня из памяти. Но когда я сразу по отбытии Уэйкфилдов принес мистеру Фаррадею в гостиную чай, то заметил, что он несколько озабочен. Помолчав, он произнес:

— А знаете, Стивенс, на миссис Уэйкфилд дом не произвел того впечатления, на которое я рассчитывал.

— В самом деле, сэр?

— Она, видимо, и вправду решила, что я преувеличиваю древность поместья. Что я просто выдумал, будто всем этим архитектурным деталям по нескольку веков.

— Вот как, сэр?

— Она то и дело твердила, что это вот «подделка» под то-то, а это — под то-то. Она даже решила, Стивенс, что и вы сами тоже «подделка».

— Вот как, сэр?

— Вот так, Стивенс. Я ей сказал, что вы не «подделка», а самый настоящий английский дворецкий старой школы. Что вы тридцать с хвостиком лет прослужили в этих стенах у самого настоящего лорда. Но миссис Уэйкфилд мне возразила, да еще так уверенно.

— В самом деле, сэр?

— Миссис Уэйкфилд убеждена, Стивенс, что до меня вы здесь не служили. Больше того, у нее, похоже, сложилось впечатление, что вы сами ей так сказали. Можете себе представить, в каком дурацком положении я оказался.

— Крайне прискорбно, сэр.

— Я что имею в виду, Стивенс,— это *действительно* настоящий благородный старый английский дом? За это я деньги платил. И вы настоящий английский дворецкий старой школы, а не какой-то там официант, который им только притворяется? Вы ведь всамделишный, правда? Я получил именно то, что хотел?

— Осмелюсь сказать, да, сэр.

— В таком случае вы можете мне объяснить слова миссис Уэйкфилд? Потому что сам я решительно ничего не понимаю.

— Вероятно, я и вправду создал у этой дамы несколько превратное представление о моем послужном списке, сэр. Приношу глубокие извинения, если поставил вас этим в неловкое положение.

— Поставили, да еще в какое! Теперь я прослыл у них хвастуном и врале м. И вообще, как прикажете понимать, что вы создали у нее «несколько превратное представление»?

— Мне очень жаль, сэр. Я не предполагал, что могу поставить вас в столь неловкое положение.

— Но, черт возьми, Стивенс, зачем вы все это ей наплели?

Я немного подумал и ответил:

— Мне очень жаль, сэр. Но это связано с английскими обычаями.

— О чем вы, приятель?

— Я хочу сказать, сэр, что в Англии не принято, чтобы слуга обсуждал своих прежних хозяев.

— О'кей, Стивенс, не желаете разглашать старые тайны — и не надо. Но не до такой же степени, чтобы утверждать, будто, кроме меня, вы ни у кого не служили!

— В вашем изложении, сэр, это и вправду похоже на крайность. Но от наших слуг нередко требуется, чтобы они высказывались именно в таком духе. С вашего позволения, сэр, это несколько сродни обычаям в области браков. Если разведенная дама появляется в обществе с новым мужем, большей частью бывает желательно воздерживаться от любых намеков на ее первый брак. Аналогичным образом, сэр, принято поступать и в нашей среде.

— Ну что ж, жаль только, что я раньше не слышал об этом вашем обычае, Стивенс,— сказал хозяин, откидываясь на спинку кресла.— Хорошим же болваном я себя выставил.

По-моему, я уже тогда понимал, что объяснение, представленное мистеру Фаррадею, хотя и не совсем лживое, чудовищно расходится с действительностью. Но когда постоянно думаешь о многом другом, таким вещам просто не уделяешь слишком большого внимания, так что я и в самом деле на какое-то время выбросил из головы этот случай. Но сейчас, возвратившись к нему здесь, в покое и тишине, окружающих этот пруд, я не могу усомниться, что тогдашний разговор с миссис Уэйкфилд имеет прямое отношение к сегодняшнему случаю.

Разумеется, в наши дни развелось немало охотников болтать о лорде Дарлингтоне всякие глупости, и у вас может сложиться впечатление, будто меня смущает или я стыжусь, что служил у его светлости, а потому и вел себя описанным образом. Так позвольте заверить, что это не имеет ровным счетом никакого отношения к истине. Подавляющая часть того, что приходится нынче слышать о его светлости, как ни верти, абсолютная чушь, порожденная полным незнанием фактов. Мне и вправду сдается, что стран-

ное мое поведение можно весьма убедительно объяснить нежеланием выслушивать о его светлости подобную чушь; иными словами, тем, что я в обоих случаях предпочел невинную ложь как простейший способ пощадить свои нервы. И чем больше я думаю о таком объяснении, тем убедительнее оно мне кажется. В наши дни меня действительно ничто так не раздражает, как то, что приходится снова и снова осквернять свой слух этой чушью. Позвольте сказать: лорд Дарлингтон был джентльменом столь великих моральных достоинств, что по сравнению с ним почти все, кто болтает о нем эту чушь, выглядят лилипутами, и я готов присягнуть, что его светлость оставался таким до конца. Ничто так не расходится с истиной, как предположение, будто я сожалею о службе у такого джентльмена. Более того, вы, конечно, поймете, что служить у его светлости в Дарлингтон-холле в те годы значило оказаться у самой ступицы колеса, приводящего в движение мир, о чем такой, как я, мог только мечтать. Службе у лорда Дарлингтона я отдал тридцать пять лет жизни и поэтому, конечно же, имею право утверждать, что все эти годы воистину и безусловно «служил в выдающемся доме». До сих пор, окидывая мысленным взглядом пройденный путь, самое полное удовлетворение я получаю от достигнутого мною в те годы; я этим горжусь и благодарю судьбу за то, что мне было дано сподобиться такой милости.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — УТРО

Тонтон, Сомерсет

Ночь я провел в гостинице «Карета и кони», что недалеко от городка Тонтон в Сомерсете. Этот крытый соломой коттедж у самого края дороги выглядел весьма многообещающе, когда я подъехал к нему при последнем свете дня. Хозяин провел меня по деревянной лестнице в маленькую комнату, довольно скудно обставленную, однако вполне приличную, и осведомился, успел ли я пообедать. Я попросил принести в номер сандвич и оказался прав — он вполне успешно заменил мне ужин. Но с наступлением вечера стало как-то неуютно одному сидеть в комнате, и в конце концов я решил спуститься в бар на первый этаж отведать местного сидра.

Пять или шесть посетителей — судя по их внешнему виду, все так или иначе занятые в сельском хозяйстве,— сбились в кучу у стойки; кроме них, в баре никого не было. Я принял из рук хозяина большую кружку сидра и уселся за столик в стороне от стойки, дабы немного расслабиться и подвести итоги впечатлениям этого дня. Вскоре, однако, стало ясно, что мое появление взбудоражило местных и у них появилась потребность выказать гостеприимство. Всякий раз, как беседа у них прерывалась, то один, то другой украдкой косился в мою сторону, словно не решаясь ко мне обратиться. Наконец один из них громко спросил:

— Вы вроде ночуете здесь в верхней комнате, сэр?

Когда я подтвердил, что так и есть, говоривший с сомнением покачал головой и заметил:

— Не больно вы выспитесь там, наверху, сэр. Разве что вам по нраву придется, как старина Боб,— и он кивнул на хозяина,— будет за полночь возиться да греметь кружками. А не то хозяйка как начнет орать на него, еще солнце не встанет, так вас и разбудит.

Не слушая протестов хозяина, все громко захохотали.

— В самом деле? — откликнулся я, и тут мне пришло в голову — как неоднократно приходило в последнее время, когда мистер Фарадей со мной заговаривал,— что от меня ждут находчивого ответа. Местные и вправду хранили вежливое молчание, ожидая, что́ я еще добавлю. Я напряг воображение и наконец заявил:

— Как я понимаю, местная разновидность петушиного крика.

Местные немного помолчали, видимо, думая, что я намерен развить эту мысль. Но увидев, что я сделал лукавую мину, рассмеялись, впрочем,

немного натянуто. После чего вернулись к своей беседе, и больше мы не заговаривали, только чуть позже пожелали друг другу доброй ночи.

В ту минуту как этот остроумный ответ пришел мне в голову, я был им вполне доволен, и, должен признаться, меня слегка огорчило, что его приняли без особого энтузиазма. Огорчило в первую очередь потому, что за последние месяцы я потратил немало сил и времени на развитие навыка именно по этой части. Другими словами, я стремился включить этот навык в арсенал моего профессионального мастерства, с тем чтобы честно оправдать ожидания мистера Фаррадея касательно «подыгрывания».

Так, например, с недавнего времени я начал слушать у себя в комнате радио, как только выпадет свободная минута, скажем, когда мистер Фаррадей проводит вечер вне дома. Одна программа, к которой я пристрастился, называется «Дважды в неделю, а то и больше», хотя на самом деле передается три раза еженедельно; в ней двое ведущих обмениваются веселыми замечаниями на разнообразные темы, поднятые в письмах слушателей. Я внимательно слежу за этой программой, так как звучащие в ней остроты неизменно отличаются безупречным вкусом и, на мой взгляд, весьма близки по своему тону к тем самым репликам, каких ждет от меня мистер Фаррадей. Руководствуясь этой программой, я разработал простое упражнение, которое по возможности выполняю хотя бы раз в день: как только выдается свободное время, я пытаюсь сформулировать три остроумных замечания по поводу того, что вижу вокруг себя в эту минуту. Или, как вариант все того же упражнения, пробую придумать три острых замечания о событиях последнего часа.

Так что можете представить себе мое огорчение из-за вчерашней остроты в баре. Сначала я объяснил ее неполный успех тем, что я говорил недостаточно отчетливо. Но уже у себя в номере я внезапно подумал и о другой причине: вдруг я их ненароком обидел? Мою реплику можно было понять и в том смысле, что жена хозяина похожа на петуха, хотя у меня и в мыслях не было ничего подобного. Эта мысль, однако, терзала меня всю ночь, и я уже начал подумывать о том, чтобы утром принести хозяину извинения. Но, подавая мне завтрак, он, судя по всему, пребывал в прекрасном настроении, так что в конце концов я решил не касаться этой темы.

Тем не менее этот незначительный случай может служить прекрасным примером того, как опасны бывают остроумные ответы. По самой своей природе остроумный ответ не оставляет времени продумать все многообразие возможных последствий — с ним не приходится медлить, и человек, не имеющий в этом отношении нужных навыков и опыта, серьезно рискует ляпнуть что-нибудь несусветное. Сказанное не дает оснований считать, будто я не могу — при наличии времени и практики — приобрести сноровку в этой области, однако, с учетом подстерегающих здесь опасностей, я почел за благо воздержаться, по крайней мере на ближайшее время, от исполнения этой обязанности по отношению к мистеру Фаррадею до тех пор, пока не потренируюсь как следует.

Во всяком случае, должен с сожалением констатировать: вчерашнее шутливое предсказание местных жителей, пообещавших, что шум снизу не даст мне спокойно выспаться, сбылось целиком и полностью. Крика как такового не было, но бесконечная болтовня хозяйки, стихшая только за полночь, когда они с хозяином завершили все свои дела, и возобновившаяся с раннего утра, так и лезла в уши. Я, впрочем, охотно извинил супругов — было ясно, что они усердные работяги, чем, думаю, и объяснялся весь этот гам. Разумеется, я не забывал и о неудачной остроте. Поэтому я скрыл от хозяина, что провел под его кровом беспокойную ночь, поблагодарил и отправился осматривать базарный городок Тонтон.

Возможно, мне лучше было бы заночевать здесь, в заведении, где я сейчас сижу и смакую утреннюю чашечку вкусного чая. Ведь объявление снаружи обещает не только «чай, закуски, пирожные», но и «чистые, спокойные, удобные комнаты». Заведение расположено на главной улице Тонтона,

в двух шагах от рыночной площади, и представляет собой немного осевший дом с массивными наружными балками темного дерева. В настоящую минуту я нахожусь в чайной комнате этой гостиницы, просторном обшитом дубом помещении с достаточным, по моей прикидке, количеством столиков, чтобы без тесноты рассадить две дюжины человек. Две бодрые молодые девушки обслуживают посетителей за прилавком, на котором выставлен изрядный выбор кондитерских изделий. В общем и целом, весьма подходящее место, чтобы выпить чашечку чая, однако на удивление мало жителей Тонтона, судя по всему, спешат воспользоваться его услугами. Не считая меня, сейчас тут всего трое посетителей — две пожилые дамы, сидящие рядышком за столиком у противоположной стены, и мужчина, по виду ушедший на покой фермер, за столиком у одного из больших «фонарей». Разглядеть я его сейчас не могу — яркое утреннее солнце превратило его в силуэт,— но вижу, что он читает газету, время от времени поднимая голову и бросая взгляд на прохожих за окном. По тому, как он это делает, я решил было, что он кого-то ждет, но, видимо, он всего лишь здоровается со знакомыми, проходящими мимо.

Сам я устроился почти у самой задней стены, но даже отсюда, через всю чайную комнату, ясно вижу залитую солнцем улицу и на противоположной стороне мостовой — указательный столб со стрелками, отсылающими к соседним населенным пунктам. Одна из них указывает дорогу к деревне Марсден. Возможно, название «Марсден» вам кое-что подскажет, как подсказало мне, когда я вчера увидел его на дорожной карте. Признаюсь, у меня даже возникло искушение несколько отклониться от намеченного маршрута, чтобы заглянуть в эту деревню. В Марсдене, графство Сомерсет, в свое время располагалась фирма «Гиффен и К°», и в Марсден же надлежало направлять оптовые заказы на черные полировальные свечи Гиффена — «настрогать, смешать с воском и наносить вручную». Когда-то полироль Гиффена была, несомненно, лучшим средством для чистки серебра, и только появление на рынке в канун войны новых химических составов снизило спрос на этот первоклассный продукт.

Насколько я помню, фирма «Гиффен и К°» возникла в начале двадцатых годов, и, уверен, не я один непосредственно связываю ее появление с новыми веяниями в нашей профессии — веяниями, в результате которых чистка столового серебра вышла на первое место; его оно, в общем, занимает и поныне. Этот сдвиг, как, думаю, и многие другие, в те годы происходившие, был связан со сменой поколений. Именно тогда «достигло совершеннолетия» наше поколение дворецких, и такие фигуры, как мистер Маршалл, и он в особенности, сыграли важнейшую роль в выдвижении чистки столового серебра на передний план. Это отнюдь не значит, будто чистка серебра, в первую очередь столового, прежде считалась не очень серьезной обязанностью. Однако я не погрешу против истины, заметив, что многие дворецкие, скажем, из поколения отца, не придавали сему вопросу ключевого значения, и это подтверждает тот факт, что тогда дворецкий редко надзирал за чисткой серебра самолично, охотно оставляя это дело на усмотрение, допустим, своего помощника, сам же лишь время от времени устраивал проверку. По общему мнению, не кто иной, как мистер Маршалл, первый осознал все значение столового серебра, а именно: ничто в доме не способно привлечь к себе пытливого взгляда посторонних лиц в такой степени, как выложенные на стол приборы, и в этом своем качестве столовое серебро служит общепризнанным мерилом принятых в доме критериев. И не кто иной, как мистер Маршалл, впервые заставил дам и джентльменов, гостей Чарлевиль-хауса, оцепенеть от восторга, продемонстрировав серебро, начищенное до немыслимого ранее блеска. Вскоре, естественно, по всей стране дворецкие по требованию хозяев сосредоточились на чистке столового серебра. Вспоминаю, как дворецкие один за другим похвалялись, будто изобрели методики чистки, оставляющие мистера Маршалла далеко позади,— методики, вокруг которых они устраивали много шума, пряча их от чужих глаз, словно французские кулинары — свои рецепты. Но я и сейчас, и тогда был уверен, что разного рода сложные

таинственные манипуляции, каковые практиковались дворецкими типа мистера Джека Нейборса, заметного результата вообще не давали, а если и давали, то самый ничтожный. Что до меня, то я решил проблему довольно просто: хороший состав и неусыпный надзор. В то время все понимающие толк в своем деле дворецкие заказывали у Гиффена, и если этим составом правильно пользоваться, можно было не опасаться, что ваше серебро в чем-то уступит чужому.

С удовольствием вспоминаю многие случаи, когда серебро Дарлингтон-холла производило на гостей самое благоприятное впечатление. Так, помнится, леди Астор не без некоторой горечи отметила, что наше серебро «вероятно, не имеет себе равных». Помню и то, как мистер Джордж Бернард Шоу, знаменитый драматург, однажды вечером за обедом принялся, не обращая внимания на соседей по столу, разглядывать десертную ложку из своего прибора, подняв ее к свету и сравнивая ее поверхность с поверхностью стоящего рядом блюда. Но, может быть, с наибольшим удовлетворением я вспоминаю сегодня тот вечер, когда некое значительное лицо — министр кабинета, вскоре ставший министром иностранных дел,— нанесло в Дарлингтон-холл весьма «неофициальный» визит. Впрочем, теперь, когда результаты всех этих посещений нашли отражение в многочисленных документах, не вижу особых причин скрывать его имя. Это был лорд Галифакс.

Как выяснилось впоследствии, тогдашний визит был просто первым в цепочке таких «неофициальных» встреч между лордом Галифаксом и германским послом в те годы, герром Риббентропом. Но в тот первый раз лорд Галифакс приехал чрезвычайно настороженный; фактически первыми его словами при виде хозяина дома были:

— Ей-богу, Дарлингтон, не знаю, зачем вы меня сюда вытащили. Знаю только, что потом буду жалеть.

Поскольку герр Риббентроп ожидался еще через час, его светлость предложил провести гостя по дому — процедура, которая не раз помогала нервничающим посетителям обрести равновесие. Однако до моего слуха, когда я ходил туда и сюда по своим делам, если что и доносилось из разных частей дома, так лишь одни сетования лорда Галифакса в связи с предстоящей встречей и тщетные разуверения лорда Дарлингтона. Потом я услышал, как лорд Галифакс воскликнул:

— Силы небесные, Дарлингтон, серебро у вас — чистый восторг!

Разумеется, мне и тогда было очень приятно это услышать, однако подлинное удовлетворение мне принесло воспоследовавшее два-три дня спустя замечание лорда Дарлингтона:

— Кстати, Стивенс, наше серебро произвело на лорда Галифакса весьма недурное впечатление. Настроение у него сразу улучшилось.

Именно с этими словами — они до сих пор звучат у меня в ушах — обратился ко мне тогда его светлость; поэтому я полагаю, что состояние столового серебра сыграло тем вечером свою незаметную, но важную роль в смягчении отношений между лордом Галифаксом и герром Риббентропом, и это едва ли всего лишь плод моего воображения.

Здесь, вероятно, не мешает сказать несколько слов о герре Риббентропе. Сегодня все, понятно, считают герра Риббентропа обманщиком; считают, что все эти годы Гитлер хотел как можно дольше держать Англию в заблуждении относительно своих истинных намерений и что у герра Риббентропа было в нашей стране единственное задание — организовать и направлять кампанию по обману общественного мнения. Как я сказал, такой точки зрения держатся все; и я не намерен предлагать здесь другую. Досадно тем не менее слышать, как иные рассуждают сегодня таким образом, словно они-то ни разу не попадались герру Риббентропу на удочку, словно никто, кроме лорда Дарлингтона, не принимал герра Риббентропа за благородного джентльмена и не вступал с ним в чисто рабочие отношения. Истина же заключается в том, что на протяжении тридцатых годов герра Риббентропа считали достойным и даже обаятельным человеком в самых лучших домах. Примерно в 1936—1937 годах, как мне помнит-

ся, все разговоры, что вели в лакейской приезжие слуги, вращались вокруг «господина немецкого посла», и из этих разговоров явствовало, что многие весьма видные дамы и джентльмены нашей страны были от него в полном восторге. И досадно становится, как я уже замечал, когда приходится слышать, что́ эти самые люди говорят теперь о том времени и, в особенности, что́ многие из них говорят о его светлости. Чудовищное лицемерие этих лиц предстало бы перед вами во всей наглядности, если б вы проглядели два-три списка гостей, что эти лица сами составляли в те дни; вы бы тогда убедились: герр Риббентроп не просто постоянно приглашался к обеду в их собственные дома, но зачастую — в качестве почетного гостя.

Опять же слышишь, как эти самые лица рассуждают в таком духе, словно лорд Дарлингтон позволял себе нечто из ряда вон выходящее, когда пользовался гостеприимством нацистов во время нескольких своих поездок в Германию в те годы. Не уверен, что они стали бы так спешить с осуждением, опубликуй, скажем, «Таймс» список приглашенных хотя бы на один из банкетов, что немцы устраивали в период Нюрнбергского слета. На самом же деле гостеприимством немецких вождей пользовались наиболее влиятельные и уважаемые леди и джентльмены Англии, и я могу головой поручиться, что в подавляющем большинстве они по возвращении из Германии пели тем, кто их там принимал, одну хвалу и рассыпались в восторгах. Всякий, кто намекает, будто лорд Дарлингтон поддерживал тайные связи с заведомым врагом, всего лишь «забывает» ради собственного удобства о подлинной обстановке тех лет.

Необходимо также сказать и об утверждениях, касающихся антисемитизма лорда Дарлингтона и его тесных связей с организациями типа Британского союза фашистов,— это гнусные измышления, которые способно породить только полное незнание того, каким человеком был его светлость. Лорд Дарлингтон научился питать ненависть к антисемитизму; я лично слышал, как в ряде случаев он выказывал отвращение, сталкиваясь с антисемитскими настроениями. Заявления, будто его светлость евреев не пускал на порог или не брал еврейской прислуги, абсолютно голословны — за исключением, может быть, одного ничтожного случая, относящегося к тридцатым годам, который впоследствии был неимоверно раздут. Что касается Британского союза фашистов, могу сказать лишь одно: любые попытки связать его светлость с этими господами попросту смехотворны. Сэр Освальд Мосли, джентльмен, который возглавил «чернорубашечников», был в Дарлингтон-холле, я думаю, от силы три раза, и все три приезда имели место в самом начале деятельности этой организации, когда она еще не обнаружила своей истинной сути. Как только движение «чернорубашечников» проявилось во всей своей мерзости — на что, надобно заметить, его светлость обратил внимание раньше многих других,— лорд Дарлингтон сразу же прекратил связи с этими типами.

Во всяком случае, подобные организации никоим образом не определяли политической жизни в нашей стране. Лорд Дарлингтон, прошу вас понять, был из таких джентльменов, кто любит находиться в центре событий, и люди, которых он на протяжении тех лет объединил своими усилиями, невообразимо далеко отстояли от гнусных экстремистских группировок подобного толка. Это были не только в высшей степени достойные люди, но и по-настоящему влиятельные в британской жизни фигуры: политики, дипломаты, военные, духовенство. Более того, некоторые из них были евреями, что уже само по себе доказывает, насколько бессмысленны многие утверждения относительно его светлости.

Впрочем, я отвлекся. Рассуждал-то я о столовом серебре и о том, какое впечатление оно произвело на лорда Галифакса в тот вечер, когда он встретился в Дарлингтон-холле с герром Риббентропом. Позвольте со всей определенностью заявить, что я ни в малейшей степени не намекаю, будто вечер, который поначалу не обещал оправдать надежды его светлости, завершился столь успешно только из-за столового серебра. Но, с другой стороны, как я упоминал, лорд Дарлингтон сам высказался в том духе, что оно могло тогда сыграть свою скромную роль в перемене настроения гостя,

так что, возможно, не столь уж нелепо вспоминать о таких случаях с чувством удовлетворения.

Отдельные представители нашей профессии считают в конечном итоге малосущественным, какому именно хозяину служить; по их мнению, распространенный в нашем поколении вид идеализма, то есть убеждение, что дворецкие должны стремиться служить тем великим людям, кто работает на благо человечества,— всего лишь высокопарная болтовня, далекая от реальной жизни. Примечательно, что лица, высказывающиеся в этом скептическом духе, неизменно оказываются самыми заурядными в профессиональном отношении; это те, кто понимает: им самим не дано дослужиться до видного положения, и поэтому стремится низвести других до своего уровня. Стало быть, едва ли возникнет желание принимать их взгляды всерьез. Однако же все равно приятно, когда можешь, опираясь на собственный опыт, привести примеры, ярко высвечивающие всю глубину их заблуждения. Разумеется, хозяину стремишься исправно служить все время, и ценность такой службы не может быть сведена к веренице конкретных случаев вроде имевшего место в связи с лордом Галифаксом. Но я хочу сказать, что именно подобные случаи со временем начинают неопровержимо свидетельствовать о том, что дворецкому выпала честь исполнять свои профессиональные обязанности там, где вершились великие дела. И тогда, как мне кажется, можно испытывать законное удовлетворение, недоступное тем, кто согласен служить заурядным хозяевам,— удовлетворение от того, что можешь с известным правом сказать: твои труды явились пусть весьма скромным, но все же вкладом в движение исторического процесса.

Впрочем, не нужно так часто предаваться воспоминаниям. В конце концов впереди еще многие годы службы. Мистер Фаррадей не только превосходный хозяин, он еще и американский джентльмен, в отношении которого, конечно же, у меня особая обязанность — продемонстрировать все лучшее, на что способен английский слуга. Поэтому так важно сосредоточиться на настоящем и не допускать никаких проявлений самодовольства по поводу достигнутых в прошлом успехов. Ибо приходится признать, что последние месяцы дела в Дарлингтон-холле шли не совсем так, как могли бы идти. Совсем недавно вскрылись кое-какие мелкие погрешности, включая инцидент с серебром в апреле месяце. К великому счастью, у мистера Фаррадея в тот раз никто не гостил, но мне все равно пришлось пережить несколько по-настоящему неприятных минут.

Случилось это как-то утром за завтраком, и мистер Фаррадей — то ли по доброте душевной, то ли потому, что, будучи американцем, не сумел осознать масштаб упущения,— ни единым словом не выразил своего недовольства. Усевшись за стол, он всего-навсего взял в руку вилку, повертел, посмотрел, потрогал пальцем зубья и снова уткнулся в утреннюю газету. Все это он проделал как-то рассеянно, но я, понятно, успел углядеть и был тут как тут, чтобы убрать злополучный предмет сервировки. Быть может, я, находясь в сильном волнении, подскочил к столу слишком поспешно, потому что мистер Фаррадей слегка вздрогнул и пробормотал:

— А, Стивенс.

Я столь же поспешно вышел из комнаты и, не мешкая, вернулся с приемлемой вилкой. Приблизившись к столу — а мистер Фаррадей, казалось, ушел с головой в газету,— я подумал, что можно было бы тихо и незаметно положить вилку на скатерть, дабы не отвлекать хозяина от чтения. Мне, однако, уже приходило в голову, что мистер Фаррадей только прикидывается безразличным, чтобы не смущать меня, а потому возвращение вилки украдкой может быть истолковано как попытка с моей стороны приуменьшить или, что еще хуже, покрыть упущение. Вот почему я счел уместным демонстративно положить новую вилку на стол, так что хозяин опять вздрогнул, поднял глаза от газеты и пробормотал:

— А, Стивенс.

Подобные упущения, случавшиеся на протяжении нескольких последних месяцев, болезненно били по самолюбию, что вполне естественно, однако нет никаких оснований считать их следствием чего-то более серьез-

ного, чем нехватка прислуги. Нехватка прислуги — само по себе дело, конечно, нешуточное; но если бы мисс Кентон и в самом деле вернулась в Дарлингтон-холл, то такие мелкие погрешности, уверен, сразу бы отошли в прошлое. Разумеется, не следует забывать о том, что в письме мисс Кентон — я как раз перечитывал его вчера вечером у себя в номере перед сном — нет точных формулировок, которые бы недвусмысленно говорили о ее желании вернуться на старое место. Больше того, вполне вероятно, что при первом прочтении — возможно, по чисто профессиональной привычке принимать желаемое за действительное — я преувеличил намеки на такое желание с ее стороны, если они вообще содержались в письме. Вчера вечером, должен признаться, я был несколько обескуражен тем, что в ее письме фактически нигде впрямую не говорится о желании вернуться.

Но опять же вряд ли имеет смысл ломать голову над этой проблемой, когда знаешь, что через двое суток сможешь, по всей вероятности, лично поговорить с мисс Кентон. И все же, должен сказать, я снова и снова мысленно возвращался к соответствующим местам письма прошлой ночью, когда лежал в темноте, прислушиваясь, как хозяин с хозяйкой наводят внизу порядок перед отходом ко сну.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — ВЕЧЕР

Моском, близ Тавистока, Девон

Стоит, пожалуй, на минутку вернуться к вопросу об отношении его светлости к лицам еврейской национальности, поскольку, как я понимаю, проблема антисемитизма приобрела в наши дни довольно острый характер. В частности, позволю себе разъяснить, как в действительности обстояло дело с будто бы существовавшим запретом нанимать евреев на службу в Дарлингтон-холл. Поскольку подобные домыслы имеют непосредственное отношение к сфере моей деятельности, я способен их опровергнуть с фактами в руках. На протяжении долгих лет службы у его светлости в моем подчинении перебывало много слуг еврейской национальности, причем, позвольте заметить, их никто никогда и никоим образом не третировал из-за расовой принадлежности. Невозможно понять, откуда взялись эти нелепые обвинения, разве что — смешно сказать — начало им положил тот короткий и совершенно несущественный период в начале тридцатых годов, когда его светлость несколько недель находился под необыкновенно сильным влиянием миссис Кэролин Барнет.

Миссис Барнет, вдове мистера Чарльза Барнета, было тогда за сорок; это была очень красивая, а по мнению многих, и пленительная дама. Она слыла жутко умной, и в те дни часто доводилось слышать о том, как за обедом она посрамила того или иного ученого джентльмена в споре на какую-нибудь важную современную тему. Летом 1932 года она постоянно гостила в Дарлингтон-холле и проводила долгие часы с его светлостью в беседах большей частью социально-политического характера. Помнится, именно она устраивала его светлости «инспекционные поездки» в беднейшие районы лондонского Ист-Энда, во время которых его светлость посещал дома, где множество семей влачило жалкое существование в страшных условиях тех лет. Другими словами, миссис Барнет, скорее всего, в известной мере способствовала усилению озабоченности лорда Дарлингтона отчаянным положением бедных в нашей стране, и с этой точки зрения ее влияние нельзя считать целиком отрицательным. Но, с другой стороны, она состояла в организации «чернорубашечников» сэра Освальда Мосли, и весьма непродолжительные контакты его светлости с сэром Освальдом имели место как раз в упомянутые несколько летних недель. Тогда же в Дарлингтон-холле случились и те в высшей степени нетипичные происшествия, каковые, видимо, и послужили шатким основанием для нелепых обвинений в антисемитизме.

Я называю их «происшествиями», хотя некоторые из них не

заслуживают даже упоминания. Например, однажды вечером во время обеда зашел разговор о какой-то газете, и я, помнится, услышал, как его светлость заметил: «А, вы имеете в виду этот пропагандистский еврейский листок». В другой раз, но тоже об эту пору, он дал мне распоряжение прекратить пожертвования одной местной благотворительной организации, которая регулярно обращалась за помощью, сказав, что в ее руководстве «более или менее сплошные евреи». Эти замечания запали мне в память, потому что и в самом деле сильно меня тогда удивили: до тех пор его светлость ни разу не выказывал ни малейшей неприязни к лицам еврейской национальности.

Ну, а потом, конечно, наступил день, когда его светлость вызвал меня к себе в кабинет. Вначале он повел разговор на общие темы, спросив, все ли в доме в порядке и тому подобное. Затем произнес:

— Я тут подумал как следует, Стивенс. Подумал как следует. И пришел к определенному выводу. Здесь, в Дарлингтон-холле, мы не можем держать на службе евреев.

— Сэр?

— Для пользы дома, Стивенс. В интересах тех, кто приезжает к нам погостить. Я все тщательно взвесил, Стивенс, и ставлю вас об этом в известность.

— Да, сэр.

— Скажите-ка, Стивенс, у нас ведь сейчас есть несколько человек среди прислуги? Евреев, понятно.

— Полагаю, что двое из нынешнего персонала подпадают под эту категорию, сэр.

— Ага.— Его светлость помолчал, глядя в окно.— Разумеется, вам придется их рассчитать.

— Прошу прощения, сэр?

— Как ни печально, Стивенс, но выбора у нас нет. Следует подумать о безопасности и благополучии моих гостей. Смею уверить, что я все взвесил и тщательно обдумал. Это в наших общих жизненных интересах.

«Двое» из персонала, о которых шла речь, в действительности были «две» — горничные. Приступать к действиям, не поставив мисс Кентон в известность о сложившемся положении, было бы неподобающе с моей стороны. Я решил сделать это в тот вечер за чашкой какао у нее в гостиной. Здесь, вероятно, следует сказать несколько слов об этих наших ежевечерних встречах в гостиной у мисс Кентон. Они, позволю заметить, в подавляющем большинстве были посвящены сугубо рабочим вопросам, хотя время от времени мы, естественно, могли поговорить и на неофициальные темы. Вводя практику таких встреч, мы исходили из элементарных соображений: как показала жизнь, мы были настолько заняты каждый, что, случалось, по нескольку дней друг друга не видели и не имели возможности обменяться даже наиболее существенной информацией. Мы осознали, что подобное положение чревато серьезной опасностью для налаженного управления домашним хозяйством, и решили, что простейший выход из затруднения — встречаться в конце каждого рабочего дня на четверть часа в гостиной у мисс Кентон, чтобы спокойно поговорить с глазу на глаз. Должен еще раз подчеркнуть — эти встречи носили по преимуществу чисто рабочий характер; мы, к примеру, согласовывали наши планы в связи с каким-нибудь предстоящим событием или обсуждали, как обвыкает новая прислуга.

Во всяком случае, возвращаясь к прерванному рассказу, скажу: как вы понимаете, необходимость сообщить мисс Кентон о том, что я собираюсь рассчитать двух ее девушек, отнюдь не приводила меня в восторг. К тому же обе горничные не вызывали решительно никаких нареканий, и — заодно уж скажу и об этом, раз еврейский вопрос приобрел в последнее время столь острый характер,— все во мне противилось мысли об их увольнении. Тем не менее мой долг в данном случае был совершенно ясен, и, как я понимал, я бы ровным счетом ничего не добился, безответственно выказав личное свое осуждение. Задача была трудная, и в силу этого ее надлежало испол-

нить с достоинством. Вот почему я, подняв в тот вечер под занавес эту тему, ограничился по возможности сухим и сжатым ее изложением и закончил словами:

— Я сам поговорю со служанками у себя в буфетной завтра утром в половине одиннадцатого. Буду вам очень обязан, мисс Кентон, если вы их пришлете. А поставить ли их заблаговременно в известность, о чем пойдет разговор,— это я оставляю целиком на ваше усмотрение.

В эту минуту у мисс Кентон, похоже, не нашлось что ответить, поэтому я продолжал:

— Что ж, мисс Кентон, благодарю за какао. Пора бы мне уже и откланяться. Завтра еще один трудный день.

Вот тут мисс Кентон и сказала:

— Мистер Стивенс, я не верю собственным ушам. Руфь и Сара состоят у меня в штате вот уже шесть с лишним лет. Я полностью им доверяю, как и они мне. До сих пор они отлично справлялись со своими обязанностями в этом доме.

— Не сомневаюсь, мисс Кентон. Однако нельзя позволять чувствам влиять на наши суждения. А сейчас я и вправду должен пожелать вам спокойной ночи...

— Мистер Стивенс, меня просто бесит, что вы способны сидеть здесь и говорить то, что сказали, с таким видом, словно речь идет о заказе для кладовой. Я отказываюсь этому верить. Значит, по-вашему, Руфи и Саре следует дать расчет, потому что они еврейки?

— Мисс Кентон, я ведь только что подробно вам все объяснил. Это решение его светлости, так что нам с вами тут нечего обсуждать.

— А вам не приходит в голову, мистер Стивенс, что увольнять Руфь и Сару на таком основании было бы просто... *дурно?* Я не желаю с этим мириться. Я не останусь в доме, где происходят подобные вещи.

— Мисс Кентон, прошу вас, сохраняйте спокойствие и ведите себя, как подобает в вашем положении. Все предельно просто. Раз его светлость требует, чтобы именно эти контракты были расторгнуты, о чем тут еще говорить!

— Предупреждаю вас, мистер Стивенс, я в таком доме служить не останусь. Если уволят моих девочек, я тоже уйду.

— Мисс Кентон, меня поражает ваша реакция. Должен ли я напоминать вам, что наш служебный долг состоит не в потакании собственным настроениям и капризам, а в исполнении приказов хозяина?

— А я заявляю вам, мистер Стивенс, если завтра вы уволите моих девочек, это будет дурно, самый что ни на есть настоящий грех, и я в таком доме служить не останусь.

— Позвольте вам заметить, мисс Кентон, что по своему положению вы едва ли способны судить о столь высоких и великих материях. Дело в том, что современный мир очень сложен и ненадежен. Есть много такого, что просто выше нашего с вами разумения, скажем, природа еврейства, тогда как его светлости в его положении, рискну утверждать, несколько удобней судить, что к лучшему. А теперь, мисс Кентон, мне действительно пора уходить. Еще раз благодарю за какао. Итак, завтра в половине одиннадцатого. Пришлите, пожалуйста, обеих упомянутых служанок.

Едва горничные вошли ко мне в буфетную, как стало ясно, что мисс Кентон успела с ними поговорить,— они обе рыдали. Я в двух словах объяснил им происходящее, подчеркнув, что бывал неизменно удовлетворен их работой и, следовательно, они получат хорошие рекомендации. Насколько я помню, ни та ни другая не сказали ничего примечательного за все время разговора, который продолжался минуты три-четыре, и вышли в слезах, как и вошли.

Несколько дней после увольнения служанок мисс Кентон была со мной крайне нелюбезна. Больше того, временами она мне просто грубила, даже в присутствии слуг. И хотя мы продолжали наши ежевечерние встречи за чашкой какао, сами встречи становились все короче и тягостней. Когда по прошествии двух недель в ее поведении не обозначилось перемены

к лучшему, я, как вы можете понять, начал терять терпение. Поэтому однажды, когда мы сидели за чашкой какао, я не сдержался.

— Мисс Кентон, а я-то думал, что к нынешнему дню вы уже подадите уведомление об уходе,— заметил я, придав голосу иронический оттенок и сопроводив сказанное легким смешком. Я, вероятно, рассчитывал, что она в конце концов смягчится и скажет в ответ что-нибудь примирительное, тем самым дав нам возможность раз и навсегда забыть об этом неприятном случае. Однако мисс Кентон лишь угрюмо на меня посмотрела и ответила:

— Я по-прежнему намерена подать уведомление, мистер Стивенс. Просто навалилось столько дел, что руки не доходили.

Должен признаться, ее ответ на какое-то время посеял во мне опасения, что она не шутит и исполнит свою угрозу. Однако проходили недели, и стало ясно, что она не собирается покидать Дарлингтон-холл; наши отношения помаленьку оттаивали, но я, кажется, иной раз позволял себе поддразнить ее, напоминая об угрозе уйти. Например, когда мы обсуждали какое-нибудь большое мероприятие, имеющее произойти в доме, я мог ввернуть:

— То есть понятно, мисс Кентон, если вы к тому времени все еще будете с нами.

Даже через много месяцев после этого происшествия подобные реплики заставляли мисс Кентон замолкать, хотя теперь, как мне кажется, не столько от гнева, сколько от смущения.

В конце концов, разумеется, об этом деле забыли. Но я помню, как оно всплыло через год с лишним после увольнения двух горничных.

Его светлость сам вспомнил о нем, когда я в один прекрасный день подавал ему чай в гостиную. Тогда влиянию миссис Кэролин Барнет на его светлость давно пришел конец, больше того, и сама эта дама совершенно перестала бывать в Дарлингтон-холле. Стоит также отметить и то, что его светлость к тому времени порвал все связи с «чернорубашечниками», узрев подлинную мерзкую сущность этой организации.

— Кстати, Стивенс,— заметил он.— Давно собирался вам сказать. Об этом прошлогоднем деле. О горничных-еврейках. Вы помните?

— Разумеется, сэр.

— Думаю, теперь их уже не найти, а? Дурно тогда вышло, хотелось бы как-то им компенсировать.

— Непременно наведу справки, сэр. Боюсь, однако, вам обещать, что удастся установить их местонахождение в настоящее время.

— Выясните, что можно сделать. Дурно тогда получилось.

Полагая, что мисс Кентон будет небезынтересно узнать про этот разговор с его светлостью, я решил, справедливости ради, ей о нем сообщить — даже с риском снова разбудить ее гнев. Так я и сделал в тот туманный день, когда неожиданно застал ее в беседке, но, как показало дальнейшее, это привело к непредвиденным последствиям.

Помнится, когда я в тот день шел напрямик по лужайке, туман уже опускался. Я направлялся в беседку за посудой после чая, которым чуть раньше его светлость угощал там гостей. Вспоминаю, я еще издали — задолго до каменных ступеней, где когда-то свалился отец,— заметил мисс Кентон, которая сновала в беседке. Когда я вошел, она сидела в одном из плетеных кресел, расставленных здесь и там, и, очевидно, занималась шитьем. Приглядевшись, я увидел, что она штопает подушечку. Я принялся собирать чашки и блюдца, оставленные среди горшков с зеленью и на плетеных сиденьях, и между делом, кажется, перебросился с ней парой шутливых реплик, а может быть, обсудил один-два рабочих вопроса. Откровенно говоря, было крайне приятно выбраться в беседку на свежий воздух после многих безвылазных дней в доме, и ни я, ни она не спешили закончить и уйти. И хотя наползающий туман скрадывал вид, а день быстро угасал, клонясь к вечеру, так что мисс Кентон приходилось подносить подушечку к самым глазам, мы, помнится, частенько отвлекались от своих дел и просто глядели на то, что открывалось взору. Я как раз смотрел на дальний край лужайки, где вокруг тополей вдоль проселка сгущался

туман, когда наконец решил заговорить о прошлогодних увольнениях. Начал я, как нетрудно догадаться, с напоминания:

— Я вот подумал тут, мисс Кентон. Теперь вспоминать об этом довольно забавно, но помните,— всего год назад в это же время вы все еще настойчиво повторяли, что откажетесь от места. Теперь-то, конечно, смешно вспоминать.— Я рассмеялся, но мисс Кентон — я стоял к ней спиной — ничего не сказала; я помолчал, повернулся и посмотрел на нее: взгляд ее был устремлен к застекленному окну беседки, за которым расстилался туман.

— Вы, мистер Стивенс, вероятно, и не догадываетесь,— произнесла она после долгого молчания,— насколько серьезно я и в самом деле хотела уйти из этого дома. Я так сильно переживала случившееся. Да заслуживай моя особа хоть капельку уважения, уверяю вас, меня бы давно уже не было в Дарлингтон-холле.— Она замолчала, а я опять поглядел на дальние тополя; затем она продолжала усталым голосом: — Трусость, мистер Стивенс. Самая обычная трусость. Куда мне было идти? Семьи у меня нет, одна только тетя. Я ее нежно люблю, но стоит мне пробыть с нею день, как я чувствую, что вся моя жизнь пропадает впустую. Конечно же, я внушала себе, что скоро подыщу какое-нибудь новое место. Но мне было так страшно, мистер Стивенс. Всякий раз, как я надумывала уйти, я представляла себе — вот, ушла, и нет никого, кто бы знал меня или принял во мне участие. Вот вам и все мои высокие принципы. Мне так стыдно. Но я просто не могла уйти, мистер Стивенс. Не могла заставить себя уйти.

Мисс Кентон снова замолкла и, видимо, глубоко задумалась. Я решил, что теперь самое время пересказать ей, по возможности дословно, то, что утром говорил мне лорд Дарлингтон. Так я и сделал, а в заключение добавил:

— Сделанного не воротишь. Но немалое утешение уже то, что его светлость недвусмысленно назвал тот случай ужасным недоразумением. Мне показалось, мисс Кентон, что вам будет интересно об этом узнать,— вы ведь тогда, помнится, огорчались не меньше моего.

— Простите, мистер Стивенс,— совсем другим голосом, словно очнувшись от сна, отозвалась мисс Кентон у меня за спиной,— я вас не понимаю.— Я повернулся к ней, и она продолжала: — Насколько я помню, вы тогда сочли очень правильным и разумным, что Руфь с Сарой выставляют за дверь, и исполнили свою миссию с большой охотой.

— Ну уж нет, мисс Кентон, это совершенно неверно и несправедливо. Вся эта история меня тогда очень, очень встревожила. Чтобы в этом доме случилось такое — увольте, тут радоваться нечему.

— Так почему, мистер Стивенс, вы мне тогда так прямо и не сказали?

Я рассмеялся, однако не нашелся с ответом. Пока я попытался собраться с мыслями, мисс Кентон отложила подушечку и молвила:

— Вы хоть понимаете, мистер Стивенс, как могли бы тогда меня поддержать, если б поделились своими чувствами? Вы ведь знали, что увольнение девочек меня страшно расстроило. Вы хоть понимаете, как бы это мне помогло? Ну почему, мистер Стивенс, почему, почему, почему вы всегда должны *притворяться?!*

Я опять рассмеялся — разговор вдруг принял какой-то нелепый оборот.

— Право же, мисс Кентон, я вас что-то не понимаю. Притворяться? Вот уж действительно...

— Я страшно переживала уход Руфи и Сары, и тем горше, что думала — я одна так к этому отношусь.

— Нет, право же, мисс Кентон...— Я взялся за поднос с посудой.— Естественно, тогдашний прискорбный инцидент не мог не вызвать осуждения. Казалось бы, это само собой разумеется.

Она ничего не сказала, и я, уходя, оглянулся. Она снова смотрела в окно, но к этому часу в беседке стало темно, и я различал только профиль на фоне белесой пустоты за стеклом. Сославшись на дела, я оставил ее одну.

Теперь, когда я восстановил историю с увольнением служанок-евреек, мне приходит на память то, что я бы назвал непредсказуемым последствием, а конкретнее — появление в доме новой горничной, по имени Лиза. Иными словами, нам понадобились две новые девушки на освободившиеся места, и одной из них оказалась Лиза.

Эта молодая женщина представила весьма сомнительные рекомендации, из которых любой опытный дворецкий мог заключить, что обстоятельства ее ухода с предыдущего места были отнюдь не безоблачными. Больше того, когда мы с мисс Кентон устроили ей собеседование, стало ясно, что она нигде не задерживалась дольше нескольких недель. В общем, все в ней говорило о том, что к службе в Дарлингтон-холле она совершенно не пригодна. Однако, к моему удивлению, мисс Кентон после собеседования принялась настаивать, чтобы мы ее приняли.

— Я вижу в этой девушке большие возможности,— повторяла она в ответ на все мои возражения.— Я с нее глаз не спущу, она еще у меня станет прекрасной горничной.

Помнится, мы пререкались довольно долго, и, не будь история с увольнением свежа в памяти, я бы, вероятно, сумел успешнее противостоять мисс Кентон. Так или иначе, я в конце концов уступил, хотя и сказал при этом:

— Надеюсь, мисс Кентон, вы понимаете, что вся ответственность за наем этой девушки целиком и полностью ложится на вас. Лично у меня нет никаких сомнений, что в настоящий момент она далеко не отвечает тем требованиям, которые мы с вами предъявляем к слугам. Если я и соглашаюсь ее принять, то лишь с условием, что вы лично станете надзирать за ее профессиональным ростом.

— Девушка проявит себя с хорошей стороны, мистер Стивенс. Сами еще убедитесь.

К вящему моему удивлению, за сравнительно короткое время девушка и вправду добилась замечательных успехов. Она держалась все лучше день ото дня, и даже ее походка, которая в первые дни отличалась такой небрежностью, что я невольно отводил глаза, решительно выправилась.

Неделя шла за неделей, девушка каким-то чудом превратилась в расторопную горничную, и мисс Кентон откровенно торжествовала. Она словно получала особое удовольствие, давая Лизе то или иное с каждым разом все более ответственное задание, и всем своим видом показывала мне, как я ошибался. Пикировка, что однажды вечером произошла между нами за чашкой какао в гостиной мисс Кентон, довольно характерна для наших тогдашних разговоров о Лизе.

— Мистер Стивенс,— обратилась она ко мне,— вы наверняка крайне огорчитесь, узнав, что Лиза пока не допустила ни одного мало-мальски серьезного промаха.

— Я отнюдь не огорчен, мисс Кентон, напротив — рад и за вас, и за нас всех. Готов признать, что с этой девушкой у вас до сих пор все продвигается с известным успехом.

— С известным успехом! Полюбовались бы лучше на собственную ухмылку, мистер Стивенс. Она всегда появляется у вас на лице, стоит мне заговорить о Лизе, и это уже само по себе выдает вас с головой. Вот именно, с головой.

— Ну, мисс Кентон, так уж и с головой. А позвольте спросить, в чем именно выдает?

— Весьма любопытно, мистер Стивенс. Весьма любопытно, что вы почему-то не ждете от нее ничего хорошего. А почему? Конечно же, потому, что Лиза — хорошенькая девушка. Я заметила — вам отчего-то не нравится, чтобы в доме работали хорошенькие девушки.

— Мисс Кентон, вы и сами знаете, что болтаете чепуху.

— Но я же заметила, мистер Стивенс. Вам не нравится, чтобы в доме работали хорошенькие девушки. Неужто наш мистер Стивенс так боится отвлечься? Неужто наш мистер Стивенс и впрямь создан из плоти и крови и поэтому не может полностью на себя положиться?

— Однако же, мисс Кентон. Если б я считал, что в ваших словах есть

хоть крупица здравого смысла, может, я еще и поспорил бы на эту тему. А так я, пожалуй, буду думать себе о чем-нибудь постороннем, пока вы не кончите болтать чепуху.

— Да, но почему тогда, мистер Стивенс, вы все еще виновато ухмыляетесь?

— И вовсе не виновато, мисс Кентон. Просто меня слегка забавляет ваша поразительная способность болтать чушь, только и всего.

— Нет, мистер Стивенс, ухмылка-то у вас виноватая. И я заметила, что на Лизу вы едва смотрите. Теперь-то мне понятно, почему вы так упорно против нее возражали.

— Мои возражения, как вам, мисс Кентон, прекрасно известно, имели под собой весьма крепкие основания. Когда девушка к нам пришла, она совершенно никуда не годилась.

Вам, конечно, понятно, что мы ни в коем случае не позволяли себе беседовать в таком тоне, если слуги могли нас услышать. Но в эту пору наши вечерние разговоры за чашкой какао, сохраняя в целом свой профессиональный характер, стали частенько перемежаться невинной болтовней в таком вот духе, которая, следует заметить, немало помогала расслабиться после многотрудного рабочего дня.

Лиза прослужила у нас месяцев восемь или девять, и я уже почти забыл о ее существовании, когда в один прекрасный день она сбежала со вторым лакеем. Разумеется, подобные происшествия — элементарная бытовая неизбежность из тех, с какими приходится иметь дело любому дворецкому, когда в доме много прислуги. Они сильно досаждают, но с ними приучаешься мириться. И если уж говорить о таких вот исчезновениях «под покровом ночи», то Лизин случай еще был одним из самых пристойных. Не считая еды, парочка ничего не прихватила из дома, больше того — и он, и она оставили записки. Второй лакей, я уже забыл его имя, адресовал мне коротенькое послание примерно в таком духе: «Пожалуйста, не осуждайте нас слишком сурово. Мы любим друг друга и собираемся пожениться». Лиза написала куда больше, и с этим-то письмом, адресованным «Экономке», мисс Кентон и явилась ко мне в буфетную наутро после их бегства. Письмо, насколько я помню, изобиловало безграмотными в орфографическом и стилистическом отношении фразами о том, как эти двое любят друг друга, что за чудесный человек второй лакей и какая удивительная совместная жизнь их ожидает. Одна фраза, если не ошибаюсь, была примерно такая: «У нас нету денег ну и пусть мы любим и чево еще нужно у меня есть он у него есть я и нечево нам другово желать». Хотя письмо занимало целых три страницы, в нем не было ни слова благодарности мисс Кентон за ее великую заботу о девушке, не прозвучало и сожаления о том, что они всех нас подвели.

Мисс Кентон была явно расстроена. Пока я проглядывал письмо, она сидела напротив меня за столом, пристально рассматривая сложенные на коленях руки. Странно, но я и вправду не припомню, когда еще видел ее такой потерянной, как в то утро.

— Итак, мистер Стивенс, похоже, вы были правы, а я ошибалась.

— Да не расстраивайтесь вы, мисс Кентон,— ответил я.— Такие вещи случаются, и предотвратить их не в наших силах.

— Я заблуждалась, мистер Стивенс. Я признаю. Как всегда, вы кругом были правы, а я ошибалась.

— Никак не могу согласиться с вами, мисс Кентон. С этой девушкой вы добились чуда, и то, чем она стала с вашей помощью, многократно доказывает, что не прав был как раз я. Честное слово, мисс Кентон, такая накладка могла случиться с любым из слуг. Вы прекрасно над ней поработали. У вас все основания считать, что это она подвела вас, но решительно никаких — возлагать на себя ответственность за случившееся.

Мисс Кентон по-прежнему выглядела очень подавленной. Она тихо произнесла:

— Спасибо на добром слове, мистер Стивенс. Я вам очень

признательна.— Устало вздохнула и прибавила: — Какая глупенькая. Ведь могла бы по-настоящему преуспеть. Способностей ей было не занимать. Сколько молодых женщин, таких, как она, отказываются от прекрасных возможностей — и ради чего?

Мы оба посмотрели на листки, лежавшие на столе между нами; мисс Кентон, досадливо поморщившись, отвела взгляд.

— Ваша правда,— заметил я.— Сама себя погубила.

— Так глупо. И он ее обязательно бросит. А ведь ее ожидала хорошая жизнь, сумей она продержаться. Я бы так ее натаскала, что через год-другой она могла бы занять место экономки в каком-нибудь маленьком доме. Вам, мистер Стивенс, вероятно, покажется, что я преувеличиваю, но вспомните, чем она у меня стала всего за несколько месяцев. Теперь для нее все это потеряно. Все впустую.

— Действительно, весьма неразумно с ее стороны.

Я принялся собирать со стола листки почтовой бумаги, решив сохранить их на тот случай, если придется давать рекомендации. Но тут на меня напали сомнения — хочет ли мисс Кентон, чтобы я хранил письмо, или собирается держать его у себя,— и я положил листки на стол, где они лежали раньше. Однако мисс Кентон, кажется, думала совсем о другом.

— Он ее обязательно бросит,— повторила она.— Как глупо.

Но я вижу, что слишком уж углубился в воспоминания о давно прошедшем. Это отнюдь не входило в мои намерения, но, вероятно, все к лучшему, потому что я, по крайней мере, отвлекся от неприятных мыслей о событиях нынешнего вечера, которые, надеюсь, подошли к концу. Несколько последних часов, нужно сказать, были для меня довольно мучительными.

Сейчас я сижу в мансарде маленького коттеджа, принадлежащего мистеру и миссис Тейлор. То есть в частном доме. А комнату, где Тейлоры столь любезно предложили мне заночевать, раньше занимал их старший сын, который давно уже взрослый и живет в Эксетере. Над головой нависают стропила и балки, на голых половицах нет ни коврика, ни половика, однако в этой комнате чувствуешь себя удивительно уютно. Ясно, что миссис Тейлор не только перестелила постель, но прибрала и вытерла пыль: у самых стропил осталось несколько паутинок, а так не скажешь, что комната много лет пустовала. Мистер и миссис Тейлор, как я выяснил, еще с двадцатых годов держали в Эксетере зеленную лавку, пока не ушли на покой три года тому назад. Они очень добрые люди, и хотя я нынче вечером неоднократно предлагал заплатить за гостеприимство, они не хотели об этом и слышать.

То, что я сейчас здесь и что мистер и миссис Тейлор, в сущности, просто меня пожалели и великодушно предоставили мне ночлег в своем доме,— все это объясняется идиотской, до обиды элементарной оплошностью с моей стороны: я не заметил, как в баке иссяк бензин. Если добавить к этому вчерашнее мое упущение с водой в радиаторе, то легко прийти к выводу, будто неорганизованность вообще свойственна мне от природы. Можно, разумеется, возразить, что по части дальних автомобильных поездок я в известном смысле новичок и таких элементарных оплошностей от меня естественно было ожидать. И все же, если вспомнить о том, что надлежащая организованность и предусмотрительность — качества, составляющие саму суть нашей профессии, трудно избавиться от чувства, что я снова оплошал.

Правда, в последний час перед тем, как кончиться бензину, у меня хватало других забот. Я наметил заночевать в городке Тависток, куда и приехал к восьми вечера. В главной гостинице, однако, извинились, сказали, что все комнаты заняты приехавшими на местную сельскохозяйственную ярмарку, и предложили попытать счастья в нескольких других заведениях. Так я и сделал, но везде было то же самое. Наконец хозяйка пансионата на окраине города посоветовала отправиться за несколько миль в придорожную гостиницу, которую содержит кто-то из ее родни, заверив,

что там обязательно будут свободные комнаты, потому что от Тавистока далековато и ярмарочные туда просто не доберутся.

Она подробнейшим образом объяснила мне, как доехать, и тогда все вроде было понятно, так что теперь невозможно установить, по чьей вине я не обнаружил указанного придорожного заведения. Вместо этого примерно через четверть часа я очутился на длинной дороге, вьющейся по унылой плоской вересковой пустоши. По обеим сторонам тянулись заболоченные, по всей видимости, луга, дорогу постепенно заволакивало туманом. Слева догорал закат. На фоне вечернего неба по ту сторону лугов здесь и там виднелись силуэты амбаров, хлевов и фермерских домиков, в остальном же складывалось впечатление, что я полностью оторван от цивилизации.

Я, помнится, развернулся и поехал назад, высматривая встретившийся до этого поворот. Я его отыскал, но новая дорога если чем и отличалась от старой, так только еще большей запущенностью. Какое-то время я ехал в полутьме между высоких живых изгородей, затем почувствовал, что дорога пошла круто в гору. Я уже распрощался с надеждой найти придорожную гостиницу и решил никуда не сворачивать, пока не доберусь до какого-нибудь города или деревни, где буду искать ночлег. А утром, убеждал я себя, первым делом выеду на старый маршрут, это будет несложно. Вот тогда-то, посредине подъема, двигатель захлебнулся, и я впервые заметил, что бензин кончился.

«Форд» прополз еще несколько ярдов и стал. Я вылез из машины разведать обстановку и понял, что минут через десять стемнеет. Я стоял на крутой дороге, с обеих сторон окаймленной деревьями и живыми изгородями; впереди, чуть выше, изгороди расступались и на фоне неба вырисовывались широкие ворота, запертые на перекладину. Я пошел к ним, рассчитывая, что открывшийся за воротами вид подскажет, где я нахожусь. Вид и вправду открылся, но изрядно меня разочаровал. Поле за воротами шло круто вниз и пропадало всего в каких-то двадцати ярдах. За гребнем холма, довольно далеко — по прямой, пожалуй, с добрую милю — виднелась деревенька. Сквозь дымку я разглядел церковный шпиль и вокруг него — скопления крытых темным шифером крыш; здесь и там над трубами поднимались столбики белого дыма. В ту минуту, должен признаться, зрелище это привело меня в некоторое уныние. Конечно, положение мое ни в коем случае нельзя было назвать безнадежным; с «фордом» ничего не случилось, просто горючее кончилось. Спуститься в деревню я мог бы за полчаса, а уж там бы, конечно, нашел и ночлег, и канистру бензина. И все-таки мало радости было стоять на одиноком холме у закрытых ворот, когда свет дня вот-вот иссякнет, а туман на глазах густеет, и видеть, как в далекой деревне зажигаются огоньки.

Но что толку впадать в уныние? В любом случае глупо было бы не использовать остатки дневного света. Я вернулся к «форду», уложил в портфель кое-что из предметов первой необходимости и, вооружившись велосипедным фонариком, который давал неожиданно яркий луч, пошел искать ведущую вниз к деревне тропинку. Никакой тропинки, однако, не обнаружилось, хотя я поднялся довольно высоко, оставив позади закрытые ворота. Тут до меня дошло, что подъем кончился и дорога пошла вниз, плавно заворачивая в сторону, противоположную от деревни,— а ее огоньки я время от времени различал сквозь листву,— и я снова потерял присутствие духа. Честно говоря, я уже подумывал возвратиться к «форду», залезть в машину и ждать, не проедет ли кто по дороге. Но вот-вот должно было совсем стемнеть, и я сообразил, что если попробую в таких обстоятельствах остановить проходящий транспорт, то меня скорее всего примут за дорожного грабителя или еще кого похуже в том же роде. А кроме того, с тех пор, как я вылез из «форда», не проехало ни одного автомобиля; да и вообще я что-то не помнил, чтобы после Тавистока мне попадались на дороге машины. Тогда я решил вернуться к воротам и оттуда спускаться полем, по возможности держа курс прямо на деревенские огоньки, а уж найдется там тропинка или нет — не имеет значения.

В конечном счете спуск оказался не такой уж и трудный. Несколько

пастбищ, вытянувшись в цепочку, сбегали вниз прямо к деревне, и, двигаясь по краю одного пастбища за другим, можно было спуститься без особых усилий. Только раз, уже у самой деревни, я не сумел найти проход на соседнее пастбище, как ни водил фонариком по преградившей мне путь живой изгороди. Наконец я обнаружил в ней небольшую брешь, сквозь которую умудрился протиснуться, правда, не без ущерба для рукава куртки и брючных манжет. Хуже того, несколько последних пастбищ оказались грязнее некуда; чтобы лишний раз не расстраиваться, я сознательно не светил себе на ботинки и брюки.

Постепенно я выбрался на мощеную дорожку, что вела в деревню, и, спускаясь по ней, повстречал мистера Тейлора, ставшего в тот вечер моим благодетелем. Он вышел впереди из-за поворота, любезно подождал, пока я с ним поравняюсь, и лишь тогда, тронув рукой кепку, осведомился, не может ли он чем мне помочь. Я в нескольких словах обрисовал свои трудности, добавив, что буду весьма обязан, если он укажет, где тут хорошая гостиница. В ответ мистер Тейлор покачал головой и сказал:

— Боюсь, сэр, у нас в деревне *гостиницы* вообще нету. Обычно Джон Хамфрис устраивает проезжих у себя в «Скрещенных ключах», но сейчас там ремонтируют крышу.— Не успел я, однако, проникнуться этой неутешительной новостью, как мистер Тейлор добавил: — Если вы не против переночевать без удобств, сэр, мы бы предложили вам комнату и постель. Ничего такого, но жена уж приглядит, чтобы в комнате было чисто и все что надо.

По-моему, я забормотал в ответ что-то малоубедительное в том духе, что не смею причинять им такие хлопоты, на что мистер Тейлор ответил:

— Скажу вам, сэр, мы почтем за честь вас принять. Такие люди, как вы, не часто оказываются проездом в Москоме. И, честное слово, сэр, не представляю, куда вам деться в этот-то час. Жена никогда не простит, если я отпущу вас ночью на все четыре стороны.

Вот так и случилось, что я воспользовался сердечным гостеприимством мистера и миссис Тейлор. Но когда я раньше назвал события этого вечера «мучительными», я имел в виду не только оплошность с бензином и вынужденный спуск в деревню по бездорожью. Ибо то, что случилось после,— поворот событий за ужином, который я разделил с мистером и миссис Тейлор и их соседями,— на свой лад оказалось испытанием куда более тяжким, нежели неудобства преимущественно физического порядка, с какими я столкнулся незадолго до того. Уверяю вас, я почувствовал огромное облегчение, когда смог наконец подняться в эту комнату и предаться воспоминаниям о Дарлингтон-холле тех давних лет.

Последнее время я вообще все чаще обращаюсь к подобным воспоминаниям. А с той минуты, как несколько недель тому назад впервые обозначилась возможность снова увидеться с мисс Кентон, я, кажется, стал подолгу задумываться над тем, как и почему наши с ней отношения претерпели столь серьезные изменения. Ибо другим словом не назовешь то, что произошло в 1935 или 1936 году, после многих лет, на протяжении которых мы упорно шли — и пришли — к полному рабочему взаимопониманию. А кончилось все это тем, что мы отказались даже от ежевечерних встреч за чашкой какао. Но что именно вызвало эти изменения, какие конкретно события к ним привели — этого мне так и не удалось понять.

Когда возвращаешься к событиям задним числом, представляется вероятным, что решающим, поворотным пунктом стала из ряда вон выходящая сцена, случившаяся в тот вечер, когда мисс Кентон вошла без приглашения ко мне в буфетную. Почему и зачем, сейчас уже точно не помню. Что-то подсказывает, что она могла принести вазу с цветами «оживить покои» но, возможно, я путаю, и это произошло значительно раньше, в самом начале нашего знакомства. Я твердо помню, что за все эти годы она пыталась поставить у меня в буфетной цветы по меньшей мере три раза, но, возможно, ошибаюсь, полагая, что именно цветы послужили в тот вечер предлогом для ее прихода. Должен, во всяком случае, подчеркнуть, что, несмотря на наши многолетние прекрасные рабочие отношения, я никогда не позволял им доходить до такой степени, чтобы экономка появ-

лялась в моей буфетной когда ей заблагорассудится. Для меня лично буфетная дворецкого — ключевой пост, сердцевина, к которой сходятся нити всех домашних процессов, как к генеральскому штабу — нити боевых операций; все в ней обязано пребывать — и оставаться — именно в том порядке, который устанавливаю я сам. Я не из той породы дворецких, кто позволяет всем кому не лень толочься в буфетной со всякими вопросами и жалобами. Само собой разумеется, что в интересах спокойного и согласованного руководства домашними процессами буфетная дворецкого должна быть единственным местом в доме, надежно огражденным от любых вторжений извне.

Случилось так, что в тот вечер мисс Кентон застала меня совсем не за профессиональным занятием. Приближался к концу рабочий день спокойной недели, и я воспользовался свободным часом, который редко мне выпадал. Как было сказано, я не ручаюсь, что мисс Кентон вошла с вазой цветов, но прекрасно помню, что она заметила:

— Мистер Стивенс, вечером ваша комната выглядит еще неуютней, чем днем. У лампочки слишком слабый накал, ну разве можно читать при таком свете!

— Меня вполне устраивает, благодарю, мисс Кентон.

— Честное слово, мистер Стивенс, эта комната похожа на тюремную камеру. Поставить в углу узкую койку — и можно поверить, что приговоренные проводят тут последние часы перед казнью.

Возможно, я что-то ей возразил, сейчас не припомню. Во всяком случае, глаз от книги я так и не поднял, надеясь, что мисс Кентон извинится и выйдет. Прошло несколько секунд, и снова раздался ее голос:

— Интересно, что вы тут читаете, мистер Стивенс?

— Читаю книгу, мисс Кентон.

— Это я и сама вижу, мистер Стивенс. Но мне интересно, что за книгу.

Я поднял взгляд и увидел, что мисс Кентон ко мне приближается. Я закрыл книгу, прижал к груди и поднялся.

— Право же, мисс Кентон,— заметил я,— приходится попросить вас считаться с моим желанием побыть одному.

— Но почему вы так вцепились в книгу, мистер Стивенс? Можно подумать, это нечто фривольное.

— Абсолютно исключено, мисс Кентон, чтобы «фривольному», как вы это именуете, нашлось место на книжных полках его светлости.

— Мне говорили, что во многих ученых книгах встречаются весьма пикантные места, но самой не хватало смелости поглядеть. Ну-ка, мистер Стивенс, пожалуйста, покажите, что вы читаете.

— Мисс Кентон, я должен просить вас оставить меня в покое. Просто невероятно, что вы так упорно пристаете ко мне, когда у меня выдалось несколько свободных минут.

Но мисс Кентон подходила все ближе, и, должен признаться, я немного растерялся, не зная, как надлежит вести себя в подобной ситуации. Меня подмывало бросить книгу в ящик конторки и закрыть на ключ, но это отдавало нелепой театральщиной. Я попятился, все еще прижимая книгу к груди.

— Ну, мистер Стивенс, ну, пожалуйста, покажите книгу,— повторила мисс Кентон, продолжая на меня надвигаться,— и я уйду, а вы читайте себе дальше на здоровье. Что же это за книга такая, если вы никак не даете на нее посмотреть?

— Мисс Кентон, увидите вы или нет название этой книги, само по себе ни в малейшей степени меня не волнует. Но я в принципе возражаю против того, чтобы вы вот так появлялись и вторгались ко мне в минуты уединения.

— Интересно, нет ли в этой книге чего неприличного, мистер Стивенс, и уж не оберегаете ли вы меня часом от ее гадкого влияния?

Мы оказались лицом к лицу, и вдруг вся обстановка странным образом изменилась — как если бы нас двоих внезапно выбросило в какое-то совершенно иное измерение бытия. Боюсь, нелегко дать вам ясное

представление о том, что я имею в виду. Могу лишь сказать, что все вокруг нас вдруг застыло; мне показалось, что и с мисс Кентон тоже произошла внезапная перемена — лицо у нее стало непривычно серьезным, и меня поразило чуть ли не испуганное его выражение.

— Прошу вас, мистер Стивенс, дайте глянуть на книгу.

Она протянула руку и принялась осторожно высвобождать книгу из моих судорожно сжатых пальцев. Я почел за благо отвернуться, пока она этим занималась, но мы стояли так близко, почти вплотную друг к другу, что сделать это я мог только одним способом — задрав голову вверх и вбок под довольно неестественным углом. Мисс Кентон продолжала очень осторожно вытягивать книгу, по очереди разжимая мои пальцы. Как мне показалось, это продолжалось очень долго,— а я все время простоял в той же позе,— но наконец я услышал ее голос:

— Боже правый, мистер Стивенс, да в этой книге совсем нет ничего такого. Обычный сентиментальный любовный роман.

Вот тут-то, думаю, и пришел конец моему терпению. Не помню, что именно я сказал тогда мисс Кентон, но помню, что твердой рукой указал ей на дверь буфетной, положив тем самым конец всему эпизоду.

Здесь, видимо, следует сказать несколько слов о самой книге, вокруг которой разгорелись такие страсти. Книга и вправду представляла собой то, что можно назвать «душещипательным романом»,— они имелись в библиотеке и лежали в некоторых гостевых спальнях для развлечения приезжающих дам. К штудированию таких сочинений я пристрастился по другой простой причине — они успешно помогали избегать просторечья и совершенствоваться во владении английским языком. Я считаю — не знаю, согласитесь ли вы со мной,— что, если речь идет о нашем поколении, слишком большой упор делается на том, чтобы дворецкий говорил грамотно и с хорошим произношением. Эти частности порой даже раздуваются в ущерб более важным профессиональным качествам. Тем не менее я всегда полагал, что хорошее произношение и грамотность — вещи привлекательные, и неизменно почитал своим долгом по возможности совершенствоваться в том и в другом. Тут одна из простейших методик — читать по нескольку страниц какой-нибудь хорошо написанной книги всякий раз, как выпадает свободная минута. К тому времени я уже не первый год следовал этому правилу и частенько брал в руки книжки вроде той, за чтением которой меня застала тогда мисс Кентон,— брал всего лишь потому, что они, как правило, написаны хорошим языком и изобилуют изящными диалогами, из которых можно почерпнуть немало профессионально полезного. Книги посерьезнее, скажем, ученые исследования, хотя и способны расширять кругозор, однако, как правило, изобилуют выражениями, не столь широко применяемыми в ходе профессионального общения с дамами и джентльменами.

У меня редко бывает время и желание читать эти романы от корки до корки, но, насколько могу судить, их сюжеты всегда нелепы, действительно «душещипательны», и я бы не брал подобные книги в руки, если б не извлекал из них вышеуказанной пользы. Сказав об этом, я, однако, готов сегодня признать — и не вижу в том ничего постыдного,— что подчас их чтение доставляло мне своеобразное удовольствие. Тогда, возможно, я и сам еще этого не сознавал, но повторю — чего тут стыдиться? Почему бы и не получать удовольствие от легковесных повествований про дам и джентльменов, которые друг в друга влюбляются и говорят о своих чувствах в самых изысканных выражениях?

Этим я вовсе не хочу сказать, что занятая мной в тот вечер по поводу книги позиция в чем-то была неоправданной. Вы должны понять — тогда речь шла о деле принципиальной важности. Суть в том, что перед появлением мисс Кентон в буфетной я позволил себе «расслабиться». А всякий дворецкий, гордящийся своей профессией, всякий дворецкий, хоть сколько-нибудь стремящийся обладать, как некогда сформулировало Общество Хейса, «достоинством, отвечающим занимаемому им положению», разумеется, не может позволить себе «расслабиться» в присутствии других лиц. Не

важно, в сущности, что тогда ко мне вошла именно мисс Кентон: на ее месте мог быть и совершенно незнакомый человек. Всякий мало-мальски серьезный дворецкий обязан на людях *жить* в своей роли, жить целиком и полностью, он не может на глазах у других выйти из роли, а через час войти, словно это не роль, а маскарадный костюм. Существует всего одна, и только одна ситуация, в рамках которой дворецкий, пекущийся о своем достоинстве, может позволить себе выйти из роли, а именно — когда он остается в полном одиночестве. Теперь вам станет понятно, что в случае с мисс Кентон, ворвавшейся ко мне в то время, когда я предполагал, и небезосновательно, что побуду один, речь шла о проблеме принципиальной, жизненной важности, а именно — о достоинстве, позволяющем мне являться перед другими не иначе, как полностью и надлежащим образом проникнувшись ролью.

Я, однако, не собирался подвергать здесь этот незначительный эпизод многолетней давности всестороннему разбору. Главный его смысл состоял в том, что он заставил меня встрепенуться и осознать: наши с мисс Кентон отношения докатились — разумеется, незаметно, в течение многих месяцев — до неуместного панибратства. То, что она позволила себе так держаться со мной в тот вечер, вызывало определенную тревогу, и после того, как я выпроводил ее из буфетной и получил возможность немного собраться с мыслями, я, помнится, принял решение перевести наши рабочие контакты на более приличествующую основу. Но в какой мере описанный случай способствовал радикальным изменениям, которые в дальнейшем претерпели наши отношения, теперь очень трудно сказать. То, что произошло потом, вполне может объясняться и другими, более значительными факторами. Такими, к примеру, как проблема свободных дней мисс Кентон.

С первого появления мисс Кентон в Дарлингтон-холле и почти до того случая в буфетной ее свободные дни распределялись по определенной схеме. Раз в полтора месяца она брала два дня и отправлялась в Саутгемптон проведать тетку или же, следуя моему примеру, вообще не брала свободных дней, разве что в доме наступало затишье, и тогда она весь день гуляла вокруг дома и читала у себя в гостиной. Но потом, как я говорил, все изменилось. Она вдруг начала пользоваться всеми положенными ей по контракту выходными; каждый раз исчезая с раннего утра, она никому ничего не говорила и только сообщала час, к которому собиралась вернуться вечером. Конечно, она брала только то, на что имела право, и поэтому я счел неуместным дознаваться об этих ее вылазках. Но, видимо, такая перемена меня все же тревожила, потому что, помнится, я коснулся ее в разговоре с мистером Грэмом, дворецким-камердинером сэра Джеймса Чемберса,— добрым моим коллегой, с которым, кстати, я, видимо, потерял теперь связь,— когда мы как-то вечером сидели у камина во время одного из его регулярных приездов в Дарлингтон-холл.

В действительности я и сказал всего одну какую-то фразу в том духе, что экономка-де «последнее время немного не в своей тарелке», так что мистер Грэм меня удивил, когда кивнул головой, подался ко мне и с проницательным видом заметил:

— Я все ждал, сколько это еще протянется.

Я спросил, что он имеет в виду, и он продолжал:

— Вашу мисс Кентон. Сколько ей сейчас будет? Тридцать три? Тридцать четыре? Упустила лучшие годы для материнства, однако наверстать еще и теперь не поздно.

— Мисс Кентон,— заверил я,— преданная своему делу профессионалка. Так получилось, что мне достоверно известно — заводить семью она не намерена.

Но мистер Грэм только улыбнулся, покачал головой и сказал:

— Не верьте экономке, когда она заявляет, что не хочет семьи. Да что там говорить, мистер Стивенс, одни мы с вами, здесь сидючи, сможем припомнить добрую дюжину, которые заявляли то же самое, а после выходили замуж и бросали работу.

В тот вечер я, помнится, самонадеянно отмел теорию мистера Грэма,

однако впоследствии, признаюсь, мне стало трудно гнать от себя мысли о том, что целью таинственных отлучек мисс Кентон могли быть встречи с поклонником. Эти мысли и вправду вселяли тревогу, ибо, как легко догадаться, уход мисс Кентон стал бы для нас с профессиональной точки зрения потерей весьма значительной, от которой Дарлингтон-холлу было бы сложно оправиться. Больше того, я вынужден был признать и наличие других мелких признаков, косвенно подтверждающих правоту мистера Грэма. Так, поскольку получение почты входит в мои обязанности, я невольно обратил внимание на то, что мисс Кентон начала довольно регулярно — примерно раз в неделю — получать письма от одного и того же корреспондента, да еще и со штемпелем местной почты. Здесь, может быть, следует подчеркнуть, что я никак не мог всего этого не заметить, учитывая, что за все предыдущие годы ей пришло на адрес Дарлингтон-холла очень немного писем.

Наконец, в пользу мнения мистера Грэма говорили и еще более неопределенные приметы. Например, при том, что свои рабочие обязанности мисс Кентон продолжала отправлять со свойственным ей усердием, общее ее настроение стало подвержено таким разительным колебаниям, каких до этого я за ней не замечал. Периоды, когда она целыми днями — и без всякой видимой причины — ходила весьма жизнерадостной и веселой, пугали меня почти так же, как ее внезапные и зачастую продолжительные приступы угрюмости. Как я сказал, она в любом настроении высоко держала свою профессиональную марку, но, с другой стороны, заботиться о благополучии дома в долгосрочной перспективе было моей обязанностью, и коль скоро эти приметы действительно подтверждали точку зрения мистера Грэма, будто мисс Кентон замышляет оставить место из романтических побуждений, проверить такую версию было моим прямым долгом. Поэтому на одной из наших ежевечерних встреч за чашкой какао я отважился задать ей вопрос:

— В четверг вы тоже уйдете, мисс Кентон? В ваш свободный день, я хочу сказать?

Я думал, она рассердится, но она, напротив, словно долго ждала случая поговорить на эту самую тему, ибо ответила даже как бы с облегчением:

— Ну, мистер Стивенс, это просто мой старый знакомый еще с тех времен, когда я была в Гранчестер-лодже. Он тогда служил там дворецким, но потом ушел и теперь работает неподалеку в одной фирме. Он как-то проведал, что я здесь служу, и стал мне писать, предлагая возобновить знакомство. Вот, собственно, и все, мистер Стивенс.

— Понимаю, мисс Кентон. Конечно, приятно время от времени отдохнуть от службы.

— Я тоже так считаю, мистер Стивенс.

Мы помолчали. Затем мисс Кентон, видимо, пришла к какому-то решению и продолжала:

— Так про этого моего знакомого. Помню, когда он служил дворецким в Гранчестер-лодже, то был полон самых благородных устремлений. Мне кажется даже, что его самой заветной мечтой было поступить дворецким в такой дом, как этот. Но стоит мне сейчас вспомнить кое о каких его рабочих привычках... Право же, мистер Стивенс, я представляю, что бы вы только сказали, если б на него посмотрели! Неудивительно, что его честолюбивые помыслы так и не осуществились.

Я хмыкнул.

— На своем веку,— заметил я,— я повидал слишком многих, кто считал, будто может служить в таких вот домах высшего уровня, имея весьма смутное представление о предъявляемых требованиях. Конечно же, эта служба не всякому по плечу.

— Истинная правда. Нет, мистер Стивенс, жалко, что вы тогда его не видели!

— На уровнях нашего порядка, мисс Кентон, не каждый способен работать. Легко вынашивать честолюбивые помыслы, но без определенных качеств дворецкому просто не переступить определенной черты.

Мисс Кентон, похоже, взвесила сказанное и произнесла:

— По-моему, мистер Стивенс, вы должны быть всем очень довольны. В конце концов, вы достигли высшей ступени в своей профессии, в подконтрольной вам области все происходит только с вашего ведома. Я просто не представляю, чего еще вам требовать от жизни.

Я не сразу нашелся с ответом. В наступившем чуть неловком молчании мисс Кентон устремила взор в свою чашку с какао, словно обнаружила там нечто крайне интересное. Подумав, я наконец сказал:

— Что касается меня, мисс Кентон, я сочту свою миссию выполненной лишь тогда, когда сделаю все, что в моих силах, дабы способствовать его светлости в достижении великих целей, какие он перед собой ставит. В тот день, когда его светлость завершит свои труды, в тот день, когда он сможет почить на лаврах в сознании того, что оправдал все разумные ожидания, когда-либо на него возлагавшиеся,— только в этот день, мисс Кентон, я смогу назвать себя, как вы изволили выразиться, очень довольным.

Возможно, мои слова привели ее в легкое замешательство — или же, по какой-то непонятной причине, пришлись ей не по вкусу. Во всяком случае, у нее в эту минуту, видимо, переменилось настроение, и наша беседа быстро утратила доверительность, которую начала было приобретать.

А через несколько недель после этого разговора нашим встречам за чашкой какао у нее в гостиной вообще пришел конец. Да, я хорошо помню последнюю. Мне нужно было обсудить с мисс Кентон одно предстоящее событие — приезд на субботу и воскресенье группы видных лиц из Шотландии. Правда, до него оставался еще целый месяц, но мы взяли за правило обговаривать подобные мероприятия заблаговременно. В тот вечер я начал излагать свои соображения о различных сторонах этого вопроса, но вскоре до меня дошло, что мисс Кентон почти не участвует в разговоре; больше того, мне стало вполне очевидно, что мысли ее заняты совершенно другим. Я неоднократно обращался к ней со словами вроде: «Вы слушаете, мисс Кентон?» — особенно когда пускался в обстоятельные рассуждения; она всякий раз начинала слушать чуть внимательней, но я видел, что тут же мысли ее оказывались где-то далеко. Проговорив так несколько минут и слыша в ответ одни лишь короткие фразы типа «Разумеется, мистер Стивенс» или «Совершенно согласна с вами, мистер Стивенс», я наконец сказал:

— Простите, мисс Кентон, но я не вижу смысла продолжать. Вы, очевидно, просто не понимаете всей важности настоящего обсуждения.

— Простите, мистер Стивенс,— ответила она, слегка встрепенувшись.— Просто я нынче порядком устала.

— Последнее время, мисс Кентон, вы устаете все чаще. Прежде у вас не возникало необходимости на это ссылаться.

К моему удивлению, мисс Кентон реагировала на мои слова взрывом эмоций:

— Мистер Стивенс, у меня была очень тяжелая неделя. Я очень устала. Честно говоря, вот уже три или четыре часа я только и думаю, как бы прилечь. Я очень, очень устала, мистер Стивенс, разве вы не чувствуете?

Я не то чтобы ожидал от нее извинений, но резкость ее ответа, признаюсь, меня слегка ошеломила. Я, однако, решил не вступать в бессмысленную перепалку, выдержал многозначительную паузу и произнес:

— Если вы так настроены, мисс Кентон, нам нет никакого резона продолжать встречаться по вечерам. Сожалею, что до сих пор не имел представления, насколько это вам неудобно.

— Мистер Стивенс, я всего лишь сказала, что устала сегодня...

— Нет, нет, мисс Кентон, я все понимаю. У вас и так уйма дел, а эти встречи еще добавляют ненужных хлопот. Найдется много других способов общения на должном рабочем уровне и помимо подобных встреч.

— Мистер Стивенс, не нужно ничего менять. Я только сказала...

— Я серьезно, мисс Кентон. Я и сам последнее время подумывал прекратить эти встречи, поскольку они удлиняют наш и без того долгий рабочий день. Тот факт, что мы уже много лет так встречаемся, сам по себе не мешает нам перейти отныне к более удобной форме общения.

— Ну, пожалуйста, мистер Стивенс, мне эти встречи очень полезны...

— Но они причиняют вам неудобства, мисс Кентон. Они вас утомляют. Я бы предложил договориться таким образом: впредь мы в обязательном порядке обмениваемся важной информацией в течение рабочего дня. На тот случай, если мы не сразу найдем друг друга, предлагаю оставлять записки у дверей. По-моему, это прекрасное решение. А сейчас, мисс Кентон, приношу извинения, что отнял у вас столько времени. Весьма благодарен за какао.

Естественно — и я готов это признать,— время от времени я задавался вопросом, как бы все в конце концов обернулось, не прояви я непреклонности в вопросе о наших вечерних встречах; то есть если бы я уступил, когда потом мисс Кентон несколько раз предлагала возобновить их. Сейчас я размышляю об этом лишь потому, что в свете дальнейших событий можно подумать и так: приняв решение раз и навсегда покончить с этим вечерним какао, я, должно быть, не отдавал себе полного отчета в вероятных последствиях этого шага. Больше того, скромное это решение можно даже назвать своего рода поворотным пунктом и сказать, что оно предопределило дальнейшее развитие событий вплоть до неизбежной развязки.

А впрочем, стоит задним числом углубиться в поиски таких вот «поворотных пунктов», как они начинают мерещиться на каждом шагу. Не только мое решение прекратить встречи по вечерам, но и тот случай в буфетной можно, при желании, считать этим самым «поворотным пунктом». Резонно спросить — что бы произошло, если б ее приход с вазой цветов был встречен несколько по-другому? Очередным «поворотным пунктом», возможно, покажется и наш разговор с мисс Кентон в столовой в тот день, когда она узнала о смерти тетушки, ибо случилось это примерно тогда же.

Известие о тетушкиной смерти пришло раньше, с утренней почтой; я сам принес мисс Кентон письмо и постучался в двери ее гостиной. Помнится, я на минутку вошел обсудить какой-то рабочий вопрос, мы присели за стол и повели разговор, она вскрыла конверт и вдруг застыла, но, к ее чести, самообладания не потеряла. Прочтя письмо по меньшей мере дважды, она осторожно вложила его в конверт и посмотрела на меня через стол.

— Пишет миссис Джонсон, тетина компаньонка. Тетя позавчера умерла.— Мисс Кентон замолчала, потом добавила: — Похороны завтра. Хотелось бы знать, смогу ли я взять свободный день.

— Это, безусловно, можно устроить, мисс Кентон.

— Спасибо, мистер Стивенс. Вы уж меня простите, но теперь мне бы хотелось побыть одной.

— Разумеется, мисс Кентон.

Я удалился и только за порогом сообразил, что так и не принес ей свои соболезнования. Нетрудно было представить, какой это для нее удар,— ведь тетушка была для нее во всех отношениях как родная мать. Я остановился в коридоре, раздумывая, не стоит ли вернуться, постучаться и исправить оплошность. Но тут мне пришло в голову, что этим поступком я, скорее всего, бесцеремонно нарушу ее уединение. Больше того, я совсем не исключал, что в эту минуту мисс Кентон и в самом деле плачет в каких-нибудь нескольких футах от меня. При этой мысли во мне поднялось какое-то непонятное чувство, отчего я на минуту замешкался в коридоре. Однако в конце концов я почел за лучшее подождать другого случая для выражения своего сочувствия и отправился восвояси.

Вышло так, что случай подвернулся лишь далеко за полдень, когда я, как было сказано, застал ее в столовой, где она убирала в сервант посуду. К этому времени я вот уже несколько часов раздумывал о беде, свалившейся на мисс Кентон, в особенности над тем, что мне сделать или сказать, чтобы хоть немного облегчить ее горе. Услыхав, что она прошла в столовую — сам я был чем-то занят в холле,— я выждал примерно с минуту и проследовал за нею.

— А, мисс Кентон,— сказал я.— Позвольте узнать, как вы себя чувствуете.

— Очень хорошо, спасибо, мистер Стивенс.

— Все в порядке?

— Все в полном порядке, спасибо.

— Я все собирался спросить, нет ли у вас каких трудностей с новой прислугой.— Я коротко рассмеялся.— Когда разом принимают столько новеньких, всегда возникают разного рода мелкие затруднения. В таких случаях, осмелюсь сказать, небольшой рабочий обмен мнениями часто бывает полезен и лучшим из нас.

— Спасибо, мистер Стивенс, новые девушки меня вполне устраивают.

— Вам не кажется целесообразным пересмотреть нынешнее распределение обязанностей в связи с недавним пополнением?

— Не думаю, чтобы в этом была необходимость, мистер Стивенс. Однако в случае чего я сразу же дам вам знать.

Она вернулась к посуде, и я хотел было удалиться; помнится, я уже направился к дверям, но повернулся и сказал:

— Значит, мисс Кентон, новые девушки, по-вашему, работают хорошо.

— Обе прекрасно работают, можете в этом не сомневаться.

— Что ж, рад слышать.— Я вновь коротко рассмеялся.— Просто интересно было узнать, мы же с вами выяснили, что ни одна не работала до этого в таком большом доме.

— Действительно, мистер Стивенс.

Я глядел, как она расставляет посуду по полкам, и ждал, скажет ли она еще что-нибудь. Когда стало ясно, что нет, я произнес:

— Кстати, мисс Кентон, вот что я должен сказать. Я обратил внимание, что в самое последнее время кое-где наблюдаются отступления от принятых норм. Мне кажется, вам не мешает быть чуть покритичней, когда дело касается новеньких.

— Что вы этим хотите сказать, мистер Стивенс?

— Я, мисс Кентон, со своей стороны, когда новенькие приступают к работе, предпочитаю проверить и перепроверить, все ли в порядке,— всесторонне инспектирую их работу и стремлюсь выяснить, каковы они в общении с другими слугами. В конце концов, важно иметь о них ясное представление и в рабочем аспекте, и под углом их влияния на моральное состояние персонала в целом. К сожалению, должен заметить, мисс Кентон, что в этом отношении вы, на мой взгляд, иногда допускаете небрежность.

На секунду мисс Кентон, похоже, растерялась. Затем она обернулась ко мне, и я заметил у нее на лице какое-то напряженное выражение.

— Прошу прощения, мистер Стивенс? — спросила она.

— Например, посуда, мисс Кентон. Ее хоть и моют на должном высоком уровне, однако, как я заметил, расставляют на кухонных полках не лучшим образом. На первый взгляд, ничего страшного, но со временем это приведет к увеличению боя сверх неизбежного.

— Вот как, мистер Стивенс?

— Да, мисс Кентон. Кроме того, маленькая ниша у входа в малую столовую давно не протиралась. С вашего разрешения, найдется и еще пара мелочей, о которых я мог бы упомянуть.

— Все и так ясно, мистер Стивенс. Я проверю работу новых служанок, как вы советуете.

Мисс Кентон отвернулась, и лицо ее снова стало сосредоточенным, словно она пытается разобраться, что́ именно привело ее в полное замешательство. Вид у нее был не столько расстроенный, сколько усталый. Затем она закрыла сервант и вышла, сказав:

— Извините, мистер Стивенс.

Но что это за смысл бесконечно рассуждать, что бы случилось, если б тогда-то и тогда-то все вышло по-другому? Эдак, вероятно, недолго себя и до беспамятства довести. Во всяком случае, можно сколь угодно рассуждать о «поворотных пунктах», но распознать такие мгновения, разумеется, можно только в прошлом, не в настоящем. Естественно, когда сегодня

возвращаешься мыслью к тем давним событиям, они и вправду могут показаться решающими, драгоценными минутами жизни; но тогда представление о них, конечно же, было другое. Тогда уж, скорее, казалось, что впереди — бесконечная череда дней, месяцев, лет, чтобы разобраться во всех сложностях отношений с мисс Кентон; что в будущем еще подвернется масса возможностей устранить последствия того или иного недопонимания. Ничто, решительно ничто не указывало тогда, что столь незначительные, казалось бы, происшествия вовек обрекут безнадежности все мечты и надежды.

Но, вижу, я предаюсь излишнему самокопанию, да еще и довольно мрачного толка. Повинны в этом, безусловно, поздний час и муки, что мне пришлось вынести нынче вечером. Безусловно и то, что мое теперешнее состояние как-то связано с тем, что завтра — если, конечно, в местном гараже мне, как уверяют Тейлоры, заправят «форд» — я к полудню доеду до Литтл Комптона и, можно надеяться, через столько лет снова увижу мисс Кентон. Нет решительно никаких оснований ожидать, что наша встреча не будет сердечной. Мне бы, понятно, хотелось, чтобы наша беседа — исключая обмен новостями личного плана, что в данных обстоятельствах вполне правомерно,— носила по преимуществу профессиональный характер. То есть моей обязанностью будет установить, заинтересована ли мисс Кентон, когда ее брак, по-видимому, увы, распался и она осталась без крыши над головой, вернуться в Дарлингтон-холл на свое прежнее место. Скажу заодно, что нынче вечером я перечел ее письмо и склоняюсь к тому, что, пожалуй, и впрямь вычитал из него значительно больше, чем позволял здравый смысл. Но я по-прежнему настаиваю на том, что в отдельных строках тоска по прошлому выражена у нее отнюдь не намеком, особенно там, где она пишет что-нибудь вроде: «Я так любила вид из окон спален третьего этажа — на лужайку и дальнюю гряду известняковых холмов».

Но опять же, какой прок бесконечно раздумывать о том, как мисс Кентон настроена в настоящее время, когда завтра я выясню это у нее самой? Да и в любом случае я изрядно отклонился от рассказа о том, что произошло нынче вечером. Эти несколько последних часов, честно скажу, были для меня чудовищно трудными. Уж, казалось бы, бросить «форд» на каком-то одиноком холме и добираться в полутьме до деревни по жуткому бездорожью — вполне достаточно для одного человека на один вечер. И мои добрые хозяева, мистер и миссис Тейлор, никогда бы, уверен, не захотели подвергнуть меня тому, что я был вынужден испытать. Но факт остается фактом: стоило мне сесть с ними ужинать, а кое-кому из соседей заглянуть на огонек, как вокруг меня стали развиваться весьма огорчительные события.

Комната на первом этаже коттеджа с окнами по фасаду, видимо, служит мистеру и миссис Тейлор столовой и гостиной одновременно. В этой довольно уютной комнате господствует огромный, грубо вытесанный стол того типа, который скорее встретишь на кухне у фермера, с дощатой столешницей, испещренной многочисленными щербинками от сечек и хлебных ножей. Я отчетливо видел эти зарубки, хотя мы сидели при слабом желтом свете керосиновой лампы, стоявшей на полке в углу.

— Вы не думайте, сэр, у нас тут есть электричество,— заметил мистер Тейлор, кивнув на лампу.— Но что-то там вышло из строя, и мы скоро два месяца сидим без света. Да, сказать по правде, не так уж по нему скучаем. У нас в деревне есть несколько домов, куда электричество так и не провели. А от лампы свет потеплее.

Миссис Тейлор накормила нас вкусным супом, который мы съели с поджаристым хлебом, и в эту минуту ничто не предвещало, что вечер сулит мне кое-что пострашнее, чем час с небольшим приятной беседы перед отходом ко сну. Когда, однако, мы отужинали и мистер Тейлор стал наливать мне сваренный соседом эль, за окнами на песчаной дорожке раздались шаги. Мне почудилось нечто зловещее в самом звуке шагов, приближающихся в темноте к одинокому коттеджу, но ни хозяин, ни

хозяйка, видимо, ничего плохого не ждали, ибо в голосе мистера Тейлора было одно любопытство, когда он заметил:

— Вот те на, кто бы это мог быть?

Он произнес это более или менее про себя, но тут с дорожки словно в ответ донеслось:

— Это я, Джордж Эндрюс. Шел мимо, дай, думаю, загляну.

Миссис Тейлор открыла, и вошел статный мужчина лет пятидесяти с небольшим, который, судя по одежде, весь день проработал в поле. С раскованностью, говорящей о том, что он здесь свой человек, гость уселся у входа на низкую табуретку и принялся с трудом стягивать сапоги, одновременно перебрасываясь замечаниями с миссис Тейлор. Затем подошел к столу и остановился, вытянувшись передо мной по стойке «смирно», как солдат перед офицером.

— Звать меня Эндрюс, сэр,— сказал он.— Доброго вам вечера. Очень сожалею о вашем казусе, слышал о нем, но, надеюсь, вас не очень выбило из колеи, что вы проведете ночку у нас в Москоме.

Меня слегка удивило, откуда этот мистер Эндрюс прослышал о моем, как он выразился, «казусе». Во всяком случае, я с улыбкой ответил, что не только не «выбит из колеи», но, напротив, премного благодарен за оказанное гостеприимство. Я, понятно, имел в виду любезность мистера и миссис Тейлор, однако мистер Эндрюс, вероятно, решил, что благодарность распространяется и на него, ибо тотчас же возразил, протестующе воздев огромные ручищи:

— Ну, что вы, сэр, милости просим. Очень рады вас видеть. Такие люди, как вы, нечасто заглядывают в наши места. Мы все рады, что вы смогли задержаться.

По тому, как он это сказал, можно было понять, что вся деревня в курсе моего «казуса» и связанного с ним прибытия в этот коттедж. Как мне вскоре предстояло убедиться, это действительно было недалеко от истины. Не видел, но могу себе представить, что через несколько минут после того, как меня провели наверх в спальню, в то самое время, пока я мыл руки и пытался по мере сил устранить ущерб, нанесенный моему пиджаку и брючным манжетам, мистер и миссис Тейлор рассказывали обо мне всем, кто проходил мимо дома. Во всяком случае, через несколько минут объявился еще один гость, очень похожий на мистера Эндрюса, то есть такого же крепкого сельского вида и в таких же заляпанных грязью сапогах, которые он принялся стягивать тем же примерно манером, как до него мистер Эндрюс. Больше того, они так напоминали друг друга, что поначалу я принял их за родных братьев и понял свою ошибку, лишь когда новый гость представился:

— Морган, сэр, Тревор Морган.

Мистер Морган выразил сожаление по поводу постигшей меня «беды», заверил, что утром все образуется, и только затем перешел к тому, как мне рады в деревне. Я, понятно, всего несколько минут назад уже выслушал нечто подобное, но мистер Морган выразил это в таких словах:

— Большая честь видеть такого джентльмена, как вы, сэр, здесь, в Москоме.

Не успел я сообразить, что ответить, как за окнами опять раздались шаги, и вскоре в комнате появилась супружеская пара средних лет, которую мне представили как мистера и миссис Гарри Смит. Эти двое отнюдь не походили на сельских тружеников. Она была полная, почтенного вида женщина и отчасти напомнила мне миссис Мортимер, служившую в Дарлингтон-холле кухаркой большую часть двадцатых и все тридцатые годы. Мистер Гарри Смит, напротив, был низкорослый мужчина с довольно напряженным выражением лица, кожа на лбу у него собиралась в морщины. Когда они сели за стол, он обратился ко мне с вопросом:

— «Форд» старой модели, что стоит на Терновом холме,— это не ваша машина, сэр?

— На дороге, которая идет по холму над этой деревней? — сказал я.— Удивительно, однако, что вы его видели.

— Сам я не видел, сэр. Но Дейв Торнтон недавно проезжал там на

своем тракторе, когда возвращался домой. Он так удивился, завидев на дороге ваш «форд», что остановился и вылез.— Тут мистер Гарри Смит обратился к сидящим за столом: — Прелесть, а не машина. Дейв сказал, что в жизни такой не видел. Автомобиль, на котором разъезжал мистер Линдсей, не идет ни в какое сравнение.

Все за столом рассмеялись, а мистер Тейлор, сидевший рядом со мной, объяснил:

— Был у нас один джентльмен, жил в большом доме неподалеку, сэр. Отколол тут с парочку номеров, поэтому его не больно жаловали.

В ответ одобрительно зашумели. Потом кто-то сказал, подняв кружку с элем, которым миссис Тейлор только-только успела обнести гостей:

— Ваше здоровье, сэр.

Вся компания присоединилась к этому тосту. Я улыбнулся и ответил:

— Для меня это большая честь.

— Вы очень добры, сэр,— сказала миссис Смит.— Настоящего джентльмена узнаешь по повадке. А этот мистер Линдсей — никакой он не джентльмен. Пусть денег у него было навалом, а джентльменом он сроду не был.

Все опять выразили согласие. Потом миссис Тейлор шепнула что-то на ухо миссис Смит, на что та ответила:

— Сказал, постарается выбраться, как только сумеет.

Обе смущенно повернулись ко мне, и миссис Смит сказала:

— Мы рассказали о вас доктору Карлейлю. Доктор рад будет с вами познакомиться.

— Его, видно, пациенты задерживают,— добавила миссис Тейлор извиняющимся тоном.— Не знаю, успеет ли он до того, как вы, сэр, пожелаете отойти ко сну.

В эту минуту мистер Гарри Смит, тот самый низкорослый мужчина с морщинами на лбу, подался вперед и заметил:

— Этот мистер Линдсей, он все делал не так, понимаете? Невесть чего из себя строил. Думал, мы ему в подметки не годимся, считал нас за дураков. Ну, так я вам скажу, сэр, он живенько убедился в обратном. У нас тут народ и мозгами раскинуть умеет, и разговор поддержать. И взгляды у людей правильные и твердые, и высказывать их никто не стесняется. Ваш мистер Линдсей быстро это усвоил.

— Не был он никаким джентльменом,— спокойно произнес мистер Тейлор.— Не был он никаким джентльменом этот мистер Линдсей.

— Верно, сэр,— подтвердил мистер Гарри Смит.— Стоило на него поглядеть, как сразу было понятно — никакой он не джентльмен. Ясное дело, дом у него был красивый и костюмы дорогие, но все равно почему-то было понятно, что он не джентльмен. В свое время оно и подтвердилось.

Все зашумели в знак согласия и замолкли, видимо, обдумывая, прилично или нет поведать мне историю этой местной знаменитости. Молчание нарушил мистер Тейлор, который заметил:

— Гарри правду говорит. Настоящего джентльмена всегда можно отличить от поддельного, пускай тот и разодет в пух и прах. Взять вот вас, сэр. Не в покрое вашего платья тут хитрость и даже не в том, как вы правильно говорите, нет, что-то другое выдает в вас джентльмена. Пальцем на это не укажешь, но у кого есть глаза, те сразу видят.

Вдоль стола прокатилась новая волна одобрения.

— Теперь недолго ждать доктора Карлейля, сэр,— вставила миссис Тейлор.— Вам будет приятно с ним поговорить.

— У доктора Карлейля это тоже имеется,— сказал мистер Тейлор.— Имеется. Он настоящий джентльмен, точно вам говорю.

Мистер Морган, за все время проронивший всего несколько слов, наклонился ко мне и спросил:

— Как по-вашему, сэр, что это такое? Может, тот, у кого это есть, лучше скажет. Вот мы сидим тут и рассуждаем, у кого это есть, а у кого нет, а о чем говорим — толком не знаем. Может, вы бы нас просветили, сэр?

За столом воцарилось молчание, и я почувствовал, что все взгляды устремлены на меня. Я прочистил горло и произнес:

— Мне не пристало судить о качествах, какие у меня то ли есть, то ли нет. Однако, раз уж речь зашла о конкретном вопросе, можно предположить, что это качество правильнее всего будет назвать «достоинством».

Я не видел смысла пускаться в дальнейшие объяснения. В сущности, я всего лишь высказал то, о чем думал, прислушиваясь к разговорам окружающих, и маловероятно, чтобы я вообще выступил с таким заявлением, если бы не заставили обстоятельства. Однако мой ответ был, видимо, воспринят с большим удовлетворением.

— Много правды в ваших словах, сэр,— сказал мистер Эндрюс, кивнув, и его поддержали со всех сторон.

— Этому мистеру Линдсею, уж конечно, не повредило бы чуть побольше достоинства,— заметила миссис Тейлор.— С такими вот типами в чем беда — они путают заносчивость с достоинством.

— Однако,— вставил мистер Гарри Смит,— при всем уважении к вашим словам, сэр, нельзя и не возразить. Достоинство есть не только у джентльменов. Достоинство — это то, к чему могут стремиться и чего могут добиться все мужчины и женщины нашей страны. Вы уж меня извините, сэр, но, как я раньше сказал, мы здесь привыкли запросто высказывать свои взгляды. А это — мое мнение, правильное оно там или нет. Достоинство — оно не только для одних джентльменов.

Я, разумеется, понимал, что тут мы с мистером Гарри Смитом несколько расходимся во взглядах и что объяснить этим людям мою точку зрения более доходчиво будет слишком сложно. Поэтому я счел за лучшее просто улыбнуться и сказать:

— Вы, разумеется, совершенно правы.

Это мгновенно рассеяло легкое напряжение, возникшее в комнате, пока говорил мистер Гарри Смит. Да и сам мистер Гарри Смит, судя по всему, совсем осмелел, ибо, подавшись вперед, продолжал:

— В конце концов, ради этого мы с Гитлером воевали. Если бы вышло, как хотел Гитлер, мы бы теперь в рабах ходили. Все человечество разделилось бы на горстку хозяев и множество миллионов рабов. А всем тут и без того понятно, что в рабском состоянии нет никакого достоинства. За это мы воевали и это завоевали. Мы завоевали право быть свободными гражданами. Одно из преимуществ родиться в Англии — то, что рождаешься свободным, не важно, кто ты есть, не важно, богат или беден, и рождаешься для того, чтобы свободно выражать свое мнение, выбирать в парламент своего представителя или, обратно же, отзывать его из парламента. Вот это и есть достоинство, прошу прощения, сэр.

— Тише, Гарри, тише,— сказал мистер Тейлор,— а то, гляжу, ты так разгорячился, что сейчас разразишься очередной политической речью.

Все рассмеялись. Мистер Гарри Смит чуть смущенно улыбнулся, однако продолжал:

— Я не о политике, я просто говорю, что думаю, вот и все. Не может быть достоинства у раба. Но любой англичанин может его иметь, если только захочет. Потому что мы за это право воевали.

— Может показаться, сэр, что деревенька у нас маленькая и на отшибе,— заметила его жена,— но войне мы отдали больше, чем нам было положено. Отдали с лихвой.

После этих слов все торжественно притихли. Наконец мистер Тейлор нарушил молчание, обратившись ко мне:

— Гарри тут большую агитацию разводит за нашего члена парламента. Дай ему волю, он все вам разобъяснит про то, как плохо наша страна управляется.

— Ну, я-то как раз говорил о том, что́ в нашей стране *хорошо*.

— А вам, сэр, много ли доводится заниматься политикой? — спросил мистер Эндрюс.

— Не политикой как таковой,— ответил я,— и тем более не теперь. Пожалуй, разве что до войны.

— Дело в том, что мне вспомнился некий мистер Стивенс, который с год или два тому был членом парламента. Раз-другой слышал его по

радио. Очень дельно выступал по жилищной проблеме. Но это ведь не вы будете, сэр?

— О нет,— ответил я, рассмеявшись. И уж не знаю, что на меня тогда нашло, могу только сказать, что обстановка и обстоятельства будто меня подтолкнули, но я вдруг заявил: — Вообще-то я был склонен больше заниматься делами международными, нежели внутренними. То есть внешней политикой.

Реакция слушателей меня несколько поразила: их словно охватил какой-то священный трепет. Я поспешил добавить:

— Сразу скажу — я никогда не занимал высоких постов, а если и оказывал на что-то влияние, то лишь по сугубо неофициальным каналам.

Однако испуганное молчание продлилось еще несколько секунд.

— Простите, сэр,— осмелилась наконец спросить миссис Тейлор,— а вам доводилось встречаться с мистером Черчиллем?

— С мистером Черчиллем? Он несколько раз бывал в доме. Но, говоря откровенно, миссис Тейлор, в тот период, когда я глубже всего занимался большой политикой, мистер Черчилль еще не был главной фигурой на политической сцене, да тогда никто от него этого и не ждал. В те дни чаще приезжали такие деятели, как мистер Иден и лорд Галифакс.

— Но вы и в самом деле встречались с мистером Черчиллем? Ведь это какая честь — иметь право сказать, что встречался с мистером Черчиллем!

— Я не согласен со многими суждениями мистера Черчилля,— заметил мистер Гарри Смит,— но он, безусловно, великий человек. Нешуточное, наверное, дело, сэр,— обсуждать проблемы с такими, как он.

— Я должен повторить,— сказал я,— что мне не довелось много встречаться с мистером Черчиллем. Но, как вы справедливо заметили, вспоминать об общении с ним довольно лестно. В общем, мне, пожалуй, действительно повезло в жизни, я первый готов это признать. В конце концов мне выпало счастье общаться не только с мистером Черчиллем, но и со многими другими великими руководителями и влиятельными людьми, в том числе из Америки и из Европы. И как подумаешь, что мне посчастливилось пользоваться их благосклонным вниманием в связи с обсуждением многих важнейших проблем той эпохи,— да, когда я вспоминаю обо всем этом, я и в самом деле испытываю чувство глубокой благодарности. В конечном счете, иметь возможность сыграть пусть маленькую, но свою роль на всемирных подмостках — огромная честь.

— Извиняюсь за вопрос, сэр,— обратился ко мне мистер Эндрюс,— но что за человек мистер Иден? Я хочу сказать — в личном плане? Мне он всегда казался очень славным, из таких, знаете, кто найдет общий язык с лордом и с простым человеком, с богатым и с бедным. Я верно говорю, сэр?

— Я бы сказал, что, в общем и целом, это соответствует истине. Но в последние годы я, понятно, не встречался с мистером Иденом, он мог и перемениться под давлением обстоятельств. Уж одно-то я повидал на своем веку — как способна общественная жизнь всего за несколько коротких лет неузнаваемо изменить человека.

— Не сомневаюсь, сэр,— согласился мистер Эндрюс.— Взять хоть нашего Гарри. Как ввязался несколько лет назад в политику, так его с тех пор не узнать.

Все опять рассмеялись, а мистер Гарри Смит пожал плечами, позволил себе улыбнуться и произнес:

— Верно, я много сил отдаю предвыборным кампаниям. Понятно, на местном уровне, и мне не доводилось встречать и вполовину таких важных персон, с какими общаетесь вы, сэр, но, думаю, на своем маленьком месте и я играю мою скромную роль. Я так понимаю: Англия — демократия, и мы в нашей деревне пожертвовали не меньше других, сражаясь за то, чтоб демократией она и осталась. А теперь только от нас зависит, от каждого из нас, воспользуемся ли мы своими правами, за которые хорошие молодые ребята из нашей деревни отдали жизнь, и я лично так понимаю: все мы здесь ради их памяти должны внести каждый свою лепту. У всех у нас твердые взгляды, и наша обязанность — громко о них заявить. Согласен,

мы живем на отшибе, деревня маленькая, никто из нас моложе не становится, и в деревеньке народу все меньше. Но я так понимаю: мы в долгу перед нашими ребятами, которые полегли на войне. Поэтому, сэр, я теперь не жалею времени, чтобы наш голос услышали на самом верху. А если я через это переменюсь или раньше срока сойду в могилу, так я готов.

— Я же предупреждал вас, сэр,— с улыбкой заметил мистер Тейлор.— Гарри бы ни в жизнь не отпустил из деревни такого важного джентльмена, как вы, не прожужжав ему, по своему обыкновению, все уши.

Снова раздался смех, но я поторопился сказать:

— Думаю, мне ясна и понятна ваша позиция, мистер Смит. Я прекрасно понимаю — вы хотите, чтобы в мире стало жить лучше и чтобы вы и ваша община получили возможность внести вклад в строительство лучшего мира. Эти чувства можно только приветствовать. Рискну заметить, что аналогичные настроения побудили меня заняться перед войной делами огромной важности. Тогда, как и ныне, мир в мире, казалось, висел на волоске, и я хотел внести свою лепту в его сохранение.

— Прошу прощения, сэр,— возразил мистер Гарри Смит,— но я говорил не совсем об этом. Таким, как вы, легко влиять на ход событий. Вы можете числить среди своих друзей тех, кто стоит у власти в стране. Но люди вроде нас, сэр, мы живем себе тут и живем и, может, за все эти годы даже и не увидим настоящего джентльмена. Ну разве что доктора Карлейля. Доктор он замечательный, но, при всем почтении, *связей* как таковых у него нет. Нам здесь легко забыть о своих гражданских обязанностях. Вот почему я столько сил отдаю предвыборной агитации. И соглашаются там со мной или нет — а я знаю, что в этой комнате нет человека, который был бы со мной полностью согласен,— я хоть заставляю людей думать. Я хоть напоминаю им о долге. Мы живем в демократической стране, Мы за это сражались. Все мы призваны внести свою лепту.

— И куда только подевался доктор Карлейль,— заметила миссис Смит.— Я уверена, что джентльмену сейчас в самый раз бы поговорить с *образованным* человеком.

Все опять рассмеялись.

— Честно говоря,— сказал я,— хотя мне было очень приятно со всеми вами познакомиться, должен, однако, признаться, что усталость берет свое...

— А как же, сэр,— отозвалась миссис Тейлор,— вы, наверное, крепко притомились. Схожу-ка достану вам еще одно одеяло, а то ночи сейчас пошли холодные.

— Нет, нет, уверяю вас, миссис Тейлор, мне всего хватает.

Я уже собирался подняться из-за стола, но меня остановил мистер Морган:

— Вот интересно, сэр, мы тут любим слушать по радио одного человека, его звать Лесли Мандрейк. Интересно, сэр, вам не доводилось с ним встречаться?

Я ответил, что не доводилось, и еще раз попытался уйти, однако меня забросали вопросами, не встречался ли я с таким-то и таким-то. Поэтому я все еще сидел за столом, когда миссис Смит встрепенулась:

— Ага, кто-то идет. Должно быть, наконец-то доктор.

— Мне и в самом деле пора,— сказал я.— Я очень, очень устал.

— Но я уверена, что это доктор,— сказала миссис Смит.— Погодите минуточку.

Не успела она закончить, как в дверь постучали, и мы услышали:

— Это я, миссис Тейлор.

Джентльмен, которому открыли, был сравнительно молод — возможно, лет сорока или около того,— худ и высок; настолько высок, что, входя, вынужден был нагнуться, чтобы не задеть головой о притолоку. Не успел он со всеми поздороваться, как миссис Тейлор ему сообщила:

— Вот он, наш джентльмен, док. У него стала машина на Терновом холме, вот Гарри и мучает его своими речами.

Доктор подошел к столу и подал мне руку.

— Ричард Карлейль,— представился он с бодрой улыбкой, когда я поднялся ответить на рукопожатие.— Чертовски не повезло вам на этом холме. Впрочем, думаю, тут о вас позаботились. И даже очень, как я погляжу.

— Спасибо,— ответил я.— Все были очень любезны.

— Что ж, хорошо, что вы к нам пожаловали,— произнес доктор Карлейль, усаживаясь за стол почти напротив.— Из каких вы мест?

— Из Оксфордшира,— сказал я, с большим трудом удержавшись от непроизвольного «сэр», которое так и рвалось на язык.

— Красивые места. У меня там дядя живет, под самым Оксфордом. Красивые места.

— Джентльмен только что рассказывал,— доложила миссис Смит,— что знаком с мистером Черчиллем.

— Вот как? Я когда-то знавал его племянника, но, кажется, потерял с ним связь. С самим великим человеком, однако, не имел чести встречаться.

— И не только с мистером Черчиллем,— продолжала миссис Смит.— Он знаком с мистером Иденом. И лордом Галифаксом.

— В самом деле?

Я чувствовал, как доктор пристально меня разглядывает, и собирался сказать что-нибудь подходящее к случаю, но меня опередил мистер Эндрюс, который обратился к доктору:

— Джентльмен нам рассказывал, что в свое время много занимался иностранными делами.

— Вот оно как?

Мне показалось, что доктор Карлейль разглядывал меня бесконечно долго; потом он бодро спросил:

— Разъезжаете для собственного удовольствия?

— В основном,— ответил я со смешком.

— Тут вокруг много красивых мест. Кстати, мистер Эндрюс, простите, что до сих пор не вернул вам пилы.

— Да не волнуйтесь, док, она мне не к спеху.

На какое-то время я перестал быть в центре внимания и смог помолчать. Затем выбрал подходящий, как мне показалось, момент, встал и сказал:

— Пожалуйста, извините. Очень приятный был вечер, но мне действительно пора удалиться.

— Какая жалость, что вам уже надо идти, сэр,— заметила миссис Смит.— Доктор только-только пришел.

Мистер Гарри Смит — он сидел рядом с женой — наклонился и сказал, обращаясь к доктору Карлейлю:

— А я-то надеялся, джентльмен скажет нам пару слов о ваших взглядах на Империю, доктор.— И, повернувшись ко мне, объяснил: — Наш доктор выступает за независимость всех малых стран. Мне не хватает учености доказать, что он ошибается, хоть я это и знаю. Но было бы интересно послушать, что сказали бы вы ему по этому поводу, сэр.

Мне опять показалось, что доктор Карлейль изучает меня цепким взглядом. Он помолчал и сказал:

— Жаль, конечно, но мы должны отпустить джентльмена спать. Думаю, ему выпал тяжелый денек.

— Несомненно,— согласился я со смешком и начал выбираться из-за стола. Все в комнате, включая доктора Карлейля, встали, чем привели меня в замешательство.

— Большое всем вам спасибо,— сказал я улыбаясь.— Миссис Тейлор, ужин был превосходный. Доброй всем вам ночи.

Все хором ответили: «Доброй ночи, сэр». Я уже выходил из комнаты, когда голос доктора настиг меня в дверях, заставив остановиться.

— Послушайте, старина,— окликнул он, и я, повернувшись, увидел, что он остался стоять.— С утра пораньше мне нужно по вызову в Стэнбери. Буду рад подбросить вас до машины. А по пути разживемся у Теда Хардакра канистрой бензина.

— С вашей стороны это очень любезно,— ответил я,— но не хочется причинять вам лишние хлопоты.

— Какие там хлопоты. В полвосьмого устроит?

— Весьма подходящее время.

— Вот и прекрасно, значит, в семь тридцать. Проследите, миссис Тейлор, чтобы к половине восьмого ваш гость был уже на ногах и накормлен.— И, снова повернувшись ко мне, добавил: — Таким образом, нам все же удастся поговорить. Правда, Гарри будет лишен удовольствия видеть, как меня уложат на обе лопатки.

Все засмеялись, мы еще раз пожелали друг другу доброй ночи, и мне наконец позволили подняться к себе и обрести убежище в стенах этой комнаты.

По-моему, нет необходимости лишний раз объяснять всю нелепость положения, в которое я попал нынче вечером из-за прискорбного недоразумения в связи с моей особой. Могу только сказать положа руку на сердце, что и сейчас не вижу, каким образом я мог бы помешать ситуации развиваться именно в этом направлении; ибо к тому времени, как до меня дошел смысл происходящего, все успело зайти так далеко, что я просто не мог сказать им правду, не поставив всех в крайне неловкое положение. Во всяком случае, сколь ни достойна сожаления вся эта история, я не вижу, чтобы она серьезно кого-нибудь задела. В конце концов, утром я со всеми распрощаюсь и, вероятно, никогда уже с ними не встречусь, так что хватит об этом.

Тем не менее, если не считать прискорбного недоразумения, в событиях этого вечера можно, вероятно, выделить один-два момента, на которых стоит задержаться — хотя бы затем, чтобы не думать о них в предстоящие дни. Например, рассуждения мистера Гарри Смита о сущности «достоинства». Конечно, в его высказываниях лишь немногое заслуживает серьезного рассмотрения. Следует, естественно, исходить из того, что понятие «достоинство» мистер Гарри Смит трактовал совершенно иначе, чем я. Но даже в этом случае, с учетом именно его понимания, утверждения мистера Гарри Смита все равно были слишком идеалистичными, слишком абстрактными, чтобы принимать их всерьез. В известном смысле в его высказываниях, несомненно, есть рациональное зерно: в такой стране, как наша, люди, вероятно, и вправду обязаны размышлять о великих делах и иметь о них определенное мнение. Но жизнь есть жизнь, и можно ли требовать от простых людей «твердых взглядов» по самым разным вопросам, каковые взгляды, согласно несколько завиральным утверждениям мистера Гарри Смита, якобы имеют жители этой деревни? Подобное требование не только беспочвенно, но, как мне кажется, даже и нежелательно. В конце концов, простые люди способны усваивать и познавать до какого-то определенного предела и ожидать от всех и каждого, чтобы они со своими «твердыми взглядами» принимали участие в рассмотрении великих общенациональных проблем, разумеется, неразумно. И уж в любом случае нелепо выглядят те, кто берет на себя смелость определять «достоинство» личности в таком «ключе».

Кстати, на память приходит один случай, который, думается, довольно наглядно показывает, много ли истины найдем мы во взглядах мистера Гарри Смита. Случай, между прочим, из моей собственной практики, и произошел он еще до войны, году примерно в 1935-м.

Насколько мне помнится, однажды довольно поздно — было уже за полночь — меня вызвали в гостиную, куда его светлость и три других джентльмена удалились сразу после обеда. Меня, понятно, и до этого уже несколько раз призывали в гостиную — подать свежей закуски, и я тогда еще обратил внимание, что джентльмены увлечены обсуждением каких-то важных вопросов. Однако на сей раз джентльмены при моем появлении умолкли и все как один на меня посмотрели. Его светлость произнес:

— Пойдите сюда, пожалуйста, на минутку, Стивенс,— мистер Спенсер хочет с вами поговорить.

Указанный джентльмен, небрежно развалившийся в кресле, некоторое время разглядывал меня, не меняя позы, а затем сказал:

— У меня к вам один вопрос, милейший. Нам требуется ваш совет

в связи с проблемой, которую мы тут обсуждаем. Вам не кажется, что положение с долгами применительно к Америке существенно повлияло на наблюдаемое понижение уровня торговых операций? Или, может быть, вы, напротив, считаете, что это всего лишь отвлекающий маневр, а на самом деле все объясняется отказом от золотого стандарта?

Сначала я, понятно, слегка опешил, но быстро смекнул, в чем дело; иными словами, этим вопросом меня явно хотели поставить в тупик. Действительно, в те считанные секунды, которые мне понадобились, чтобы это понять и найтись с подходящим ответом, у джентльменов вполне могло сложиться впечатление, что я мучительно обдумываю вопрос; джентльмены, как я заметил, обменялись веселыми улыбками.

— Весьма сожалею, сэр,— заявил я,— но тут я не могу быть полезен.

Теперь я уже был хозяином положения, но джентльмены об этом не догадывались и продолжали украдкой пересмеиваться. Потом мистер Спенсер сказал:

— Ладно, в таком случае не поможете ли вы нам с другой проблемой? Как по-вашему, улучшится или ухудшится денежное обращение в Европе, если Франция заключит с большевиками соглашение по вооружениям?

— Весьма сожалею, сэр, но тут я не могу быть полезен.

— Вот незадача,— вздохнул мистер Спенсер.— Значит, и здесь вы нам ничем не можете помочь.

Последовали сдавленные смешки, и его светлость произнес:

— Прекрасно, Стивенс. Можете быть свободны.

— Минутку, Дарлингтон, с вашего позволения, я бы хотел спросить нашего приятеля еще об одном,— сказал мистер Спенсер.— Мне бы очень хотелось знать его мнение по вопросу, который сейчас волнует многих из нас и от которого, как мы все понимаем, будет зависеть, какой внешнеполитический курс нам избрать. Будьте добры, милейший, помогите нам в нем разобраться. Чего на самом деле хотел добиться мсье Лаваль, выступив со своей последней речью о положении в Северной Африке? Вы тоже считаете, что это просто хитрый маневр, имевший целью разделаться с националистическим охвостьем в его собственной партии?

— Весьма сожалею, сэр, но тут я не могу быть полезен.

— Вот видите,— обратился мистер Спенсер к остальным джентльменам,— наш приятель не способен оказать нам помощь в этих вопросах.

Все опять засмеялись, теперь уже почти не таясь.

— А мы тем не менее,— продолжал мистер Спенсер,— по-прежнему твердим, что принимать решения о судьбах нации следует вот этому нашему приятелю и миллионам ему подобных. Так стоит ли удивляться, что мы, обремененные к тому же нашей парламентской системой в ее нынешнем виде, никак не найдем выход из наших многочисленных трудностей? Да с таким же успехом можно требовать от руководства Союза матерей разработки плана военной кампании.

Над этим все откровенно и от души рассмеялись, и его светлость между взрывами смеха пробормотал:

— Спасибо, Стивенс.

Таким образом, я смог удалиться.

Конечно, я оказался тогда в положении не из самых приятных, однако же и не из самых трудных; в нем не было ничего особенно необычного, за долгие годы службы со мной бывало и не такое, и вы, разумеется, согласитесь с тем, что для уважающего себя дворецкого подобные случаи должны быть в порядке вещей. Утром я, можно сказать, об этом уже и забыл и, взгромоздясь на стремянку, протирал в бильярдной семейные портреты, когда вошел лорд Дарлингтон и сказал:

— Право же, Стивенс, это было ужасно. Испытание, которое мы вчера вам устроили.

Оторвавшись от портретов, я ответил:

— Нисколько, сэр. Рад был оказаться полезным.

— Ужасно, ужасно. Боюсь, за обедом мы несколько перебрали. Примите мои извинения.

— Благодарю вас, сэр. Но рад заверить, что я не испытал никакого особого неудобства.

Его светлость усталой походкой направился к кожаному креслу, уселся и вздохнул. С верха стремянки я хорошо видел всю его рослую фигуру, освещенную лучами зимнего солнца, которые проникали через высокие, до пола, окна и заливали большую часть комнаты. Как мне помнится, это была одна из тех минут, когда я вдруг понял, насколько основательно тяготы жизни изменили за сравнительно короткие годы облик его светлости. Он и от природы-то был худ, а теперь стал прямо кожа да кости, весь скособочился, волосы до поры побелели, лицо утомленное и осунувшееся. Он посидел, глядя в окна на дальние известняковые холмы, и повторил:

— Ужасно, и вправду ужасно. Но понимаете, Стивенс, мистер Спенсер должен был кое-что доказать сэру Леонарду. Вообще-то, если это послужит для вас хоть каким-то утешением, вы вчера помогли наглядно доказать одно чрезвычайно важное положение. Сэр Леонард наговорил кучу старомодных глупостей. Про то, что воля народа — самый лучший судья, и так далее. Правда, Стивенс?

— Разумеется, сэр.

— Когда чему-то выходит срок, мы, англичане, это понимаем с большим опозданием. Другие великие нации прекрасно осознают, что встретить вызов каждой новой эпохи можно, лишь отбросив старые, подчас дорогие сердцу порядки. Но только не мы, не британцы. Многие из нас все еще рассуждают, как вчера рассуждал сэр Леонард. Вот почему мистеру Спенсеру понадобилось на наглядном примере продемонстрировать свою точку зрения. И еще я вам, Стивенс, скажу — если таких людей, как сэр Леонард, удастся разбудить да заставить немного подумать, тогда, поверьте мне, вчерашнее испытание вы претерпели не зря.

— Разумеется, сэр.

Лорд Дарлингтон снова вздохнул.

— И всегда-то мы плетемся в хвосте, Стивенс. Всегда до последнего цепляемся за отжившие системы. Но рано или поздно нам придется взглянуть в лицо фактам. Демократия была хороша для ушедшей эпохи. А теперь мир слишком сложен, чтобы в нем оставалось место для всеобщего избирательного права и тому подобных вещей. Для бесконечных дебатов в парламенте, после которых дело застывает на мертвой точке. Все это, возможно, и было прекрасно еще несколько лет тому назад, но в наши дни? Как там вчера сказал мистер Спенсер? У него это удачно получилось.

— Если не ошибаюсь, сэр, он сравнил нынешнюю парламентскую систему с руководством Союза матерей, пытающимся разработать план военной кампании.

— Вот именно, Стивенс. Если уж говорить откровенно, то мы здесь отстаем от времени. И крайне необходимо, чтобы все дальновидные люди внушили это таким, как сэр Леонард.

— Разумеется, сэр.

— Хочу спросить вас, Стивенс. Мы здесь в самом разгаре бесконечного кризиса. Я видел это собственными глазами, когда ездил с мистером Уиттакером по северным графствам. Люди страдают. Простой достойный рабочий люд неимоверно страдает. Германия с Италией взялись за дело и навели у себя порядок. Как, предполагаю, и эти мерзавцы большевики — на свой собственный лад. Даже президент Рузвельт, посмотрите, и то не боится пойти ради своего народа на решительные меры. А полюбуйтесь на нас, Стивенс. Годы проходят, а лучше не становится. Мы только тем и заняты, что спорим, обсуждаем да откладываем в долгий ящик. Любой приличный проект так обрастает поправками, пройдя всего через половину разных комиссий и комитетов, которые ему положено пройти, что уже никуда не годится. Тех немногих, кто способен со знанием дела разобраться, что к чему, до одурения заговаривают невежды. Что, по-вашему, из этого следует?

— Нация, по всей видимости, находится в плачевном состоянии, сэр.

— Именно. Посмотрите на Германию с Италией, Стивенс. Посмотрите,

на что способно сильное руководство, если ему не мешают действовать. Им не до такой чепухи, как всеобщее избирательное право. Когда дом горит, никому не придет в голову созывать домочадцев и целый час обсуждать в гостиной различные способы тушения пожара, верно? Когда-то все это, может, и было прекрасно, но мир с тех пор стал сложнее. Нельзя требовать от обычного рядового человека, чтобы он разбирался в политике, экономике, мировой торговле и прочих материях. Да и с какой стати? Вчера, Стивенс, вы и в самом деле дали блестящий ответ. Как это вы сказали? Что-то в том духе, что это не входит в вашу сферу? И правильно, с какой стати должно входить?

Приводя здесь эти слова, я, конечно, понимаю, что многие идеи лорда Дарлингтона покажутся сегодня несколько странными и даже отчасти непривлекательными. Но, с другой стороны, невозможно отрицать, что в соображениях, которыми он поделился со мной тогда в бильярдной, было немало правды. Разумеется, глупо ожидать от дворецкого, что тот сумеет с пониманием дела ответить на такие вопросы, какие мне задавал мистер Спенсер, и утверждение мистера Гарри Смита и ему подобных, будто «достоинство» человека зависит от его способности разбираться в этих материях, оборачивается очевидной бессмыслицей. Давайте раз и навсегда договоримся: долг дворецкого — образцово служить, а не соваться в дела государственной важности. Ведь это же факт, что столь великие дела всегда будут выше нашего с вами разумения, и тем из нас, кто хочет оставить след в жизни, нужно понять, что лучший способ добиться этого — сосредоточиться на *собственной* деятельности, то есть отдавать все силы наилучшему обслуживанию тех благородных джентльменов, от которых по-настоящему зависят судьбы цивилизации. Казалось бы, это самоочевидно, но сразу приходят на память многочисленные примеры, когда дворецкие, по крайней мере какое-то время, думали совсем по-другому. Вот и сегодняшние высказывания мистера Гарри Смита очень созвучны для меня с теми идеалистическими заблуждениями, которые охватили значительные слои нашего поколения в двадцатые и тридцатые годы. Я имею в виду бытовавшее среди лиц нашей профессии частное мнение о том, что всякому дворецкому с серьезными устремлениями следует вменить себе в обязанность все время переоценивать хозяина, критически изучая побудительные мотивы его действий и вникая в скрытый смысл его взглядов. Только так, согласно этой теории, дворецкий обретает уверенность, что его профессиональные способности служат достойной цели. Хотя идеализм, содержащийся в такой аргументации, и вызывает определенное сочувствие, не приходится сомневаться в том, что она, как и нынешние суждения мистера Гарри Смита, есть прямое следствие неверного хода мысли. Стоит обратиться к примеру тех дворецких, которые попытались воплотить в жизнь эти рекомендации, и мы увидим, что профессионально — а некоторых из них ожидала весьма многообещающая карьера,— они так и не выросли, и только по этой самой причине. Я лично знавал, по крайней мере, двух из числа таких — люди отнюдь не бездарные, они меняли одного хозяина за другим, в каждом разочаровывались, ни у кого не задерживались — и в конце концов след их пропал. Удивляться этому не приходится. Ибо в реальной жизни критическое отношение к хозяину и образцовая служба просто несовместимы. Тут сложность даже не в том, что на нашем высоком уровне невозможно соответствовать многообразным служебным требованиям, если все время отвлекаешься на такие наблюдения; важнее другое — дворецкий, постоянно стремящийся выработать собственные «твердые взгляды» на дела своего хозяина, непременно утрачивает одно принципиальное качество, необходимое каждому стоящему профессионалу: преданность. Прошу понять меня правильно — я не имею в виду ту бессмысленную «преданность», на отсутствие коей любят пенять бездарные хозяева, когда не способны удержать на службе профессионала высокого класса. Больше того, я последним стану защищать неразборчивую преданность в отношении всякой дамы или всякого джентльмена, к которым доводится временно поступить в услужение. Тем не менее, если дворецкий хочет представлять собой хоть какую-то

ценность, не важно, для кого или для чего, обязательно наступает время, когда он должен остановиться и сказать самому себе: «Этот хозяин олицетворяет все, что я считаю благородным и достойным восхищения. Отныне я всего себя отдаю ему в услужение». Такова *разумная* преданность. Так что же в ней «недостойного»? Просто-напросто признаешь истину, которую нельзя не признать: таким, как мы с вами, никогда не постичь огромных проблем современного мира, а поэтому лучше всего безоглядно положиться на такого хозяина, которого мы считаем достойным и мудрым, и честно и беззаветно служить ему по мере сил. Возьмем, скажем, мистера Маршалла или мистера Лейна — без сомнения, двух крупнейших представителей нашей профессии. Разве можно вообразить мистера Маршалла вступившим в пререкания с лордом Кемберли по поводу содержания последней депеши его светлости в Министерство иностранных дел? Или наше восхищение мистером Лейном становится меньше, если мы узнаём, что у него нет привычки оспаривать взгляды сэра Леонарда Грея перед каждым выступлением оного в Палате общин? Да ни в коем случае. Так что же «недостойного» в такой позиции? Что тут заслуживает хоть малейшего порицания? И чем, собственно, виноват дворецкий, если, допустим, с ходом времени выясняется, что поступками лорда Дарлингтона двигали заблуждения, а то и недомыслие? Все годы, что я служил у него, он, и только он, взвешивал факты и решал, что следует поступить так, а не иначе; я же, как мне и было положено, ограничивался тем, что входило в сферу моей профессиональной деятельности. Если уж речь зашла обо мне, то я исполнял свои обязанности по мере сил и на таком уровне, какой многие могут счесть «первоклассным». И вряд ли именно я виноват в том, что жизнь и труды его светлости, как представляется ныне, в лучшем случае, увы, пошли прахом; у меня же, со своей стороны, нет решительно никаких оснований о чем-то жалеть или чего-то стыдиться.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ — ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ

Литтл Комптон, Корнуолл

Я наконец добрался до Литтл Комптона и в эту минуту сижу в ресторане гостиницы «Розовый сад», только что покончив с ленчем. На улице льет как из ведра.

«Розовый сад» хотя и не роскошная гостиница, но в ней по-домашнему уютно, так что не жаль было немного переплатить, чтобы снять тут номер. Этот очаровательный, увитый плющом особняк, где могут разместиться, как я прикинул, около тридцати постояльцев, удобно расположен на углу деревенской площади. «Ресторан», где я сейчас нахожусь,— современная пристройка к главному зданию, прямое длинное помещение с рядами огромных окон по боковым стенам. С одной стороны открывается вид на деревенскую площадь; с другой — на сад за домом, по которому гостиница, вероятно, и получила свое название. В саду, который, похоже, хорошо защищен от ветра, расставлены столики; я представляю, как приятно за ними обедать или просто закусывать в солнечную погоду. Кстати, некоторые постояльцы чуть раньше как раз уселись в саду за ленч, но их прогнали зловещие грозовые облака. Когда примерно с час назад меня провели в ресторан, официанты лихорадочно убирали в саду со столиков, а только что сидевшие за ними клиенты, в том числе один джентльмен с заправленной за ворот салфеткой, топтались рядом с довольно потерянным видом. Тут вскоре полило с такой силой, что едоки все как один оторвались от тарелок и уставились в окна.

Мой столик стоит у выходящего на площадь окна, и я вот уже час как в основном созерцаю струи дождя, которые льются на землю, на «форд» и на стоящие рядом машины. Дождь, кажется, чуть поутих, но все еще слишком сильный, чтобы возникло желание выйти на улицу и погулять по деревне. Я, конечно, уже подумал — а не отправиться ли прямо сейчас

к мисс Кентон? Однако я написал ей, что приду в три часа, поэтому, видимо, не стоит спешить, а то еще застану ее врасплох, явившись раньше положенного. Поэтому вполне вероятно, что, если дождь вскоре не прекратится, я просижу здесь, попивая чай, пока не наступит пора выходить. Я разузнал у девушки, подававшей мне ленч, что до дома, где в настоящее время проживает мисс Кентон, идти с четверть часа; значит, в моем распоряжении еще по меньшей мере сорок минут.

Должен, кстати, заметить, что у меня хватило ума подготовиться к разочарованию. Ведь мисс Кентон так и не написала, что рада будет со мной встретиться. Я, однако, хорошо знаю мисс Кентон и склонен думать, что отсутствие ответного письма следует расценить как согласие; если бы встреча оказалась по каким-то причинам для нее нежелательной, она бы, я уверен, сразу поставила меня об этом в известность. Больше того, в своем письме я указал, что остановлюсь именно в этой гостинице и по этому адресу мне можно сообщить, если в последнюю минуту что-то разладится. На мое имя, однако, не поступало никаких сообщений, и это тоже, как мне кажется, дает основания считать, что все в порядке.

Непонятно, откуда вдруг взялся ливень,— утром на небе светило яркое солнце, мой постоянный и благодатный спутник с той минуты, как я покинул Дарлингтон-холл. И вообще день для меня начинался удачно: миссис Тейлор приготовила мне на завтрак свежие деревенские яйца и гренки, доктор Карлейль, как обещал, приехал ровно в половине восьмого, и я поспешил откланяться — Тейлоры по-прежнему не желали и слышать ни о каких деньгах,— пока не возникла угроза нового неприятного разговора вроде вчерашнего.

— Я привез вам канистру бензина,— объявил доктор Карлейль, предложив мне занять в своем «ровере» место на заднем сиденье. Я поблагодарил его за заботу и предложил возместить расходы, но он, как выяснилось, тоже не хотел об этом слышать.

— Пустяки, старина. Я раскопал канистру у себя в гараже, в ней и бензина-то кот наплакал, но до Кросби Гейта хватит, а там уж зальете полный бак.

В ярком утреннем свете центр деревеньки предстал предо мной в виде нескольких магазинчиков, сбившихся вокруг церкви, чей шпиль я вчера вечером заметил с холма. Однако мне не удалось разглядеть деревню получше — доктор Карлейль внезапно свернул на проселок к какой-то ферме.

— Тут мы немного срежем,— объяснил он. Мы миновали амбары и неподвижные сельскохозяйственные машины. Я не увидел ни одной живой души. Когда мы подъехали к закрытым воротам, доктор сказал:

— Виноват, старина, вы не будете добры?

Я вылез и пошел открыть ворота. В одном из ближайших сараев в несколько глоток остервенело залились псы, так что я с облегчением вернулся к доктору Карлейлю и захлопнул за собой дверцу «ровера».

Пока автомобиль полз вверх по узкой дороге между рядами высоких деревьев, мы обменивались любезностями. Он осведомился, как мне спалось у Тейлоров и еще о чем-то в этом роде, а потом вдруг сказал:

— Послушайте, надеюсь, вы не сочтете это за грубость, но вы ведь из слуг, верно?

Должен признаться, у меня от его слов будто камень с души свалился.

— Действительно, сэр. Я и в самом деле служу дворецким в Дарлингтон-холле, неподалеку от Оксфорда.

— Так я и думал. А то эти встречи с Уинстоном Черчиллем и все такое прочее. Я про себя подумал: ну и ну, либо этот тип наврал с три короба, либо... тут мне и пришло в голову самое простое объяснение.

Доктор Карлейль повернулся ко мне с улыбкой, продолжая в то же время вести машину по петляющей крутой дороге. Я сказал:

— Я никого не хотел обманывать, сэр. Но так получилось...

— Не нужно объяснять, старина, мне и так понятно, как это вышло. Я хочу сказать, внешность у вас весьма представительная. Наши местные

непременно должны были принять вас по меньшей мере за лорда или за герцога.— Доктор весело рассмеялся: — Должно быть, неплохо, когда тебя время от времени принимают за лорда.

Несколько минут мы молчали. Затем доктор Карлейль заметил:

— Что ж, надеюсь, вам было приятно немного у нас погостить.

— Очень приятно, благодарю вас, сэр.

— Интересно, что вы скажете о гражданах Москома? Не такая уж плохая компания, а?

— Очень симпатичная, сэр. Мистер и миссис Тейлор были ко мне чрезвычайно добры.

— Пожалуйста, не говорите мне «сэр» через каждое слово, мистер Стивенс. Да, не такая уж плохая компания подобралась в наших местах. Лично я с радостью проживу здесь до самой смерти.

В том, как доктор Карлейль это сказал, мне послышалась какая-то странная интонация. Уловил я в его голосе и какую-то нарочитую резкость, когда он снова ко мне обратился:

— Значит, по-вашему, компания симпатичная, а?

— Да, доктор. В высшей степени подходящая.

— И что же они вам вчера вечером нарассказывали? Надеюсь, не задурили голову разными деревенскими сплетнями?

— Отнюдь, доктор. Разговор и вправду велся в довольно откровенных тонах, было высказано несколько весьма интересных точек зрения.

— А, вы это про Гарри Смита,— рассмеялся доктор.— Не нужно принимать его слишком всерьез. Его забавно послушать, но, честно говоря́, в голове у него дикая каша. Иной раз уже подумаешь, что он без пяти минут коммунист, а он вдруг да ляпнет такое, что впору настоящему махровому тори. В голове у него дикая каша, это уж точно.

— Весьма интересно.

— Про что он вчера читал лекцию? Про Империю? Национальную службу здравоохранения?

— Мистер Смит ограничился более общими темами.

— Вот как? Какими же?

Я откашлялся.

— Мистер Смит поделился своими соображениями о сущности достоинства.

— Ну и ну. Для Гарри Смита это что-то слишком абстрактно. Какого черта его занесло в философию?

— По-моему, мистер Смит хотел подчеркнуть значение своей агитационной работы в деревне.

— Вот как?

— Он меня убеждал, что у жителей Москома твердые взгляды на различные проблемы огромнейшей важности.

— Ага, понятно. Это на него похоже. Вы, вероятно, догадались, что все это чушь. Гарри только тем и занят, что пытается каждого перетянуть на свою сторону. Но дело в том, что людям живется лучше, если их оставить в покое.

Мы снова помолчали. Наконец я сказал:

— Простите за вопрос, сэр, но следует ли понимать вас так, что к мистеру Смиту относятся как к фигуре в некотором смысле комической?

— Хм-м. Да нет, это, пожалуй, будет уж слишком. У здешнего люда есть известные политические убеждения. Они считают, что *обязаны* иметь твердые взгляды на то да на это, как призывает их Гарри. Но, в сущности, они ничем не отличаются от других и так же хотят спокойной жизни. У Гарри полно идей, как изменить и это, и то, но на самом деле радикальные перемены никому в деревне не нужны, даже если жителям и будет от них какая-то польза. Местные хотят, чтобы их оставили в покое, позволили жить себе тихо и мирно. Не хотят они, чтобы к ним приставали со всякими проблемами.

К вящему моему удивлению, я уловил в голосе доктора нотки отвращения. Но он тут же взял себя в руки, коротко рассмеялся и произнес:

— Поглядите, с вашей стороны красивый вид на деревню.

Действительно, внизу под нами открылась деревня. Под утренним солнцем она, понятно, смотрелась совсем по-другому, но в остальном панорама очень напоминала ту, которую я впервые обозрел накануне в вечерних сумерках; из этого я заключил, что мы приближаемся к месту, где я оставил «форд».

— Мистер Смит, видимо, полагает,— заметил я,— что достоинство личности заключается именно в этом — в твердых взглядах и всем остальном.

— Ах да, достоинство. Я уже и забыл. Значит, Гарри попробовал заняться философскими определениями. Однако. Как я понимаю, он понес жуткую чушь.

— Его выводы не всегда убеждали слушателя в полной мере, сэр.

Доктор Карлейль кивнул, но, как мне показалось, ушел в свои мысли.

— А знаете, мистер Стивенс,— произнес он наконец,— ведь я приехал сюда ярым социалистом. Верил в лучшее медицинское обслуживание для всего народа и прочее в том же роде. Было это в сорок девятом. Социализм обеспечит людям достойную жизнь. Вот во что я верил, когда здесь появился. Впрочем, виноват, вам-то к чему выслушивать весь этот вздор? — И весело спросил:

— Ну, а как вы, старина?

— Прошу прощения, сэр?

— Как вы думаете, что такое достоинство?

Должен признаться, что прямо поставленный вопрос застал меня врасплох.

— Это довольно сложно изложить в немногих словах, сэр,— ответил я.— Но мне кажется, оно сводится к тому, чтобы не раздеваться на глазах у других.

— Виноват, что сводится?

— Достоинство, сэр.

— Ага,— кивнул доктор, однако с немного озадаченным видом; затем он сказал: — Ну вот, эта дорога должна быть вам знакома. Вероятно, при дневном свете у нее несколько другой вид. Постойте, постойте, что это там? Уж не ваш ли автомобиль? Господи, ну и красавец!

Доктор Карлейль остановился у «форда», вылез и повторил:

— Господи, ну и красавец.

Он тут же извлек воронку с канистрой и весьма любезно помог мне перелить бензин в бак «форда». Все мои страхи, что с «фордом» случилось что-то серьезное, мигом развеялись, когда я включил зажигание и услышал знакомое урчание мотора. Я поблагодарил доктора Карлейля, и мы расстались, хотя мне пришлось еще с милю тащиться по извилистой дороге за его «ровером», пока наши пути не разошлись.

Около девяти я пересек границу Корнуолла. Дождь пошел часа через три, а тогда облака были все еще ослепительно белые. И вообще ландшафты, что открывались моему взору нынче утром, были из самых очаровательных, какие мне доводилось видеть. К несчастью, однако, я не мог уделить им внимания, которого они заслуживали, поскольку, не стану скрывать, мысли мои в основном были заняты тем, что еще до наступления вечера — если, понятно, не случится ничего непредвиденного — я снова увижу мисс Кентон. И вот, проезжая меж привольно раскинувшихся полей, где на многие мили вокруг не было видно ни человека, ни автомобиля, или осторожно пробираясь через чудесные деревеньки, многие из которых представляли собой всего лишь горстку каменных домиков, я незаметно опять улетел мыслями в прошлое. И сейчас, здесь, в Литтл Комптоне, когда я сижу в ресторане этой славной гостиницы, смотрю, как за окном по булыжникам деревенской площади пляшет дождь, и у меня остается еще немного времени, я против воли думаю все о том же.

Все утро меня преследует одно воспоминание, вернее, осколок воспоминания, мгновение, которое по какой-то непонятной причине живо в моей памяти. Я стою один в служебном коридоре перед закрытой дверью

гостиной мисс Кентон; стою не лицом к двери, но вполоборота, застыв в нерешительности — постучаться или нет? — ибо, помнится, в этот миг мне подумалось, что за этой самой дверью, в каких-нибудь нескольких ярдах, мисс Кентон сидит и плачет. Как я сказал, это мгновенье крепко засело у меня в голове, а с ним и память о непонятном чувстве, которое поднялось во мне, пока я там стоял. Мне сдается, что когда я раньше на этих страницах пытался собрать подобные воспоминания воедино, то отнес этот эпизод к тому часу, когда мисс Кентон получила известие о смерти тетушки. Точнее, к тем минутам, когда я удалился, оставив ее наедине с ее горем, но в коридоре сообразил, что не принес ей своих соболезнований. Но теперь, снова об этом подумав, я боюсь, не вкралась ли в мои воспоминания маленькая неточность, а именно: не относится ли в действительности сей эпизод к событиям, имевшим место вечером через несколько месяцев после тетушкиной кончины, то есть к тому самому вечеру, когда в Дарлингтон-холл несколько неожиданно нагрянул молодой мистер Кардинал.

Отец мистера Кардинала, сэр Дэвид Кардинал, многие годы был самым близким другом и единомышленником его светлости, но за три или четыре года до описываемых событий трагически погиб, упав с лошади. Тем временем молодой мистер Кардинал приобрел некоторую известность как автор остроумных комментариев на международные темы. Эти заметки, видимо, редко вызывали одобрение со стороны лорда Дарлингтона — я помню, как его светлость не раз, отрывая взгляд от газеты, произносил что-нибудь вроде «Этот мальчишка Регги опять порет чушь. Хорошо, что его отец не сможет все это прочесть». Комментарии, однако, не мешали мистеру Кардиналу быть в доме частым гостем; его светлость никогда не забывал о том, что молодой человек — его крестник, и относился к нему как к родному. Мистер Кардинал, со своей стороны, никогда не являлся к обеду, не предупредив о своем приезде заранее; вот почему я слегка опешил, когда, открыв на звонок, увидел его на крыльце с прижатым к груди портфелем.

— Привет, Стивенс, как поживаете? — сказал он.— Тут вышло недоразумение, так, может, лорд Дарлингтон хоть пустит переночевать.

— Приятно снова видеть вас, сэр. Я сообщу его светлости о вашем приезде.

— Я собирался погостить у мистера Роланда, но, вероятно, получилась накладка и они куда-то уехали. Надеюсь, я не очень тут помешаю? То есть нынче вечером ничего такого не ожидается?

— Если не ошибаюсь, сэр, после обеда к его светлости прибывают какие-то джентльмены.

— Вот не повезло! Похоже, я не вовремя явился. Ну, постараюсь не высовываться. Как бы там ни было, у меня с собой несколько заготовок, так что есть чем заняться,— сказал мистер Кардинал, тряхнув портфелем.

— Я сообщу его светлости о вашем приезде. Во всяком случае, вы как раз подоспели, чтобы с ним отобедать.

— Прекрасно, я, грешным делом, на это надеялся. Боюсь, впрочем, что мое присутствие не доставит миссис Мортимер особенной радости.

Я провел мистера Кардинала в гостиную, а сам направился в кабинет, где застал его светлость склонившимся над какими-то бумагами с видом глубокой сосредоточенности. Когда я сообщил ему о приезде мистера Кардинала, на лице у лорда Дарлингтона отразились удивление и досада. Он откинулся на спинку кресла и задумался, словно пытался решить головоломку.

— Передайте мистеру Кардиналу, что я сейчас выйду,— произнес он наконец.— Пусть пока чем-нибудь займется.

Я возвратился к мистеру Кардиналу и обнаружил, что тот беспокойно расхаживает по гостиной, разглядывая вещицы, которые, верно, уже сотни раз попадались ему на глаза. Я передал ему поручение его светлости и спросил, не принести ли чего подкрепиться.

— Разве что чаю, Стивенс. Кого, кстати, ждет нынче его светлость?

— Весьма сожалею, сэр, но, боюсь, мне об этом ничего не известно.
— Так-таки ничего?
— Весьма сожалею, сэр.
— Хм-м, странно. Ну да ладно. Лучше мне сегодня не высовываться.

Помнится, после этого я отправился в гостиную мисс Кентон. Она сидела за столом, хотя на столе ничего не лежало, да и в руках у нее ничего не было, и вообще что-то в ее позе подсказывало, что она сидит так уже не одну минуту.

— Приехал мистер Кардинал, мисс Кентон,— сообщил я.— Он займет свою обычную комнату.
— Хорошо, мистер Стивенс. Я распоряжусь перед уходом.
— Понятно. Вы уходите вечером, мисс Кентон?
— Несомненно, мистер Стивенс.

У меня, вероятно, был слегка удивленный вид, потому что она добавила:

— Вы не забыли, мистер Стивенс, что мы договорились об этом еще две недели назад?
— Ну да, разумеется, мисс Кентон. Прошу прощения, у меня просто вылетело из головы.
— Что-нибудь не так, мистер Стивенс?
— Нет, нет, мисс Кентон. Вечером ожидаются гости, но в вашем присутствии нет необходимости.
— Мы же еще две недели назад договорились, что я возьму этот вечер, мистер Стивенс.
— Разумеется, мисс Кентон. Еще раз прошу прощения.

Я собрался уйти, но мисс Кентон остановила меня в дверях.

— Мистер Стивенс, мне нужно вам кое-что сообщить,— сказала она.
— Да, мисс Кентон?
— Это касается моего знакомого, с которым я сегодня встречаюсь.
— Да, мисс Кентон.
— Он сделал мне предложение. Я подумала, что вы вправе об этом знать.
— Понятно, мисс Кентон. Весьма интересно.
— Но я еще не решила.
— Понятно.

Она посмотрела на свои руки и тут же перевела взгляд на меня.

— Мой знакомый со следующего месяца приступает к работе в одном из западных графств.
— Понятно.
— Как я сказала, мистер Стивенс, я еще не решила, однако подумала, что вам следует знать об этом.
— Я весьма благодарен вам, мисс Кентон. Надеюсь, вы приятно проведете вечер. А сейчас я, с вашего позволения, удалюсь.

Должно быть, минут через двадцать после этого разговора я снова неожиданно повстречался с мисс Кентон. На сей раз я был занят подготовкой к обеду, а именно поднимался по задней лестнице с нагруженным подносом, когда снизу послышалась сердитая дробь каблуков по половицам. Я оглянулся и увидел у подножия лестницы мисс Кентон, которая смотрела на меня злыми глазами.

— Мистер Стивенс, правильно ли я поняла, что вы хотите, чтобы нынче вечером я осталась в доме?
— Отнюдь нет, мисс Кентон. Как вы подчеркнули, я был заблаговременно оповещен о вашем отсутствии.
— Но я вижу, что вы очень недовольны моей предстоящей отлучкой.
— Напротив, мисс Кентон.
— Уж не думаете ли вы, что, устроив на кухне весь этот тарарам и топая взад и вперед мимо моей гостиной, вы тем самым заставите меня поменять мои планы?
— Мисс Кентон, небольшое оживление на кухне объясняется исключительно тем, что в последнюю минуту к обеду пожаловал мистер Кардинал. Так что вашей вечерней отлучке решительно ничто не препятствует.

— Мистер Стивенс, я намерена отлучиться в любом случае, с вашего соизволения или без оного. Я условилась об этом две недели назад.

— Совершенно верно, мисс Кентон. Еще раз позвольте пожелать вам приятного вечера.

Во время обеда за столом царила какая-то странная напряженность. Оба джентльмена подолгу молчали, его светлость, казалось, вообще обретался мыслями в другом месте. Один раз мистер Кардинал спросил:

— Вечером ожидается что-то важное, сэр?

— А?

— К вам вечером приезжают. Что-то важное?

— Этого, мой мальчик, я, к сожалению, не могу вам сказать. Дело строго конфиденциальное.

— Ух ты. Стало быть, как я понимаю, мое участие не требуется.

— Какое участие, мой мальчик?

— В том, что будет иметь место вечером.

— Ну, это не представляет для вас интереса. Да и в любом случае, самое важное — конфиденциальность. Вам там нечего делать. Ни-ни, тут и говорить не о чем.

Мистер Кардинал посмотрел на его светлость проницательным взглядом, но тот просто-напросто снова уткнулся в тарелку и больше ничего не сказал.

Джентльмены удалились в курительную, где их ждали сигары и портвейн. Убирая со стола, а также готовя гостиную к приему вечерних гостей, я по необходимости все время проходил мимо двери курительной и в силу этого не мог не обратить внимание, что джентльмены, несколько минут назад мирно обедавшие, резко о чем-то заспорили. Через четверть часа спор перешел на раздраженные повышенные тона. Я, конечно, не подслушивал под дверями, однако до моих ушей донесся крик его светлости: «Но это вас не касается, мой мальчик! Совершенно не касается!»

Я находился в столовой, когда джентльмены вышли из курительной. Они, видимо, успокоились и, проходя холлом, обменялись всего тремя фразами.

— Так имейте в виду, мой мальчик. Я на вас полагаюсь,— произнес его светлость, на что мистер Кардинал раздраженно ответил:

— Ну конечно, конечно, я же вам обещал.

Затем их шаги разошлись в разные стороны — его светлость удалился к себе в кабинет, мистер Кардинал прошел в библиотеку.

Почти ровно в половине девятого я услышал, что во двор въехали и остановились несколько автомобилей. Открыв дверь на звонок шофера, я заметил, как по дорожкам в разных направлениях разбегаются полицейские.

Я впустил в дом двух весьма высокопоставленных джентльменов, которых его светлость встретил в холле и быстро проводил в гостиную. Примерно через десять минут подъехала еще одна машина, и я открыл дверь германскому послу герру Риббентропу, к тому времени уже неоднократно бывавшему в Дарлингтон-холле. Его светлость вышел навстречу гостю, и оба джентльмена, как мне показалось, многозначительно переглянулись, прежде чем исчезнуть за дверями гостиной. Когда через несколько минут мне велели подать закуски, все четверо обсуждали сравнительные достоинства различных сортов колбасы, и атмосфера в комнате, по крайней мере на поверхностный взгляд, была самая непринужденная.

После этого я прошел в холл и стал на свое место под парадной аркой — я обычно его занимаю, когда в гостиной происходит что-нибудь важное. Я покинул его только часа через два, когда позвонили с черного хода. Спустившись, я обнаружил там мисс Кентон и полицейского, который попросил подтвердить, что это и в самом деле она.

— Меры безопасности, мисс, не принимайте на свой счет,— пробормотал констебль, прежде чем исчезнуть во мраке.

Закрыв дверь на засов, я заметил, что мисс Кентон еще не ушла, и сказал:

— Надеюсь, мисс Кентон, вы приятно провели вечер.

Она не ответила, поэтому я повторил, когда мы пересекали большую темную кухню:

— Надеюсь, мисс Кентон, вы приятно провели вечер.

— Да, благодарю вас, мистер Стивенс.

— Рад это слышать.

Мисс Кентон — она шла позади — вдруг остановилась, и я услышал в темноте ее голос:

— Разве вам ни капельки не интересно, о чем мы говорили сегодня с моим знакомым, мистер Стивенс?

— Не хочу показаться невежливым, мисс Кентон, но мне и в самом деле нужно безотлагательно вернуться наверх. Дело в том, что в эту минуту в доме происходят события всемирного значения.

— А когда они у нас не происходят, мистер Стивенс? Что ж, если вам так надо бежать, я всего лишь сообщу, что приняла предложение моего знакомого.

— Прошу прощения, мисс Кентон?

— Предложение выйти за него замуж.

— Вот как, мисс Кентон? Тогда примите мои поздравления.

— Спасибо, мистер Стивенс. Я, понятно, готова отслужить срок, положенный после подачи уведомления об уходе, но если вы сможете отпустить меня раньше, мы будем вам очень признательны. Мой знакомый приступает к новой работе в одном из западных графств через две недели.

— Приложу все усилия, чтобы как можно скорее подыскать вам замену, мисс Кентон. А теперь, с вашего позволения, я должен вернуться наверх.

Я двинулся дальше и уже было взялся за ручку двери, которая вела в коридор, когда услышал позади: «Мистер Стивенс» — и снова обернулся. Мисс Кентон стояла все там же и поэтому, обращаясь ко мне, была вынуждена немного повысить голос, который прозвучал как-то странно и гулко под сводами пустой темной кухни.

— Должна ли я понимать,— сказала она,— что после стольких лет, которые я отдала службе в этом доме, у вас при известии о моем возможном отъезде не нашлось никаких других слов?

— Мисс Кентон, примите мои самые искренние поздравления. Но, повторяю, наверху происходят события мирового значения, и я обязан быть на своем месте.

— А знаете ли вы, мистер Стивенс, что для меня и моего знакомого вы представляете собой очень важную личность?

— В самом деле, мисс Кентон?

— Да, мистер Стивенс. Мы часто потешаемся на ваш счет. Например, знакомый постоянно просит меня изобразить, как вы двумя пальцами зажимаете нос, когда перчите еду, и каждый раз заходится смехом.

— Вот как.

— Он также любит смотреть, как вы устраиваете персоналу «накачку». В моем, понятно, исполнении, но, признаюсь, я поднаторела по этой части. Стоит мне произнести две фразы, и мы оба прямо покатываемся.

— Понятно, мисс Кентон. А теперь прошу меня извинить.

Я поднялся в холл и стал на свое место. Не прошло, однако, и пяти минут, как в дверях библиотеки появился мистер Кардинал и кивнул, чтобы я подошел.

— Не хочется вас дергать, Стивенс,— сказал он,— но не могли бы вы принести еще бренди? А то в этой бутылке уже ничего не осталось.

— В вашем распоряжении, сэр, любые напитки. Но, принимая во внимание, что вам предстоит дописать комментарий, может быть, вы сочтете разумным воздержаться?

— Комментарию это не повредит, Стивенс. Ну, пожалуйста, принесите еще капельку бренди.

— Будет исполнено, сэр.

Когда я через минуту вернулся в библиотеку, мистер Кардинал бродил вдоль полок, разглядывая корешки. На одном из столов я заметил беспорядочно разбросанные бумаги. При моем появлении мистер Кардинал удовлетворенно хмыкнул и повалился в обитое кожей кресло. Я подошел, налил бренди и протянул ему бокал.

— А знаете, Стивенс,— сказал он,— мы ведь с вами уже порядком знакомы, верно?

— Действительно, сэр.

— Каждый раз, приезжая сюда, я предвкушаю, как мы с вами поболтаем.

— Да, сэр.

— А что бы вам не выпить со мной?

— С вашей стороны это очень любезно, сэр. Нет, сэр, благодарю вас, но я не могу.

— Может, Стивенс, у вас с этим делом не все в порядке?

— В полном порядке, благодарю вас, сэр,— ответил я, вежливо рассмеявшись.

— И чувствуете вы себя хорошо?

— Возможно, устал немного, но в остальном все прекрасно, спасибо, сэр.

— Ну, тогда присядьте-ка. Так о чем бишь я? Да, мы с вами порядком знакомы. Так что не буду темнить. Вы наверняка догадались, что я сюда неспроста пожаловал. Мне намекнули, понимаете? Что́ тут сейчас происходит. В эту самую минуту на той стороне холла.

— Да, сэр.

— Да сядьте же, Стивенс. Я хочу поговорить с вами по-дружески, а вы стоите с этим проклятым подносом в руках, и вид у вас такой, как будто вы вот-вот сорветесь и убежите.

— Виноват, сэр.

Я поставил поднос и сел на самый краешек кресла, на которое показал мистер Кардинал.

— Так-то лучше,— заметил мистер Кардинал.— А теперь послушайте, Стивенс. Уж не премьер ли министр сейчас в гостиной, а?

— Премьер-министр, сэр?

— Ну, ладно, ладно, не нужно ничего отвечать. Я понимаю, у вас чертовски щекотливое положение.— Мистер Кардинал глубоко вздохнул, устало покосился на разбросанные по столу бумаги и произнес: — Мне ведь не надо вам объяснять, Стивенс, как я отношусь к его светлости. Он мне как второй отец. Это мне не надо вам объяснять, Стивенс.

— Нет, сэр.

— Он мне очень дорог.

— Да, сэр.

— Знаю, что и вам тоже. Глубоко дорог. Дорог, Стивенс?

— Несомненно, сэр.

— Прекрасно. Тут мы друг друга понимаем. Но взглянем фактам в лицо. Его светлость оказался в опасном положении. Я вижу, как он увязает все глубже и глубже, и, скажу вам, меня это очень тревожит. Ему уже не за что ухватиться, понимаете, Стивенс?

— Вот как, сэр?

— Стивенс, вы хоть знаете, что происходит прямо сейчас, пока мы с вами тут разговариваем? Всего в нескольких ярдах от нас? В комнате по другую сторону холла — я даже не требую от вас подтверждения — находятся сейчас премьер-министр Великобритании, министр иностранных дел и германский посол. Его светлость сотворил чудо, собрав их всех вместе, и он верит — искренне верит,— что делает нечто полезное и достойное. А знаете, Стивенс, для чего его светлость собрал этих джентльменов нынче вечером? Знаете, Стивенс, что именно там происходит?

— Боюсь, что нет, сэр.

— Боитесь, что нет. Скажите, Стивенс, вам это совсем не интересно? Даже не любопытно? Черт побери, в этом доме происходит событие чрезвычайной важности, и вам совсем не любопытно?

— Мне не положено любопытствовать о таких вещах, сэр.

— Но его светлость вам дорог. Очень дорог, вы сами только что говорили. А раз его светлость вам дорог, то должны вы о нем беспокоиться или нет? Хотя бы немного поинтересоваться, а? Ваш хозяин под покровом ночи сводит премьер-министра и германского посла для тайных переговоров, а вам даже не любопытно?

— Любопытно-то любопытно, сэр. Но не положено мне о таких вещах любопытствовать.

— Не положено? А-а, понимаю, вы, видно, считаете, что этого требует верность. Правда? Думаете, в этом и заключается верность? Преданность его светлости? Или, коли на то пошло, королю?

— Простите, сэр, я не понимаю, что вы предлагаете.

Мистер Кардинал снова вздохнул и покачал головой.

— Ничего я, Стивенс, не предлагаю. Говоря откровенно, я сам не знаю что делать. Но вы могли бы хоть проявить любопытство.

Он замолчал и уставился пустым взглядом на ковер у меня под ногами.

— Вы точно со мной не выпьете, Стивенс? — наконец спросил он.

— Нет, сэр, благодарю вас.

— Вот что я вам скажу, Стивенс. Его светлость ставят в дурацкое положение. Я тут как следует все разузнал и о том, что происходит в Германии, имею теперь прекрасное представление. Так я вам скажу — его светлость ставят в дурацкое положение.

Я промолчал, а мистер Кардинал все так же бессмысленно глазел на ковер. Потом продолжал:

— Его светлость — милый, замечательный человек. Но беда в том, что он крепко увяз. Им играют. Наци играют им как пешкой. Вы это заметили, Стивенс? Вы заметили, что эта игра ведется по меньшей мере уже три или четыре года?

— Прошу прощения, сэр, но я ничего подобного не заметил.

— У вас даже подозрений не возникало? Даже тени подозрения, что герр Гитлер руками нашего милого друга герра Риббентропа играет его светлостью как простой пешкой, играет так же легко, как другими своими пешками в Берлине?

— Прошу прощения, сэр, но я ничего подобного не заметил.

— Ну да, откуда вам было заметить, Стивенс, вы ведь нелюбопытны. Все происходит у вас на глазах, но вам и в голову не придет задаться вопросом — а что же, собственно, происходит?

Мистер Кардинал поерзал, чуть выпрямился в кресле, затем задумчиво поглядел на свою неоконченную работу, разбросанную на соседнем столе, и произнес:

— Его светлость — джентльмен. С этого все и пошло. Он джентльмен, он воевал против немцев, у него в крови относиться к побежденному противнику великодушно и по-дружески. В крови. Потому что он джентльмен, настоящий английский джентльмен старой закалки. Вы наверняка поняли их игру, Стивенс, да и как можно было не понять? Поняли, как они использовали его душевные качества, сыграли на них, обратили деликатность и благородство в нечто другое — нечто такое, что могут теперь поставить на службу своим собственным грязным целям. Да не могли вы этого не понять, Стивенс.

Мистер Кардинал снова уставился в пол. Помолчал и продолжил:

— Помню, я приезжал сюда много лет тому назад, тут еще был этот американец. Мы устроили тогда большую конференцию, отец участвовал в подготовке. Помню, как этот американец — а он поддал еще крепче, чем я сейчас,— как он поднялся из-за обеденного стола перед всей честной компанией. Он показал на его светлость и назвал его любителем. Да, назвал его неумелым любителем и сказал, что он крепко увяз. Что ж, приходится, Стивенс, признать, что американец тогда правду сказал. От этого никуда не денешься. Нынешний мир слишком грязен для деликатных и благородных людей. Вы и сами это видите, Стивенс. Как они используют чужую деликатность и благородство в собственных целях. Вы и сами это видите.

— Прошу прощения, сэр, но не могу утверждать, будто вижу.

— Не можете утверждать, будто видите. Ну, не знаю, как вы, а я должен что-то сделать. Будь жив отец, уж он бы попытался это остановить.

Мистер Кардинал опять замолчал, и лицо у него — возможно, в связи с воспоминанием о покойном отце — приняло тоскливое выражение.

— Ну что, Стивенс,— спросил он наконец,— вы и дальше будете так же спокойно смотреть, как его светлость балансирует над пропастью?

— Прошу прощения, сэр, я не вполне понимаю, о чем вы говорите.

— Вы не понимаете, Стивенс. Хорошо, раз уж мы с вами друзья, буду откровенен. Последние несколько лет его светлость, вероятно, является единственной в своем роде и исключительно полезной пешкой в хитрой пропагандистской игре, какую герр Гитлер ведет с нашей страной. Тем более полезной, что он искренен, честен и не отдает себе отчета в истинном смысле своих поступков. Только за эти три года его светлость сыграл решающую роль в установлении связей между Берлином и шестью с лишним десятками самых влиятельных граждан нашей страны. Для немцев это было королевским подарком. Герр Риббентроп фактически получил возможность действовать в обход нашего Министерства иностранных дел. Мало им их проклятого нюрнбергского сборища и этой проклятой Олимпиады, так они еще и другое придумали. Знаете, чем занят теперь его светлость? Имеете хоть малейшее представление о том, что они сейчас там обсуждают?

— Боюсь, что нет, сэр.

— Его светлость пытается уговорить самого премьер-министра принять приглашение герра Гитлера и отправиться с официальным визитом в Германию. Его светлость и вправду считает, что премьер-министр заблуждается в отношении нынешнего немецкого режима.

— Не вижу, что в этом плохого, сэр. Его светлость всегда стремился помогать народам добиваться лучшего взаимопонимания.

— И это, Стивенс, еще не все. Именно сейчас — если только я не последний дурак,— именно сейчас его светлость обсуждает возможность визита к герру Гитлеру самого Его Величества. Ни для кого не секрет, что наш новый король всегда симпатизировал нацистам. Что ж, судя по всему, он охотно примет приглашение герра Гитлера. В эту самую минуту, Стивенс, его светлость делает все возможное, чтобы Министерство иностранных дел перестало противиться этому чудовищному плану.

— Прошу прощения, сэр, но в деятельности его светлости я вижу одно только благородство и высоту помыслов. В конце концов, он делает все, что может, дабы в Европе продолжал царить мир.

— Скажите, Стивенс, вы не допускаете, что я хоть в чем-то, но прав? Неужели вам и вправду *ни капельки* не любопытно?

— Прошу прощения, сэр, но могу ответить только одно — я целиком полагаюсь на здравомыслие его светлости.

— После захвата Рейнской зоны, Стивенс, ни один здравомыслящий человек не станет слепо верить ни единому слову герра Гитлера. Его светлость крепко увяз. Господи, теперь вы и вправду обиделись.

— Ни в коем случае, сэр,— возразил я, ибо встал только потому, что услышал звонок из гостиной.— Я, кажется, понадобился джентльменам. Позвольте удалиться.

В гостиной было не продохнуть от дыма. Пока его светлость отдавал мне распоряжение принести из погреба бутылку редкого старого портвейна, великие джентльмены с самым серьезным видом и в полном молчании затягивались сигарами.

Когда в столь поздний час спускаешься по черной лестнице, шаги звучат как-то особенно громко; они-то, безусловно, и привлекли внимание мисс Кентон. Ибо, когда я шел по темному служебному коридору, дверь ее гостиной открылась и на пороге возник ее силуэт на фоне освещенной комнаты.

— Удивлен, что вы еще не удалились наверх в свою спальню, мисс Кентон,— заметил я, проходя мимо.

— Мистер Стивенс, я наговорила вам много глупостей.

— Извините, мисс Кентон, но как раз сейчас мне недосуг разговаривать.

— Мистер Стивенс, не принимайте близко к сердцу, что я вам раньше сказала. Я просто болтала глупости.

— Я не принял близко к сердцу того, что вы мне раньше сказали, мисс Кентон. Больше того, я уж и не помню, что вы тогда говорили. Наверху происходят события чрезвычайной важности, у меня сейчас просто нет

времени обмениваться с вами любезностями. Я бы вам посоветовал идти спать.

С этими словами я поспешил дальше и успел дойти почти до самой кухни, когда в коридоре снова стало темно, и я понял, что мисс Кентон закрыла дверь.

На то, чтобы отыскать в погребе затребованную бутылку и привести ее в пригодный для употребления вид, у меня ушло немного времени. Поэтому через несколько минут после короткого разговора с мисс Кентон я снова проходил коридором, на этот раз с подносом в руках. Поравнявшись с дверью мисс Кентон, я понял по свету, который пробивался из щели вдоль притолоки, что она все еще у себя. Именно эта минута — теперь я в этом уверен — и засела у меня в памяти, минута, когда я замер в сумраке коридора с подносом в руках, почувствовав, как во мне стремительно нарастает уверенность, что совсем рядом, всего в нескольких футах от меня, за этой закрытой дверью сейчас плачет мисс Кентон. Помнится, эта моя уверенность не основывалась ни на чем конкретном — я, безусловно, не слышал рыданий,— но при этом я ничуть не сомневался, что если постучусь и войду, то застану ее в слезах. Не помню, сколько я так простоял; тогда мне показалось, что довольно долго, но на самом деле, вероятно, всего несколько секунд, ибо мне, разумеется, надлежало поторопиться наверх, где меня ждали с портвейном великие люди страны, так что исключено, чтобы я позволил себе неоправданную задержку.

Вернувшись в гостиную, я отметил, что джентльмены по-прежнему сохраняют глубокую серьезность. У меня, однако, не было времени составить впечатление об общей атмосфере, ибо не успел я войти, как его светлость, забрав у меня поднос, сказал:

— Спасибо, Стивенс, дальше я сам справлюсь. Можете идти.

Я снова пересек холл и занял свое привычное место под аркой. Там я простоял с час или около того, то есть до отбытия всех джентльменов, поскольку не произошло ничего такого, что могло бы заставить меня покинуть мой пост. Тем не менее этот час отчетливо и навсегда мне запомнился. Сперва — готов в этом признаться — настроение у меня было довольно подавленное. Но потом со мной приключилась любопытная вещь,— во мне начало нарастать чувство глубокого торжества. Не могу вспомнить, в какой степени я тогда понимал происхождение этого чувства, но сегодня, когда я мысленно к нему возвращаюсь, объяснить его, кажется, не так уж и трудно. В конце концов, я только что выдержал на редкость трудный вечер, на всем протяжении которого умудрялся сохранить «достоинство, отвечающее моему положению», более того, выдержал так, что сам отец мог бы гордиться, будь он на моем месте. А напротив, по ту сторону холла, за дверями, к которым был прикован мой взгляд, в той самой комнате, где я только что исполнил свои обязанности, могущественнейшие джентльмены Европы обсуждали судьбу нашего континента. Кто усомнился бы в эту минуту, что я доподлинно пребываю у самой ступицы великого колеса истории? А о большем никакому дворецкому не дано и мечтать. Поэтому я склонен считать, что, когда я стоял в холле, размышляя о событиях этого вечера — тех, что уже совершились, и тех, что совершались у меня на глазах,— я увидел в них своего рода итог того, чего достиг в жизни к этому часу. И это, пожалуй, лучше всего объясняет чувство торжества, которое охватило меня в тот вечер.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ —ВЕЧЕР

Уэймут

В этом прибрежном городе я давно хотел побывать. Многие говорили мне, что прекрасно здесь отдохнули, да и миссис Симонс в «Чудесах Англии» называет Уэймут «городом, где достопримечательностями можно любоваться с утра до вечера в течение многих дней». Она, кстати, особо

упоминает об этом моле, по которому я прогуливаюсь вот уже полчаса, и советует, в частности, приходить сюда вечером, когда над ним загораются разноцветные фонарики. С минуту назад я узнал у служащего, что освещение включат «довольно скоро», и решил дождаться иллюминации здесь, на этой скамейке. Отсюда открывается хорошая панорама заката над морем, и, хотя еще вполне светло — день выдался великолепный,— я вижу, как вдоль берега здесь и там зажигаются огоньки. А на молу между тем полным-полно народа; за спиной у меня раздается беспрерывная дробь шагов по доскам настила.

Я приехал в этот город вчера днем и решил остаться еще на одну ночь, с тем чтобы сегодня провести целый день в праздности. Должен сказать, я почувствовал известное облегчение, что не надо садиться за руль; езда хоть и приятное занятие, но в конце концов от нее и устать можно. Во всяком случае, у меня в запасе достаточно времени, чтоб задержаться здесь на день: если выехать завтра пораньше, я как раз успеваю вернуться в Дарлингтон-холл к пяти вечера.

Прошло уже двое суток, как я увиделся с мисс Кентон в чайной гостиной отеля «Розовый сад» в Литтл Комптоне. Ибо именно там мы и встретились — мисс Кентон, к моему удивлению, сама пришла в гостиницу. Я коротал время, закончив ленч — по-моему, просто глазел из-за столика на дождь за окном,— когда подошел кто-то из служащих и сообщил, что у конторки портье меня ожидает дама. Я встал и вышел в вестибюль, где, однако, не оказалось ни одного знакомого лица. Но тут женщина за конторкой сказала:

— Дама в чайной гостиной, сэр.

Пройдя в указанную мне дверь, я очутился в комнате, забитой непарными креслами и запасными столиками. Мисс Кентон была там одна; увидев меня, она поднялась и протянула мне руку:

— А, мистер Стивенс. Рада снова вас видеть.

— И я очень рад, миссис Бенн.

Из-за дождя в комнате стоял полумрак, и мы пододвинули кресла к самому эркеру. Так мы и проговорили с мисс Кентон около двух часов, сидя там точно в аквариуме с сероватой водой, а за окном дождь упорно поливал деревенскую площадь.

Она, понятно, немного состарилась, но, по крайней мере на мой взгляд, это вышло у нее очень изящно. Она сохранила стройную фигуру и былую прямую осанку. Сохранила она и старую свою привычку чуть ли не с вызовом задирать подбородок. Конечно, в тусклом холодном свете, падавшем ей на лицо, я не мог не заметить морщинок, появившихся тут и там. Но, в общем и целом, мисс Кентон, которая сидела передо мной, удивительно напоминала женщину, которая все эти годы жила у меня в памяти. Иными словами, видеть ее было чрезвычайно приятно.

Сначала мы минут двадцать обменивались с ней репликами, какими, я бы сказал, обычно обмениваются незнакомые люди; она вежливо осведомилась, хорошо ли я доехал, как провожу отпуск, какие повидал города и веси и тому подобное. По ходу нашей беседы мне, признаюсь, начало казаться, что я распознаю и другие, менее заметные перемены, привнесенные бегом лет. Например, в мисс Кентон появилась какая-то медлительность. Вполне возможно, то была всего лишь степенность, которая приходит с годами, и я внушал себе, что так оно и есть. Но все же чувствовал, что на самом деле это усталость от жизни; та искра, которая некогда делала ее такой живой, а порой и капризной, теперь, казалось, потухла. И правда, когда она время от времени замолкала и лицо у нее делалось совсем спокойным, я улавливал в его выражении некую печаль. Но, опять же, я вполне мог и ошибаться.

От легкой скованности, возникшей в первые минуты встречи, вскоре ничего не осталось, и разговор принял более личный характер. Мы вспоминали общих знакомых из прошлого, обменивались сведениями, если таковыми располагали, об их теперешней жизни, и, должен сказать, я получал от этого огромное удовольствие. Не столько содержание разговора,

сколько мимолетная улыбка, которой она сопровождала каждое свое высказывание, легкая ирония, время от времени сквозившая в ее интонациях, манера по-особому передергивать плечами, характерные жесты медленно, но верно восстанавливали в памяти ритмы и атмосферу наших бесед той далекой поры.

К этому времени я сумел кое-что прояснить для себя касательно ее нынешнего положения. В частности, оказалось, что в семейной ее жизни все отнюдь не так страшно, как можно было вычитать из письма. Она и вправду уходила из дому на несколько дней — именно тогда было написано и отправлено мне это письмо,— однако потом вернулась, и мистер Бенн очень обрадовался ее возвращению.

— И слава Богу, что хоть один из нас здраво относится к таким вещам,— заметила она с улыбкой.

Я понимаю, конечно, что едва ли имел право касаться подобной темы, и хочу подчеркнуть, что мне бы и в голову не пришло ее об этом расспрашивать, если б — как вы, может быть, помните — не важные причины рабочего порядка, связанные с проблемами персонала в Дарлингтон-холле. Во всяком случае, мисс Кентон, кажется, довольно охотно поделилась со мной своими семейными трудностями, что лично я воспринял как приятное доказательство прочности тесных рабочих отношений, которые нас некогда связывали.

Помню, чуть погодя мисс Кентон подробнее рассказала о муже, который должен был скоро уйти на пенсию, немного раньше положенного — из-за плохого здоровья, и о дочери, которая уже замужем и осенью ждет ребенка. Больше того, мисс Кентон дала мне адрес дочери — та живет в Дорсете — и очень просила, чтобы я заехал к ней на обратном пути, что, должен сказать, мне польстило. Я объяснил мисс Кентон, что скорее всего вообще не проеду через тот район графства, но она продолжала настойчиво меня уговаривать, повторяя:

— Кэтрин столько о вас наслышана, мистер Стивенс. Она будет просто в восторге.

Я, со своей стороны, как умел, описал ей нынешний Дарлингтон-холл. Постарался, чтобы она поняла, какой добрый хозяин мистер Фаррадей, и рассказал о переменах в самом доме — о всех перестановках и перемещениях, о законсервированных комнатах и о нынешнем распределении обязанностей между слугами. Мисс Кентон заметно повеселела, когда пошел разговор о доме, и скоро мы с ней пустились вспоминать разные случаи из прошлого, над которыми то и дело смеялись.

О лорде Дарлингтоне, если не ошибаюсь, разговор зашел всего один раз. Мы вспоминали что-то забавное о юном мистере Кардинале, в связи с чем мне пришлось сообщить мисс Кентон, что этот джентльмен погиб в Бельгии во время войны. После чего я добавил:

— Конечно, его светлость тяжело переживал утрату — он очень любил мистера Кардинала.

Мне не хотелось омрачать легкую, непринужденную атмосферу нашей беседы разговором на грустные темы, поэтому я сразу попытался перейти на другое. Однако, как я и опасался, мисс Кентон читала об отказе в иске по обвинению в клевете и, конечно же, воспользовалась случаем, чтобы кое-что у меня разузнать. Я, помнится, упирался, но в конце концов сказал:

— Дело в том, миссис Бенн, что в годы войны о его светлости писали ужасные вещи — и *эта* газета в особенности. Пока стране грозила смертельная опасность, он терпел, но война закончилась, а выпады все продолжались, и его светлость решил, что нет смысла их безропотно сносить. Теперь-то, может, и ясно, что не стоило обращаться в суд именно в то время, учитывая господствующие настроения и все прочее. Но так уж получилось. Его светлость искренне верил, что все будет по справедливости. Вместо этого, разумеется, у газеты просто взлетел тираж, а доброе имя его светлости было напрочь загублено. Честно, миссис Бенн, после этой истории его светлость, ну, стал фактически инвалидом. И дом как вымер. Бывало, принесешь ему в гостиную чай и, ну... Нет, просто сердце разрывалось глядеть на него.

— Мне очень жаль, мистер Стивенс. Я и не подозревала, что все было так плохо.

— Увы, миссис Бенн. Но хватит об этом. Я знаю, что Дарлингтон-холл запомнился вам таким, каким он бывал в дни больших приёмов, когда наезжали блестящие гости. Его светлость заслуживает, чтобы о нем вспоминали именно так.

Как я сказал, больше о лорде Дарлингтоне разговора не было. После этого пошли преимущественно счастливые и радостные воспоминания, и два часа, что мы провели с мисс Кентон в чайной гостиной, оказались, на мой взгляд, чрезвычайно приятными. Во время нашей беседы в гостиную, кажется, входили другие постояльцы, присаживались, вставали и уходили, но мы не обращали на них никакого внимания. И когда мисс Кентон, бросив взгляд на часы на каминной полке, сказала, что ей пора домой, трудно было поверить, что прошло целых два часа. Узнав, что ей предстоит идти под дождем до автобусной остановки, находящейся за деревней, я предложил подбросить ее на «форде». Позаимствовав в гостинице зонт, мы вместе вышли на улицу.

На земле вокруг «форда» образовались огромные лужи, но с моей помощью мисс Кентон благополучно добралась до дверцы. Вскоре мы уже катили по главной деревенской улице, потом лавочки кончились, пошел сельский простор. Тут мисс Кентон, которая до этого спокойно сидела и глядела по сторонам, повернулась ко мне и сказала:

— Чему это вы так про себя улыбаетесь, мистер Стивенс?

— Ой... Вы уж простите, миссис Бенн, но мне только что вспомнились некоторые фразы из вашего письма. Тогда они меня несколько встревожили, но теперь я вижу, что к тому не было достаточных оснований.

— Да? А какие именно фразы, мистер Стивенс?

— Да так, ничего особенного, миссис Бенн.

— Нет, мистер Стивенс, вы должны мне сказать.

— Ну хорошо, миссис Бенн. Вот, к примеру,— произнес я со смехом,— в одном месте вы писали — сейчас, дайте вспомнить — «оставшиеся годы лежат передо мной как пустыня». Да, в таком духе.

— Ну уж нет, мистер Стивенс,— возразила она тоже со смехом,— я такого написать не могла.

— Уверяю вас, миссис Бенн, именно так вы и написали. Я хорошо запомнил.

— Господи. Что ж, может, в иные дни я и чувствую что-то похожее, но это довольно скоро проходит. Поверьте, мистер Стивенс, жизнь отнюдь не лежит передо мной как пустыня. Хотя бы потому, что мы с нетерпением ждем внука или внучку. А дальше, кто знает, может, пойдут и еще.

— Да, действительно. То-то будет чудесно.

Мы помолчали. Затем мисс Кентон спросила:

— А как у вас, мистер Стивенс? Что за будущее вас там ждет, в Дарлингтон-холле?

— Точно не скажу, миссис Бенн, но знаю одно — не пустыня. Пустыня бы еще куда ни шло, а то — работа, работа и еще больше работы.

Мы оба посмеялись. Впереди у обочины показался навес для ожидающих пассажиров. Мисс Кентон показала на него и спросила:

— Подождете со мной, мистер Стивенс? Автобус подойдет через несколько минут.

Дождь по-прежнему лил как из ведра. Мы выбрались из машины и бросились под навес. Это было каменное сооружение с черепичной крышей, на вид очень надежное, каковым, впрочем, ему и полагалось быть, раз стояло оно среди голых полей, открытое всем ветрам. Краска внутри облупилась, но было довольно чисто. Мисс Кентон присела на скамеечку, а я остался стоять, высматривая автобус. По ту сторону дороги, насколько хватал взгляд, тянулись поля с убегающей вдаль цепочкой телеграфных столбов.

Мы несколько минут помолчали, и тогда я наконец, собравшись с духом, сказал:

— Прошу прощения, миссис Бенн, но мы, должно быть, теперь не

скоро увидимся. Может, вы разрешите задать вам один вопрос довольно личного свойства. Вопрос, который давно уже не дает мне покоя.

— Разумеется, мистер Стивенс. Мы же с вами как-никак старые друзья.

— Мы и вправду, как вы заметили, старые друзья. Мне просто хотелось спросить об одной вещи, миссис Бенн. Прошу вас, не отвечайте, если вопрос покажется вам неуместным. Но дело в том, что из писем, которые я от вас получил за все эти годы, и особенно из последнего вашего письма можно было заключить, что вы — как бы это лучше сказать? — не очень счастливы. Я просто подумал, может, с вами плохо обращаются. Прошу прощения, но, как я сказал, это давно не дает мне покоя. Глупо было бы заехать в такую даль, увидеться с вами и даже не спросить.

— Мистер Стивенс, вам незачем так смущаться. В конце концов, мы же с вами старые друзья, правда? Я очень тронута, что вас это так волнует, и могу полностью вас успокоить. От мужа я ни разу ни в чем не видела плохого обращения. Он человек совершенно незлой и невздорный.

— Признаюсь, миссис Бенн, что от ваших слов у меня камень с души свалился.

Я высунулся под дождь поглядеть, не идет ли автобус.

— Вижу, мой ответ вас не очень успокоил, мистер Стивенс,— заметила мисс Кентон.— Вы мне не верите?

— Ну что вы, миссис Бенн, дело совсем не в этом. Но факт — он и остается фактом: все эти годы вы, похоже, были не очень счастливы. Другими словами — вы уж меня простите,— вы несколько раз принимали решение бросить мужа. Но если он не обращается с вами дурно, то... то непонятно, отчего вы несчастливы.

Я снова высунулся под дождь. Наконец мисс Кентон произнесла у меня за спиной:

— Ну как мне вам объяснить, мистер Стивенс? Я и сама не совсем понимаю, почему на меня находит такое. Но я и в самом деле три раза от него уходила.— Она сделала паузу, а я стоял, не отрывая взгляда от полей за дорогой. Потом она продолжала: — Вероятно, мистер Стивенс, вы спрашиваете о том, люблю я мужа или нет?

— Что вы, миссис Бенн, я бы не осме...

— Но я чувствую, мистер Стивенс, что должна вам ответить. Как вы справедливо сказали, мы теперь навряд ли скоро увидимся. Да, я люблю мужа. Сперва не любила. Сперва долго не любила. Когда я много лет тому назад ушла из Дарлингтон-холла, я не понимала, что ухожу всерьез и совсем. Может, я считала это всего лишь очередной уловкой, чтобы расшевелить вас, мистер Стивенс. А когда я сюда приехала и вышла замуж, тут-то меня и проняло. Долгое время я была очень несчастна, очень, очень несчастна. Но годы убегали, война началась и закончилась, Кэтрин выросла, и вот однажды до меня вдруг дошло, что я люблю мужа. Живешь-живешь с человеком и, оказывается, привыкаешь к нему. Он человек надежный и добрый, и — да, мистер Стивенс, я научилась его любить.

Мисс Кентон помолчала и продолжала:

— Но это вовсе не значит, конечно, что время от времени не бывают минуты — минуты крайнего одиночества,— когда думаешь: «Господи, что же это я сделала с моей жизнью». И приходят мысли о том, что ведь могла бы быть и другая жизнь, *посчастливее*. Я, например, любила думать о той жизни, которую могла бы прожить с вами, мистер Стивенс. Вот тут-то я, вероятно, начинаю беситься из-за какого-нибудь пустяка и ухожу. Но всякий раз быстро понимаю, что мое настоящее место — рядом с мужем. В конце концов, упущенного не воротишь. Нельзя же всю жизнь думать только о том, что могло бы быть. Пора понять, что жизнь у тебя не хуже, чем у других, а может, и лучше, и сказать спасибо.

По-моему, я не сразу ответил, потому что эти слова мисс Кентон тоже не сразу дошли до меня в своем полном значении. Больше того, как вы можете догадаться, их тайный смысл породил во мне известные сожаления. А если честно — чего уж скрывать? — в эту минуту у меня разрывалось сердце. Однако я быстро взял себя в руки, обернулся и сказал с улыбкой:

— Вы совершенно правы, миссис Бенн. Как вы верно заметили, упущенного не воротишь. Я не мог бы спокойно спать, если б знал, что подобные мысли омрачают жизнь и вам, и вашему мужу. Каждый из нас, как вы говорили, должен сказать спасибо за то, что *имеет*. А судя по вашим словам, миссис Бенн, у вас есть основания быть довольной. Пожалуй, я даже рискну предположить — после того как мистер Бенн удалится от дел и пойдут внучата, вас с мужем ожидают очень счастливые годы. И не позволяйте впредь никаким глупым мыслям мешать счастью, которого вы заслуживаете.

— Конечно, вы правы, мистер Стивенс. Вы очень добры.

— Похоже, идет ваш автобус, миссис Бенн.

Я вышел под дождь и поднял руку, мисс Кентон встала и подошла к краю навеса. И только когда автобус остановился, я посмотрел на мисс Кентон и увидел, что глаза у нее полны слез. Я улыбнулся и сказал:

— Так вот, миссис Бенн, вы обязаны хорошо о себе заботиться. Многие утверждают, что с уходом от дел для супругов только начинается лучшая пора жизни. Вы должны обязательно постараться, чтобы эти годы стали счастливыми и для вас, и для вашего мужа. Мы, возможно, никогда уже не встретимся, миссис Бенн, так что прошу вас крепко запомнить эти мои слова.

— Я их запомню, мистер Стивенс, спасибо. И спасибо, что подвезли. С вашей стороны это было очень любезно. Очень приятно было снова повидаться с вами.

— Я был очень, очень рад снова повидаться с вами, миссис Бенн.

Над молом зажглись фонарики, по каковому случаю толпа у меня за спиной только что разразилась ликующими возгласами. Света еще вполне достаточно — небо над морем сделалось светло-розовым,— но возникает впечатление, что все, кто пришел на мол в последние полчаса, хотят, чтобы поскорей наступила ночь. Это, как мне кажется, весьма удачно подтверждает правоту одного высказывания, принадлежащего человеку, который был моим соседом по этой скамейке и лишь недавно ушел. С ним у меня случился любопытный разговор. Он утверждал, что для многих вечер — лучшее время суток, лучшее и самое долгожданное. Что ж, как я сказал, в его словах, судя по всему, содержится доля истины, а то с чего бы всем этим людям ликовать в едином порыве лишь потому, что над молом зажглись фонарики?

Человек этот, разумеется, говорил в переносном смысле, но довольно примечательно, что его слова немедленно подтвердились в самом прямом. Я, видимо, не заметил, как он подсел ко мне на скамейку и просидел рядом несколько минут,— настолько я погрузился в воспоминания о встрече с мисс Кентон два дня тому назад. Мне вообще сдается, что я обратил на него внимание только после того, как он громким голосом заявил:

— Полезная штука — морской воздух.

Я поднял глаза и увидел крепко сбитого мужчину лет под семьдесят в довольно потертом твидовом пиджаке и рубашке с расстегнутым воротом. Он смотрел на море, а может, на чаек вдали, так что я сперва не понял, ко мне он обращается или к кому-то другому. Поскольку, однако, поблизости никого не было и никто ему не ответил, я наконец сказал:

— Согласен с вами.

— Доктор говорит, что полезная. Вот я и прихожу сюда всякий раз, как позволяет погода.

Незнакомец пустился в рассказы о своих разнообразных недугах, все так же любуясь закатом и лишь изредка отрываясь, чтобы кивнуть мне или улыбнуться. Я только-только начал к нему прислушиваться, как он упомянул, что ушел на покой три года назад, а до этого служил дворецким в одном доме неподалеку. Расспросив его, я выяснил, что дом был очень маленький, а вся прислуга, кроме него,— приходящая. Я спросил, не доводилось ли ему когда-нибудь, может, еще до войны, работать, имея в своем подчинении положенный штат. Он ответил:

— Ну, до войны я был простым лакеем. В те годы я бы не потянул на дворецкого. Это ж только подумать, сколько всего нужно знать, чтоб служить в больших домах, какие тогда были.

После таких его слов я счел уместным открыться, и, хотя название «Дарлингтон-холл», видимо, ничего ему не сказало, самый факт, похоже, произвел должное впечатление.

— А я-то все вам объясняю,— расхохотался он.— Молодец, что сразу сказали, пока я совсем дураком не вышел. Лишний урок — нипочем не знаешь, на кого нарвешься, когда заговариваешь с незнакомыми. Штат у вас, думаю, был большой. До войны то есть.

Видя его живой интерес, я, должен признаться, порассказал ему о Дарлингтон-холле, каким он был в прежние времена. В основном я попытался ему объяснить, как, по его собственному выражению, «потянуть» там, где требуется надзор за обслуживанием больших приемов, подобных тем, что часто у нас происходили. Больше того, я даже раскрыл ему кое-какие из своих профессиональных «секретов», позволяющих добиться от персонала почти невозможного, а также разного рода хитрости — вроде «ловкость рук — никакого обмана» у фокусников,— с помощью которых дворецкий способен устроить то, что нужно, там, где нужно, и в нужное время, да так, что гости даже не догадаются о подготовительных маневрах, зачастую крупномасштабных и сложных. Мой собеседник оказался благодарным слушателем, но в конце концов я почувствовал, что достаточно его просветил, и закончил:

— Конечно, теперь, когда у нас новый хозяин, американский джентльмен, все уже по-другому.

— Американский, вот как? Что ж, нынче это им одним только и по карману. Значит, вы остались при доме. Перешли, стало быть, заодно с обстановкой,— произнес он, повернувшись ко мне с широкой ухмылкой.

— Да,— сказал я, усмехнувшись,— как вы верно заметили, перешел заодно с обстановкой.

Мужчина снова уставился на море, набрал полную грудь воздуха и удовлетворенно вздохнул. Мы несколько минут помолчали, сидя бок о бок.

— Дело, видите ли, в том,— сказал я, нарушив молчание,— что все лучшее я отдал лорду Дарлингтону. Отдал все лучшее, что у меня было, и теперь у меня... в общем... оказалось, что у меня не осталось почти ничего, что можно отдать.

Сосед мой молча кивнул, и я продолжал:

— С самого приезда моего нового хозяина, мистера Фаррадея, я стараюсь изо всех сил, действительно изо всех сил служить ему наилучшим образом. Стараюсь и стараюсь, но что бы я ни делал, каждый раз вижу, что далеко не дотягиваю до того уровня, который сам для себя когда-то определил. У меня случается все больше и больше оплошностей. Мелких, пустячных — по крайней мере, пока что. Но таких, которых раньше я никогда бы не допустил, и я понимаю, что́ это значит. Видит Бог, стараюсь и стараюсь, но ничего не выходит. Я отдал все, что у меня было. Я все отдал лорду Дарлингтону.

— Господи, дружище, да что это с вами? Дать вам платок? Сейчас, он у меня где-то тут. Ага, вот он. Почти совсем чистый, только с утра высморкался, а больше ни разу. Нате, держите.

— О, Господи, нет, спасибо, я и так обойдусь. Вы уж простите, поездка, видно, меня вконец вымотала. Так нехорошо получилось.

— Вы, верно, были крепко привязаны к вашему лорду Как-его-там. Говорите, он три года, как помер? Вижу, дружище, крепко вы к нему были привязаны.

— Лорд Дарлингтон был неплохим человеком. Совсем неплохим. И он хотя бы имел преимущество — мог в конце жизни сказать, что сам виноват в собственных ошибках. Его светлость был человеком отважным. Он выбрал в жизни свой путь, как потом оказалось, неверный, но выбрал сам, уж это, по крайней мере, он мог утверждать. А я — я даже этого не могу про себя сказать. Я, понимаете, *верил*. Верил в мудрость его светлости. Все годы службы я верил, что приношу пользу. А теперь я даже не имею права

сказать, что сам виноват в своих ошибках. Вот и приходится задаваться вопросом — а много ли в этом достоинства?

— Вот что, дружище, послушайте-ка меня. Не скажу, чтобы я все так уж понял, что вы тут говорили, но коли хотите знать мое мнение, так вы кругом ошибаетесь. Ясно? Не оглядывайтесь вы все время на прошлое, от этого вам одно расстройство. Ладно, согласен, вы не так споро управляетесь с делом, как раньше. Но ведь так оно с нами со всеми, правда? Всем нам когда-то приходит срок уходить на покой. Вы на меня посмотрите — никаких забот с того самого дня, как уволился с должности. Согласен, и я и вы — далеко не первой молодости, но нужно глядеть вперед.— Именно тут он, по-моему, и сказал: — Нужно радоваться жизни. Вечер — лучшее время суток. Кончился долгий рабочий день, можно отдыхать и радоваться жизни. Вот как я на это гляжу. Да вы любого спросите — услышите то же самое. Вечер — лучшее время суток.

— Вы, разумеется, правы,— ответил я.— Простите, что получилось так неприлично. Я, вероятно, сильно переутомился. Понимаете, столько времени провел за рулем.

Он ушел минут, наверное, двадцать тому назад, а я остался сидеть на этой скамейке и ждать того, чего дождался,— иллюминации над молом. Как я уже говорил, все собравшиеся с ликованием встретили это маленькое событие, что вроде бы подтверждает правоту моего недавнего собеседника: для очень и очень многих вечер — самое приятное время суток. Так, может, стоит прислушаться к его совету — перестать все время оглядываться на прошлое, научиться смотреть в будущее с надеждой и постараться как можно лучше использовать дарованный мне остаток дня? В конце концов, много ли проку от постоянных оглядок на прошлое и сожалений, что жизнь сложилась не совсем так, как нам бы хотелось? Ведь таким, как мы с вами, не уйти от суровой правды: наш единственный выбор — полностью передоверить свою судьбу тем выдающимся джентльменам, кто, пребывая у ступицы всемирного колеса, берет нас в услуженье. Какой смысл слишком тревожиться о том, что можно, а чего нельзя было бы сделать, чтобы самому распорядиться собственной жизнью? Безусловно, достаточно и того, что мы с вами хотя бы *стремимся* внести наш маленький вклад и надеемся, что его сочтут искренним и полезным. И если некоторые из нас готовы многим пожертвовать во имя таких устремлений, это уже само по себе, независимо от конечного результата, дает основания для удовлетворения и гордости.

Кстати, всего несколько минут назад, когда включили иллюминацию, я обернулся — поглядеть на тех, кто со смехом и шутками толпится у меня за спиной. По молу гуляют самые разные люди: семьи с детьми, молодые и пожилые пары — и те и другие под ручку. Мое внимание привлекла собравшаяся неподалеку небольшая компания, человек шесть или семь. Сперва я, понятно, решил, что это приятели, надумавшие вместе провести вечер. Но, прислушавшись к репликам, я понял, что просто незнакомые люди случайно сошлись на пятачке за моей скамейкой. Вероятно, все они на минуту остановились, дожидаясь, когда зажгутся фонарики, а затем понемногу разговорились. Я смотрю на них — они весело над чем-то смеются. Диву даешься, как люди успевают так быстро проникнуться друг к другу сердечностью. В данном случае я, правда, не исключаю, что их просто объединяет предвкушение приятного вечера, однако скорее склоняюсь к тому, что это связано с умением весело и непринужденно болтать. Я слышу, как они все время друг над другом подтрунивают. Видимо, такая форма общения по вкусу очень и очень многим. Возможно, мой недавний сосед по скамейке тоже рассчитывал, что я затею с ним такую же шутливую болтовню,— и, значит, жестоко во мне обманулся. Может, мне и впрямь пришло время подойти к проблеме подтрунивания с бóльшим рвением. В конце концов, как подумать, не такое это и глупое дело, особенно если шутливая болтовня и вправду служит ключом к теплому человеческому общению.

Более того, мне теперь кажется, что у хозяев есть немалые основания требовать от профессиональных дворецких умения поддерживать подобную болтовню. Сам я, разумеется, потратил много времени на развитие навыков «подыгрывания», но, вероятно, до сих пор относился к этому делу

без должного усердия. Так что, вернувшись завтра в Дарлингтон-холл,— а мистер Фаррадей задержится еще на неделю,— я, пожалуй, с удвоенной силой возобновлю тренировки. Поэтому, будем надеяться, к возвращению хозяина я окажусь в состоянии преподнести ему приятный сюрприз.

От переводчика

Итак, читатель, вы совершили небольшое путешествие по юго-западной Англии, полюбовались на ее действительно прекрасные уголки, познакомились со многими англичанами и, вероятно, лучше представляете теперь национальный характер, тот самый, который, по словам Вальтера Скотта, нельзя узнать по «сливкам общества». Впрочем, и в обществе этих «сливок» вам тоже довелось изрядно повращаться, а заодно узнать кое-что любопытное о том, как делалась в Англии международная политика между двумя мировыми войнами. Вы обозрели долгую человеческую жизнь — то ли принесенную в жертву ложным кумирам, то ли незаметно утекшую, как вода из горсти, но явно несостоявшуюся. Думаю, вам было грустно расставаться на праздничном вечернем молу со старым дворецким, хотя он вроде бы взбодрился и в очередной раз размышляет, как воспитать в себе навыки «подыгрывания». И дай ему Бог, в конце концов, приятно удивить своим остроумием мистера Фаррадея: быть может, тогда отпущенный Стивенсу «остаток дня» обретет некий смысл, а не сведется к механическому исполнению служебных обязанностей.

«Что видел дворецкий» — фраза, в английском языке ставшая идиомой. Легче, пожалуй, перечислить, чего вездесущий дворецкий не видел. Первейшая, однако, обязанность вышколенного дворецкого, если верить «английским анекдотам» и байкам вроде той, которую любил повторять батюшка Стивенса,— как раз «не видеть» неположенного, а уж если увидел, то сохранять невозмутимость, действовать сообразно с обстоятельствами и полагаться на хозяина.

За долгую службу в Дарлингтон-холле, как вы могли убедиться, дворецкому Стивенсу пришлось многое повидать. Другой вопрос — что он *видел,* то есть понимал и постигал? Об этом, собственно, и написан роман, в котором исподволь, изящно, с тонкой иронией и недомолвками демонтируется социально-психологическая мифология, издавна облекающая в британском обществе весь комплекс отношений между хозяевами и слугами. Мифология, становлению каковой, между прочим, способствовала и классическая английская литература — Робинзон и Пятница у Дефо, мистер Пиквик и Сэм Уэллер у Диккенса, дворецкий Беттередж и леди Джулия Вериндер («Лунный камень» Уилки Коллинза).

Слугу-рассказчика придумал не Кадзуо Исигуро — мы встречаем его, скажем, у того же Уилки Коллинза или у Теккерея в «Записках Желтоплюша». Но с каким блеском ведется повествование в «Остатке дня»! Ведь из рассуждений, воспоминаний и переживаний Стивенса, из самой его интонации у нас на глазах постепенно складывается достовернейший — до мельчайших модуляций голоса и оттенков мысли — тип законченного, Богом призванного слуги, а также во всей своей пластической убедительности возникает целая вселенная, именуемая обслуживающим классом. Вселенная, как читатель, надеюсь, отметил, со своей историей, законами, заповедями, духовными ценностями и даже фольклором. Мир, существующий параллельно, раздельно и одновременно в нерасторжимом единстве с миром хозяев.

Такого тщательного; проникновенного, сострадательного и вместе с тем беспощадного художественного исследования социальной психологии слуг как класса, самого феномена прислуживания в английской литературе, пожалуй, еще не было. Роман можно было бы воспринять как пародию, когда б за всеми парадоксами и несообразностями мира лакейской автор не прорисовывал тончайшим штрихом, даже пунктиром, глубокие драмы сердца и ума, не менее горькие и губительные оттого, что они не отмечены аристократической «утонченностью чувств».

По мере погружения в роман крепнет догадка, в конечном счете перерастающая в уверенность, что бытие слуг есть не что иное, как поставленное перед грубовато-беспристрастным зеркалом бытие хозяев. Впечатление карикатурности возникает потому, что отражение слишком точно, а социальные уровни несопоставимы. Вспомните про клуб. Английский клуб — институт заповедный, закрытый, место для избранных, и слуга может в нем появиться исключительно в своем профессиональном качестве. Мы же узнаем от Стивенса про клуб дворецких — «Общество Хейса»,— еще более малочисленный и труднодоступный, чем знаменитый лондонский «Атенеум». Занимаются в этом клубе, естественно, тем, что дискутируют о первейших обязанностях, неотъемлемых качествах и идеале образцового слуги. Смешно? Разумеется, поскольку неуместно и несуразно. На поверку, однако, не более чем дискуссии в самом что ни на есть аристократическом клубе, где вполне серьезно обсуждают ход истории на том же уровне, что и в стенах Дарлингтон-холла: «...от мсье Дюпона одного и зависит исход предстоящих переговоров».

Или другой пример. В сословной и внутрисословной иерархии титул, звание, пост или место как бы оттесняют самого человека на второй план, и тем вернее, чем выше его статус. Три главных действующих лица романа — хозяин Дарлингтон-холла и его слуги, Стивенс и мисс Кентон. Мы представляем их себе как живых, твердо усвоили, что первый — лорд, второй — дворецкий, а третья — экономка, но расстаемся с ними, так и не узнав их имен.

Не правда ли, читатель, вас поджидали в романе откровения? Вы, полагаю, уяснили себе, что образцовый дворецкий и вообще слуга — тот, кто с достоинством исполняет свои должностные обязанности. Вы познали катехизис прислуживания — последний слагается из разрозненных суждений Стивенса, подчас обладающих завершенностью и выразительностью афоризмов, притом нередко отмеченных прочувствованным, хотя и невосторженным

(сдержанный и скрытный английский характер!) холопством. К примеру: «Когда за столом двое... безумно тяжело добиться равновесия между расторопностью и незаметностью, которое так важно для хорошего обслуживания». Или вот еще: «...в реальной жизни критическое отношение к хозяину и образцовая служба просто несовместимы». Вы познакомились с легендами и преданиями лакейской. Вы, наконец, приобщились к новой и новейшей истории британской прислуги, для которой (истории, не прислуги) характерны смена поколений, формаций и ведущих сфер деятельности — все как в настоящей истории; только если в последней, допустим, основным занятием политиков стала выработка курса по отношению к нацизму, то на уровне слуг тем же становится чистка столового серебра.

Вы, верно, не станете спорить, что под пером Кадзуо Исигуро сословие слуг образует своеобразное государство по образцу того, как совокупность подданных Британской короны образовала империю. В этом государстве роль монарха отведена дворецкому. Стало быть, и вопрос о том, что есть великий дворецкий, в нем столь же уместен, как проблема образцового суверена в монархическом устройстве.

Далекие, казалось бы, материи, а читать интересно. Во-первых, потому, что узнаешь много нового. Тут «Остаток дня» не менее увлекателен, чем романы Артура Хейли из жизни профессионалов своего дела. Но не это главное. Произведение Кадзуо Исигуро привлекает прежде всего тем, что рассказанное имеет прямое отношение к нам с вами.

«Как писатель я стремлюсь создавать международные романы. Что это такое — «международный» роман? Это просто роман, в котором дана картина жизни, представляющая интерес для людей самого разного происхождения и состояния по всему миру. В нем *могут* фигурировать персонажи, летающие с континента на континент реактивными лайнерами, но с равным успехом его действие может разворачиваться в границах какого-нибудь маленького местечка»,— говорит Кадзуо Исигуро. А теперь спросим себя: представляет ли для нас интерес картина жизни, скомканной служением ложной идее, притом что оно продиктовано самыми благими намерениями? Представляет, да еще какой — знаем такую жизнь по собственному опыту, историческому и личному. Знает, вероятно, и писатель. По крайней мере, его светлость имеет предшественника в предыдущем романе Кадзуо Исигуро «Художник зыбкого мира». Там герой, художник Мацуи Оно, сознательно связывает в молодости свое искусство с идеалами японского милитаризма — и из столь же благородных побуждений: желания поддержать родину, облегчить людям существование и создать нетленную живопись. На закате лет он, однако, вынужден признать, что пытался сотворить вечное, опираясь на скоропреходящие идеалы, и поэтому потерпел крах.

Мы вольны поразиться близорукости дворецкого, который видел если не все, то очень многое, однако почти ничего не увидел, поскольку отказывался понимать очевидное. Но в том и художническая проницательность Кадзуо Исигуро, что он обосновал неизбежность утраты зоркости как следствие лакейского взгляда на мир, причем не сказал об этом «от автора», а раскрыл изнутри, через психологию самозабвенного лакея. Автор вскрыл «корни» лакейского мировосприятия на примере именно рядового англичанина, Стивенса, и сделал это мастерски: «...таким, как мы с вами, никогда не постичь огромных проблем современного мира, а поэтому лучше всего безоглядно положиться на такого хозяина, которого мы считаем достойным и мудрым, и честно и беззаветно служить ему по мере сил».

Это можно соотнести с опытом не одной лишь Великобритании. Всем, например, известно, кому в 1933—1945 годах доверили немцы постигать за них огромные проблемы, да и имя нашего Хозяина, который в глазах советских людей был «достойным и мудрым», тоже не секрет, а его рассуждение о «винтиках» обнаруживает гносеологическую общность с доводами Стивенса. Можно видеть, что социальная «емкость» письма, помноженная на примечательное искусство вживания в персонаж, позволила автору через чисто английскую тему, решенную к тому же с учетом английской литературной традиции, выявить самый страшный недуг XX века.

С не меньшим тактом изображает писатель неизбежные следствия добровольной слепоты и в сугубо личном плане. Почему это Стивенс так упорно возвращается к оправданию лорда Дарлингтона? Да по той простой причине, что дворецкий, долгие годы превыше всего ставивший свое достоинство, переживает политический крах хозяина как ущерб и урон для его, Стивенса, чести. Так «политика» переходит в личное. Но не в политике дело, и не она виновата в том, что у Стивенса развилась душевная глухота и атрофировалась способность любить. Виновато все то же лакейство. Продуманно чередуя эпизоды и сцены, строя диалоги и описывая реакции персонажей, какими их воспринимает Стивенс, автор подводит нас к главному: лакейство в принципе губит личность, растлевает ум, сушит сердце, искажает ценности человеческого общения. Оно делает Стивенса слепым не только в политике. Его рассказ — это, в сущности, хроника неувиденной и в силу этого не принятой любви.

В романе, как наверняка заметил читатель, много удачных сюжетных ходов (вроде смерти Стивенса-старшего во время грандиозного приема), но от талантливого писателя странно было бы ожидать другого. Истинной находкой представляется здесь не это, а выявление на всем протяжении повествования высшей, всеобъемлющей безнравственности лакейства через диалоги, в которых предмет разговора оказывается слегка смещенным по законам абсурда, что наглядно демонстрирует утрату языка межличностного общения как между хозяевами и слугами, так и среди слуг. Стивенсу, например, одинаково «неудобно» разговаривать и с мистером Фаррадеем, и с родным отцом.

Самое примечательное, однако, в этом романе — что сию насквозь английскую книгу создал человек, по рождению принадлежащий другой и очень непохожей национальной культуре. Кадзуо Исигуро — японец, в Англии он с шести лет. Действие двух его предыдущих романов происходит в Японии, «Остаток дня» — первая его книга, построенная целиком на английском материале.

После войны, особенно с 1960-х годов, стало довольно распространенным явлением, когда авторы иных национальных «корней» начинают жить в Великобритании и становятся

английскими писателями. Их книги возникают как бы на стыке разных литературных традиций, причем роль жизнетворной жидкости в этом литературном «кровообмене» отдана английскому языку. Тут можно назвать тринидадца В. С. Найпола, пакистанца Сальмана Рушди, южноафриканца Кристофера Хоупа и еще немало имен. В крепкую традицию английской комедии нравов, заложенную еще Филдингом, Стерном и Смоллеттом и обогащенную в начале XIX века Джейн Остин, Кадзуо Исигуро внес японский колорит: изысканную фрагментарность повествования, неполную прорисовку окружения (у английского автора, даже современного, допустим, у Л. П. Хартли или Айрис Мердок, мы бы нашли более пространное описание Дарлингтон-холла), гротеск сближения смешного и трагического.

«Остаток дня», в сущности, очень печальная, хотя местами и очень смешная книга. И Стивенс, этот невообразимый педант и «сухарь», лишенный знаменитого британского чувства юмора, нам симпатичен. Почему — затрудняюсь сказать, но каким-то непонятным образом Кадзуо Исигуро убеждает, что мисс Кентон было за что любить потомственного дворецкого. А это и есть примета совершенного мастерства.

Кадзуо Исигуро написал блистательную комедию, точнее, трагикомедию нравов, в рамках которой развернул метафору истории первой половины нашего века, абсурда, заложенного в этой истории. В самом же широком смысле он создал метафору человеческой жизни, омраченной тенями благих упований, заведомо обреченных надежд и губительных самообольщений.

Он дал ощутить сладость жизни, обманную утеху воспоминаний, горечь ухода.

Поздравим английскую литературу с появлением замечательного художника.

Чарльз Диккенс

«ПЯТЬ ВЕКОВ АНГЛИЙСКОГО АФОРИЗМА»

Так называется книга, вобравшая в себя изречения многих замечательных мыслителей, парадоксалистов и мастеров письменного — и устного — слова. Среди них — Сэмюэл Джонсон, Уильям Хэзлитт, Оскар Уайльд, Бернард Шоу, Г. К. Честертон, Уинстон Черчилль и другие. Предлагаем вниманию читателя несколько страниц будущей книги, составленной и переведенной А. Ливергантом.

ФРЭНСИС БЭКОН (1561—1626)

Начавший уверенно кончает сомнениями; тот же, кто начинает свой путь в сомнениях, закончит его в уверенности.

Надежда — хороший завтрак, но плохой ужин.

Законы подобны паутине: мелкие насекомые в ней запутываются, большие — никогда.

Молчание — добродетель глупцов.

Каждый человек, по моему разумению, является должником своей профессии.

Что, в сущности, дурного в том, что себя мой друг любит больше, чем меня?

Как в природе, так и в государстве многое изменить сподручнее, чем что-то одно.

Нововведения подобны новорожденным: на первых порах они необычайно нехороши собой.

Управлять природой можно, лишь подчиняясь ей.

ТОМАС ФУЛЛЕР (1654—1734)

Скромность — добродетель; стыдливость — порок.

Слепец не поблагодарит вас за зеркало.

Многие были бы трусами, будь у них побольше смелости.

Если у тебя нет врагов,— значит, счастье от тебя отвернулось.

На ошибках учатся лишь дураки; велик тот, кто пренебрегает собственным опытом.

Всякая слава опасна: добрая возбуждает зависть, дурная — стыд.

В любовных войнах побеждает тот, кто первым бежит с поля боя.

Помирившийся друг — враг вдвойне.

Образование делает хорошего человека лучше, а плохого — хуже.

То, что тяжело переносится, с нежностью вспоминается.

Плох тот, кто обо всех хорошо говорит.

ДЕННИС ДЖОЗЕФ ЭНРАЙТ

Стихи

Современный английский поэт Деннис Джозеф Энрайт (род. в 1920 г.) до сих пор был известен в нашей стране лишь по нескольким переведенным на русский язык стихотворениям. Между тем в Англии издано тринадцать сборников его стихов, печатались также его романы, книги для детей, путевые очерки, автобиографические и публицистические заметки.

Родился Энрайт в городке Лимингтон-Спа в графстве Уорикшир. Получил филологическое образование в Кембриджском университете. Преподавал английский язык и литературу в университетах Египта, Японии, Германии, Таиланда, Сингапура и, конечно же, у себя на родине — в Англии. В «Мемуарах нищего профессора» (1969) Энрайт рассказывает: «Когда я жил за пределами Англии, из-за обыкновения совать нос не в свои дела я все время ссорился с местными властями... и в результате вел жизнь бродячего преподавателя».

Зато на поэтическом поприще, в отличие от преподавательского, Энрайт преуспел с самого начала. «Поэзию питает лишь // Горючее, окислившееся от неудач»,— писал он в одном из стихотворений. Первая же книга стихов Энрайта, «Смеющаяся гиена» (1953), была замечена и благосклонно оценена критиками. В 1956 году его стихотворения вошли в известную антологию «Новые строки», авторы которой заявили о себе как о новой поэтической группе, названной «Движение». Через двадцать лет Энрайт с теплотой вспоминал «единомыслие и пылкость чувств», которые в свое время свели вместе молодых поэтов (хотя и заметил с присущей ему иронией, что «лучший вид движения — такой, когда заходишь не слишком далеко...»). Среди изданных в последующие годы сборников Энрайта самые известные — «Иллюстрированный рай» (1978) и «Книга Фауста» (1979); в этих книгах поэт, с его аналитическим складом ума и склонностью к философским обобщениям, представляет библейские сюжеты и сцены из гётевского «Фауста» в новом, парадоксальном ракурсе. Выступил Энрайт и как составитель двух антологий английской поэзии: «Поэты пятидесятых» (1956) и «Оксфордская книга современной английской поэзии. 1945—1980» (1981).

Поэт и сейчас продолжает плодотворно работать. Летом 1991 года вышла его новая книга — «Под давлением обстоятельств». И снова — заинтересованное обсуждение стихов критиками, споры относительно интерпретации его иносказаний.

А. КУДРЯВИЦКИЙ

Фотопортрет Д. Дж. Энрайта выполнен Линдой Мэйли

Пейзажная лирика

Я был не прав. Я думал — замурованы
деревья в тишину небес стеклянных,
Как маска погребальная, суровы,
как маска погребальная, мертвы.
Но моя дочка вдруг затараторила
про зоопарк, где в клетках обезьяны,—
И тишину разбили стоны веток
и ропот негодующей листвы.
Деревья в бешенстве вздымали сучья,
кромсали воздух, клокоча от гнева,
И обезьян домой напрасно звали,
пытаясь корни вырвать из земли.
А где-то в зоопарке в это время
глядели жадно обезьяны в небо,
И в мертвые замки впивались,
и прутья равнодушные трясли.

Достопримечательность

Со стены большого древнего храма
На прохожих смотрит яркая роспись —

Морда демона с разинутой пастью.
В пасти — комната. В ней, на корточках, люди.

Два блестящих клыка его — две колонны,
А язык его — ковер цвета крови.

На стене в той комнате — тоже роспись:
Морда демона с разинутой пастью.

В пасти — комната. В ней на корточках люди.
Вместо лиц — мазки. Поскупился мастер.

На стене в той комнате — тоже роспись:
Морда демона с разинутой пастью.

Где-то там и ты на корточках тоже
Примостился. К счастью, ни глаз, ни сердце

Не подскажут, сколько челюстей мощных
В некий миг готовы навек сомкнуться.

Трибунал котов

Соловья коты изловили.
Вырвавшись, он взлетел над ними;
Сел на ветку, и трое суток
Нежная месса его звучала.
После — кровью истек и умер.
А котов замучила совесть.
Были в восторге коты от пенья,
Похоронили певца с почетом.

Позже коты скворца изловили.
Съели его. Скворец, как известно,
Не соловей. (Вечная память!)
И оперенье совсем другое,
И неестественно как-то скачет,
И летает не так, как до́лжно.
Нет, это случай не тот, конечно,
Что с соловьем. (Вечная память!)

А потом котята поймали
Соловья. И съели, поскольку
Он им очень скворца напомнил —
Так же странно летает, скачет,
Столь же нелеп. Да разве таким был
Тот соловей прекрасный, с которым
Встарь отцы их так подружились...
Тот — святой был! (Вечная память!)

Пустяк

Пусть другие невинность теряют,
А взамен мастерства набираются.
Ты, Поэт, будь до гроба девственник.

Если ж ты потерял невинность,
Стань торговцем, дворником, домохозяйкой,
А не то превратишься в цензора.

Всем красотам а ля Бодлер
Не изгнать из строк червоточины.
Ассонансам не скрыть позора.

Боль должна для тебя остаться
Болью. Счастье — счастьем. Свобода —
Волей. Правда — основой жизни.

Опыт делает дальнозорким.
А реальность — под боком. К чему телескопы?
Воздух дальними мирами кишит.

Что такое потеря невинности?
Быть подмятым ротой солдат?
Сделка с совестью? Или верлибр?

Перевод А. КАЗАРНОВСКОГО

Бездна

Он должен дойти до края.
Его требует к себе бездна,
Ему не прожить без бездны,
Его влечет глубина.

На дороге к бездне людно.
Но многие повернут обратно.
Вот и его вызывают: нужно
Срочно подписать письма.

Подписывать письма приятно. Он вернется.
Но бездна зовет. Ее голос
Громче жужжания кондиционеров.
Итак, назад знакомым уже путем.

В нем опять нужда: необходимо
Составить характеристику на студента,
Которого он не застал, о котором
В документах сказано: средние результаты.

Это уже вызов воображенью,
Вызов, который должен быть принят.
Бездна подождет, но слышен
Зов ее, как дальний шум водопада.

Назад постылым уже маршрутом.
Он весь в предвкушении чего-то.
Пока будущий шедевр неотчетлив,
Он обдумывает похвалы в печати.

И вот, свершилось, конец дороги.
(И конец месяца, между прочим.)
Пора счета приводить в порядок.
(Ну, счета-то уж подождут).

Откуда же здесь столько народу?
Столпились, зондируют бездну,
Сортируют образцы грунта.
Придется прийти в другое время.

Перевод А. ГРИБАНОВА

Поэт хочет разобраться в своих ощущениях

...Какой-то баснословный аппетит —
Не утолишь в два счета голод, как обычно.
...Сверхтонкий слух —

Способность слышать,
Звонит иль не звонит
В одной из дальних комнат телефон.

...Боязнь увидеть привиденья
И опасение, что призраки не явятся совсем.
Двойное суеверье, страх двукратный.

...Терять, терять, еще терять,
А после обрести, но все же знать,
Что в будущем придется вновь терять.

...Все это так похоже на любовь,
Любовь в период зарожденья;
Об этом ты сейчас и говоришь

(Но не о красоте
И не о том, как проводить досуг.
О зрелости? Едва ль, мой друг.)

...А этот стих? Нагромождение метафор,
Изображающих метафоры, изображающие — что?
Сумбурное круговращенье лет твоих.

Перевод А. КУДРЯВИЦКОГО

Воздадим должное

Ветвями ива небо обняла.
Она пленительна — пусть жижей ржавой
Сочится рядом сточная канава,
Как кровоток земного зла.

Прекрасна ива, пусть... Не «пусть», но «ибо»!
Куда там роще, где встает за ивой ива.
Над грязью — красота. Не мудрено:
Эффектнейший контраст на этом свете —
В любой больничный смрад через окно
Врывается апрельский ветер.

Что значит ад? Разгадка не трудна.
Там грязь. И нет над этой грязью ивы.
Там тишина, где не звучит струна.
Там слов колодец вычерпан до дна.

Труднее объяснить, что значит рай.
Должно быть, это тот далекий край,
Тот берег, где, как волны в час прилива,
Встает за ивой ива,
Где сразу десять тысяч арф звучат,
Где неземных прожекторов сиянье...
Закрыв глаза, доверьтесь обонянью —
И донесется смрад.

И, вновь вернувшись к иве, вы поймете,
Что грязь — необходима. Воздадим
Ей должное. В конечном счете
Два образа сливаются в один.

Перевод А. КАЗАРНОВСКОГО

Ответ *

Эстетическое наслаждение и даже немалое облегчение испытал он, сумев наконец различить на ковре рисунок.

* © D. J. Enright, 1978, 1991

— Простите, сэр,— чуть слышно прошептал ковер,—
я весьма польщен, что вы заметили узор,
но люди продолжают по мне ходить!

И все же был на том ковре рисунок!

Глагол «думать»

Глагол «думать»
Изображают иероглифом,
Который означает также «тосковать», «быть грустным»,
«Не уметь забыть».
Довольно часто
Глагол «любить» употребляют в смысле «находить приятным»
(Так, говорят: «Жену свою находит он приятной»)

Знак «чувство» означает также
«Признание заслуг».
Способность чувствовать — немалая заслуга,
Но «находить приятным» нам привычней, чем «любить»

Любовь бывает лишь двух видов —
Та, что к ребенку мать питает,
И плотская любовь

Слова «идти на дело» означают
Не «действовать», а «к ближнему залезть в карман».
И это, мы должны заметить, не жаргон
(Как в некоторых языках)

Жаргон — когда привычно говоришь:
«Люблю» кого-то или что-то,
А надо бы: «Приятным нахожу»

Глагола «быть»,
Похоже, вовсе нет,
Хотя нельзя сказать, что это слово
Совсем не отражает бытие

«Быть грустным» — не синоним слова «быть»,
Скорей, синоним слова «думать».
Ведь «думать» значит «тосковать», «осознавать, чего лишен».
Быть человеком чувствующим — значит быть достойным,
Хоть «находить приятным» нам привычней, чем «любить»,
А непривычнее всего нам просто «быть»

Как неблагоразумно в долгие часы,
Когда в тумане улицы и устланы листвою,
Проглядывать японский разговорник
И вспоминать о том, чего не смог забыть.

Происхождение языков народов мира

Они вели беседы на красивейшем из языков,
Их речь персидская ручьем струилась,
Слова сливались в поцелуях, фразы сочетались нежно,
Соитие глаголов жизнь дало стихам.
Так Ева и Адам друг другом упивались
Все дни и ночи напролет.

Из всех известных краснобаев
Искуснейшим был Змий. Он изъяснялся по-арабски.
Высокий слог, сравненья пышные пленили Еву
(«Венец творенья, женственность сама»).
Зов искушенья был силен,
И яблока румяного отведать
Она была не прочь...

Тут Гавриил неподалеку оказался (говорят ученые мужи),
Он по-турецки закричал — пронзительно и грозно,
Но слишком поздно. Голоса раскаты, как мечи, застыли в воздухе.
Проступок был распознан, грех — определен,
И крик еще не отзвучал — захлопнулись врата Эдема.
Рай был потерян. Многое другое
Обретено, в борьбе добыто, выстрадано было.
Невзгоды, голод, алчность, суета —
На выбор были все слова пред ними.
Они заговорили на английском,
С его нагромождeньями гнусавых звуков,
И с той поры стоят обеими ногами на земле.

Родной городок

Навещаешь родной городок
Через столько лет
Новый вокзал — совсем как старый
Только чуть больше
Ногам знакома каждая выбоина мостовой
Несмотря на свежий асфальт
(Зачем вспоминать, размышлять?)
Ботинки превращаются в сандалеты
Брюки — в шорты
Пиджак — в свитер
Становишься ниже ростом
(Что толку вспоминать, размышлять?)

Ну-ка скажи, кто плохо себя вел?
Кто шатался годами невесть где?
У тебя большие неприятности, малыш!

Перевод А. КУДРЯВИЦКОГО

УИЛЬЯМ СОМЕРСЕТ МОЭМ

Рассказы

Перевод А. КУДРЯВИЦКОГО

От переводчика

«Большое видится на расстоянье». Согласно этой аксиоме, события первой мировой войны нашли отражение в творчестве Уильяма Сомерсета Моэма (1874-1965) лишь в 1928 году — в цикле рассказов «Эшенден, или Британский агент». В книге «Подводя итоги» писатель вспоминает, как «завербовался в автосанитарную часть», а затем «поступил в органы разведки, где, как мне казалось, мог принести больше пользы, чем управляя (и притом неважно) санитарной машиной»[1]. Новое занятие, как надеялся Моэм, позволило бы ему «с более высокого полета» взирать на мир «в его минуты роковые». Писателя привлекала возможность постичь тайные пружины, движущие ход мировой истории. «Новая работа давала пищу и моей любви к романтике, и чувству юмора,— вспоминает он в книге «Подводя итоги».— Методы, какими меня учили спасаться от слежки, тайные встречи с агентами в самых несусветных местах, шифрованные сообщения, передача сведений через границу — все это было, конечно, необходимо, но так напоминало мне дешевые детективные романы, что война в большой мере теряла свою реальность, и я поневоле начинал смотреть на свои приключения как на материал, который смогу когда-нибудь использовать. Впрочем, все это было до того старо и избито, что я сильно сомневался в пригодности такого материала».

Тем не менее написанный по впечатлениям войны цикл рассказов явился, как считают критики, одним из самых удачных произведений Моэма. Книга эта автобиографична — так же как и ее герой, автор год работал в Швейцарии (в основном в Женеве), затем в Италии, а в 1917 году был отправлен в Россию, в Петроград, с секретной миссией. Героем повествования стал уже знакомый нам по роману «Луна и грош» Уильям Эшенден, модный драматург, прозаик и рафинированный сибарит, то есть, по сути дела, литературная маска самого Моэма (этот персонаж появится в произведениях Моэма и еще один раз — в романе «Пироги и пиво» — с тем, чтобы впоследствии, в книге «Острие бритвы», уступить место самому «мистеру Моэму»). По форме «Эшенден» представляет собой цикл из семи новелл, «бóльших по размеру, чем обычные рассказы», и отражающих события военных лет. Лишь две новеллы из цикла никогда не переводились на русский язык — открывающая цикл («Мисс Кинг») и предпоследняя («Белье мистера Харрингтона»).

Персонаж, вокруг которого строится повествование в том и другом рассказе, как бы «отстранен» от мелкой игры человеческих страстей и самолюбий, он, подобно богу-олимпийцу, взирает на происходящее с высот своего интеллекта и лишь дает оценки людям и их поступкам. Один из выводов, сделанных самим Моэмом из своей шпионской эпопеи, в предисловии к книге «Эшенден» формулируется так: «Работа агента секретной службы, в сущности, скучна. Большая часть того, чем он занимается, совершенно не нужна ни ему, ни людям». Однако драматические коллизии, которые довелось лицезреть автору этой книги, дали ему интересный жизненный материал, а что еще нужно писателю?! Конечно, Моэм дегероизирует работу разведчика, и «Эшенден» — совсем не то, чего ждут от книги о тайном агенте любители бульварной литературы. Впрочем, отказ от штампов, обычных для дешевых детективных романов, не лишил книгу занимательности и добавил свежего воздуха в атмосферу повествования.

Как и любая книга Моэма, «Эшенден» является портретной галереей ярких человеческих характеров. Портрет главного героя автор явно писал, глядя в зеркало. Как и его герой, Моэм был лишен родительской заботы в детстве, затем уехал учиться в Германию, в Гейдельбергский университет, а в конце концов стал преуспевающим драматургом. С тех пор Моэму постоянно приходилось вращаться в высшем обществе (если не считать проведенных в странствиях лет). Светские снобы были новой для него разновидностью людей, и он постарался дать в своих романах портреты наиболее ярких представителей этого типа. Оборотная сторона медали, однако, такова, что Моэму и самому был не чужд снобизм. Ничего удивительного в этом нет — язвительнее всех высмеял символистов в своих пародиях Владимир Соловьев, сам писавший символистские стихи. Описывая свое alter ego —

[1] Здесь и далее цитируется по переводу М. Ф. Лорие.

интеллектуала и эстета Уильяма Эшендена, Моэм рассказывает, как тот «заменил занавески на окне, повесил в углу своей комнаты икону, углубился в чтение Чехова и стал посещать балет», чуть только Европа «как бы заново открыла для себя Россию». Посмеиваясь над собой, Моэм упоминает, что в молодые годы «Эшенден еще не пользовался настолько громким успехом, чтобы вызывающе взирать на снобов, одним из которых и сам был в молодости».

Эшенден всегда хладнокровен, иногда ироничен, имеет обыкновение называть вещи своими именами. Он не горит пламенным патриотизмом и не испытывает ненависти к немцам (что, впрочем, не помешало нацистам в годы второй мировой войны устроить публичное сожжение книги «Эшенден» как якобы антигерманской). Основная цель моэмовского героя, как и самого писателя,— постижение человеческой природы, в результате которого он делает выводы, что «животное, именуемое человеком, непроходимо глупо» и что «человеку всегда легче было пожертвовать жизнью, чем выучить таблицу умножения». Все же Эшенден способен сочувствовать людям, в частности старушке гувернантке мисс Кинг, словно бы олицетворяющей известную в англоязычных странах крылатую фразу Стивена Крейна «тупость честных людей».

Иногда вышедшие из-под «кисти» Моэма портреты гротескны — как, например, «типичный американец» мистер Харрингтон, педант и зануда, переполненный предрассудками сноб с узким кругозором, который, по воле автора, неожиданно оказывается в то же время добрым и отзывчивым, хотя и слишком уж неумным человеком.

Интересны образы русских героев произведений Моэма. Как мы уже упоминали, в России писатель побывал в 1917 году — «с инструкциями связаться с враждебными правительству элементами и разработать план, как предотвратить выход России из войны и не дать большевикам при поддержке Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии.— *А. К.*) захватить власть». К сожалению, миссия, как признает сам Моэм, «окончилась полным провалом», зато писателю удалось «получить кое-что ценное для себя». Собранного материала хватило не только на «Белье мистера Харрингтона», но и на некоторые другие произведения.

Выражение «Ох, уж эти русские!» в английском языке стало чуть ли не поговоркой. Моэм рискнул приняться за исследование загадочной русской души, причем углубился в ее потемки довольно сильно. В его героях выявляются парадоксальные на первый взгляд сочетания себялюбия и самопожертвования, любви к развлечениям и поиска духовного идеала, трезвости мысли и безудержной романтики подвига. Все они терпеливо несут бремя странностей своего характера и, невзирая на причудливость своих душевных свойств, предстают перед читателем цельными натурами. Невольно задаешься вопросом: почему же Россия, столь богатая, по выражению древних римлян, «людьми, которых поцеловал Бог», пребывала в начале XX столетия в совершеннейшем хаосе, сравнимом лишь с хаосом нынешним? Ответ на этот вопрос Моэм вложил в уста мистера Харрингтона: «Хорошо бы в вашей стране было... чуть больше цивилизованности». Более того, Моэм, как опытный диагност (не надо забывать, что он был дипломированным врачом), выявляет бациллу, поразившую Россию уже тогда, в 1917 году,— бациллу ненужной аффектации. «Я до смерти устал от красивых фраз, театральных поз и пафоса»,— в сердцах говорит о нашей стране Эшенден. Анализируя впечатления Моэма от поездки в Россию, отметим слишком хорошо знакомые нам и теперь, через три четверти века, приметы: преддверие голода, полное нежелание людей работать, витийство беспомощных правителей, толпы на площадях, броневики на улицах, попытки большевиков взять власть в обход всех существующих законов. Как видим, с тех пор изменилось немногое. В книге «Подводя итоги» Моэм пишет: «... Уезжал я разочарованный. Бесконечные разговоры там, где требовалось действовать, колебания, апатия, ведущая прямым путем к катастрофе, напыщенные декларации, неискренность и вялость, которые я повсюду наблюдал,— все это оттолкнуло меня от России и от русских».

Таков итог путешествия в нашу страну трезвого наблюдателя с широким кругозором, неспособностью делать выводы под влиянием эмоций и питать романтические иллюзии. И хоть пилюля горькая, приходится ее безропотно принимать. Думается, что сейчас, когда Россия переживает рецидив описанной Моэмом болезни, повествование о визите в нашу страну Эшендена будет читаться с интересом.

Книга об Эшендене — светлая книга. В годы войны Моэм с удовольствием испытывал себя в новой роли, а если случались неприятности, воспринимал их с улыбкой. «Я наслаждался новой жизнью»,— пишет он в книге «Подводя итоги». Отсвет этой улыбки лежит и на новеллах, воспроизводящих события тех лет. Интересно, что в годы второй мировой войны писатель пытался воскресить в памяти пережитые впечатления и снова перевоплотиться в тайного агента британской разведки — он остался с секретным заданием в оккупированном фашистами Париже. Но времена уже были другие, пора улыбчивого счастливчика Эшендена прошла, и шестидесятипятилетнему писателю пришлось скрываться от гестапо, после чего он все-таки благополучно перебрался в Англию, бросив во Франции свой дом — виллу «Мориск» — на разграбление врагов. Поистине не зря говорится, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку.

Предлагаемые читателям две новеллы из цикла «Эшенден» только сейчас приходят к русскому читателю. И это является одной из примет наступающих в нашей стране перемен к лучшему. Вряд ли можно себе представить, что повествование о незадачливом мистере Харрингтоне, попадающем в самый водоворот «русского бунта», появилось бы на страницах периодики или сборника произведений Моэма еще хоть несколько лет назад — слишком уж правдиво описана там обстановка в России накануне «великой» революции, слишком уж явно показано отсутствие в ту пору какого бы то ни было народного возмущения против законного Временного правительства. Остается только сожалеть, что мелькающие, как в калейдоскопе, «российские картинки» Моэма не утратили актуальности до сих пор.

Мисс Кинг

В последних числах августа Эшенден, писатель по профессии, которого война застала за границей, сумел наконец вернуться в Англию. Вскоре по приезде он попал на званый обед, где был представлен не старому еще полковнику, фамилии которого не расслышал. Они обменялись парой фраз. Когда же Эшенден собрался уходить, полковник подошел к нему и спросил:

— Вы не откажетесь зайти ко мне в гости? Мне очень хотелось бы с вами потолковать.

— С удовольствием,— ответил Эшенден.— В любое время, когда вам только будет удобно.

— Тогда завтра в одиннадцать. Хорошо?

— Договорились.

— У вас есть визитная карточка? Я запишу на ней мой адрес.

Эшенден вручил ему карточку, и полковник карандашом нацарапал на ней название улицы и номер дома.

Когда на следующее утро Эшенден шел на это свидание, он попал на улицу, застроенную вульгарного вида домами из красного кирпича. Эта часть Лондона некогда считалась фешенебельной, а теперь упала во мнении квартиросъемщиков, предпочитающих более престижные районы. На доме, куда был приглашен Эшенден, висела табличка: «Продается». Ставни были закрыты, и ничто не указывало на то, что здесь кто-то живет.

Писатель позвонил в дверь, и ему тотчас же открыли; это произошло настолько быстро, что он даже вздрогнул. Его не спросили, по какому он делу, а сразу проводили в продолговатую комнату в глубине дома, раньше, очевидно, служившую столовой; ее броская внутренняя отделка до странного не вязалась с довольно убогой, конторского вида мебелью. Эшендену помещение это показалось похожим на склад купленных по дешевке подержанных вещей. Завидев Эшендена, полковник встал и поздоровался с ним за руку. Как узнал впоследствии писатель, человек этот служил в разведке и для конспирации представлялся не по фамилии, а просто Р. Он был чуть выше среднего роста, худощав; седые волосы были коротко острижены, на желтоватом лице виднелись глубокие складки, холеные усы походили на щеточку. Обращало на себя внимание, как близко посажены его голубые глаза. Ёще немного — и он казался бы косоглазым. В его бегающих глазах светилась жестокость, даже беспощадность; взгляд был хитрым и каким-то скользким. Сразу же становилось ясно: такой человек не может внушить ни доверия к себе, ни симпатии. Держался он, однако же, весьма любезно, даже сердечно.

Забросав Эшендена вопросами, полковник затем без всяких околичностей заявил ему, что он чуть ли не идеально подходит для службы в разведке. В самом деле, Эшенден знал несколько европейских языков, а литературная деятельность была отменным прикрытием — под предлогом сбора материала для книг он мог, не привлекая к себе внимания, посещать любую из нейтральных стран. Как раз когда они обсуждали это обстоятельство, Р. сказал:

— У вас будет возможность собрать материал, который, без сомнения, пригодится вам в работе.

— Очень сомневаюсь в этом,— возразил Эшенден.

— Расскажу вам об одном случае, происшедшем на днях. Ручаюсь за его достоверность. Порою мне кажется, что из этого мог бы выйти чертовски интересный рассказ. Один французский министр отправился в Ниццу, чтобы набраться сил после гриппа. В портфеле он вез несколько важных документов. Очень важных. Так вот, прибыв в город, он через пару дней подцепил на танцах какую-то блондинку — то ли в ресторане, то ли где-то еще. Очень уж она ему понравилась. Короче говоря, он привел ее к себе в отель, что было, замечу, весьма рискованно. Когда утром он пришел в себя, ни блондинки, ни портфеля в номере не было. Он помнит, что выпил с этой женщиной пару бокалов вина. По его мнению, когда он отвернулся, она подсыпала ему в бокал снотворное.

Р. окончил свой рассказ, взглянул на Эшендена, и в его близко посаженных глазах мелькнул огонек.

— Правда, драматично? — спросил он.

— Вы хотите сказать, что все это случилось на днях?

— На прошлой неделе.

— Невероятно! — воскликнул Эшенден.— За последние шестьдесят лет подобные происшествия описаны в тысячах новелл и в сотнях пьес, которые постоянно идут на сцене. Неужели вы хотите сказать, что жизнь лишь повторяет избитые сюжетные ходы?

Р. был чуточку озадачен.

— Если нужно, могу назвать подлинные имена и даты. Поверьте, союзники не оберутся хлопот из-за пропажи находившихся в том портфеле документов.

— Что ж, сэр, если работа в разведке дает писателю материал подобного сорта, то, боюсь, источником вдохновения он для него послужить не может,— вздохнул Эшенден.— Здесь просто нечего описывать.

Тем не менее они довольно быстро договорились об условиях, и когда Эшенден стал прощаться, в блокноте его были уже подробно записаны полученные им инструкции. На следующий день писатель должен был ехать в Женеву. На прощание Р. сказал ему как бы невзначай (тем самым придав своим словам особый смысл):

— Думаю, перед тем как вы приступите к работе, мне следует кое о чем вас предупредить. И не забывайте об этом. Если вы добьетесь успеха, никто не скажет вам спасибо, если же попадете в беду, никто вас не выручит. Устраивает вас это?

— Вполне.

— Тогда позвольте с вами проститься.

* * *

Эшенден возвращался в Женеву. Ночь выдалась бурная, с гор дул холодный ветер, но тяжело нагруженный маленький пароходик упорно пролагал себе путь по бурным водам озера. Проливной дождь, временами переходивший в мокрый снег, сердитыми всплесками хлестал по палубе; он напоминал сварливую женщину, которая все никак не может перестать браниться. Эшенден ездил на французский берег, чтобы написать и отослать свой отчет. День или два назад его посетил в гостинице агент, индус. Он пришел часов в пять вечера и застал Эшендена лишь по счастливой случайности — заранее о своем визите он не предупредил. По инструкции он имел право явиться в отель лишь в крайнем случае. Индус рассказал, что некий бенгалец, агент германской разведки, вернулся недавно из Берлина с черным тростниковым сундучком, где лежали кое-какие документы, которые могли бы заинтересовать британское правительство. В те времена немцы из кожи лезли вон, чтобы раздуть в Индии недовольство англичанами и заставить последних сохранить там весь контингент своих войск или — что еще лучше — перебросить туда несколько дивизий из Франции. Нашелся предлог, чтобы в Берне арестовать этого бенгальца и тем самым отстранить его на время от активных действий, однако черный сундучок так и не был обнаружен. Агент Эшендена был очень храбрым и довольно смышленым парнем; он как ни в чем не бывало общался со своими соотечественниками, хотя и был все время начеку, чтобы не сказать ничего такого, что бы могло повредить интересам Англии. Ему удалось выяснить, что бенгалец, собираясь отбыть в Берн, для вящей сохранности оставил сундучок в камере хранения на цюрихском вокзале; теперь же, сидя в тюрьме в ожидании суда, он не имел возможности передать никому из своих сообщников квитанцию, по которой те могли бы этот сундучок получить. Немецкой разведке крайне важно было, чтобы сундучок не попал в чужие руки; поскольку же никакими законными способами немцы добыть его не могли, то решили той же ночью взломать дверь камеры хранения и похитить его. План был дерзкий и неглупый; Эшенден, узнав о нем, ощутил приятное возбуждение — ведь большая часть его новых обязанностей

была невыразимо скучна. Да, с такой вот лихостью и неразборчивостью в средствах действовал, как то было известно Эшендену, резидент германской разведки в Берне. Однако же взлом был назначен на два часа ночи, так что времени терять было нельзя. Эшенден не мог связаться с английским консулом в Берне ни по телефону, ни с помощью телеграфа. Индус никуда ехать не мог — он рисковал жизнью уже тогда, когда пришел к писателю,— если бы кто-нибудь заметил, как он выходит из его номера, вполне могло статься, что труп индуса с воткнутым в бок ножом вскоре плавал бы в озере. Поэтому нашему герою ничего не оставалось, как ехать в Берн самому.

Поезд должен был вскоре отправиться, и Эшенден вполне на него успевал. Он надел пальто и шляпу, сбежал вниз по лестнице и подозвал наемный экипаж. Через четыре часа он уже звонил в дверь резидентуры британской разведки. Лишь одному человеку здесь было известно его имя. Именно этого человека он и попросил вызвать. Вышел незнакомый ему высокий мужчина, как видно, до крайности усталый. Не сказав ни слова, он провел Эшендена через все здание в свой кабинет. Тот поведал ему суть дела. Высокий человек взглянул на часы.

— Сами мы уже ничего предпринять не успеем — в Цюрих нам вовремя не попасть.

Он ненадолго задумался.

— Предупредим-ка мы швейцарские власти. Они могут связаться с кем надо по телефону. Так что когда ваши приятели-взломщики явятся в камеру хранения, они поймут, что вокзал слишком хорошо охраняется. Вам же лучше всего вернуться в Женеву.

Пожав руку Эшендену, он проводил его до входной двери. Писатель был уверен, что так и не узнает, что случится дальше. Он представлял собой лишь винтик в огромном и сложно устроенном механизме и потому был лишен привилегии общего обзора происходящего. Эшенден бывал вовлечен обычно либо в начало, либо в конец цепочки событий, а то и во всякие мелкие инциденты, составляющие средние звенья этой цепи, так что узнавать, какие плоды принесло его собственное усердие, доводилось ему редко. Это вызывало у него такую же неудовлетворенность, как современные романы, состоящие из множества бессвязных эпизодов и заставляющие читателя, напрягая ум, нанизывать описываемые события, словно бусы, на ниточку логической последовательности в попытке осмыслить повествование.

Невзирая на то что на нем были теплые рукавицы и меховое пальто, Эшенден продрог до костей. В салоне пароходика было тепло и светло, там можно было даже читать, однако писатель решил, что в салоне лучше не сидеть — его мог бы там заметить какой-нибудь постоянно путешествующий на этом судне пассажир, которого удивило бы, почему это он все время ездит из Женевы в городок Тонон на французском берегу. Так что Эшенден избрал более надежное укрытие и проводил долгие часы на погруженной во тьму палубе. Он смотрел туда, где должны были светиться огни Женевы, но не видел их — мокрый снег не позволял даже угадать, где они находятся, берег был едва различим. Озеро Леман, в хорошую погоду такое красивое и спокойное, похожее на зеркальные пруды во французских парках, сейчас, в шторм, казалось грозным и непостижимым, как море. Наш герой подумал, что, вернувшись в отель, растопит в номере камин, примет горячую ванну и сядет обедать в халате у самого огня. Перспектива провести вечер наедине с собой, с трубкой в зубах и книгой на коленях, представлялась ему настолько заманчивой, что делала приемлемыми все неудобства путешествия по озеру. Мимо писателя тяжелой поступью протопали два матроса; они наклонили головы, чтобы хоть как-то защититься от дувшего им в лицо ветра. Один из них прокричал Эшендену: «Nous arrivons»[1]. Матросы подошли к борту и открыли дверцу, чтобы пассажиры могли спуститься по трапу на берег. Приглядевшись, писатель заметил во

[1] Причаливаем *(франц.)*.

мгле огни мола, долгожданные огни. Через пару минут пароходик причалил, и Эшенден, обернув лицо шарфом до самых глаз, присоединился к маленькой группке пассажиров, ожидавшей, пока можно будет сойти на берег. Такие путешествия писатель совершал постоянно — в его обязанности входило раз в неделю пересекать озеро, на французском берегу передавать по назначению свои отчеты и получать инструкции; каждый раз, стоя среди столпившихся у трапа пассажиров в ожидании своей очереди сойти на берег, он ощущал легкое волнение. В его паспорте не оставалось никаких отметок о том, что он побывал во Франции,— пароходик дважды останавливался у французского берега, но следовал из одного швейцарского города в другой, так что вполне можно было подумать, что Эшенден ездил, к примеру, в Лозанну или Веве. Однако он никогда не мог быть вполне уверен, что его не засекла тайная полиция; если же Эшендена выследили бы и увидели, как он сходил на берег во французских городках, тот факт, что в его паспорте не оставалось никаких отметок о посещении другой страны, объяснить было бы трудно. Конечно, он на всякий случай придумал более или менее правдоподобную историю, но знал, что ее вряд ли примут на веру, хотя и надеялся, что швейцарским властям невозможно будет доказать, что он не простой путешественник. Но даже и в этом случае его могли на два-три дня упрятать в тюрьму, где проводить время не так уж приятно, а потом под конвоем доставить к границе, что было бы совершенно унизительно. Швейцарцы прекрасно знали, что их страна служила сценой, на которой разыгрывались всякого рода интриги,— отели в крупных городах кишмя кишели шпионами и тайными агентами, революционерами и пропагандистами. Так что швейцарцы, ревниво блюдя свой нейтралитет, были настроены предотвращать любые действия проживавших в их стране иностранцев, способные поссорить их с какой-либо из враждующих держав.

На причале, как всегда, стояли двое полицейских, наблюдавших за высадкой пассажиров. Эшенден прошел мимо них с самым невозмутимым видом и лишь после этого вздохнул наконец свободно. Тьма поглотила его, и он торопливо шагал теперь к отелю. Жуткая погода как будто презрительно смахнула опрятность чистеньких аллей, по которым обычно прогуливались горожане. Магазины были закрыты, и писателю попадались навстречу лишь с трудом переставлявшие ноги случайные прохожие, жавшиеся к стенам домов в попытке спастись от слепого гнева судьбы. Эта бурная, мрачная ночь навевала мысли о том, что цивилизация, как бы устыдившись своей искусственности, сжалась от страха перед яростью стихии. Ветер швырял в лицо Эшендену колючий снег; мостовая была мокрой и скользкой, так что идти приходилось осторожно. Отель стоял на самом берегу озера и отражался в его водах. Когда Эшенден приблизился, мальчик-швейцар открыл перед ним дверь, и он вошел в холл вслед за порывом ветра, взметнувшим бумаги с конторки портье. Яркий свет ослепил Эшендена; он остановился, решив узнать, нет ли ему писем. Но на его имя никакой корреспонденции не было, и он собрался уже войти в кабину лифта, когда портье сообщил ему, что в номере его ожидают два джентльмена. Знакомых в Женеве у Эшендена не было.

— В самом деле? — спросил он, немало удивленный.— Кто же это?

Он озаботился завести хорошие отношения с портье, давая тому за любую пустячную услугу щедрые чаевые. На губах портье заиграла усмешка.

— Думаю, не будет никакого вреда от того, что я вам это скажу. По-моему, это полицейские.

— А что им надо? — осведомился писатель.

— Они не сказали. Спросили только, где вы, и я сказал, что вы отправились на прогулку. Они заявили, что дождутся вашего возвращения.

— И долго они ждут?

— Уже час.

Сердце у Эшендена дрогнуло, но он постарался ничем не выдать своей тревоги.

— Что ж, тогда я поднимусь и побеседую с ними.

Лифтер посторонился, чтобы пропустить его в кабину лифта, но писатель отрицательно покачал головой.

— Замерз я очень,— сказал он.— Лучше поднимусь по лестнице.

Он хотел дать себе время на размышление, но, миновав три лестничных пролета, ощутил, что ноги его будто налились свинцом. Трудно было сомневаться, почему двум полицейским так необходимо с ним увидеться. Эшенден внезапно почувствовал смертельную усталость и подумал: если на него обрушат множество вопросов, он не выдержит; если же его арестуют как шпиона, ему уж, по крайней мере, придется просидеть в камере всю ночь. Теперь он больше, чем когда-либо, мечтал о горячей ванне и сытном обеде у пылающего камина. Он чуть было не надумал развернуться и уйти из отеля, бросив свои вещи; паспорт был у него в кармане, расписание поездов, отходящих в соседние страны, он знал наизусть. Пока швейцарские власти будут разрабатывать план действий, он окажется в безопасности. Однако Эшенден все же продолжал с трудом подниматься по лестнице. Его вовсе не устраивала перспектива так легко бросить начатое дело; он ведь поехал в Женеву, зная, что идет на риск, но намереваясь выполнить то, за что взялся; поэтому он решил, что лучше все-таки попытаться преодолеть возникшие трудности. Разумеется, не так приятно провести пару лет в швейцарской тюрьме, однако вероятность этого, как для монарха вероятность пасть от руки убийцы,— всего лишь одно из неудобств, связанных с самой сутью профессии. Эшенден добрался до площадки третьего этажа и побрел к своему номеру. Его охватило какое-то легкомыслие (за которое писателя часто упрекали и критики); остановившись на мгновение у двери, он понял, что теперешние неприятности довольно-таки забавны. Он воспрянул духом и настроился без зазрения совести изображать совершенную невинность. Когда он открыл дверь, вошел и предстал перед посетителями, на устах его играла вполне искренняя улыбка.

— Добрый день, джентльмены,— произнес он.

Комната была ярко освещена — горели все лампы, в очаге пылал огонь, воздух был серым от дыма — незнакомцы, поняв, что ждать придется долго, курили крепкие дешевые сигары. Они так и сидели в пальто и шляпах, как будто зашли минуту назад; однако даже по количеству пепла в маленькой пепельнице можно было догадаться, что посетители пробыли в комнате достаточно долго и успели в ней освоиться. Оба были крупные мужчины с черными усами, крепко сложенные, даже полноватые. Эшендену они напомнили Фафнера и Фазольта, двух гигантов из «Золота Рейна»[1]; их грубо сработанные ботинки, уверенность, с которой эти люди восседали в креслах, и тяжеловесная неподвижность их лиц — все выдавало, что эти двое — сотрудники полиции. Эшенден окинул комнату оценивающим взглядом. Он был аккуратным человеком и сразу заметил, что его вещи — не то чтобы в беспорядке, но лежат не так, как он их оставил, и явно подверглись досмотру. Это его особенно не обеспокоило — он не держал в комнате никаких компрометирующих бумаг, а шифр затвердил на память и уничтожил перед тем, как уехать из Англии; сообщения же, подобные дошедшему днем раньше из Германии, передавались ему через третьих лиц и без задержки переправлялись им дальше по надлежащим каналам. Обыска он не боялся, но тот факт, что он был произведен, укрепил в нем подозрение, что его разоблачили перед местными властями как тайного агента.

— Чем могу служить, джентльмены? — спросил он вежливо.— Здесь довольно жарко. Может, вы снимете пальто и шляпы?

Его немного раздражало, что они сидят в помещении в шляпах.

— Мы к вам только на минутку,— ответил один.— Шли вот мимо, а concierge[2] сказал, что вы скоро вернетесь. Ну, мы и решили вас подождать.

Шляпы они так и не сняли. Эшенден размотал шарф и сбросил наконец свое тяжелое пальто.

---

[1] Опера немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813—1883), первая в тетралогии «Кольцо Нибелунга», написана в 1869 году. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Привратник *(франц.)*.

— Хотите сигару? — спросил он, поднося ящичек по очереди одному, затем другому полицейскому.

— Что ж, я не против,— отозвался первый, которого писатель про себя прозвал Фафнером, и взял сигару. Второй сделал то же самое, не сказав ни слова, даже не поблагодарив.

То, что на крышке ящичка была выгравирована фамилия владельца, похоже, произвело на гигантов определенное впечатление, поскольку оба тотчас же сняли шляпы.

— Малоприятная у вас, должно быть, получилась прогулка в такую погоду,— заметил Фафнер, откусывая кончик сигары и выплевывая его в камин.

В последнее время Эшенден положил себе за правило (пригодное как для повседневной жизни, так и для работы в разведке) отвечать людям так, чтобы в ответах этих содержался максимум правды, которую можно было огласить без риска для себя. Поэтому ответил он так:

— За кого вы меня принимаете? Если бы это зависело от меня, я бы даже не вышел на улицу. Но мне сегодня пришлось отправиться в Веве, чтобы навестить тяжелобольного друга. Я ездил туда на пароходе. На озере жуть что творилось.

— Мы вообще-то из полиции,— как бы вскользь сказал Фафнер.

Писатель подумал, что они, должно быть, считают его форменным идиотом, если воображают, что он еще об этом не догадался. Однако сие сообщение было не из тех, которые благоразумно было бы пропустить мимо ушей.

— О, в самом деле? — отозвался Эшенден.

— Паспорт у вас с собой?

— Да. Сейчас ведь война, так что иностранцу, по-моему, разумнее всего носить его с собой.

— Что ж, здравая мысль.

Писатель вручил собеседнику красивый новенький паспорт, не содержавший никакой информации о его поездках за границу с тех самых пор, как он прибыл сюда из Лондона три месяца назад. Полицейский внимательно изучил документ и передал его товарищу.

— Тут вроде бы все в порядке,— сказал он.

Эшенден, с сигарой в зубах стоявший возле камина, чтобы поскорее согреться, ничего не ответил. Он осторожно посмотрел на полицейских, но постарался изобразить на лице беззаботность и приязнь. Фазольт вернул паспорт Фафнеру, который машинально стал барабанить пальцами по обложке.

— Нас послал к вам начальник полиции,— сообщил он, и писатель заметил, что оба незваных гостя теперь внимательно на него смотрят.— Он хочет, чтобы вы ответили на некоторые вопросы.

Эшендену известно было хорошее правило: если у тебя нет наготове уместного ответа, лучше промолчи. Когда собеседник сказал что-то, по его мнению, требующее ответа, твое молчание приведет его в замешательство. Так что Эшенден ждал, пока полицейский договорит. Хотя писатель не до конца был в этом уверен, ему показалось, что тот немного колеблется.

— Знаете, многие жители этого района, оказывается, жалуются на шум, который поднимают завсегдатаи казино, когда выходят оттуда посреди ночи. Мы хотим знать, вас лично шум не беспокоит? Ваши окна ведь выходят на озеро, а по дорожке вдоль берега как раз проходят эти люди. Если они действительно так уж шумят, то, наверное, очень вам мешают.

На мгновение Эшенден остолбенел. Что за ахинею нес этот полицейский («Бум-бум-бум»,— звучали его слова, как будто этот гигант шагал по дощатой сцене), и какого черта начальнику полиции понадобилось посылать к нему своих подчиненных, чтобы узнать, не мешают ли ему спать горластые игроки? Похоже было, что ему готовят ловушку. Нет ничего глупее, чем искать глубокий смысл в явно нелепых суждениях. Это западня, в которую по опрометчивости попадают многие простодушные репортеры. У Эшендена сложилось твердое убеждение, что животное, именуемое чело-

веком, непроходимо глупо. Уверенность в этом очень пригодилась ему в жизни. У него мелькнула мысль: если полицейский задает ему подобный вопрос, то явно из-за отсутствия хотя бы малейших доказательств, что он, Эшенден, замешан в какой-либо противоправной деятельности. Безусловно, кто-то донес на него в полицию, однако улик против него указать не смог; обыск комнаты никаких результатов не дал. Но до чего же глупо пытаться оправдать свой визит подобным образом! Какая скудость воображения! Писателю тотчас же пришло в голову: могло быть не менее трех причин того, что полицейским так хотелось с ним побеседовать. Он подумал: если б знать этих людей лучше, можно бы догадаться, что́ именно заставило их прийти сюда. Заданный ими вопрос решительно бросал вызов здравому смыслу. Полисмены оказались даже глупее, чем Эшенден думал сначала, однако в сердце у него отведен был неприкосновенный уголок для глупцов; вот и сейчас он посмотрел на этих людей с неожиданной теплотой. Ему хотелось их по-отечески отшлепать. Однако на вопрос он ответил совершенно спокойно:

— По правде говоря, я сплю как убитый — должно быть, потому, что у меня чистая совесть и незапятнанная репутация. Так что я пока что никакого шума не слышал.

Эшенден посмотрел на них и слегка улыбнулся, чего его ответ, как ему казалось, заслуживал. Однако выражение их лиц оставалось невозмутимым. Наш герой был не только британским тайным агентом, но и писателем-юмористом, так что, столкнувшись с подобной тупостью, он с трудом подавил зевоту. Приняв по возможности внушительный вид, он продолжал более серьезным тоном:

— Но даже если меня и разбудил бы поднятый кем-то шум, я не стал бы жаловаться. В мире ведь столько горя, нищеты и трагедий, что, по-моему, нехорошо было бы мешать развлекаться людям, которые способны еще веселиться.

— En effet[1],— сказал полицейский.— Но факт остается фактом: граждане возмущены, и наш шеф убежден, что это дело необходимо расследовать.

Его товарищ, дотоле хранивший молчание подобно сфинксу, наконец заговорил.

— По вашему паспорту я понял, что вы писатель, monsieur,— сказал он.

Эшенден пришел в хорошее расположение духа — то была своего рода реакция на пережитые волнения. Он ответил добродушно:

— Да, верно. Эта профессия обрекает человека на множество неприятностей, но порою замечаешь, что и в ней есть светлые стороны.

— La gloire[2],— вежливо заметил Фафнер.

— Вернее будет сказать, печальная известность,— рискнул сострить Эшенден.

— А что вы делаете в Женеве?

Вопрос был задан столь дружеским тоном, что писатель понял: надо держать ухо востро. Умные люди знают: дружелюбный полицейский гораздо опаснее, чем подозрительный.

— Пишу пьесу,— ответил Эшенден.

Он указал рукой на стопку бумаги на столе. Четыре глаза устремились в этом направлении. Писатель уже успел убедиться, что эта парочка просматривала его рукописи и пыталась в них разобраться.

— Почему же вы пишете ее здесь, а не в родной стране?

Эшенден улыбнулся еще более приветливо: это был вопрос, к которому он давно приготовился и отвечал почти с удовольствием. Ему даже любопытно было, как эти люди воспримут его ответ.

— Mais, monsieurs[3], сейчас ведь война. Моя страна — в самой гуще событий. Как можно спокойно писать там пьесу?

---

[1] И в самом деле *(франц.)*.
[2] Слава *(франц.)*.
[3] Но, господа *(франц.)*.

— А это комедия или трагедия?

— О, комедия, и очень даже веселая,— отозвался Эшенден.— Художнику нужны мир и покой. Как иначе обрести ту отрешенность духа, без которой невозможна творческая работа? У Швейцарии в этом смысле большое преимущество — она осталась нейтральной, и в Женеве мне, кажется, удастся создать себе ту самую обстановку, которая мне нужна.

Фафнер легонько кивнул Фазольту. Писатель так и не понял, что сие означало,— то ли он дал понять напарнику, что считает Эшендена идиотом, то ли выразил сочувствие его желанию обрести покой в этом беспокойном мире. Во всяком случае, полицейские явно пришли к выводу, что из Эшендена больше ничего выудить не удастся, и реплики их стали совсем отрывистыми. Через пару минут оба гиганта встали, собравшись уходить.

Когда писатель, тепло пожав им руки на прощание, закрыл за ними дверь, у него вырвался долгий вздох облегчения. Он открыл кран и налил полную ванну воды, такой горячей, какую только мог выдержать. Раздеваясь, он с удовольствием вспоминал о том, как ему удалось выйти из затруднительного положения.

Днем раньше произошел инцидент, заставивший его насторожиться. Среди его агентов был один швейцарец, которого в британской разведке знали под именем Бернард. Он недавно вернулся из Германии, и Эшенден, желая с ним побеседовать, назначил ему на определенный час встречу в кафе. Поскольку раньше он этого человека не видел, то во избежание ошибки известил его через связного, какой назовет пароль и какой необходим отзыв. Для встречи он избрал полуденный час, поскольку ленч в Швейцарии, в отличие от Англии, не является устоявшейся традицией и в кафе в это время, скорее всего, не должно было быть много посетителей.

Когда Эшенден вошел, там оказался лишь один посетитель подходящего возраста. Подойдя к нему, писатель как бы невзначай задал ему условный вопрос и получил на него правильный ответ. Тогда он сел за столик рядом с этим человеком и заказал себе бутылку дюбоннэ. Тайный агент оказался приземистым коренастым парнем в довольно убогой одежде; у него была круглая голова, коротко остриженные волосы, живые голубые глаза и нездорового оттенка желтоватая кожа. Он не очень-то располагал к доверию, и если б Эшенден не знал по опыту, как трудно найти желающих отправиться в Германию, то удивился бы, что его предшественник решился иметь дело с подобным субъектом. Это был швейцарец немецкого происхождения; по-французски он говорил с заметным акцентом. Он сразу же затребовал причитавшиеся ему деньги, и Эшенден вручил их ему в заранее приготовленном конверте. Сумма была в швейцарских франках. Бернард дал общий отчет о пребывании в Германии и ответил на все вопросы Эшендена. По профессии он был официант и работу нашел в ресторане возле одного из мостов через Рейн, что дало ему возможность собрать нужную информацию. Причины отъезда на несколько дней в Швейцарию были достаточно вескими, так что при переходе границы в обратном направлении у Бернарда не должно было возникнуть никаких трудностей. Писатель одобрил его действия, снабдил необходимыми инструкциями и собрался было с ним распрощаться.

— Все это очень хорошо,— заявил вдруг агент,— но перед возвращением в Германию мне нужны две тысячи франков.

— Неужели?

— Да, и причем немедленно, до того, как вы уйдете из кафе. Я задолжал именно эту сумму, так что мне необходимо ее добыть.

— Боюсь, что я ничем не смогу вам помочь.

Злость, отразившаяся на лице Бернарда, сделала его еще более отталкивающим.

— Вам придется это сделать!

— Почему вы так думаете?

Шпион наклонился вперед и, не повышая голоса, так что его мог слышать один лишь Эшенден, разразился гневной тирадой:

— Вы что, думаете, я и дальше буду рисковать жизнью за жалкие

гроши, вроде тех, что вы мне сейчас вручили? Дней десять назад в Майнце поймали и казнили за шпионаж одного типа. Небось, это был кто-то из ваших агентов?

— У нас в Майнце сейчас никого нет,— беззаботно ответил писатель. В буквальном смысле так оно и было. Эшенден недоумевал, почему это оттуда перестали поступать донесения; сообщенная же Бернардом новость все объясняла.— Вы же отлично знали, сколько будете получать, когда брались за эту работу,— продолжал писатель.— Если вас это не устраивало, не надо было соглашаться. Я не уполномочен давать вам ни пенни сверх того, что вы уже получили.

— Видите, что у меня здесь? — спросил Бернард.

Он извлек из кармана маленький револьвер и показал его Эшендену.

— Ну, и что же вы собираетесь с ним делать? — отреагировал тот.— Заложить в ломбард?

Сердито передернув плечами, агент снова спрятал револьвер. Эшенден подумал, что согласно правилам театрального искусства ни один даже самый пустячный эпизод не должен оставаться без последствий. Так что выходка Бернарда явно была не случайной.

— Вы отказываетесь дать мне деньги?

— Конечно, отказываюсь.

Шпион, в начале разговора державшийся подобострастно, теперь стал агрессивен, однако головы не терял и потому не повышал голоса. Эшенден понимал, что этот Бернард, каким бы негодяем он ни был, агент стоящий. Поэтому решил посоветовать Р. повысить ему жалованье. Сцена его забавляла. Немного поодаль два тучных чернобородых жителя Женевы сражались в домино; в другом углу зала молодой человек в очках с необыкновенной скоростью лист за листом исписывал почтовую бумагу, намереваясь послать кому-то длиннющее письмо. Швейцарская семья — папа, мама и четверо детей (кто знает, вдруг их фамилия была Робинзон[1]?) — сидела за столом, смакуя поданный им в маленьких чашечках кофе. За прилавком caissiere[2], импозантный брюнет с широкой грудью, обрамленной фалдами черного сюртука, читал местную газету. Вся эта обстановка придавала мелодраматической сцене, в которой участвовал Эшенден, какой-то гротескный характер. Ему самому, однако, свою роль приходилось играть всерьез.

Бернард улыбнулся. Улыбка вышла отталкивающей.

— Вы понимаете, что стоит мне лишь пойти в полицию и все рассказать, как вас тут же арестуют? Знаете, какие в Швейцарии тюрьмы?

— Нет, не знаю, хотя меня это порою интересовало. А вы знаете?

— Да. Вам они не понравятся.

Возможность того, что его арестуют раньше, чем он успеет дописать пьесу, часто тревожила Эшендена. Оставлять ее неоконченной на неопределенный срок? Нет, это никуда не годится. Он не знал, будут ли с ним обращаться как с политическим заключенным или как с обычным преступником. У него даже мелькнула мысль, не спросить ли Бернарда, разрешают ли в тюрьме пользоваться письменными принадлежностями (этот человек, похоже, хорошо ориентировался в жизни преступного мира). Остановило его лишь то, что Бернард мог бы счесть подобный вопрос издевательским. Эшендену в общем удалось сохранить спокойствие, поэтому он сумел ответить на угрожающее заявление Бернарда без излишней горячности.

— Вам, конечно, под силу упрятать меня в тюрьму на пару лет.

— Уж по крайней мере.

— Нет, насколько я знаю, это предельный срок. Думаю, не так уж это мало. Не скрою, меня это совершенно не устраивает. Но еще в большей мере это не устраивает вас.

— А вы-то чем можете мне повредить?

— Ну, мы найдем способ до вас добраться. В конце концов, не будет

---

[1] Намек на название популярного приключенческого романа «Семья швейцарских Робинзонов» (автор — швейцарский писатель Ж.-Р. Висс, 1781—1830).

[2] Кассир *(франц.)*.

же война длиться вечность. Вы официант, работаете то в одной, то в другой стране, так что вам нужна свобода передвижения. Могу вас заверить: если у меня будут неприятности, вас никогда больше не пустят ни в одно из союзных государств. Боюсь, что в этом случае у вас будут связаны руки.

Бернард ничего не ответил, лишь опустил глаза и стал с мрачным видом разглядывать мраморную столешницу. Эшенден решил: момент самый подходящий, чтобы расплатиться и уйти.

— Подумайте над этим, Бернард,— сказал он.— Если захотите снова приступить к работе, инструкции вы знаете, жалованье же будете получать по обычным каналам.

Шпион пожал плечами, и Эшенден, так и не уяснив себе, какой результат дала их беседа, почувствовал, что может по крайней мере удалиться с достоинством. Так он и сделал.

Теперь же, осторожно попробовав ногой воду в ванне, чтобы узнать, не слишком ли она горяча, писатель задумался над тем, на что же Бернард в конце концов решился. Оказалось, опасность ошпариться Эшендену не грозила, так что он медленно погрузился в ванну. Общее впечатление его было таково, что Бернард все-таки решил не становиться на путь измены и что человека, который на него донес, надо искать где-то еще, возможно, даже в самом отеле. Писатель откинулся назад, и когда его тело начало привыкать к теплу, удовлетворенно вздохнул.

— В самом деле,— размышлял он вслух,— бывают в жизни минуты, когда вся эта суета, сопровождавшая развитие жизни от обитателей первобытного ила до меня самого, кажется почти оправданной.

Эшенден думал: как хорошо, что он с честью вышел из трудного положения, в которое попал столь неожиданно. Если бы его арестовали и посадили в тюрьму, Р. наверняка пожал бы плечами, сказал бы, что он стопроцентный идиот, и начал бы подыскивать кого-нибудь на его место. Писатель уже достаточно хорошо знал своего шефа, чтобы не сомневаться: тот отнюдь не преувеличивал, говоря, что если он попадет в беду, никто не придет ему на помощь.

Удобно расположившись в ванне, Эшенден с радостью думал: как бы в дальнейшем ни развивались события, он теперь сможет спокойно дописать пьесу. Полицейские заполнили все бумаги, и даже если Эшенден с этого дня будет взят под надзор, не похоже, что они успеют предпринять дальнейшие шаги, пока он не напишет, хотя бы вчерне, третий акт. Это обязывало его быть настороже (всего лишь две недели назад британский резидент в Лозанне был приговорен к двум годам заключения); однако паниковать было глупо — его предшественник в Женеве принимал свою деятельность слишком всерьез, с утра до ночи следил буквально за каждым своим жестом и в конце концов настолько изнервничался, что его пришлось отозвать. Два раза в неделю Эшендену надо было ходить на рынок за инструкциями, которые передавала ему старая крестьянка из французской Савойи, торговавшая маслом и яйцами. Она приезжала в горбд вместе с другими рыночными торговками, и на границе их обыскивали не слишком тщательно. Попадали они туда на рассвете, и таможенники рады были поскорее отделаться от грубых болтливых баб и вернуться к пылающим очагам и недокуренным сигарам. В самом деле, у этой пожилой женщины — полной, краснолицей, добродушно улыбающейся — был такой кроткий и невинный вид, что только наделенный сверхъестественной проницательностью полицейский мог бы предположить, что если б он поглубже запустил руку между массивными полушариями ее грудей, то обнаружил бы там клочок бумаги, который привел бы на скамью подсудимых не только эту старуху (которой плата за риск позволяла уберечь сына от превратностей войны), но и приближавшегося к экватору жизни английского писателя. Эшенден ходил на рынок часов в девять утра, когда почти все женевские кумушки успевали уже прикупить провизию. Он останавливался рядом с большой корзиной, возле которой в любую погоду — в холод и в жару, в дождливые и ветреные дни — сидело это упрямое

существо. Каждый раз, когда Эшенден покупал полфунта масла, записка попадала ему в руку вместе со сдачей с десятифранковой купюры. Сразу после этого он не спеша уходил. Рисковал он, лишь возвращаясь к себе в отель с запиской в кармане, однако после пережитого испуга решил сократить до минимума время, в течение которого она могла бы быть при нем найдена.

Эшенден вздохнул — вода уже успела немного остыть; он не мог, сидя в ванне, повернуть кран ни рукой, ни ногой (такая возможность предусмотрена в удобно устроенных ваннах). А если уж вставать, чтобы добавить горячей воды, то почему бы тогда совсем не вылезти из ванны? С другой стороны, он не мог ни вытащить ногой затычку, чтобы выпустить воду и тем самым заставить себя вылезти, ни, набравшись решимости, выйти из воды, как подобает мужчине. Писателю часто говорили, что у него сильный характер. Ему всегда казалось, эти люди судят о нем превратно: посмотрели бы они на него хотя бы сейчас, в остывающей ванне!

Мысли его вернулись к пьесе. Повторяя про себя шутки и остроумные реплики, которые, как он знал по печальному своему опыту, очень многое потеряют, будучи записаны на бумаге или произнесены со сцены, Эшенден совершенно забыл, что сидит уже не в горячей, а в едва теплой ванне. Вдруг в дверь его номера кто-то постучал. Ему не хотелось никого видеть, и он решил было не откликаться, однако стук повторился.

— Кто там? — сердито воскликнул писатель.

— Вам письмо.

— Тогда войдите. И подождите немного.

Эшенден услышал, как дверь отворилась. Выбравшись из ванны, он обмотался полотенцем и вышел в комнату. Ожидавший там мальчик-слуга вручил ему записку. Очевидно, ответ можно было передать на словах. Писала жившая в том же отеле дама; она приглашала его играть в бридж после обеда; подписано сие послание было на французский манер: баронесса де Хиггинс. Эшенден, намеревавшийся спокойно пообедать у себя в номере, в шлепанцах, рядом с освещенной настольной лампой раскрытой книгой, решил уже отказаться, но тут ему пришла в голову мысль, что при нынешних обстоятельствах благоразумнее было бы в этот вечер показаться в гостиной. Глупо надеяться, что о визите к нему полицейских не известно еще всему отелю, так что даже неплохо продемонстрировать знакомым, что он ничуть этим визитом не обеспокоен. Ему подумалось, что кто-то из этих людей, быть может, донес на него в полицию; уж не сама ли баронесса, любительница развлечений? Если выдала Эшендена именно она, забавно было бы сразиться с нею в бридж. Писатель попросил мальчика передать пославшей его даме, что он с удовольствием к ней придет, после чего начал не спеша одеваться. В подобных случаях полагалось являться в визитке.

Баронесса фон Хиггинс была австриячкой. Обосновавшись в первую военную зиму в Женеве, она ради вящего удобства произносила свою фамилию на французский манер. Английским, как и французским, она владела в совершенстве. Фамилия, так не похожая на тевтонскую, досталась ей в наследство от деда, йоркширского мальчишки-конюха, которого в начале девятнадцатого столетия вывез в Австрию князь Бланкенштейн. Дальнейшая история ее предка — до крайности захватывающая и романтичная. Став впоследствии весьма авантажным мужчиной, он увлек одну из эрцгерцогинь и затем так удачно использовал свои таланты, что кончил жизнь бароном и полномочным послом австрийской империи при итальянском дворе. Баронесса, его единственный ребенок, после неудачного замужества, о котором она любила подробно рассказывать знакомым, вновь приняла девичью фамилию. Она довольно часто упоминала, что дедушка ее был послом, но ни разу не обмолвилась, что прежде он служил конюхом. Эшендену сии любопытные подробности стали известны во время пребывания в Вене — раз уж у него с этой дамой установились дружеские отношения, он счел нужным навести справки о ее прошлом; в числе прочего он узнал, что доходы не позволяют ей жить на широкую ногу — во всяком случае, так, как она живет в Женеве. Образ ее жизни был удобен для того,

чтобы заниматься сбором секретных сведений, так что резонно было предположить, что она оказывает услуги местной службе безопасности. Эшенден был почти уверен, что они с баронессой занимаются примерно одним и тем же. Это придавало их взаимоотношениям особую теплоту.

Когда писатель вошел в столовую, там уже было полно народа. Он сел за свой стол и, чувствуя необычайный душевный подъем после пережитого приключения, заказал бутылку шампанского (за счет британского правительства). Баронесса одарила его мимолетной, но ослепительной улыбкой. Даме этой было за сорок, но блестящие холодноватые манеры придавали ей несравненное очарование. У светлых золотистых волос баронессы был какой-то металлический блеск; без сомнения, они были красивы, хотя привлекательности ей не прибавляли. Эшенден, только увидев ее, подумал, что такой волос неприятно было бы найти у себя в супе. У баронессы были правильные черты лица, голубые глаза, прямой нос, розовато-белая кожа, которая, впрочем, излишне туго обтягивала ее скулы. Баронесса в тот вечер была в платье с глубоким декольте; ее пышная белая грудь казалась мраморной. Ничто в облике этой дамы не позволяло собеседнику предугадать мягкость ее манер, которая кажется очаровательной восприимчивым к таким вещам людям. Шикарный туалет баронессы почти не был, однако, дополнен драгоценностями, так что Эшенден, кое-что смысливший в таких вещах, пришел к выводу, что некий высший авторитет дал ей carte blanche [1] у портного, но посчитал для нее слишком обременительным материально и потому ненужным ношение бриллиантов или жемчугов. Впрочем, баронесса и без того выглядела настолько эффектно, что, несмотря на рассказанную Р. историю о министре, Эшенден не мог не признать, что один лишь взгляд этой дамы способен заставить любого, на ком она пожелала бы испытать свои чары, призвать на помощь всю свою волю, дабы устоять перед искушением.

В ожидании обеда Эшенден разглядывал собравшихся. Большинство из них он видел уже столько раз, что они казались ему давними знакомыми. В те времена Женева славилась как центр всяческих интриг, и цитаделью их был как раз этот отель. Здесь жили французы, итальянцы, русские, турки, румыны, греки, египтяне. Некоторые бежали из своих стран, другие же, наоборот, представляли интересы родины. Жил здесь один болгарин, агент Эшендена, с которым писатель для большей безопасности не заговорил ни разу за все время пребывания в Женеве. В тот вечер болгарин обедал с двумя приятелями-соотечественниками, и через день-два Эшенден надеялся получить от него весьма интересные сведения (если агента за это время не убили бы). Еще одна обитательница отеля, маленькая немочка-проститутка с кукольным личиком и синими глазами цвета старинного китайского фарфора, часто пересекала озеро и посещала Берн; одновременно с выполнением чисто профессиональных обязанностей она собирала кое-какую занятную информацию, которую, без сомнения, самым внимательным образом изучали в Берлине. Масштабы ее деятельности были, конечно, не те, что у баронессы,— она охотилась лишь за легкой добычей. Эшенден с удивлением заметил среди присутствующих графа фон Хольцминдена, и теперь его мучил вопрос: какого черта притащился сюда этот человек? То был резидент германской разведки в Веве, так что в Женеву, быть может, он попал чисто случайно. Как-то раз писатель набрел на него в старинном квартале швейцарской столицы, где дома тихи, а улицы пустынны. Граф беседовал на углу с человеком, у которого была явно шпионская физиономия, и Эшенден многое отдал бы за то, чтобы узнать, о чем они говорили. Писатель с удовольствием пересек бы сейчас зал и подошел к графу — ведь в Лондоне, еще до войны, он водил с ним знакомство. Этот чистокровный дворянин состоял даже в родстве с Гогенцоллернами [2]. Он был англофилом, хорошо танцевал, прекрасно стрелял и в совершенстве владел искусством верховой езды; говорили, что он больше похож на англичанина, чем

---

[1] Здесь: полную свободу тратить деньги по своему усмотрению *(франц.)*.

[2] Виднейшая европейская аристократическая фамилия, из ветви которой происходили германские кайзеры.

сами англичане. Высокий, худощавый, с короткой стрижкой, он всегда хорошо одевался; голова была характерной для пруссаков формы, туловище чуть клонилось вперед, словно он намеревался отвесить поклон некоей коронованной особе. Подобные черты скорее ощутимы, чем заметны в тех, кто провел жизнь при дворе. Манеры графа были просто обворожительны, к тому же он интересовался изящными искусствами. Сейчас, однако, и он, и Эшенден сделали вид, что незнакомы друг с другом. Разумеется, оба знали, какого рода деятельностью занимается каждый, и у писателя прежде мелькала мысль слегка подразнить этим графа — ведь притворяться, что совершенно не знаешь человека, с которым много лет сиживал за одним столом и частенько играл в карты, конечно же, нелепо. Однако от этого он все-таки удержался, опасаясь, что немец воспримет это как еще одно доказательство несерьезности британцев, способной устоять даже перед лицом войны. Сейчас Эшенден был несколько озадачен: граф Хольцминден до сих пор ни разу не показывался в этом отеле, и не похоже было, что он появился просто так, без веской причины.

Писатель спросил себя, не связано ли все это с неожиданным приездом шейха Али. Поэтому неблагоразумно и даже опасно было бы теперь сводить любое событие, каким бы случайным оно ни выглядело, к простому совпадению. Шейх Али был египтянином, близким родственником хедива [1]. Он бежал из родной страны, когда хедива свергли, и считался ярым врагом Англии; известно было, что он активно участвовал в разжигании конфликта в Египте. За неделю до появления здесь графа Хольцминдена в отель в обстановке совершенной секретности прибыл и сам хедив. Он провел здесь три дня, и все это время оба египтянина непрерывно совещались в комнате шейха. Шейх Али был маленьким кругленьким человечком с черными усами. В его апартаментах жили также две его дочери и некий паша [2] по имени Мустафа — секретарь шейха и его доверенное лицо. Эти четверо обедали сейчас за одним из столов; они выпили довольно много шампанского, однако соблюдали какую-то вялую тишину. Обе дочери шейха были девицами эмансипированными, и ночи напролет танцевали в местных ресторанчиках с фатоватыми юнцами. Девицы были приземисты и полноваты, у них были красивые черные глаза, желтоватая кожа и жесткие черты лица; обе носили роскошные платья кричащих тонов, напоминавшие скорее о Рыбном рынке в Каире, чем о Рю де ла Пэ. Его высочество обычно обедал у себя в номере, но дочери его каждый раз спускались в общую обеденную залу. Их сопровождала гувернантка, маленькая старушка-англичанка, которую звали мисс Кинг. Однако она сидела за отдельным столом, и девицы, похоже, не обращали на нее никакого внимания. Как-то Эшенден, идя по коридору, набрел на старшую из принцесс. Та по-французски за что-то выговаривала гувернантке, причем так грубо, что у писателя захватило дух. Сперва принцесса во весь голос кричала на старушку, потом вдруг залепила ей пощечину. Заметив Эшендена, она бросила на него яростный взгляд и моментально скрылась в своей комнате, хлопнув дверью. Писатель прошел мимо, как будто ничего не заметил.

С самого начала Эшенден пытался завести знакомство с мисс Кинг, но та отнеслась к этому холодно, более того, попытки сблизиться восприняла в штыки. Писатель начал кампанию: снимал шляпу при встречах с гувернанткой, так что она была вынуждена тоже отвешивать ему поклоны, затем попробовал с нею заговорить, но старушка отвечала кратко, почти односложно, явно давая понять, что к разговору с ним не расположена. Однако Эшенден был не из тех, кого легко заставить отступиться от намеченной цели. Набравшись наглости, он при первом же удобном случае снова заговорил с нею. Мисс Кинг встала, с достоинством выпрямилась и заявила по-французски, хотя и с сильным английским акцентом:

— Мне не о чем беседовать с теми, кто мне не представлен.

---

[1] Хедив — титул, который турецкий султан присваивал своему наместнику в Египте. В 1914 г. последний хедив был смещен англичанами.

[2] Паша — почетный титул, который присваивался в Турции высокопоставленным чиновникам.

И тут же повернулась к нему спиной.

Когда писатель обратился к ней в следующий раз, она его резко оборвала.

Мисс Кинг была маленькая, сухонькая — кожа да кости; лицо покрывали глубокие морщины. Она явно носила парик — коричневато-бурый, искусно сделанный; она даже не всегда ровно его надевала. Косметикой мисс Кинг явно злоупотребляла, и на ее бледных щеках алели пятна румян того же оттенка, что и ее яркая помада. Одевалась она весьма странно. Мало того что все ее наряды были кричащих тонов — они выглядели так, словно их только что выбрали наобум в лавке старьевщика. Днем мисс Кинг носила огромные экстравагантные шляпы, которые могли бы быть к лицу лишь очень молодой девушке. Облик старушки был столь гротескным, что вызывал скорее ужас, чем желание посмеяться. На улице прохожие оборачивались и долго смотрели вслед мисс Кинг открыв рты. Эшенден узнал, что она не бывала в Англии с тех пор, как ее наняла гувернанткой мать шейха. Писателя забавляла мысль о том, чего она, должно быть, насмотрелась за долгие годы пребывания в каирском гареме. Определить возраст мисс Кинг было невозможно. Как много жизней восточных людей — не слишком долгих жизней! — пролетело перед ее глазами! Какие страшные тайны, должно быть, ей ведомы! Эшенден пытался угадать, из каких мест она родом. Слишком долго жила она вдали от Англии, и у нее там, очевидно, уже не осталось больше ни друзей, ни родственников. Он знал, что в египетской семье шейха ей привили антианглийские настроения, и ее нелюбезное обращение отнес на счет того, что ей посоветовали быть с ним настороже. Говорила она исключительно по-французски. Писатель гадал, о чем же она думает, сидя каждый день в одиночестве за ленчем и за обедом. Он сомневался, что она хоть сколько-нибудь времени уделяет чтению. После еды она сразу поднималась к себе и никогда не показывалась ни в одной из гостиных отеля. Эшендену было бы любопытно узнать, что она думает о своих эмансипированных воспитанницах, одетых в кричаще-яркие платья и танцующих с подозрительного вида субъектами в заштатных ресторанчиках.

Однако когда в тот вечер мисс Кинг прошла мимо писателя, направляясь к себе в номер, ему показалось, что обычная маска на ее лице сменилась раздражением. Похоже, он вызывал у этой старухи активную неприязнь. Их взгляды встретились, и Эшендену показалось, что она хочет прямо-таки с ног до головы обдать его презрением. Эти потуги могли бы показаться уморительно нелепыми, если бы во взгляде мисс Кинг не было какой-то странной патетичности.

Тут баронесса де Хиггинс встала из-за стола, взяла сумочку и кашне и, сопровождаемая поклонами стоявших по обе стороны прохода официантов, прошествовала через огромную залу. У стола, за которым сидел Эшенден, баронесса остановилась. Она была удивительно хороша.

— Я так рада, что вы сможете присоединиться к нам за бриджем,— сказала она по-английски, и в ее чистом выговоре слышались лишь слабые отзвуки немецкого акцента.— Будьте любезны, поднимитесь ко мне в гостиную, когда допьете кофе.

— Какое красивое на вас платье! — заметил Эшенден.

— Оно ужасно! Просто нечего стало носить. Не знаю, что теперь делать — в Париж ведь поехать нельзя. Эти ужасные пруссаки! — Она возвысила голос, и ее «р» стали звучать по-немецки гортанно.— И зачем только им понадобилось втягивать бедную мою родину в эту кошмарную войну?

Она вздохнула, одарила писателя ослепительной улыбкой и выплыла из комнаты. Эшенден покончил с обедом одним из последних; когда он покидал столовую, там уже почти никого не было. Проходя мимо Хольцминдена, пребывавший в бесшабашном настроении писатель набрался наглости и — нет, не подмигнул, но чуть заметно моргнул глазом. Резидент германской разведки не мог быть уверен, что это ему не померещилось; если же он всерьез задумался бы, что́ это могло означать, ему пришлось бы долго ломать голову в поисках тайного смысла поданного знака.

Эшенден поднялся на второй этаж и постучал в дверь номера, который занимала баронесса.

— Entrez, entrez [1],— сказала баронесса и открыла дверь.

Ласково взяв писателя за руку, она проводила его в гостиную. Он увидел, что два человека, которые должны были составить вместе с ним квартет игроков в бридж, уже прибыли. Это оказались шейх Али и его секретарь. Эшенден был поражен.

— Позвольте представить вашему высочеству мистера Эшендена,— сказала баронесса на прекрасном французском языке.

Писатель поклонился и пожал протянутую ему руку. Шейх окинул его быстрым взглядом, но ничего не сказал. Мадам де Хиггинс продолжала:

— Не знаю, знакомы ли вы с пашой.

— Рад познакомиться с вами, мистер Эшенден,— заявил секретарь шейха, тепло пожимая его руку.— Наша красавица-баронесса сказала нам, что вы играете в бридж, а его высочество обожает эту игру. N'est-ce pas, Altesse? [2]

— Oui, oui [3],— ответил шейх.

Мустафа-паша был крупным мужчиной лет сорока пяти с большими живыми глазами и пышными черными усами, в кителе и феске — в полном соответствии с обычаями его страны. На груди у него красовался огромный бриллиант. Паша оказался очень говорлив, слова беспорядочным потоком сыпались у него изо рта, словно бусины с оборвавшейся нитки. С Эшенденом он держался исключительно вежливо. Шейх же сидел молча и спокойно глядел на писателя из-под тяжелых полуопущенных век. Казалось, он чувствует себя не в своей тарелке.

— Я не встречал вас в здешнем клубе, monsieur,— сказал паша.— Вы не играете в баккара?

— Играю, но редко.

— Баронесса — она, знаете ли, много читает — сказала, что вы замечательный писатель. К несчастью, я не владею английским.

Тут баронесса ввернула несколько нарочитых комплиментов Эшендену, которые тот выслушал, изобразив на лице подобающую случаю учтивую благодарность. Затем, когда гостям подали кофе и ликер, на свет божий наконец появились карты. Писатель не уставал удивляться, почему вдруг именно его пригласили играть в бридж. Он считал, что вообще относится к себе непредвзято, не питает на свой счет особых заблуждений. Что же касается бриджа, то заблуждений у него не было вовсе, ибо он прекрасно знал, что является игроком средней руки. Ему достаточно часто приходилось сражаться с теми, кто достиг в этой игре вершин мастерства, и он понимал, как ему до них далеко. К тому же собравшиеся играли в так называемый «бридж-контракт», а эту разновидность игры он знал плоховато. Ставки были высоки, однако писатель понимал, что игра в бридж — лишь предлог, и не сомневался, что за столом будет вестись и другая игра. Могло статься, что шейх и его секретарь, зная, что он агент британской разведки, решили приглядеться к нему поближе, чтобы понять, что́ он за птица. В течение последних двух дней Эшенден чувствовал: что-то носится в воздухе. Встреча с этими людьми усилила его подозрения. У него не было ни единой зацепки, чтобы понять, что же должно произойти. Агенты его в последнее время не сообщали ни о чем существенном. Теперь он был уверен, что визитом швейцарской полиции обязан любезному вмешательству баронессы. Игру в бридж, похоже, она затеяла, когда узнала, что полицейские потерпели неудачу. Мысль была странной, но довольно занятной, и, разыгрывая один роббер за другим под аккомпанемент нескончаемых разговоров, писатель не только следил за тем, что говорил сам, но еще более внимательно — за тем, что говорят другие. Говорили, в основном, о войне, и баронесса, как и паша, проявляла сильные антигерманские настроения. Сердце этой дамы, оказывается, было в Англии — ведь оттуда

---

[1] Входите, входите *(франц.)*.

[2] Не так ли, ваше высочество? *(франц.)*.

[3] Да-да *(франц.)*.

родом ее предки (йоркширский мальчишка-конюх); паша же считал своей духовной родиной Париж. Когда она расписывала ночную жизнь Монмартра, шейх вдруг тоже нарушил молчание.

— C'est une bien belle ville, Paris [1],— изрек он.

— У шейха там роскошные апартаменты с красивыми картинами и статуями в человеческий рост,— пояснил секретарь.

Эшенден проинформировал собравшихся, что всегда питал симпатию к египетской культуре и что самой прелестной столицей в Европе считает Вену. Писатель держался с этими людьми так же дружелюбно, как и они с ним. Однако про себя он думал: если они рассчитывают выудить у него какую-либо информацию, которую нельзя прочесть в швейцарских газетах, то сильно ошибаются. В какой-то момент ему показалось, что они зондируют почву, нельзя ли его подкупить. Впрочем, делалось это так осторожно, что он не мог быть вполне уверен, что не ошибся. Однако у Эшендена возникло ощущение, что ему внушают такую мысль: он мог бы оказать своей стране большую услугу и заработать лично для себя кучу денег, если бы вступил с ними в некие договорные отношения, которые способны были бы как-то успокоить этот взбаламученный мир, чего не может не желать любой более или менее гуманный человек. Очевидно было, что в первый вечер сказано будет не так уж много, однако Эшенден насколько мог уклончиво — скорее дружелюбностью своей, чем смыслом своих слов — постарался дать понять, что желает узнать обо всем более подробно. Беседуя с пашой и прекрасной австриячкой, он ощущал, что его буквально сверлят проницательные глаза шейха Али, и забеспокоился: глаза эти могли прочесть слишком многие из его тайных мыслей. Он скорее чувствовал, чем знал, что шейх — человек дошлый и хитрый. Могло быть и так: после его ухода шейх сказал бы тем двоим, что они зря теряют время и что Эшенден — слишком крепкий для них орешек.

Вскоре после полуночи игра закончилась, и шейх встал из-за стола.

— Уже поздно,— сказал он.— У мистера Эшендена, несомненно, завтра много дел. Не следует нам удерживать его дольше.

Писатель понял: это сигнал оставить его в покое. Он вышел из номера, немного озадаченный, оставив тех троих обсуждать создавшееся положение. Его успокаивала лишь уверенность, что и они озадачены не менее, чем он. Войдя в свой номер, Эшенден вдруг ощутил, что до смерти устал. Ему стоило большого труда не уснуть, пока он раздевался. Потом писатель лег в постель и моментально погрузился в сон.

Он мог бы поклясться, что не проспал и пяти минут, когда его разбудил настойчивый стук в дверь. Несколько мгновений он прислушивался.

— Кто там?

— Это горничная. Откройте. Я должна вам кое-что сообщить.

Чертыхаясь, Эшенден зажег свет, накинул халат и пригладил ладонью свои взъерошенные редеющие волосы — подобно Юлию Цезарю, он не любил показывать, что лысеет. Затем он отпер дверь. В коридоре стояла растрепанная горничная-швейцарка. На ней не было передника; похоже было, что одевалась она впопыхах.

— Старая английская дама, гувернантка египетских принцесс, при смерти. Она хочет вас видеть.

— Меня?! Не может быть! Я с нею незнаком. Да и за ужином с ней было все в порядке.

Писатель был несколько ошеломлен и высказывал свои мысли в той последовательности, в какой они приходили ему в голову.

— Она послала за вами. Доктор тоже просит вас прийти. Она долго не протянет.

— Должно быть, это ошибка. Не могла она позвать меня.

— Она назвала ваше имя и номер вашей комнаты. Сказала: «Скорее. Скорее».

Эшенден пожал плечами, вернулся в спальню, и сунул в карман халата

---

[1] Да, хороший город — Париж *(франц.)*.

маленький револьвер. Эшенден надеялся больше на свою сообразительность, чем на оружие, которое стреляет порой далеко не в нужный момент и производит слишком много шума; однако бывают в жизни минуты, когда спокойнее ощущать под пальцами рукоять револьвера. Этот внезапный вызов показался Эшендену весьма загадочным. Нелепо было и думать, что те два приветливых полноватых египтянина пытаются таким образом заманить его в ловушку, однако в работе, которой теперь занимался писатель, рутина и скука в любой момент могли смениться мелодрамой, столь модной в шестидесятые годы прошлого века. Как подлинная страсть бесстыдно выражает себя порой с помощью набора затасканных фраз, так и Случай иной раз словно нарочно берет за образец литературные банальности и штампы.

Номер мисс Кинг был двумя этажами выше. Писатель в сопровождении горничной прошел по коридору, а затем, поднимаясь по лестнице, спросил свою спутницу, что же приключилось со старой гувернанткой. Горничная была суетлива и глупа.

— По-моему, у нее был удар. Не знаю точно. Ночной портье разбудил меня и сказал, что мсье Бриде велит вставать.

Мсье Бриде был помощником управляющего.

— Сколько сейчас времени? — спросил Эшенден.

— Должно быть, часа три.

Они подошли к двери номера, который занимала мисс Кинг. Горничная постучалась. Открыл им мсье Бриде. Его, видно, самого внезапно подняли с постели: на нем были надетые на босу ногу комнатные туфли, серые брюки и сюртук, из-под которого нелепым образом выглядывала пижамная куртка. Волосы его, обычно аккуратно причесанные, сейчас чуть ли не стояли дыбом. Он рассыпался в извинениях.

— Тысячу раз прошу прощения за беспокойство, мсье Эшенден. Она всё просила привести вас, и доктор сказал, что надо за вами послать.

— Не стоит извиняться.

Номер мисс Кинг представлял собой одну лишь маленькую комнатку, располагавшуюся в дальнем конце коридора. Горели все огни, окна были закрыты, занавеси — задернуты. Было очень жарко. Доктор, бородатый седой швейцарец, стоял у кровати. Мсье Бриде, невзирая на беспорядок своего костюма и явное беспокойство, обнаружил незаурядное присутствие духа, выказал себя образцовым управляющим и, соблюдая ритуал, представил друг другу доктора и постояльца.

— Это тот самый мистер Эшенден, которого просила привести мисс Кинг. А это — доктор Арбо с медицинского факультета университета Женевы.

Доктор молча указал на кровать. Там лежала мисс Кинг. Писатель был прямо-таки поражен ее видом. На голове у гувернантки был большой белый хлопчатобумажный колпак (войдя, Эшенден заметил на столике у кровати темный парик, надетый на подставку). Колпак этот завязывался под подбородком двумя тесемками; просторная белая ночная сорочка висела на старухе мешком. Ночной колпак и сорочка были словно извлечены из прошлого века и вызывали в памяти иллюстрации Крукшенка к романам Диккенса. Лицо гувернантки лоснилось от крема, которым она намазалась перед сном, чтобы удалить с лица косметику; однако удалила она ее не до конца, и на веках виднелись черные полосы, а на щеках — красные пятна. В постели мисс Кинг казалась маленькой, как ребенок, и очень старой.

«Должно быть, ей уже за восемьдесят»,— подумал писатель.

Она была похожа сейчас на игрушечную старую ведьму, изготовленную потехи ради каким-нибудь чересчур веселым кукольником. Мисс Кинг неподвижно лежала на спине; ее хрупкое маленькое тельце было едва заметно под одеялом, лицо казалось еще меньше, чем обычно,— перед сном она вытащила вставные челюсти. Можно было подумать, что она уже переступила черту, отделяющую жизнь от смерти, если бы не ее черные глаза, что смотрели не мигая в одну точку и казались на удивление большими на этом сморщенном кукольном личике. Эшендену показалось, что выражение их изменилось, когда старая женщина заметила его.

— Что ж, мисс Кинг, мне очень жаль, что мы встречаемся с вами вот так,— проговорил писатель с напускной бодростью.

— Она не может говорить,— предупредил его врач.— Когда горничная пошла за вами, у мисс Кинг был еще один небольшой удар. Я сделал ей укол. Возможно, дар речи к ней вскоре частично вернется. Она хочет что-то вам сказать.

— Я с удовольствием подожду,— отозвался Эшенден.

Ему показалось, что в темных глазах старушки отразилось облегчение. Несколько мгновений все четверо стояли вокруг кровати и молча взирали на умирающую.

— Ну, раз уж я пока ничем помочь не могу, пойду-ка я спать,— заявил мсье Бриде.

— Allez, mon ami [1],— отозвался доктор.— Вы и в самом деле ничем помочь не сможете.

Мсье Бриде повернулся к писателю и спросил:

— Можно вам кое-что сказать с глазу на глаз?

— Конечно.

Доктор заметил мелькнувший в глазах мисс Кинг испуг.

— Не тревожьтесь,— проговорил он мягко.— Мсье Эшенден никуда не уходит. Он останется так долго, как вы пожелаете.

Помощник управляющего вышел вместе с писателем в коридор и прикрыл за собой дверь, чтобы в комнате не были слышны его произнесенные вполголоса слова:

— Надеюсь, я могу положиться на ваше благоразумие, мсье Эшенден? Неприятно, когда кто-то умирает у меня в отеле. Постояльцы не любят подобных вещей, так что мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы никто из них ничего не узнал. Я постараюсь убрать отсюда тело как только будет возможно. Буду очень вам признателен, если вы не станете никому рассказывать о смерти этой женщины.

— Можете на меня положиться,— отозвался Эшенден.

— К несчастью, наш управляющий на эту ночь отлучился. Боюсь, он будет очень недоволен. Конечно, я хотел бы послать за санитарной каретой и отправить эту даму в больницу, но оказалось, что это невозможно — доктор заявил, что она может умереть, когда мы будем нести ее по лестнице, и категорически запретил ее трогать. Если она умрет здесь, в отеле, то не по моей вине.

— Смерть слишком часто приходит без предупреждения,— чуть слышно проговорил Эшенден.

— В конце концов, мисс Кинг ведь очень стара и могла бы умереть уже давно. Зачем было этому египетскому шейху держать столь дряхлую гувернантку? Надо было отослать ее обратно на родину. Ох, уж эти восточные люди! Хлопот с ними не оберешься!

— А где сейчас шейх? — спросил Эшенден.— Она ведь служила у него много лет. Не следует ли его разбудить?

— Да нет его в отеле! Куда-то ушел вместе с секретарем. Верно, играет в баккара. Впрочем, точно не знаю. В конце концов, не могу же я разослать за ним гонцов по всей Женеве!

— А его дочери?

— Они еще не вернулись. Да и вообще они редко приходят до рассвета. Помешались на танцах. Впрочем, где бы они ни были, они меня не поблагодарят, если я сообщу им, что у их гувернантки случился удар, и тем самым помешаю им развлекаться. Знаю я, что они за птицы! Пусть ночной портье все им расскажет, когда они заявятся; пусть тогда поступают как угодно. Больная не говорила, что хочет их видеть. Когда ночной портье позвал меня, я вошел в ее комнату и спросил где его высочество, но она запищала: «Нет! Нет!»

— Она тогда могла еще говорить?

— Да, кое-как могла. Но меня удивило, что говорила она по-английс-

---

[1] Идите, друг мой *(франц.)*.

ки. Она ведь заставляла всех говорить с нею только по-французски. Вы, верно, знаете: она терпеть не могла английский язык.

— Зачем ей понадобился я?

— Вот этого-то я и не знаю. Она заявила, что ей надо с вами поговорить. Занятно, что она знала, в каком вы номере. Сперва, когда она попросила вызвать вас, я запретил вас будить. Не могу позволить, чтобы моих постояльцев беспокоили среди ночи только потому, что этого хочет выжившая из ума старуха. Полагаю, у вас есть право спать спокойно. Но потом пришел доктор и стал на ее сторону. Она не давала нам покоя; когда же я сказал ей, что надо дождаться утра, она страшно заверещала.

Эшенден взглянул на помощника управляющего. Похоже, тот не находил в этом происшествии ничего трогательного.

— Доктор спросил, кто вы. Когда я объяснил ему, он высказал предположение, что она хочет вас видеть по той причине, что вы ее соотечественник.

— Возможно,— холодно отозвался Эшенден.

— Что ж, пожалуй, пойду-ка я немного сосну. Велю ночному портье разбудить меня, если что-нибудь изменится. К счастью, ночи сейчас долгие, так что если все пойдет хорошо, мы успеем убрать тело до рассвета.

Эшенден вернулся в комнату умирающей, и взгляд ее черных глаз застыл на его лице. Он чувствовал, что просто обязан что-то сказать, но когда наконец заговорил, то сразу подумал, какими глупыми обычно бывают речи тех, кто беседует с тяжелобольными.

— Боюсь, вы не слишком хорошо себя чувствуете, мисс Кинг.

Ему показалось, что в ее черных глазах блеснула искорка гнева. Писатель мог лишь догадываться, насколько старая женщина рассержена его пустыми словесами.

— Вы не могли бы пока посидеть здесь? — спросил его доктор.

— Конечно, могу.

Оказалось, ночного портье разбудил звонок из номера мисс Кинг, но когда он снял трубку, никто не отозвался. Портье поднялся к ней в номер, но на его стук никто не откликнулся. Тогда он открыл дверь запасным ключом и обнаружил, что мисс Кинг лежит на полу. Телефонный аппарат, очевидно, упал вместе с нею. Плохо себя почувствовав, она, верно, сняла трубку, чтобы позвать на помощь, и тут же потеряла сознание. Ночной портье поспешил к помощнику управляющего; вдвоем они подняли женщину и уложили в постель. Потом разбудили горничную и послали за доктором.

Когда доктор рассказывал все это в присутствии мисс Кинг, у Эшендена возникло странное чувство: тот вел себя так, словно она не понимала по-французски или уже была мертва.

Потом доктор сказал:

— Что ж, больше я, пожалуй, сделать ничего не могу. Нет смысла мне оставаться здесь. Если что-нибудь произойдет, со мною свяжутся по телефону.

Писатель, понимавший, что мисс Кинг может пролежать так долгое время, пожал плечами:

— Хорошо, идите.

Доктор потрепал больную по испачканной румянами щеке, словно разговаривал с ребенком.

— Вы должны постараться уснуть. Я вернусь утром.

Он сложил в чемоданчик инструменты, вымыл руки и надел свое тяжелое пальто. Эшенден проводил доктора до двери, и тот, прощаясь с ним, изрек пухлыми губами из глубин своей бороды весьма пессимистический прогноз в отношении пациентки.

Вернувшись в комнату, Эшенден взглянул на горничную. Та сидела на краешке стула в напряженной позе, как будто боялась слишком вольно себя вести перед лицом смерти. Ее широкое некрасивое лицо опухло от усталости.

— По-моему, вам нет смысла оставаться здесь долее,— сказал ей писатель.— Почему бы вам не пойти спать?

— Вам тошно станет сидеть здесь одному, monsieur. Кто-то должен побыть здесь с вами.

— Мой Бог, зачем? Вам же придется завтра весь день работать!

— Да, что бы ни случилось, мне надо вставать в пять утра.

— Тогда попробуйте поспать хотя бы недолго. Когда встанете, загляните сюда ко мне. Allez!

Горничная тяжело встала.

— Как вам будет угодно, сударь. Но я, право же, охотно осталась бы с вами.

Писатель улыбнулся и отрицательно покачал головой.

— Bonsoir, ma pauvre mademoiselle [1],— сказала горничная и вышла.

Эшенден остался наедине с умирающей. Он сидел у ее кровати, и взгляды их снова встретились. Нелегко было смотреть в эти немигающие глаза.

— Не волнуйтесь, мисс Кинг. У вас был всего лишь легкий удар. Уверен, что очень скоро вы сможете говорить.

Он не сомневался, что во взоре ее светится горячее желание что-то ему сообщить. Ошибки тут быть не могло. Стремление это подчинило себе все ее мысли, но парализованное тело отказывалось повиноваться. Словно для того чтобы подчеркнуть охватившее старую женщину волнение, глаза ее увлажнились, и по щекам потекли слезы. Писатель достал платок и вытер их.

— Не расстраивайтесь, мисс Кинг, наберитесь терпения. Не сомневаюсь, вскоре вы сможете сказать мне все, что хотите.

Он не понял, почудилось ли ему или действительно в глазах ее мелькнула отчаянная мысль, что у нее нет времени ждать. Быть может, он лишь приписал ей свои собственные мысли. На столике у кровати лежали принадлежавшие старой гувернантке убогие предметы туалета: посеребренные щеточки с выбитым на них рисунком и зеркало в никелированной оправе; в углу стоял видавший виды черный дорожный сундучок, на шкафу громоздился большой ящик для шляп, стенки которого были обиты лоснящейся кожей. В богато обставленном гостиничном номере с лакированной мебелью красного дерева вещи мисс Кинг казались жалкими и неказистыми. Свет в комнате был невыносимо ярок.

— Не будет ли вам удобнее, если я убавлю освещение? — спросил Эшенден.

Он выключил все лампы, кроме светильника возле кровати, затем снова сел. Ему очень хотелось курить. И снова взор его приковали к себе ее глаза, в которых как будто сосредоточилось все, что осталось живого в этой дряхлой женщине. Писатель теперь не сомневался, что ей крайне необходимо что-то ему рассказать. Но что именно? Что именно? Не исключено, что она позвала его лишь потому, что, чувствуя приближение смерти, ощутила вдруг острую тоску, желание после стольких проведенных вдали от родины лет видеть у своего смертного одра кого-нибудь из соотечественников, общества которых она так долго была лишена. Именно такого мнения придерживался доктор. Но почему же тогда она послала именно за ним, Эшенденом? Ведь были же в отеле и другие англичане. Например, одна пожилая пара — отставной чиновник индийской администрации с женой. Куда более естественно, если бы она послала за ними. Трудно было найти человека, более чуждого ей по духу, чем Эшенден.

— Вы хотите что-то сказать мне, мисс Кинг?

Он пытался прочесть в ее глазах ответ. Они по-прежнему смотрели на него с невысказанной мольбой, но что мог означать этот взгляд, писатель не имел понятия.

— Не бойтесь, я не уйду. Пока я вам нужен, я буду здесь.

В ответ — ничего. Ничего! Лишь взгляд этих черных глаз. Чем дольше Эшенден смотрел в них, тем сильнее было впечатление, что они пылают таинственным жаром, как будто в глубине каждого из них горит огонек. Взгляд умирающей был все так же неотрывно устремлен на его лицо. Писатель спросил себя, не потому ли она послала за ним, что знала: он агент британской разведки? Возможно ли, что в последний момент эта старая женщина вдруг изменила своим симпатиям, которым была верна

---

[1] Доброй ночи, бедная моя мадемуазель *(франц.)*.

столько лет? Быть может, на смертном одре в ней снова проснулась любовь к родине — чувство, спавшее полвека («Глупец я, глупец,— думал писатель.— Лезет в голову всякая сентиментальная чушь. Тешусь пустыми выдумками»), а может, ее охватило горячее желание сделать что-то, чтобы поддержать своих воюющих соотечественников? В ожидании смерти трудно оставаться самим собой, и патриотизм (чувство, которое в мирное время отводят политикам, публицистам и дуракам, хотя в суровые дни войны оно способно затронуть струны многих человеческих сердец), итак, патриотизм может заставить человека совершать самые неожиданные поступки. Странно, что мисс Кинг не пожелала видеть шейха и его дочерей. Неужели она внезапно их возненавидела? Не чувствовала ли она, что из-за них предала интересы родной страны, и не пыталась ли сейчас, в последние часы своей жизни, хоть как-то это компенсировать? («Все это совершенно неправдоподобно, она всего-навсего глупая старая дева, которой следовало умереть много лет назад!») Однако не следует отвергать и то, что кажется неправдоподобным. Эшенден неким странным образом укрепился во мнении, что гувернантка хотела доверить ему какую-то тайну, хотя здравый смысл не позволял ему в это верить. Быть может, она послала за ним, зная, кто он, и не сомневаясь, что он сможет извлечь из этого пользу. Она умирала, и бояться ей было нечего. Но была ли эта тайна действительно важной? Эшенден немного наклонился вперед в попытке понять, что все-таки пытаются выразить ее глаза. Не исключено, что тайна эта — совершеннейший пустяк, представляющий важность лишь для самóй выжившей из ума старухи. Писателю надоели люди, которым каждый мирный прохожий кажется шпионом, а любое случайное стечение обстоятельств — заговором. Он готов был держать пари — сто к одному,— что если б мисс Кинг вновь обрела дар речи, то сообщила бы ему какую-нибудь никому не интересную ерунду.

Да, но сколько всего могла знать эта старуха! Ее зоркие глаза и чуткий слух могли помочь ей докопаться до таких вещей, которые были надежно укрыты от людей куда более значительных. Эшенден снова подумал: не зря ему казалось, что вокруг него затевается какая-то возня. Странно, что Хольцминдену приспичило явиться в отель именно в тот вечер. И еще, почему шейх Али и секретарь-паша, эти завзятые игроки, зря потеряли столько времени, играя с ним в бридж-контракт? Могло оказаться, что враждебная сторона избрала новый план действий, что затевались грандиозные дела, и не исключено, что собранная этой старой женщиной информация могла бы повлиять на ход событий в мире. Могло решиться даже, кто победит в войне, хотя могло и не решиться ничего. А старуха лежит здесь и не в состоянии сказать ни слова! Эшенден долго смотрел на нее молча, потом вдруг громко спросил:

— То, что вы хотите мне сказать, мисс Кинг, имеет какое-то отношение к войне?

Дрожь пробежала по сморщенному личику старушки, в глазах ее что-то промелькнуло. Наступил критический момент. Что-то происходило — нечто необычное, ужасное. Эшенден затаил дыхание.

Хрупкое маленькое тельце вдруг начали сотрясать судороги, и мисс Кинг, как будто собрав в последнем отчаянном порыве все свои силы, приподнялась с подушек. Писатель кинулся к ней, чтобы ее поддержать.

— Англия! — произнесла она одно лишь слово хриплым, надтреснутым голосом — и откинулась назад, на руки Эшендену.

Опустив ее на подушки, писатель увидел, что она мертва.

Белье мистера Харрингтона

Когда Эшенден вышел на палубу и увидел перед собой пологий берег и белые здания, его охватила приятная дрожь возбуждения. Час был ранний, солнце только встало, однако море уже отливало зеркальным блеском, а в небесах сгустилась голубизна. Было уже тепло, и день обещал быть знойным.

Владивосток. Одно это название вызывало ощущение, что вы попали на край света. Эшенден долго был в пути — из Нью-Йорка доехал на поезде до Сан-Франциско, оттуда на японском судне добрался до Йокогамы, затем из Цуруги — уже на русском корабле, где он был единственным англичанином,— по Японскому морю до Владивостока. Там писатель должен был сесть на транссибирский экспресс и на нем доехать до Петрограда. На сей раз на Эшендена было возложено самое важное задание за все время его деятельности в качестве тайного агента, и ему нравилось ощущать бремя столь серьезной ответственности. Некому было давать ему указания; в материальном же плане его не ограничивали вовсе (в поясе его были зашиты разменные чеки на столь огромную сумму, что у писателя каждый раз кружилась голова, когда он об этом вспоминал), и хотя ему поручили то, что находилось за пределами человеческих возможностей, он не сознавал этого и с обычной своей самоуверенностью готов был взяться за дело. Он верил в собственные силы. Хотя он уважал и ценил в людях способность испытывать глубокие чувства, но весьма низко ставил их интеллект: человеку всегда легче геройски принести себя в жертву, чем выучить таблицу умножения.

От десяти дней, которые Эшендену предстояло провести в русском поезде, вряд ли можно было ожидать чего-то интересного. В Йокогаме до писателя дошли слухи, что где-то в Сибири в одном или двух местах разрушены мосты и железнодорожное сообщение прервано. Эшендену пообещали, что шайки дезертиров непременно ограбят его дочиста и бросят погибать где-нибудь в степи. «Нечего сказать, приятная перспектива!» — думал он. Однако поезд отходил по расписанию, и что бы ни случилось потом (Эшенден всегда считал, что дела обычно оборачиваются лучше, чем мы того ожидаем), писатель решил занять свое место в вагоне. По прибытии во Владивосток он намеревался сразу пойти в британское консульство и выяснить, нет ли для него каких-нибудь инструкций; однако, когда корабль приблизился к берегу и Эшенден смог разглядеть грязный и беспорядочно застроенный город, писатель остро ощутил свое одиночество. Он знал лишь несколько русских слов. Единственным человеком на корабле, говорившим по-английски, был судовой эконом, и хотя он обещал Эшендену сделать все, что в его силах, чтобы ему помочь, у того сложилось впечатление, что на этого типа не очень-то можно полагаться. Писатель почувствовал облегчение, когда сразу после того как корабль причалил к пирсу, к нему подошел невысокий молодой человек с копной разметавшихся волос, по виду еврей, и спросил, не он ли мистер Эшенден.

— Меня зовут Бенедикт. Я переводчик в здешнем британском консульстве. Мне поручили о вас позаботиться. Мы достали вам билет на поезд, отправляющийся сегодня вечером.

Писатель сразу пришел в хорошее настроение. Они вдвоем вышли на берег. Маленький переводчик проследил за тем, как выгружали багаж Эшендена, и проглядел его паспорт. Затем они сели в ожидавшую их машину, которая доставила их в консульство.

— Я получил инструкции содействовать вам всеми силами,— сказал Эшендену консул.— Так что вам нужно лишь высказать все ваши пожелания. Мне удалось достать для вас билет на поезд, но одному Богу известно, доберетесь ли вы когда-нибудь до Петрограда. Да, кстати, я нашел вам попутчика, который будет сопровождать вас в поезде. Его фамилия Харрингтон, он американец, едет в Петроград по делам одной филадельфийской фирмы. Хочет завязать какие-то контакты с Временным правительством.

— Что он за человек? — спросил писатель.

— О, с ним все в порядке. Я хотел пригласить его вместе с американским консулом на ленч, но они уехали за город что-то осматривать. Вам надо попасть на вокзал часа за два до отхода поезда. Там всегда ужасная толчея, и если вы не придете заблаговременно, кто-нибудь займет ваше место.

Поезд отходил в полночь, и Эшенден пообедал с Бенедиктом в вокзаль-

ном ресторане, который, похоже, остался единственным местом в этом невзрачном городе, где можно было прилично поесть. Там было полно народа; обслуживали же клиентов невыносимо медленно. Затем Эшенден с Бенедиктом вышли на перрон, где уже бурлил людской водоворот, хотя до отхода поезда оставалось еще два часа. Целые семьи сидели на своих вещах; казалось, они расположились здесь лагерем уже давно. Люди метались взад и вперед или, собравшись небольшими кучками, о чем-то ожесточенно спорили. Женщины визжали пронзительными голосами. Неподалеку двое мужчин злобно бранились и наседали друг на друга. Вся картина производила впечатление какого-то вселенского хаоса. Свет на перроне был слабый и мертвенно-бледный, и белые лица всех этих людей напоминали лики ожидающих Страшного Суда покойников — спокойных или разъяренных, обезумевших от горя или кающихся.

Наконец состав был подан. Большинство вагонов было забито до отказа. Когда Бенедикт в конце концов отыскал тот, в котором должен был ехать Эшенден, оттуда выскочил возбужденный человек.

— Заходите и садитесь,— сказал он.— Ужасно трудно было удержать ваше место. Один тип хотел его занять; он был с женой и двумя детьми. Наш консул сейчас пошел с ним к начальнику станции.

— Это мистер Харрингтон,— представил американца Бенедикт.

Эшенден вошел в вагон. В купе было два спальных места. Носильщик поставил чемоданы под сиденье. Писатель обменялся рукопожатием с попутчиком.

Мистер Джон Куинси Харрингтон был весьма тощим мужчиной чуть ниже среднего роста с желтоватым худым лицом и большими бледно-голубыми глазами. Когда он снял шляпу, чтобы вытереть лоб, вспотевший в результате пережитых волнений, на свет Божий явился большой лысый череп с выступающими костями; впадины и выпуклости на нем были ясно видны во всей своей неприглядности. Человек этот носил котелок, черный сюртук, жилет, полосатые брюки, белый стоячий воротничок и строгий галстук блеклых тонов. Эшенден не представлял себе, как следует одеваться во время десятидневной поездки по Сибири, но ему не могло не казаться, что костюм мистера Харрингтона излишне элегантен. Американец тщательно подбирал и взвешивал каждое слово; голос его был высоким, и по акценту Эшенден распознал в этом человеке уроженца Новой Англии.

Через минуту явился начальник станции в сопровождении бородатого русского, очевидно, взволнованного до глубины души; с ним была женщина, державшая на руках двоих маленьких детей. Мужчина, по лицу которого бежали слезы, дрожащими губами что-то говорил начальнику станции, а жена его в промежутках между рыданиями рассказывала, по-видимому, историю своей жизни. Когда они подошли к вагону, перебранка стала более ожесточенной; в нее вступил и Бенедикт, изъяснявшийся на чистом русском языке. Мистер Харрингтон не знал ни единого русского слова, но явно будучи возбудимым по натуре человеком, вмешался в разговор и стал на цветистом английском языке объяснять, что эти места были забронированы консулами Великобритании и Соединенных Штатов в соответствии с железнодорожными правилами, и что, хотя он не знает, что думает по этому поводу английский король, но с уверенностью и полной ответственностью может сказать, что президент Соединенных Штатов никогда не допустит, чтобы американского гражданина лишили места в поезде, за которое он должным образом заплатил; его отсюда можно будет извлечь лишь силой — добром он не уступит; если же они посмеют его тронуть, он тотчас же заявит жалобу своему консулу. Все это и еще многое другое он сказал начальнику станции, который, разумеется, не имел ни малейшего понятия, о чем ему говорят, но с не меньшей выразительностью и бурной жестикуляцией произнес в ответ не менее страстную речь на своем языке. Это вознесло негодование мистера Харрингтона на еще большие высоты, и, побледнев и потрясая кулаками у лица начальника станции, он выкрикнул:

— Скажите ему, что я не понимаю ни слова из того, что он говорит, и не хочу понимать. Если эти русские хотят, чтобы их считали

цивилизованными людьми, почему они не говорят на языках цивилизованных наций? Скажите им, что я — мистер Джон Куинси Харрингтон и что путешествую я как полномочный представитель господ Крюва и Адамса из Филадельфии с рекомендательным письмом к мистеру Керенскому. Если меня не оставят в покое, мистер Крюв поднимет вопрос об этом перед правительством в Вашингтоне.

Поведение мистера Харрингтона было столь агрессивным, а жестикуляция — такой угрожающей, что начальник станции, признав свое поражение, повернулся на каблуках и, не сказав больше ни слова, с угрюмым видом удалился прочь. За ним последовал бородатый русский с женой; на ходу они ожесточенно доказывали свою правоту. Дети на руках у женщины хранили невозмутимое спокойствие.

Мистер Харрингтон снова вскочил в вагон.

— Ужасно жаль, что я не уступил место женщине с двумя детьми,— воскликнул он.— Никто лучше меня не знает, какое уважение питаю я к Женщине и к Матери; однако я должен попасть в Петроград именно на этом поезде, чтобы не провалить одно чрезвычайно важное дело. Я не намерен торчать целых десять дней в проходе или в тамбуре даже ради всех матерей России!

— Я вас не виню,— откликнулся Эшенден.

— Я сам человек женатый, у меня двое детей. Понимаю, что путешествовать с семьей — дело нелегкое, но ведь, насколько я себе представляю, ничто не мешало этим людям остаться дома.

Если вас заперли с кем-то на десять дней в купе железнодорожного вагона, вряд ли вам не удастся узнать об этом человеке все, что стоит знать. Эшенден в течение десяти (а если точнее — одиннадцати) дней проводил по двадцать четыре часа в сутки с мистером Харрингтоном. Да, верно, три раза в день они отправлялись в вагон-ресторан, но и там сидели за столиком друг против друга; верно, что поезд два раза в день — утром и днем — останавливался на час и пассажиры могли побродить взад-вперед по платформе, но эти двое ходили бок о бок. Эшенден свел знакомство кое с кем из пассажиров, и они нередко заходили к ним в купе поболтать, однако, если разговор велся по-французски или по-немецки, мистер Харрингтон, состроив кислую мину, взирал на гостей с видом крайнего неудовольствия, а если они изъяснялись по-английски — перебивал их и начинал говорить сам, не давая никому вставить ни единого слова. Причина заключалась в том, что мистер Харрингтон был говорун. Он говорил так, как будто это было одной из неотъемлемых функций человеческого организма, как дыхание или прием пищи,— говорил машинально, не задумываясь, не потому, что ему было что сказать, но по той лишь причине, что не мог от этого удержаться. Голос его был высоким и немного гнусавым, к тому же он звучал монотонно — интонации всегда были одними и теми же. Мистер Харрингтон старательно подбирал слова, неторопливо строил фразы; словарный запас его был обилен. Он никогда не употреблял короткое слово, если была возможность использовать более длинное; пауз он тоже никогда не делал. Он говорил, говорил, говорил. Речи его не были похожи на бурный поток — в них не было ничего стремительного, импульсивного, их можно было уподобить потоку лавы, стекающему по склону вулкана,— в их течении чувствовалась спокойная и неодолимая сила, и они так же захлестывали всех, кто оказывался на их пути.

Эшенден подумал, что ему никогда не удавалось узнать о человеке больше, чем он узнал о мистере Харрингтоне, да и не только о нем, но и о его взглядах на жизнь, привычках и финансовых делах, а заодно о его жене, о семье его жены, о его детях и их друзьях по школе, о его родителях и о брачных узах, связывавших три-четыре последних поколения его семьи с лучшими домами Филадельфии. Корни его собственного семейства можно было найти в Девоншире, откуда оно эмигрировало в начале восемнадцатого века; мистер Харрингтон побывал в деревне, где на могилах в церковном дворе все еще можно было прочесть имена его предков. Он гордил-

ся своим английским происхождением, но не менее гордился и тем, что родился в Америке, хотя Америка для него была лишь узкой полосой земли вдоль атлантического побережья, а американцы — горсткой людей английского или голландского происхождения, чью кровь никогда не портили иноплеменные примеси. Всяких там немцев, шведов, ирландцев и выходцев из центральной и восточной Европы, за последние десять лет во множестве осевших в Соединенных Штатах, он считал нежелательными пришельцами. Он старался не обращать на них внимания, как девица благородных кровей, живущая в уединенном имении, отвращает глаза от фабричных труб, мешающих ей любоваться красотами пейзажа.

Когда Эшенден упомянул некоего американского толстосума, владельца нескольких шедевров живописи, мистер Харрингтон сказал:

— Я никогда с ним не встречался. Сестра моей бабушки, Мария Пенн Уормингтон, всегда говорила, что бабушка этого человека владела всеми тайнами кулинарного искусства. Сестра моей бабушки ужасно переживала, когда ту выдали замуж. По ее словам, она никогда не встречала никого, кто лучше мог бы испечь яблочный пирог.

Мистер Харрингтон был предан жене и невероятно долго расписывал, какая та заботливая, прямо-таки образцовая мать. У нее было слабое здоровье, ей делали множество хирургических операций, каждую из которых американец описал во всех деталях. Он сам тоже подвергся двум операциям — в первый раз у него вырезали гланды, во второй — аппендикс, и он поведал Эшендену обо всех своих ощущениях, которыми был ознаменован каждый день послеоперационного периода. Всем друзьям мистера Харрингтона тоже делали операции, так что обнаружилось: познания его в хирургии прямо-таки энциклопедические. У него было двое сыновей, оба еще учились в школе, и он всерьез задумывался, не сделать ли операции и им. Забавно, что один из сыновей страдал воспалением миндалин, а у другого было не все в порядке с аппендиксом. Они были преданы друг другу больше, чем все братья, каких только мистер Харрингтон видел в своей жизни, и его близкий друг, лучший хирург Филадельфии, предложил оперировать их одновременно, чтобы они не разлучались и в операционной. Американец показал Эшендену фотографии своих мальчиков и их матери. Он в первый раз в жизни расстался с семьей на время этого путешествия в Россию; каждое утро он писал длинное письмо жене, рассказывая ей обо всем, что происходило с ним за день и приводя все произнесенные им фразы. Эшенден наблюдал, как он покрывал один за другим листы бумаги своим ровным, четким почерком.

Мистер Харрингтон прочел все книги об искусстве ведения беседы и знал их содержание назубок. В специальный блокнотик он заносил все когда-либо слышанные им истории. Эшендену он поведал, что, собираясь на званый обед, заучивает полдюжины из них, чтобы оказаться на высоте положения. Он помечал истории буквой «Л», если их можно было рассказать в любом обществе, или буквой «М», если они годились лишь для мужских ушей. Специализировался он на анекдотах той разновидности, в которых долго и нудно перечисляются мелкие подробности, пока вдруг не наступает неожиданная комическая развязка. Он не пропускал ни малейшей детали повествования, и Эшенден, задолго до конца угадав, в чем здесь соль, нетерпеливо стискивал пальцы и хмурился, всеми силами пытаясь удержать рвавшийся с непослушных уст мрачный утробный смешок. Если в это время в купе входил кто-то из попутчиков, мистер Харрингтон сердечно его приветствовал:

— Не стесняйтесь, заходите и присаживайтесь. Я как раз рассказывал моему другу одну историю. Надо и вам ее послушать — уверен, что смешнее вы в жизни ничего не слышали.

И он снова начинал рассказывать все с самого начала, повторяя слово в слово то, что говорил раньше, не пропуская ни единого удачно подобранного эпитета, пока не добирался до заключительной остроты. Как-то писатель предложил подыскать хотя бы двоих умеющих играть в карты попутчиков, чтобы можно было коротать время за бриджем, однако мистер

Харрингтон заявил, что не притрагивается к картам из принципа. Когда же Эшенден в отчаянье стал раскладывать пасьянс, на лице его попутчика появилась гримаса отвращения.

— Больно видеть, как образованный человек тратит время на возню с картами. К тому же из всех видов пустого времяпрепровождения игра с самим собой, по-моему, есть наихудший. Это ведь мешает беседе. Человек — существо социальное, и лучшие свойства его интеллекта проявляются, когда он вступает в общение с себе подобными.

— В напрасной трате времени есть нечто изысканное,— возразил Эшенден.— Зря потратить деньги сумеет каждый дурак, но, растрачивая попусту время, вы расстаетесь с чем-то, практически не имеющим цены. Кстати,— заметил он с горечью,— вам же никто не мешает говорить.

— Как же мне говорить, когда вы заняты тем, что пытаетесь пристроить семерку черной масти к восьмерке красной? Беседа требует высочайшего напряжения мыслительных способностей, и, если вы уделяете внимание этому предмету, то должны понимать: вы имеете право ожидать от человека, к которому обращаетесь, что он будет слушать вас с полным вниманием.

Американец говорил это вовсе не в упрек, а с добродушным терпением имеющего большой жизненный опыт человека. Он всего лишь констатировал факт, предоставляя Эшендену согласиться с его точкой зрения или отвергнуть ее. Это было нечто вроде призыва мастера своего дела отнестись к его трудам серьезно.

Мистер Харрингтон был заядлым читателем. Книги он читал с карандашом в руке, подчеркивая привлекавшие его внимание места и выводя на полях четким своим почерком комментарии к прочитанному. Тезисы свои он любил обсуждать, и Эшенден нередко, сам взяв в руки книгу, вдруг замечал, что мистер Харрингтон с книгой в одной руке и карандашом в другой смотрит на него своими большими блеклыми глазами, и у писателя тогда начинало болезненно стучать сердце. Он не отваживался поднять глаза и даже перевернуть страницу, поскольку знал: мистер Харрингтон воспримет это как удобный повод для того, чтобы разразиться какой-нибудь нескончаемой тирадой. Тогда он замирал, прилипнув взглядом к какому-нибудь слову, подобно тому как цыпленок утыкается клювом в меловую черту; перевести дух писатель осмеливался лишь тогда, когда ему становилось ясно, что мистер Харрингтон изменил свои намерения и снова занялся чтением. В то время попутчик Эшендена изучал двухтомную «Историю американской конституции», а для отдыха листал пухлый том с речами великих ораторов всех времен и народов. Мистер Харрингтон ведь и сам был застольным оратором и проштудировал в свое время лучшие руководства по ораторскому искусству. Он хорошо знал, как наладить контакт с аудиторией, где принять проникновенный тон, дабы растрогать слушателей, как привлечь их внимание парочкой прибауток, более или менее уместных в данном случае, и как затем с подобающим случаю красноречием закончить свою речь.

Мистер Харрингтон обожал читать вслух. Эшенден часто замечал удручающее пристрастие американцев к подобному времяпрепровождению. В гостиной одного отеля он часто видел, как вечером, после обеда, некий отец семейства восседал в дальнем углу в окружении жены, дочери и двоих сыновей и вслух читал им книгу. На бороздивших просторы Атлантики судах он порою с благоговейным страхом наблюдал за высоким, худощавым, внушительного вида джентльменом, сидевшим в окружении пятнадцати дам не первой молодости и звучным голосом читавшим вслух историю искусств. Гуляя взад-вперед по прогулочной палубе парохода, он часто проходил мимо уютно устроившихся в корабельных креслах парочек, проводивших медовый месяц в путешествиях, и непременно слышал голосок какой-нибудь из новобрачных, размеренно читавшей своему юному супругу главы из модного романа. Такой способ выказывать страсть всегда казался Эшендену странным. У него были друзья, иной раз предлагавшие что-нибудь ему почитать. Был знаком он и с женщинами, признававшими-

ся, что они любят, когда им читают вслух. Однако он всегда вежливо уклонялся от подобных предложений, а намеки попросту игнорировал. Он сам терпеть не мог читать вслух и не выносил, когда вслух читали ему. В душе он считал предрасположенность американцев к этому виду времяпрепровождения единственным недостатком их почти совершенного национального характера. Однако бессмертные боги обожают жестоко посмеяться над слабым человеческим существом; в данном случае они положили его, связанного по рукам и ногам и беззащитного, на жертвенник, под нож жреца. Мистер Харрингтон тешил себя мыслью, что он хороший чтец, он даже взялся объяснять Эшендену теорию и практику художественного чтения. Писатель узнал от него, что существуют два типа такого чтения — драматическое и естественное. В первом случае вы имитируете голоса персонажей (если читаете роман), так что если героиня воет от горя, вы тоже должны выть, а если у нее от волнения хрипит голос, то вы должны немедленно охрипнуть тоже. Если же вами избрана естественная манера чтения, вы должны читать текст так же бесстрастно, как если бы оглашали прейскурант почтовых услуг на почте где-нибудь в Чикаго. К этой последней школе чтецов принадлежал и сам мистер Харрингтон. За семнадцать лет семейной жизни он прочел вслух жене и сыновьям (когда те уже достаточно выросли, чтобы иметь возможность наслаждаться его чтением) романы Вальтера Скотта, Джейн Остин, Диккенса, Теккерея, сестер Бронте, Джордж Эллиот, Натаниэля Готорна и Уильяма Дина Хоуэлса. Эшенден пришел к заключению, что чтение вслух — вторая натура мистера Харрингтона, и попытки удержать его от этого приводят американца в такое же беспокойное состояние, как попытки лишить табака заядлого курильщика. Он постоянно стремился застичь собеседника врасплох.

— Послушайте-ка! — восклицал он неожиданно, словно был поражен блестящим афоризмом или изящно построенной фразой.— Послушайте обязательно и скажите, не кажется ли вам, что эта мысль исключительно удачно сформулирована. Здесь всего три строчки.

Он зачитывал эти строчки, и Эшенден принуждал себя уделить ему внимание. Однако, дочитав до конца три строчки, мистер Харрингтон, ни на секунду не останавливаясь, чтобы перевести дух, читал дальше. Читал и читал. Своим высоким монотонным голосом читал без выражения страницу за страницей, ни разу не повышая тон. Писатель ерзал на сиденье, закладывал ногу на ногу, потом снова принимал прежнюю позу, чиркал спичками и закуривал сигареты, садился то так, то этак. А мистер Харрингтон читал и читал. Поезд медленно полз по бескрайним сибирским равнинам. Они проезжали какие-то деревушки, пересекали реки. Мистер Харрингтон по-прежнему читал и читал. Дочитав пространную речь Эдмунда Бёрка, он с победным видом откладывал книгу.

— Сдается мне, он один из лучших ораторов, изъяснявшихся на английском языке. Его речи — это, без сомнения, неотъемлемая часть духовного наследия нашей нации, и мы можем по-настоящему ими гордиться.

— Вас не смущает тот зловещий факт, что люди, к которым обращался Эдмунд Бёрк, все уже мертвы? — как-то раз мрачно спросил Эшенден.

Мистер Харрингтон совсем было собрался ответить, что едва ли стоит этому удивляться — ведь сия речь была произнесена в восемнадцатом веке, как вдруг у него забрезжила мысль, что Эшенден (у которого все еще был самый мрачный вид, что подтвердил бы любой непредвзятый наблюдатель) решил пошутить. Тогда американец хлопнул себя ладонью по ляжке и рассмеялся.

— Га-а! Вот это хорошо сказано! — воскликнул он.— Запишу-ка я это в свой блокнот. Могу себе представить, как я при случае повторю вашу шутку за ленчем в нашем клубе.

Мистер Харрингтон считался «высоколобым», но это прозвище, придуманное простонародьем как бранная кличка, носил как мученический венец; оно было для него символом, как раскаленная решетка, на которой поджаривали святого Лаврентия, или колесо, с помощью которого переломали кости святой Екатерине. Мистер Харрингтон гордился своим прозвищем, как почетным титулом.

— Эмерсон был высоколобым,— говорил он.— И Лонгфелло тоже. Высоколобыми были Оливер Уэнделл Холмс и Джеймс Рассел Лоуэлл [1].

Изучение американской литературы продвинуло познания мистера Харрингтона в глубь веков не далее того периода, в котором процветали эти крупные, хотя и скучноватые литераторы.

Мистер Харрингтон был зануда. Он выводил Эшендена из себя, выматывал его нервы, доводил до белого каления, чуть ли не до бешенства. Но нельзя сказать, что писатель испытывал к нему антипатию. Самодовольство американца было безграничным, но столь искренним, что на этого человека трудно было сердиться. Он задирал нос так по-детски, что над ним можно было лишь смеяться. Он был так доброжелателен, так участлив, уважителен и вежлив, что, хотя Эшенден иной раз охотно убил бы его на месте, он не мог не признать, что в некоторые недолгие промежутки времени чувствовал к нему нечто вроде симпатии. Манеры американца были самые лучшие, быть может, несколько принужденные, официальные (в этом нет ничего дурного, поскольку любые хорошие манеры — искусственное порождение общества и, таким образом, навевают воспоминания о напудренных париках и кружевных оборках); однако, хотя он получил их по наследству, что было одним из преимуществ его происхождения, его доброе сердце оттенило их еще ярче. Мистер Харрингтон всегда был готов помочь ближнему своему и, похоже, не боялся брать на себя лишний труд, угождая кому-нибудь их своих знакомых. Он был необычайно serviable [2]. Быть может, этому слову трудно найти эквивалент в другом языке,— ведь чудесное свойство, которое оно обозначает, не так-то часто встречаешь среди наших прагматичных современников. Когда Эшенден в течение нескольких дней болел, мистер Харрингтон с энтузиазмом за ним ухаживал. Эшендена смущала его заботливость, и хотя писатель был изнурен болезнью, ему не удавалось удержаться от смеха: смешило его то суетливое внимание, с которым американец измерял ему температуру, извлекал из своего аккуратно уложенного саквояжа целые залежи таблеток и настойчиво его ими пичкал. Мистер Харрингтон с трогательной тщательностью выбирал с тележки проводника еду, которую, по его мнению, Эшендену можно было есть. Он делал для него все, кроме одного: говорить он не перестал.

Только когда Эшенден одевался, американец замолкал — в эти минуты его девственный ум был всецело поглощен решением задачи, как переодеться раньше писателя, чтобы не показаться неделикатным. Этот человек всегда старался соблюдать благопристойность: каждый день менял белье, аккуратно извлекая свежее из саквояжа и так же аккуратно укладывая грязное в другой; он проявлял чудеса ловкости, чтобы в промежутке между двумя этими процедурами не показывать ни дюйма своего голого торса. Через день-два после отъезда из Владивостока Эшенден оставил попытки поддерживать чистоту своего тела и аккуратно одеваться — в этом грязном поезде сие было просто невозможно; а вот мистер Харрингтон отказался пасовать перед трудностями. Он выполнял гигиенические процедуры неторопливо и не обращал внимания на нетерпеливых пассажиров, гремевших дверной ручкой; зато каждое утро он появлялся из туалета чисто умытый, излучавший сияние и источавший запах мыла. Американец неизменно одевался в черный сюртук, брюки со штрипками и лакированные туфли и имел такой элегантный вид, как будто только что вышел из своего чистенького, маленького, сложенного из красных кирпичей дома и собирался сесть в трамвай, чтобы попасть в деловую часть города на службу.

Как-то посреди путешествия объявили, что мост пытались взорвать, а на следующей за мостом станции — беспорядки. Вполне могло случиться так, что поезд бы остановили, а пассажиров выгнали из вагонов и оставили на произвол судьбы, а то и захватили в плен.

Эшендену пришло в голову, что в таком случае он может остаться без багажа, так что он позаботился одеться в самую теплую одежду из всей, что

[1] Все четверо — американские поэты XIX века.

[2] Услужлив *(франц.)*.

была у него с собой; и теперь, если б ему пришлось провести зиму в Сибири, местные холода оказались бы для него не так уж страшны. Мистер Харрингтон же отказывался внимать разумным доводам и не делал никаких приготовлений к грозившим им всем испытаниям. Эшенден был уверен, что если бы этот человек даже провел три месяца в русской тюрьме, то и по выходе оттуда имел бы столь же опрятный, даже щеголеватый вид.

В поезд сели казаки; они стояли на площадках каждого вагона с заряженными ружьями наготове. Состав живо прогрохотал по поврежденному мосту. Дальше надо было проехать станцию — о грозящей опасности их уже предупреждали. Машинист развел пары, и состав стремительно пронесся мимо станции. На лице американца появилось несколько ироничное выражение, когда Эшенден снова переоделся в свой легкий летний костюм.

Мистер Харрингтон казался энергичным дельцом. Ясно было, что провести его под силу только большому хитрецу, и Эшенден не сомневался, что работодателям мистера Харрингтона кто-то удачно посоветовал дать подобное поручение именно ему. Он, без сомнения, положил бы все силы на то, чтобы блюсти их интересы, и если б ему удалось заключить столь нелегкую сделку с русскими, это было бы для него большим достижением. Его верность фирме служила гарантией того, что он вылезет из кожи вон, чтобы добиться успеха. О владельцах фирмы он отзывался уважительно, даже с горячностью. Этих людей он любил, гордился ими, однако не завидовал им, поскольку состояние их казалось ему слишком крупным. Мистер Харрингтон был вполне удовлетворен службой и не сомневался, что жалованье получает по заслугам. Ему вполне хватало денег, чтобы оплатить обучение своих детей и оставить жене в случае своей смерти какое-то наследство. Зачем же ему еще денег? Ему казалось, что быть слишком богатым — несколько вульгарно. Он считал, что культура важнее денег. Однако о деньгах он думал — после каждой трапезы он аккуратно заносил в блокнотик, во что ему обошлась еда. Его работодатели могли быть уверены: он не потребует с них ни пенни сверх того, что действительно истратил. Однако, обнаружив, что бедствующие жители России подходят на остановках к поезду, чтобы просить милостыню, и видя, что война действительно довела их до крайности, он старался перед каждой станцией запасаться множеством мелких монет и со смущенным видом, посмеиваясь над собой за то, что поддается на уловки всяких мошенников, рассовывал мелочь по карманам.

— Конечно, я знаю: они этого не заслуживают,— говорил он.— Да я и не для них это делаю, а только лишь для того, чтобы потом все время не думать об этом. Если меня мучает мысль, что я встретил голодного человека, но отказался дать ему денег на пропитание, у меня бывает такое ужасное настроение!

Мистер Харрингтон был смешон, но мил. Думать о том, что кто-то может обойтись с ним грубо, было невыносимо: это было хуже, чем ударить ребенка. А потому Эшенден, хотя в глубине души и злился, с дружелюбной миной молча страдал и с истинно христианским смирением терпел общество этого скромного, но, в общем, безжалостного человека. Путешествие из Владивостока в Петроград заняло одиннадцать дней; Эшендену порой казалось, что двенадцатого такого дня он бы не вынес. Он попросту убил бы мистера Харрингтона.

Когда наконец они подъезжали к Петрограду (Эшенден — усталый и чумазый, мистер Харрингтон — чисто одетый, веселый и сыпавший нравоучительными сентенциями), оба стояли у окна, глядя на плотно заселенные дома петроградской окраины. Американец повернулся к Эшендену и сказал:

— Знаете, я никогда не думал, что одиннадцать дней, которые мы провели в поезде, пролетят так быстро. Мы ведь чудесно провели время. Я просто-таки наслаждался вашим обществом и знаю, что вы наслаждались не меньше моего. Не собираюсь делать вид, будто не знаю, какой я хороший собеседник, но раз уж мы прибыли сюда вместе, надо бы нам держаться вместе и дальше. Пока я буду в Петрограде, мы должны видеться как можно чаще.

— У меня полно дел,— отозвался Эшенден.— Боюсь, что у меня будет не так уж много свободного времени.

— Понимаю,— тепло сказал мистер Харрингтон.— Думаю, я и сам буду очень занят, но уж вместе завтракать, во всяком случае, мы сможем, а по вечерам порой и встречаться и сравнивать наши наблюдения. Очень грустно будет, если мы сейчас расстанемся насовсем.

— Очень грустно,— вздохнул писатель.

* * *

Проснувшись в своей спальне, Эшенден присел на кровати и огляделся. Комната казалась какой-то убогой. У него не было сил немедленно начать разбирать чемоданы. Сколько он видел таких вот комнат в отелях разных городов с тех пор, как началась война,— роскошных и захудалых, вперемешку. Писателю казалось, что он живет на чемоданах с тех самых пор, как помнит себя.

Он очень устал. Его занимал вопрос, как же все-таки взяться за дело, ради которого он сюда послан. Он чувствовал себя затерянным среди просторов огромной России и страшно одиноким. Он протестовал, когда ему поручили эту миссию — она казалась слишком грандиозной; однако его возражения отвергли. Выбрали же Эшендена не потому, что начальство считало его подходящим человеком для подобного дела, а по той причине, что никого лучше не нашлось.

Раздался стук в дверь, и Эшенден, обрадовавшись случаю пустить в ход несколько вызубренных слов на незнакомом языке, откликнулся по-русски. Дверь отворилась — и писатель вскочил со стула.

— Входите, входите же! — воскликнул он.— Очень рад вас видеть!

Вошло три человека. Он знал их всех в лицо — они плыли с ним на одном корабле из Сан-Франциско в Йокогаму, но, соблюдая инструкции, не подавали вида, что знакомы с Эшенденом. Все они были чехи, изгнанные из своей страны за революционную деятельность и давно уже проживавшие в Соединенных Штатах. Их прислали в Россию, чтобы они помогли Эшендену выполнить задание и свели его с профессором З., чей авторитет среди живших в России чехов был непререкаем. Главным из этой троицы был некий доктор Эгон Орф, высокий худощавый человек с маленькой седой головой; он был доктором богословия и служил священником в одной из церквей на американском Среднем Западе, однако оставил свою паству, дабы поработать для освобождения родины. У Эшендена сложилось мнение, что он человек неглупый, не из тех, кто слишком много рассусоливает по поводу вопросов совести. Священник, посвятивший себя служению определенной цели, всегда имеет преимущество перед обычными людьми — он может убедить себя, что небеса одобряют практически любой его поступок. У этого доктора была смешная манера моргать глазами, к тому же он был чрезвычайно ироничен.

Эшенден втайне дважды беседовал с ним в Йокогаме и выяснил, что профессору З. не терпится освободить свою родину от гнета австрийцев и он знает, что это может произойти лишь в том случае, если в Австрии падет монархия, так что он душой и телом на стороне союзников, но тем не менее испытывает определенные сомнения. Профессор не делает того, чего не позволяет ему совесть; по его мнению, игра должна вестись честно, в открытую, так что некоторые шаги приходилось предпринимать за его спиной. Эшенден знал: влияние этого человека так велико, что его пожелания нельзя просто игнорировать, однако совершенно очевидно, что без необходимости лучше не позволять ему узнать подробности некоторых событий.

Доктор Орф прибыл в Петроград за неделю до Эшендена и теперь докладывал ему о положении дел. Писателю ситуация показалась критической, так что если они еще могли бы что-то предпринять, это надо было делать быстро. В армии росло недовольство, зрели бунты, положение правительства, возглавляемого безвольным Керенским, оказалось доволь-

но шатким — оно держалось лишь потому, что ни у кого не хватало решимости, чтобы его сбросить. Стране уже реально угрожал голод; не исключено было также, что немцы начнут наступление на Петроград. Послы Великобритании и Соединенных Штатов были уведомлены о прибытии Эшендена, но возложенная на него миссия осталась тайной даже для них; потому-то он и не мог рассчитывать на их помощь. Писатель договорился с доктором Орфом о встрече с профессором З., чтобы выяснить взгляды того на положение вещей и объяснить, что он, Эшенден, обладает достаточными денежными средствами, чтобы обеспечить проведение в жизнь любого плана, способного предотвратить грядущую катастрофу, которая, как предвидели союзники, немедленно заставила бы Россию заключить сепаратный мир с их общим врагом.

Однако Эшендену надо было установить контакты с влиятельными людьми разных сословий. Мистер Харрингтон, приехавший сюда с деловым предложением и письмами к министрам, должен был вести переговоры с членами правительства, так что ему требовался переводчик. Доктор Орф говорил по-русски почти так же хорошо, как на родном языке, и писателя осенила блестящая мысль, что чех как раз подходит на эту роль. Он ввел доктора в курс дела, и они договорились так: когда Эшенден будет сидеть за ленчем с мистером Харрингтоном, подойдет доктор Орф и поздоровается с писателем, как будто первый раз встретил его в этом городе, после чего Эшенден представит его американцу и, держа в руках нить разговора; скажет, что сам Бог послал мистеру Харрингтону в лице доктора Орфа идеально подходящего для его целей человека.

Однако у Эшендена на примете был и еще кое-кто. Поэтому он спросил чеха:

— Вам что-нибудь говорит такое имя: Анастасия Александровна Леонидова? Она дочь Александра Денисьева.

— Ну, разумеется, я его хорошо знаю.

— У меня есть основания думать, что она сейчас в Петрограде. Не могли бы вы выяснить, где она сейчас живет и чем занимается?

— С удовольствием.

Доктор Орф заговорил по-чешски с одним из сопровождающих его людей. Оба явно были продувными субъектами, один — высокий блондин, другой — коротышка-брюнет; оба моложе доктора Орфа, и писатель понял: именно они выполняют поручения доктора, поэтому тот и взял их с собой.

Человек, с которым говорил доктор Орф, кивнул, встал, пожал Эшендену руку и вышел.

— Постараемся собрать для вас все необходимые сведения в течение дня.

— Что ж, в таком случае остается только ждать,— сказал Эшенден.— По правде говоря, я одиннадцать дней не принимал ванну, и мне очень хочется наконец это сделать.

Писатель так и не мог решить, где же ему лучше думается — в ванне или в вагоне поезда. Что касается самих идей, они чаще приходили ему в голову именно в поезде, если тот двигался равномерно и не слишком быстро; много превосходнейших мыслей, например, посещало его в вагоне во время поездок по равнинам Франции; что же до возможности с наслаждением предаваться воспоминаниям или с удовольствием облекать в изящные словеса готовую уже фабулу, то тут ничто не могло сравниться с горячей ванной. Сейчас, барахтаясь в мыльной воде, как бегемот в грязной луже, писатель обдумывал тот факт, что отношениям его с этой женщиной, Анастасией Александровной Леонидовой, свойственна некая зловещая ирония.

В этих рассказах можно найти лишь неясные указания на то, что Эшенден был способен проявлять страсть, столь издевательски именуемую «нежной». Специалисты в науке о любви, эти очаровательные люди, делом жизни которых является то, что философы характеризуют лишь как развлечение, утверждают, что литераторы, художники и музыканты, словом,

все, кто связан с искусством, не очень-то преуспевают в любовных делах. Они лишь производят много шума из ничего: невнятно что-то бормочут или томно вздыхают, строят красивые фразы и создают романтическую обстановку, но в конечном итоге для таких людей искусство любви или они сами (что для них примерно одно и то же) важнее, чем сам объект их страсти, так что они предлагают любимому человеку лишь тень, бесплотный призрак, тогда как тому (как и всем нормальным людям, обладающим здоровой сексуальностью) хотелось бы получить нечто вещественное. Похоже, что в этом вопросе дела обстоят именно так, и, может быть, как раз поэтому женщины таят в душе такую злобную ненависть к искусству (об этом обстоятельстве, кажется, никто раньше даже не упоминал).

За последние двадцать лет Эшенден испытывал сердечные треволнения из-за нескольких очаровательных особ. Ему удалось получить немало удовольствия и расплатиться за это многими терзаниями, но, даже испытывая самые мучительные переживания из-за неразделенной любви, он все-таки оказывался в силах сказать себе, хотя и с искаженным лицом, что все это в конце концов послужит материалом для его творчества.

Анастасия Александровна Леонидова была дочерью революционера, осужденного на пожизненную каторгу в Сибири, но бежавшего оттуда и затем поселившегося в Англии. Человек он был способный и в течение тридцати лет успешно зарабатывал себе на жизнь пером и даже занял видное положение в английской словесности. Достигнув совершеннолетия, Анастасия Александровна вышла замуж за Владимира Семеновича Леонидова, также беглеца из России. Эшенден познакомился с нею через несколько лет после их свадьбы. Именно в это время Европа как бы заново открыла для себя Россию. Все читали русских прозаиков; русские танцоры покорили все цивилизованное человечество; русские композиторы затронули некие сокровенные струны в душах людей, уставших от Вагнера. Русское искусство прокатилось по Европе с неотвратимостью эпидемии гриппа. Вошла в моду новая манера говорить и чувствовать, бросались в глаза новые сочетания цветов; «высоколобые» говорили о себе (после минутного раздумья), что они — представители *интеллигенции*. Это русское слово было трудно написать, но легко произнести. Эшенден не являлся исключением — он заменил занавески на окне, повесил в углу своей комнаты икону, углубился в чтение Чехова и стал посещать балет.

Анастасия Александровна по рождению, образованию и стилю жизни была типичной интеллигенткой. Они с мужем обитали в маленьком домике близ Риджент-парка, где вся лондонская литературная братия могла с робким благоговением глазеть на бородатых гигантов с бледными лицами, прислонившихся к стене подобно кариатидам, обреченным стоять так денно и нощно. Это были революционеры, и чудом являлось уже то, что они находились здесь, а не на сибирских рудниках. Литературные дамы трепетно прикладывались губами к стаканам с водкой. Если вам везло и Судьба одаривала вас своей благосклонностью, вы могли обменяться здесь приветственным рукопожатием с Дягилевым. Подобно лепестку персикового дерева, гонимому легким ветерком, то и дело появлялась и исчезала Анна Павлова. В те времена Эшенден еще не пользовался настолько громким успехом, чтобы вызывающе взирать на снобов, одним из которых и сам был в молодости, но хотя кое-кто из них посматривал на него искоса, другие (оптимистичные натуры, сохранившие еще веру в человека) по-прежнему возлагали на него какие-то надежды. Анастасия Александровна прямо сказала ему, что он может считать себя представителем интеллигенции. Эшенден почти готов был в это поверить. В таком расположении духа он готов был поверить во что угодно. Он весь трепетал, и нервы его были на пределе. Казалось, ему наконец удалось схватить тот призрак романтической любви, за которым он так долго гонялся. У Анастасии Александровны были чудесные глаза, высокие скулы и вздернутый носик (указывавший, очевидно, на татарское происхождение); она была хорошо сложена (хотя формы ее в те дни принято было считать излишне чувственными), кожа отличалась белизной, а в большом рту было множество крупных

квадратных зубов. Наряды сей дамы отличались довольно броскими тонами. В темных печальных глазах Анастасии Александровны писателю виделись бескрайние русские степи, Кремль с его звенящими колоколами, пасхальные торжества в Исаакиевском соборе, густые серебристые буковые леса и Невский проспект — поразительно, сколь многое ему виделось в ее глазах, круглых, блестящих и чуть выпуклых, как у пекинеса. Они заставляли вспомнить об Алеше из «Братьев Карамазовых», о Наташе из «Войны и мира», об Анне Карениной и «Отцах и детях».

Эшенден вскоре обнаружил, что муж Анастасии Александровны в общем-то ей не пара, а потом узнал, что она разделяет это мнение. Владимир Семенович был низкорослым человеком с большой продолговатой головой, выглядевшей так, словно ее специально вытянули вверх, как конфету-тянучку. Голову его венчала большая копна непокорных, как у всех русских, волос. Человек он был спокойный и кроткий, и трудно было себе представить, что царское правительство всерьез встревожено его революционной деятельностью. Он преподавал русский язык и сотрудничал с московскими периодическими изданиями. Ему были присущи добродушие и обходительность. Эти качества в жизни очень ему пригождались — Анастасия Александровна оказалась женщиной с характером: если у нее болели зубы, Владимир Семенович претерпевал адские мучения, а когда сердце ее переполнялось горечью из-за постигавших ее страну несчастий, Владимир Семенович начинал жалеть, что вообще родился на свет Божий. Эшенден не мог не признать, что этому человеку не так уж хорошо жилось, но он был настолько безобиден, что почти нравился писателю. Когда Эшенден, воспользовавшись удобным случаем, сообщил Анастасии Александровне о своих страстных чувствах и к радости своей обнаружил, что пользуется взаимностью, его поставил в тупик вопрос, как же быть с Владимиром Семеновичем. Анастасия Александровна и Эшенден чувствовали, что жить друг без друга не могут. Писатель боялся, что революционные взгляды его подруги (да и мало ли что еще?) помешают ей согласиться вступить с ним в брак, однако, к немалому его удивлению и чрезвычайному облегчению, она с готовностью приняла его предложение.

— Как по-вашему, Владимир Семенович согласится на развод? — спросил он, присев на диван и коснувшись спиной занавесей, по цвету похожих на протухшее сырое мясо.

— Владимир меня обожает,— ответила она.— Это разобьет ему сердце.

— Он хороший человек. Мне не хочется заставлять его страдать. Надеюсь, он сможет все это пережить.

— Он этого не переживет. Не понимаете вы русского характера. Я твердо знаю: когда я от него уйду, он сразу почувствует, что жизнь потеряла для него всякий смысл. Не знаю ни одного мужчины, столь же поглощенного любовью к женщине, как он. Разумеется, он не захочет стать помехой на моем пути к счастью. Он для этого слишком великодушен. Владимир понимает, что, когда речь идет о развитии моей личности, я не имею права колебаться. Он, без сомнения, освободит меня от супружеских обетов.

В те времена английские законы о разводах были даже более сложными и нелепыми, чем сейчас, так что Эшенден на случай, если Анастасия Александровна не имеет о них ясного представления, объяснил ей сложность положения, в котором они находятся.

Она спокойным движением накрыла его ладонь своей.

— Владимир ни в коем случае не подвергнет меня вульгарному позорищу бракоразводного процесса. Когда я скажу ему, что решила выйти за вас, он покончит с собой.

— Это ужасно! — воскликнул писатель.

Он был поражен услышанным, даже испуган. Все это слишком уж походило на сцену из русского романа, и Эшенден отчетливо видел перед глазами захватывающие и страшные страницы, страницы, страницы, на которых подобную ситуацию описал бы Достоевский. Он знал, что там встретились бы невыносимые терзания героев, разбитые бутылки

шампанского, поездки к цыганам, водка, обмороки, каталепсия и долгие речи всех без исключения действующих лиц. Это были бы леденящие кровь страницы — одновременно прекрасные и душераздирающие.

— Все это сделает нас до крайности несчастными,— сказала Анастасия Александровна,— но я не представляю, что еще он мог бы придумать! Я не в силах просить его жить без меня. Он уподобился бы тогда судну без руля или автомобилю без карбюратора. Нет, я слишком хорошо знаю Володю — он покончит с собой.

— Каким образом? — спросил Эшенден, как и все реалисты, любивший подмечать характерные детали.

— Вышибет себе мозги из револьвера.

Писателю вспоминался «Росмерсхольм». В свое время он был правоверным ибсенистом и даже носился с мыслью выучить норвежский язык, чтобы читать классика в подлиннике и попытаться ощутить все ароматы букета его мыслей. Как-то раз ему довелось видеть Ибсена собственной персоной — знаменитый драматург потягивал мюнхенское пиво.

— Но неужели вы думаете, что нам будет дано изведать хоть один счастливый час, если на совести у нас окажется смерть этого человека? — спросил Эшенден.— Мне кажется, он в таком случае всегда стоял бы между нами.

— Да, знаю, мы будем страдать, ужасно страдать! — воскликнула Анастасия Александровна.— Но что делать? Такова жизнь. Мы должны думать и о Володе тоже, о его счастье. Он предпочтет уйти из жизни.

Она отвернулась, и Эшенден увидел, что щеки ее бороздят крупные слезы. Писатель был тронут. При его мягкосердечии думать о бедном Владимире Семеновиче, лежащем посреди комнаты с пулей в голове, оказалось невыносимо.

Ах, эти русские, ну и обычаи у них!

Однако когда Анастасия Александровна взяла наконец под контроль свои эмоции, она тяжело повернулась к Эшендену и взглянула на него своими влажными, круглыми, чуть выпуклыми глазами.

— Мы должны быть до конца уверены, что поступаем правильно,— сказала она.— Никогда себе не прощу, если сперва позволю Володе покончить с собой, а потом пойму, что ошиблась. Думаю, нам с вами следует убедиться, что мы действительно любим друг друга.

— Но разве вы в этом не уверены? — воскликнул Эшенден едва слышным от напряжения голосом.— Я это знаю твердо.

— Давайте съездим в Париж вместе на неделю и посмотрим, что из этого выйдет. Тогда нам все станет ясно.

Эшенден в общем-то был привержен общепринятым условностям, и такое предложение застало его врасплох. Однако он тут же опомнился. Анастасия была прекрасна. К тому же она отличалась быстрой реакцией и заметила его мимолетную неуверенность.

— Надеюсь, вы не страдаете мещанскими предрассудками?

— Конечно, нет,— торопливо заверил ее писатель, хотя до сих пор считал, что от подобных поступков его удерживала скорее совесть, нежели предрассудки.— По-моему, это восхитительная идея.

— Почему женщина должна ставить на карту всю свою жизнь? Невозможно ведь узнать, чего стоит мужчина, пока какое-то время не поживешь с ним вместе. Простая справедливость требует, чтобы и женщине была предоставлена возможность передумать, пока не поздно.

— В самом деле,— поддакнул Эшенден.

Анастасия Александровна была из тех женщин, у которых слова не расходятся с делом, так что они решили отбыть в Париж и назначили дату отъезда на ближайшую субботу.

— Я не стану говорить Володе, что еду с вами,— заявила она.— Это его лишь расстроит.

— Сие было бы весьма прискорбно,— отозвался Эшенден.

— Так что если к концу недели я решу, что мы с вами друг в друге обманулись, он даже ничего и не узнает.

— Да, действительно,— согласился писатель.

В условленный день они встретились на вокзале Виктория.

— Каким классом мы едем? — спросила она.

— Первым.

— Отлично. Папа и Володя из принципа путешествуют только третьим классом, меня же в поезде всегда укачивает, так что мне хочется положить голову на чье-нибудь плечо. В купе первого класса это как-то удобнее.

Когда поезд тронулся, Анастасия Александровна заявила, что чувствует головокружение, сняла шляпу и склонила голову на плечо Эшендена. Он обнял ее за талию.

— Если тебе не трудно, сиди спокойно,— проговорила она.

Когда они взошли на борт парохода, она спустилась в дамскую комнату, и в Кале была уже в состоянии довольно-таки плотно поесть. Однако когда они снова сели в поезд, она опять сняла шляпу и склонила голову на плечо писателя. Он решил заняться чтением и достал книгу.

— Ты не мог бы отложить книгу? — спросила она.— Мне надо находиться в неподвижном положении. Когда ты переворачиваешь страницы, мне кажется, что начинается землетрясение.

Наконец они прибыли в Париж и отправились в маленький отель на левом берегу Сены. Анастасия Александровна, останавливавшаяся там раньше, сказала, что у этого отеля есть свой, неповторимый стиль. Она не выносила гранд-отели на другом берегу и считала их безнадежно вульгарными и мещанскими.

— Я готов последовать за тобою в любое место, где только есть ванная,— объявил писатель.

Она рассмеялась и ущипнула его за щеку.

— Как здорово, что ты истый англичанин! Неужели ты не смог бы какую-то неделю обойтись без ванной? О, дорогой, дорогой мой, тебе столькому предстоит научиться в жизни!

Их разговор затянулся далеко за полночь. Беседовали они о Горьком и Карле Марксе, о человеческих судьбах, любви и братстве людей, за разговором выпили бесчисленное множество чашек чая, так что утром писатель охотно позавтракал бы в постели и встал бы лишь к ленчу. Однако Анастасия Александровна была из тех, кто просыпается рано. Коль скоро жизнь коротка, а сделать надо успеть многое, грешно завтракать хоть на минуту позже половины девятого. Парочка восседала в полутемной гостиной, где окна, судя по всему, не открывались не менее месяца. Так что у отеля был не только неповторимый стиль, но и неповторимый дух. Эшенден спросил Анастасию Александровну, что она хочет на завтрак.

— Омлет,— заявила она.

Ела она с аппетитом. Эшенден уже успел заметить, что его спутница любит поесть. Он подумал, что это, должно быть, отличительная черта русских. Трудно ведь представить себе, что Анна Каренина за обедом ограничивалась лишь чашечкой кофе и булочкой с марципанами, не так ли?

После завтрака парочка отправилась в Лувр, а днем гуляла в Люксембургском саду. Пообедали они рано, чтобы не опоздать на спектакль в «Комеди Франсез»; вечером же посетили русский кабачок и лихо там отплясывали.

Когда наутро они в половине девятого заняли места за столом, Эшенден снова спросил Анастасию Александровну, что та будет есть, и опять услышал:

— Омлет.

— Но мы же ели его вчера,— напомнил он.

— Давай закажем его и сегодня,— улыбнулась Анастасия Александровна.

— Хорошо.

День они провели почти так же, как предыдущий, с той лишь разницей, что вместо Лувра посетили музей Жимэ, а вместо Люксембургского сада — парк Карнавалетт.

Однако когда на следующее утро в ответ на вопрос Эшендена Анастасия Александровна снова выразила желание полакомиться омлетом, писатель пал духом.

— Да ведь мы ели омлет вчера и позавчера! — возразил он.

— По-твоему, это достаточно веская причина, чтобы не заказывать его сегодня?

— На мой взгляд, да.

— Неужели тебе сегодня изменило чувство юмора? — спросила она.— Лично я ем омлет каждый день. По-моему, из яиц лучшего блюда не приготовишь.

— Ну ладно, ладно, раз так, давай снова закажем омлет.

Но на следующий день он уже смотреть не мог на это кушанье.

— Неужели ты опять закажешь омлет? — осведомился Эшенден.

— А как же! — нежно улыбнулась ему она, демонстрируя два ряда больших ровных зубов.

— Ну хорошо, закажем его для тебя, я же попрошу приготовить мне яичницу.

Улыбка исчезла с ее лица.

— В самом деле? — Тут она сделала паузу.— Не кажется ли тебе, что это необдуманный поступок? Неужели, по-твоему, красиво задавать повару лишнюю работу? Ты остался тем, кем был,— англичанином, для которого слуги — все равно что автоматы. Тебе хоть приходило в голову, что у них, как и у тебя, есть сердце, чувства, эмоции? Что же тогда удивляться, если у пролетариата вызывает недовольство, даже бешенство чудовищный эгоизм буржуа — таких как ты?

— По-твоему, в Англии произойдет революция, если я закажу себе здесь, в Париже, яичницу, а не омлет?

Анастасия Александровна возмущенно вскинула голову.

— Ты меня не понял. Тут дело в принципе. Тебе все это кажется забавным, я знаю, ты любишь посмеяться, да я и сама понимаю юмор не хуже других — у нас ведь в России был известный писатель-юморист Чехов. Но неужели же ты не понимаешь, в чем суть? Сам твой подход к делу неверен. Ты просто какой-то толстокожий. Тебе было бы совестно говорить такое, будь ты в Петербурге в январе 1905 года. Когда я вспоминаю толпу у Зимнего — все, кто там был, преклонили колени на снегу, а казаки разили их шашками — женщин, детей!.. О, нет, нет, нет!..

Глаза ее наполнились слезами, лицо исказилось от боли. Она взяла Эшендена за руку.

— Я знаю, сердце у тебя доброе. Ты проявил легкомыслие, но мы не будем больше об этом вспоминать. Я знаю, ты не лишен воображения и очень чувствителен. Ты ведь закажешь себе омлет, как и я, правда?

— Да, конечно,— отозвался Эшенден.

После этого он каждое утро питался омлетом. Официант сказал ему:

— Monsieur aime les oeufs brouillés [1].

Но вот неделя прошла, и писатель вместе со своей спутницей вернулся в Лондон. На всем протяжении пути от Парижа до Кале, а затем от Дувра до Лондона Эшенден обнимал Анастасию Александровну за талию, и голова ее покоилась на его плече. Ему почему-то вдруг вспомнилось, что поездка из Нью-Йорка в Сан-Франциско длится пять дней. Наконец поезд прибыл на вокзал Виктория. Стоя на площади рядом с писателем в ожидании кеба, Анастасия Александровна взглянула на него своими круглыми, блестящими, чуть выпуклыми глазами.

— Чудесно мы провели время, правда?

— Восхитительно.

— Я уже приняла решение. Наш опыт удался. Я готова выйти за тебя замуж в любой день, когда захочешь.

Однако Эшенден сразу представил себе, как до конца дней своих будет есть по утрам омлет. Посадив спутницу в кеб, сам он сел в другой,

---

[1] Мсье так любит омлет! *(франц.)*.

отправился в агентство Кунарда и заказал себе спальное место в каюте первого же судна, отправлявшегося в Америку. Ни один эмигрант, жаждущий начать новую жизнь в Новом Свете, не взирал на статую Свободы с большей благодарностью, чем Эшенден, когда судно, на борту которого он находился, одним ясным солнечным утром вошло в нью-йоркскую гавань.

* * *

С тех пор миновало несколько лет. Эшенден так больше и не встречался с Анастасией Александровной. Ему было известно, что после Февральской революции она вместе с Владимиром Семеновичем вернулась в Россию. Могло статься, что супруги пригодились бы Эшендену — в конце концов, Владимир Семенович был обязан ему жизнью! Так что Эшенден решил написать Анастасии Александровне и попросить разрешения с нею увидеться.

Спускаясь к ленчу, писатель чувствовал себя отдохнувшим. Мистер Харрингтон уже ждал его. Они уселись за стол и приступили к трапезе.

— Попросите официанта принести нам хлеба,— сказал Эшендену его сотрапезник.

— Хлеба? — отозвался писатель.— Здесь не бывает хлеба.

— Я не могу есть без хлеба,— заявил американец.

— Боюсь, что вам придется без него обойтись. Здесь нет ни хлеба, ни масла, ни сахара, ни яиц, ни картофеля. Есть лишь рыба, мясо и зелень, вот и все.

У мистера Харрингтона отвисла челюсть.

— Как в осажденном городе,— вымолвил он.

— Чертовски похоже.

Американец некоторое время молчал, затем сказал:

— Могу сообщить вам, что я собираюсь делать. Намереваюсь закончить все свои дела в этой стране как можно скорее, а затем убраться отсюда. Уверен, миссис Харрингтон не одобрит то, что мне приходилось обходиться без масла и сахара. У меня весьма чувствительный желудок. Руководители моей фирмы не послали бы меня сюда, если бы знали, что мне придется жить в таких условиях.

Вскоре появился доктор Орф и вручил Эшендену конверт, на котором был написан адрес Анастасии Александровны. Писатель представил чеха мистеру Харрингтону. Очевидно было, что тому доктор Орф понравился, так что Эшенден поспешил поставить мистера Харрингтона в известность, что доктор — как раз тот человек, который мог бы ему помочь в качестве переводчика.

— Он говорит по-русски не хуже самих русских. В то же время он гражданин Соединенных Штатов, так что вас не предаст. Я неплохо знаю его и могу вас заверить: он человек вполне надежный.

Мистеру Харрингтону идея пришлась по вкусу, и после ленча Эшенден оставил его наедине с чехом улаживать дела. Он написал записку Анастасии Александровне и вскоре получил от нее ответ: она собиралась пойти на митинг, но обещала зайти к нему в отель часам к семи. Ожидая ее, писатель испытывал некоторые опасения. Конечно, он давно уже понял, что любит не ее, а Толстого, Достоевского, Римского-Корсакова, Стравинского и Бакста, однако не был уверен, что она тоже поняла это. Когда в девятом часу Анастасия Александровна наконец появилась, писатель пригласил ее присоединиться к нему и мистеру Харрингтону за обеденным столом. Присутствие третьего лица, как надеялся Эшенден, должно было воспрепятствовать тому, чтобы они с Анастасией Александровной испытали при встрече неловкость. Однако выяснилось, что беспокоился он напрасно: через пять минут после того как они приступили к первому блюду, у писателя не осталось сомнения, что она охладела к нему так же, как и он к ней. Эшенден испытал легкое потрясение — мужчине, даже очень скромному, нелегко примириться с тем, что любившая его когда-то женщина больше его не любит. И хотя он, конечно, не питал иллюзий, что Анастасия Александровна все эти пять лет изнывала от безнадежной страсти к нему, но надеялся,

что румянец на щеках, трепет ресниц, подрагивание губ выдадут то, что в сердце ее до сих пор отведен для него уголок. Ничуть! Она говорила с ним как с другом, которого не видела несколько дней и которого связывали с ней только деловые отношения. Писатель спросил о Владимире Семеновиче.

— Он не оправдал моих ожиданий,— ответила она.— Никогда не считала его умным человеком, но надеялась, что он хотя бы честен. Представьте себе, у него будет ребенок!

Мистер Харрингтон, намеревавшийся отправить в рот кусок рыбы, замер, рука его с зажатой в ней вилкой застыла в воздухе. Он очумело уставился на Анастасию Александровну. В его оправдание надо упомянуть, что он никогда в жизни не читал русских романов. Эшенден, тоже несколько озадаченный, бросил на собеседницу вопрошающий взгляд.

— Да нет, мать ребенка не я,— пояснила та с улыбкой.— Меня такие вещи мало привлекают. Это одна моя подруга, она известна как автор популярных статей по политической экономии. Не сказала бы, что она мыслит вполне логично, но я в последнюю очередь стала бы отрицать, что ее теории заслуживают внимания. У нее есть голова на плечах, о да, есть! — Анастасия Александровна повернулась к мистеру Харрингтону: — А вас интересует политическая экономия?

Американец, наверное, первый раз в жизни как будто онемел. Анастасия Александровна изложила мужчинам свои взгляды по этому вопросу, после чего они принялись обсуждать положение дел в России. Похоже, Анастасия Александровна была на короткой ноге с главами разных политических партий, и Эшенден решил осторожно намекнуть ей на возможность работать совместно с ним. Его былая страсть к этой женщине не помешала ему заметить, что она на редкость умна. После обеда он сказал мистеру Харрингтону, что желает обсудить кое-какие дела с Анастасией Александровной, после чего увлек ее в укромный уголок гостиной. Посвятив свою собеседницу в те подробности дела, с которыми он счел возможным ее познакомить, Эшенден обнаружил, что она заинтересовалась и готова ему помочь. Этой женщине были свойственны тяга к приключениям и властолюбие. Когда писатель намекнул, что в его распоряжении имеются крупные суммы денег, Анастасия Александровна сразу сообразила, что при его содействии могла бы завоевать в России большое влияние. Это тешило ее тщеславие. Она была страстной патриоткой, но, подобно многим патриотам, питала иллюзии, что ее собственное возвышение пойдет на благо родины. Прежде чем расстаться, они с Эшенденом обо всем договорились.

— Какая замечательная женщина,— сказал на следующее утро мистер Харрингтон, когда они с писателем приступали к завтраку.

— Смотрите не влюбитесь,— улыбнулся Эшенден.

Однако шутить на подобные темы мистер Харрингтон не был расположен.

— Со дня свадьбы с миссис Харрингтон я ни разу не взглянул на других женщин,— заявил он.— Наверное, муж этой особы — весьма дурной человек.

— Не отказался бы сейчас от омлета,— невпопад сказал Эшенден. На завтрак им подали чай без молока и маленькую плошку с вареньем вместо сахара.

С помощью Анастасии Александровны и маячившего на горизонте доктора Орфа Эшенден взялся за дело. Ситуация в России с каждым днем все осложнялась. Керенский, глава Временного правительства, снедаемый тщеславием, смещал всех министров, оказавшихся хоть сколько-нибудь способными людьми и угрожавших затмить его славу. Он произносил речи. Нехватка продовольствия в стране становилась все более катастрофической, на пороге стояла зима, а топлива не было. Но Керенский произносил речи. Тем временем зашевелились большевики, Ленин прятался уже в самом Петрограде. Говорят, Керенский знал, где его убежище, но не рискнул его арестовать. Он произносил речи.

Эшенден, забавляясь в душе, отметил про себя бесстрастие, с которым

мистер Харрингтон взирал на всю эту кутерьму. Колесо истории явно поворачивалось у них на глазах, но американец думал лишь о своих делах. Бизнес давался мистеру Харрингтону нелегко. Приходилось совать взятки секретарям и прочей мелкой сошке, чтобы они дозволили ему предстать перед влиятельными лицами. Американца часами держали в приемных, а затем без всяких церемоний выпроваживали на улицу. Когда же в конце концов он попадал на прием к влиятельным лицам, выяснялось, что тем нечего ему сказать, кроме пустых слов. Они давали ему обещания, но через день или два становилось ясно, что обещания эти ничего не значат. Эшенден посоветовал американцу доверить все дела ему и вернуться на родину, но тот и слышать об этом не хотел — фирма ведь возложила на него вполне определенное поручение, и он, черт возьми, выполнит его — или погибнет.

Потом его прибрала к рукам Анастасия Александровна. Между ними завязалась необычайно сердечная дружба. Мистер Харрингтон считал новую знакомую замечательной, хотя и до крайности безнравственной женщиной; он рассказал ей все о своей жене, двух сыновьях, об американской конституции; она же со своей стороны поведала ему все о Владимире Семеновиче и вдобавок о Толстом, Тургеневе и Достоевском. Они наслаждались обществом друг друга. Мистер Харрингтон заявил, что не в состоянии называть Анастасию Александровну по имени и отчеству, поскольку ему их очень трудно произносить, и стал звать ее Далила. Теперь она обратила свою неистощимую энергию на содействие мистеру Харрингтону и обходила вместе с ним людей, которые могли быть ему полезны.

Тем временем политический кризис назрел — начались мятежи, на улицах стало небезопасно. По Невскому проспекту то и дело проносились броневики с недовольными солдатами и матросами, которые, желая продемонстрировать свою неудовлетворенность ходом событий, постреливали в прохожих. Как-то раз, когда мистер Харрингтон и Анастасия Александровна ехали в трамвае, пули в нескольких местах пробили стекла, и пассажирам, чтобы уцелеть, пришлось лечь на пол. Американец был до крайности возмущен:

— Прямо на меня шлепнулась какая-то жирная старуха, а когда я попытался из-под нее выбраться, Далила схватила меня за волосы и крикнула: «Да не двигайся ты, дурак!» Манеры русских мне очень не нравятся.

— Ну, во всяком случае, с места вы так и не сдвинулись,— хохотнула Анастасия Александровна.

— Хорошо бы в вашей стране было немного меньше искусства и чуть больше цивилизованности.

— Вы буржуа, мистер Харрингтон, а вовсе не интеллигент.

— Первый раз слышу о себе такое, Далила. Если уж я не интеллигент, то не знаю, кого же можно назвать этим словом,— с достоинством парировал американец.

В один прекрасный день, когда Эшенден работал у себя в номере, раздался стук в дверь — и появилась Анастасия Александровна, следом за которой робко семенил мистер Харрингтон. Писатель увидел, что его посетительница крайне возбуждена.

— Что случилось? — спросил он.

— Если этот человек немедленно не уедет отсюда к себе в Америку, его убьют. Вы должны повлиять на него, иначе с ним случится что-нибудь ужасное.

— Да ладно вам, Далила,— резко произнес мистер Харрингтон.— Я вполне в состоянии о себе позаботиться, да мне и не грозила ни малейшая опасность.

— О чем вы все-таки говорите? — поинтересовался Эшенден.

— Мы с мистером Харрингтоном поехали в Александро-Невскую лавру поклониться могиле Достоевского,— объясняла Анастасия Александровна,— и на обратном пути видели, как какой-то солдат невежливо обошелся с пожилой женщиной.

— Ничего себе «невежливо обошелся»! — воскликнул мистер Харрингтон.— Женщина шла по улице, в руке у нее была сумка с продуктами. За

нею увязались двое солдат. Один из них выхватил у женщины сумку и быстро пошел с нею вперед. Женщина стала кричать, плакать. Не знаю, что она там говорила, хотя догадаться об этом нетрудно. Тогда второй солдат поднял ружье и прикладом огрел ее по голове. Верно я говорю, Далила?

— Да уж,— отозвалась она, безуспешно пытаясь удержаться от смеха.— И прежде чем я успела ему помешать, мистер Харрингтон выскочил из экипажа, догнал того солдата с сумкой, выхватил ее у него из рук и принялся отчитывать бравых вояк, называя их разбойниками и грабителями. Сперва солдаты совершенно растерялись, но затем пришли в ярость. Я подбежала к мистеру Харрингтону и стала объяснять солдатам, что он иностранец и к тому же пьян.

— Пьян?! — возмутился американец.

— Да, именно пьян. Конечно, собралась толпа. Все это грозило кончиться для нас весьма скверно.

Мистер Харрингтон улыбнулся, и его большие бледно-голубые глаза блеснули.

— У меня в этот момент создалось впечатление, что вы учите их уму-разуму. Наблюдать за вами было очень интересно — как будто смотришь спектакль.

— Да хватит вам чепуху городить! — вскочив, закричала взъярившаяся Анастасия Александровна.— Неужели вы не понимаете, что эти солдаты спокойно могли застрелить вас, да и меня в придачу, и никто из прохожих даже пальцем не пошевелил бы, чтобы нас защитить?

— Застрелить меня? Меня?! Я же гражданин Соединенных Штатов, Далила! Они не посмели бы тронуть и волоска на моей голове.

— Им трудно было бы найти там хоть один,— огрызнулась Анастасия Александровна, в гневе совершенно забывавшая о приличиях.— Если вам кажется, что русские солдаты, прежде чем вас убить, станут хоть сколько-нибудь колебаться из-за того, что вы гражданин Соединенных Штатов, то вскоре вас ожидает неприятнейший сюрприз.

— М-да, ну так что же сталось с той женщиной? — спросил писатель.

— Солдаты вскоре удалились, и мы подошли к ней.

— Корзинка все еще была у вас?

— Да. Мистер Харрингтон вцепился в нее мертвой хваткой. Старуха лежала на тротуаре, из раны у нее на голове текла кровь. Мы усадили бедняжку в экипаж, и когда она смогла говорить и сообщила нам, где живет, отвезли ее домой. У нее было сильное кровотечение, нам с трудом удалось его остановить.

Анастасия Александровна как-то странно посмотрела на американца, и тот, к удивлению Эшендена, залился краской.

— Ну, что там еще? — спросил писатель.

— Да понимаете, нам нечем было ее перевязать. Платок мистера Харрингтона весь пропитался кровью. На мне был лишь один предмет туалета, который можно было быстро снять, так что, когда я сняла...

Но тут американец ее прервал.

— Нет нужды рассказывать мистеру Эшендену, что́ именно вы сняли. Я человек женатый и знаю, что дамы это носят, но в обществе, на мой взгляд, упоминать об этом не следует.

Анастасия Александровна хихикнула.

— Тогда придется вам поцеловать меня, мистер Харрингтон. Если вы этого не сделаете, я во всеуслышанье скажу, какой это был предмет туалета.

Мистер Харрингтон несколько мгновений колебался, очевидно, взвешивая все за и против, однако не было сомнений, что Анастасия Александровна настроена решительно и свое слово сдержит.

— Что́ же, в таком случае можете меня поцеловать, Далила, хотя, должен сказать, не понимаю, какое вам от этого удовольствие.

Она обхватила его руками за шею и расцеловала в обе щеки, а потом вдруг разразилась потоком слез.

— Вы храбрый маленький джентльмен, мистер Харрингтон. Поступок ваш нелеп, но великолепен,— проговорила она, рыдая.

Американец удивился куда меньше, чем предполагал Эшенден. Он взглянул на свою Далилу с чуть заметной лукавой улыбкой и легонько потрепал ее по плечу.

— Ну, ну, Далила, успокойтесь. Все это произвело на вас неприятное впечатление, да? Вы так расстроены! У меня будет жестокий ревматизм в плечевом суставе, если вы не перестанете заливать его слезами.

Сцена была нелепой и трогательной. Эшенден смеялся, но в горле у него стоял комок.

Когда Анастасия Александровна оставила мужчин вдвоем, американец глубоко задумался.

— Странные они люди, эти русские,— внезапно сказал он.— Знаете, что она сделала? Стоя в экипаже, посреди улицы, где полным-полно народа, она сняла панталоны, разорвала их пополам и одну половину вручила мне, а вторую использовала как перевязочный материал. За всю свою жизнь я никогда не был так смущен.

— Почему вам взбрело в голову называть ее Далила? — с улыбкой спросил писатель.

Американец слегка покраснел.

— Понимаете, мистер Эшенден, она прямо-таки очаровательная женщина. С ней ужасно обходился муж, и я ей очень сочувствую. Русские — весьма эмоциональные люди, и мне не хотелось, чтобы она приняла это сочувствие за нечто другое. Так что я сказал ей, что очень предан миссис Харрингтон.

— Вы случайно не думаете, что Далила была женой Потифара[1]? — спросил писатель.

— Не знаю, что вы хотите этим сказать, мистер Эшенден,— отозвался американец.— Миссис Харрингтон всегда говорила, что я слишком подвержен воздействию женских чар, так что я решил: если называть нашу милую приятельницу Далилой, мое отношение к ней не будет вызывать у нее сомнений.

— По-моему, Россия — неподходящая для вас страна, мистер Харрингтон,— смеясь, заявил Эшенден.— На вашем месте я бы уехал отсюда как можно скорее.

— Пока не могу. Я наконец убедил их согласиться на мои условия, и на следующей неделе мы подпишем договор. Тогда я уложу вещи и уеду.

— Буду весьма удивлен, если договор этот не окажется просто клочком бумаги,— сказал Эшенден.

Он наконец разработал план кампании и изложил его в телеграмме, посланной тем, кто направил его в Петроград. Зашифровать телеграмму оказалось настолько трудно, что эта процедура заняла у него целые сутки. План был одобрен, и Эшендену обещали предоставить на проведение его в жизнь любые денежные средства. Писатель понимал, что не сможет ничего сделать, если Временное правительство не продержится еще хотя бы месяца три. Но близилась зима, а запасы продовольствия в городе кончались. Армия бунтовала, раздавались призывы заключить мир с немцами. Каждый вечер Эшенден выпивал чашечку шоколада с профессором З. и обсуждал с ним, как лучше использовать преданность обитавших в Петрограде чехов. Дом, где жила Анастасия Александровна, располагался в тихом районе, и Эшенден встречался здесь с самыми разными людьми. План, по которому действовал писатель, был разработан четко, и он прилагал все необходимые усилия к его осуществлению. Эшенден спорил, убеждал, давал обещания. Ему приходилось преодолевать колебания одних и бороться с фатализмом других. Приходилось давать оценки людям и с ходу определять, кто из них решителен, кто излишне самонадеян, кто честен, а кто нетверд в убеждениях. Приходилось обуздывать нетерпение, сталкиваясь с многословием русских, приходилось спокойно разговаривать

---

[1] Далила — филистимлянка, обольстившая библейского героя Самсона и затем предавшая его в руки соотечественников (см. Книгу Судей, 16). Жена Потифара пыталась соблазнить Иосифа Прекрасного; после того как он не уступил ее домогательствам, оклеветала его (см. Бытие, 39).

с людьми, согласными беседовать о чем угодно, лишь бы не о деле, приходилось сочувственно выслушивать выспренние речи и похвальбу; приходилось даже все время опасаться предательства. Приходилось высмеивать суетность глупцов и умерять притязания честолюбцев. Времени было в обрез. Множились слухи о том, что большевики активизируются. Керенский трепыхался, как перепуганная курица.

Затем грянул гром. В ночь на 7 ноября 1917 года большевики восстали, министры Керенского были арестованы, Зимний дворец разграбила толпа. Бразды правления захватили Ленин и Троцкий.

Рано утром к Эшендену в отель пришла Анастасия Александровна. Писатель зашифровывал телеграмму. Ночь он провел на ногах — сначала ходил в Смольный, затем в Зимний дворец и вернулся совершенно разбитый.

Лицо Анастасии Александровны было бледно, в блестящих карих глазах застыло трагическое выражение.

— Вы слышали? — спросила она.

Писатель кивнул.

— Это конец. Говорят, Керенский бежал. Его люди даже не пробовали по-настоящему сражаться.— Она пылала гневом.— Шут гороховый! — вскричала она.

В этот момент в дверь постучали, и Анастасия Александровна с неожиданно тревожным видом оглянулась.

— Знаете, у большевиков есть список тех, от кого они хотят избавиться. Мое имя там есть, не исключено, что и ваше тоже.

— Ну, если это они и им так уж хочется сюда попасть, для этого надо лишь повернуть дверную ручку,— улыбнувшись, ответил писатель, ощутивший, однако, странную тяжесть где-то в глубине живота.— Войдите!

Дверь отворилась, и вошел мистер Харрингтон. Выглядел он, как всегда, элегантно — на нем был черный пиджак и брюки со штрипками, глянец на туфлях был безукоризнен, голову венчал цилиндр, который американец, завидев Анастасию Александровну, тотчас снял.

— О, замечательно, что вы сегодня так рано! Я с утра сразу же отправился к вам — хотел поделиться своими новостями. Вчера вечером я тоже к вам заходил, но не застал вас дома. Вы даже к обеду не вышли.

— Да, я кое с кем беседовал у себя в номере,— ответил писатель.

— Поздравьте меня оба, вчера мои бумаги наконец-то были подписаны, так что задание мое выполнено успешно.

Мистер Харрингтон взирал на них с сияющей улыбкой, являя собой воплощенное самодовольство. Он пыжился как петух, побивший всех соперников. На Анастасию Александровну вдруг напал неудержимый истерический смех. Американец озадаченно уставился на нее.

— Да что случилось, Далила, в чем дело? — вопрошал он.

Та все смеялась и смеялась, пока из глаз ее не хлынули слезы; затем смех сменился самыми настоящими рыданиями.

Эшенден взял на себя труд объяснить ситуацию.

— Большевики сбросили Временное правительство. Министры Керенского в тюрьме. Большевики ходят по улицам и убивают людей. Далила говорила, что ее имя значится в их черных списках. Министр вчера подписал договор с вами лишь потому, что знал: это не будет иметь никаких последствий. Ваш контракт недействителен. Большевики намереваются как можно скорее заключить мир с Германией.

Анастасия Александровна взяла себя в руки так же быстро, как впала в истерику.

— Вам лучше как можно скорее покинуть Россию, мистер Харрингтон. Иностранцам сейчас находиться здесь небезопасно, к тому же может статься, что через несколько дней отсюда уже нельзя будет так просто уехать.

Американец поочередно смотрел на своих собеседников.

— Ничего себе! — выговорил он.— Ничего себе! Вы хотите сказать, что русский министр меня разыграл?!

Эшенден пожал плечами.

— Трудно сейчас угадать, о чем он думал. Кто знает, может, у него незаурядное чувство юмора и ему показалось забавным подписать контракт на пятьдесят миллионов за день до того, как его, быть может, поставили бы к стенке и расстреляли. Анастасия Александровна права, мистер Харрингтон, вам лучше первым же поездом уехать в Швецию.

— А вы как же?

— Мне тоже здесь нечего больше делать. Я сейчас запрошу по телеграфу инструкции и уеду, как только получу разрешение. Большевики рано или поздно до нас доберутся, так что людям, с которыми я работаю, придется прервать свою деятельность, чтобы спасти свои шкуры.

— Сегодня утром расстреляли Бориса Петровича,— нахмурившись, объявила Анастасия Александровна.

Они оба посмотрели на мистера Харрингтона, и тот уставил свой взгляд в пол. Гордость его была уязвлена, он напоминал проколотый воздушный шар. Однако уже через минуту он поднял голову и слегка улыбнулся Анастасии Александровне. Эшенден впервые заметил, какая у этого человека привлекательная, добрая улыбка — ее можно было даже назвать обезоруживающей.

— Если большевики охотятся за вами, Далила, не лучше ли вам поехать со мною, а? Я о вас позабочусь, и если вы захотите поселиться в Америке, то миссис Харрингтон, вне всяких сомнений, рада будет сделать для вас все возможное.

— Могу себе представить лицо миссис Харрингтон, если вы привезете к себе в Филадельфию беженку из России,— улыбнулась Анастасия Александровна.— Боюсь, что вам придется пуститься в очень уж длинные объяснения по этому поводу. Нет уж, я лучше останусь здесь.

— Но вам грозит опасность!

— Я русская, и мое место здесь. Не могу я покинуть родину в час, когда она больше всего во мне нуждается.

— Все это пустые разговоры, Далила,— очень спокойно сказал мистер Харрингтон.

Анастасия Александровна говорила с искренним глубоким чувством, однако теперь, чуть вздрогнув, бросила на американца лукавый взгляд.

— Я это прекрасно понимаю, Самсон,— ответила она.— По правде говоря, мне кажется, что у нас у всех теперь будет уйма свободного времени. Один Бог знает, что из этого выйдет, но мне любопытно было бы поглядеть. Ни за что на свете не хотела бы пропустить ни единого эпизода.

Мистер Харрингтон покачал головой и изрек:

— Любопытство — вот проклятие вашего пола, Далила.

— Идите-ка укладывать вещи, мистер Харрингтон,— сказал писатель, улыбаясь,— а мы проводим вас на вокзал. Поезд будут брать с боя.

— Хорошо, хорошо, иду. Я не буду жалеть о том, что уезжаю. С тех пор как я сюда приехал, мне ни разу не удавалось прилично поесть. Никогда не думал, что мне когда-нибудь в жизни придется пить кофе, не имея возможности курить при этом сигару, и есть черный хлеб — а мне разочек удалось его достать — без масла. Миссис Харрингтон никогда не поверит, если я расскажу ей, что́ мне пришлось тут вынести. Эта страна нуждается больше всего именно в организованности.

Когда американец удалился к себе в номер, Эшенден и Анастасия Александровна стали обсуждать сложившуюся ситуацию. Писатель был подавлен — все столь тщательно разработанные планы сорвались; собеседница же его, напротив, была возбуждена и строила самые смелые предположения о том, что принесет стране эта революция. Казалось, Анастасия Александровна говорила с полной серьезностью, но в глубине души, похоже, относилась к происходящему, как к спектаклю театра ужасов. Ей хотелось, чтобы все время случалось что-нибудь новенькое.

В этот момент снова послышался стук в дверь, и не успел Эшенден даже откликнуться, как в номер ворвался мистер Харрингтон.

— В этом отеле не обслуживание, а просто безобразие! — возмущенно кричал он.— Пятнадцать минут звоню — и хоть бы кто-нибудь обратил на это внимание!

— Вы звоните? — воскликнула Анастасия Александровна.— Да ведь в отеле не осталось никого из прислуги!

— Но мне нужно получить белье из прачечной — четыре рубашки, пару пижам и четыре воротничка! Носовые платки и носки я стираю у себя в номере сам. Мне нужно мое белье, без него я из этого отеля никуда не уеду!

— Не будьте идиотом! — закричал Эшенден.— Вам необходимо выбраться отсюда, пока еще можно. Если вышло так, что некому принести вам белье из прачечной, бросьте все и уезжайте.

— Простите, сэр, но на такой шаг я не пойду. Я сам добуду свое белье. Нет уж, не так сладко жилось мне в этой стране, чтобы я оставил здесь четыре превосходные рубашки и их потом носили эти чумазые большевики. Нет, сэр, без белья я из России не уеду!

Анастасия Александровна несколько мгновений смотрела в пол, затем с едва заметной усмешкой подняла голову. Эшендену показалось, что в глубине души ей почти приятно, что американец так упорствует в своей прихоти. По-своему, по-русски, она понимала, что мистер Харрингтон не может уехать из Петрограда без своего белья. Его настойчивость сделала эту проблему символичной.

— Пойду вниз, попробую узнать, может, кому-нибудь известно, где искать прачечную,— сказала она.— Если мне это удастся, могу сходить туда с вами, и вы заберете свое белье.

Лицо мистера Харрингтона посветлело, и он ответил со своей подкупающей, обезоруживающей улыбкой:

— Это было бы чертовски мило с вашей стороны, Далила. Не знаю, успели ли они постирать мое белье, но я в любом случае его заберу.

Анастасия Александровна вышла из номера.

— Ну, что вы теперь думаете о России и о русских? — спросил американец Эшендена.

— Я сыт ими по горло. Сыт по горло Толстым, Тургеневым, Достоевским. И Чеховым тоже. Сыт по горло интеллигенцией. Страстно мечтаю попасть вновь в общество людей, которые всегда знают, чего хотят, не меняют каждую минуту своих взглядов, держат слово. Я до смерти устал от красивых фраз, театральных поз и пафоса.

Эшенден, обессилевший от начинавшей одолевать его болезни, собрался было разразиться настоящим спичем, но его прервал какой-то странный треск, как будто кто-то сыпал горох на барабан. Эти звуки, нарушившие загадочное безмолвие города, звучали отрывисто и странно.

— Что там такое? — спросил американец.

— Из винтовок стреляют. Если не ошибаюсь, на том берегу реки.

Мистер Харрингтон с забавной боязливостью покосился на окно. Он рассмеялся, но лицо его несколько побледнело; видно было, что все это ему очень не нравится. Однако Эшенден его не осуждал.

— Кажется, пора мне идти... Не то чтобы я так уж боялся за себя, но у меня есть жена и дети, о которых надо заботиться. Я очень давно не получал писем от миссис Харрингтон, и это меня немного беспокоит.— На мгновение он умолк.— Хотелось бы мне, чтобы вы познакомились с моей супругой — она во всех отношениях замечательная женщина. Лучшей жены мужчине не сыскать. До этой моей поездки мы с ней не расставались больше, чем на три дня, с самого дня свадьбы.

Анастасия Александровна вернулась и объявила, что ей удалось узнать адрес прачечной.

— Туда минут сорок ходьбы отсюда,— сказала она.— Если вы готовы идти прямо сейчас, я составлю вам компанию.

— Готов.

— Будьте осторожны,— предупредил их Эшенден.— Сдается мне, на улицах сегодня небезопасно.

Анастасия Александровна взглянула на американца.

— Я должен забрать свое белье, Далила,— сказал он.— Не смогу спать спокойно, если брошу его здесь, да и миссис Харрингтон не даст мне об этом забыть.

— Тогда пошли.

Они вышли из номера, и Эшенден вернулся к прежнему своему нудному занятию — снова стал записывать весьма сложным шифром сокрушительные новости, которые необходимо было сообщить тем, кто его сюда направил. Послание вышло длинным — писателю пришлось запросить инструкции относительно собственных дальнейших шагов. Работа была механической, и в то же время отвлекаться было нельзя — перепутай он хотя бы одну цифру, целая фраза стала бы бессмысленной.

Внезапно дверь распахнулась, и в комнату ворвалась Анастасия Александровна. Шляпа ее куда-то делась, волосы растрепались, дыхание сбилось, глаза были выпучены. Анастасия Александровна явно была вне себя от возбуждения.

— Где мистер Харрингтон? — крикнула она.— Его здесь нет?

— Нет.

— Он у себя в номере?

— Не знаю. А что случилось? Давайте пойдем и посмотрим, если хотите. Кстати, почему вы не вернулись с ним вместе?

Они прошли в другой конец коридора и постучались в дверь номера, который занимал мистер Харрингтон. Ответа не было. Тогда они попробовали повернуть ручку, но дверь оказалась заперта.

— Его здесь нет.

Они вернулись в номер Эшендена. Анастасия Александровна бросилась в кресло.

— Будьте добры, дайте мне воды. Я совсем запыхалась, всю дорогу бежала.

Выпив залпом стакан воды, поданный ей писателем, Анастасия Александровна разразилась рыданиями.

— Надеюсь, с ним все в порядке. Никогда не прощу себе, если с ним что-нибудь случилось. Я думала, он вернется сюда раньше меня. Он таки добыл свое белье. Нашли мы эту прачечную. Там была какая-то старуха, она не хотела возвращать белье, но мы настаивали. Мистер Харрингтон взъярился — к его вещам так никто и не прикасался. Они были в том же виде, как он их отправил. Его белье принесли в прачечную вчера вечером, и оно все еще было в той самой бумаге, в которую мистер Харрингтон его завернул. Я сказала ему: «Что вы хотите? Это же Россия!» — на что он ответил, что в таком случае предпочитает иметь дело с дикарями. Я вела его к прачечной окольными путями, избегая широких улиц,— мне казалось, так будет лучше. Затем мы отправились в обратный путь. В конце одной из улиц, которые мы проходили, я увидела толпу людей и выступавшего перед ней оратора.

«Пойдем, послушаем, о чем он говорит»,— предложила я.

Явно было, что там о чем-то спорят. Это меня заинтересовало. Я захотела узнать, что там происходит.

«Лучше пойдем своей дорогой, Далила,— сказал мистер Харрингтон.— К чему нам вмешиваться в чужие дела?»

«Вы идите в отель и собирайте вещи, а я поглазею на то, что здесь происходит, позабавлюсь»,— ответила я.

Я поспешила туда, где была толпа, мистер Харрингтон последовал за мной. На площади собралось две или три сотни человек, перед ними выступал какой-то студент. А несколько рабочих своими недовольными выкриками все время перебивали оратора. Мне нравится бывать в гуще народа, так что я быстро смешалась с толпой. Вдруг раздались выстрелы, и, прежде чем мы поняли, что происходит, с одной из улиц выехали два броневика. Внутри сидели солдаты и стреляли по толпе. Зачем — не знаю. Думаю, ради забавы или по пьянке. Люди стали разбегаться, как перепуганные кролики. Каждый надеялся лишь на быстроту собственных ног. В суматохе я потеряла из виду мистера Харрингтона. Не могу понять, почему его до сих пор нет. Как, по-вашему, с ним ничего не случилось?

Эшенден какое-то время молчал.

— Надо идти туда и поискать его,— сказал он наконец.— Не понимаю, кой черт надоумил его идти за бельем, вместо того чтобы его бросить.

— А я его понимаю, отлично понимаю.

— От этого не легче,— отрезал писатель.— Пошли.

Он надел пальто и шляпу и в сопровождении Анастасии Александровны стал спускаться по лестнице. Гостиница казалась необитаемой. Они вышли на улицу. Прохожих почти не было. Трамваи не ходили, и нависшая над огромным городом тишина производила какое-то жуткое впечатление. Лавки были закрыты. С пугающим грохотом по улице промчался автомобиль. Попадавшиеся навстречу люди имели испуганный и удрученный вид. Пересекая широкий проспект, Эшенден и его спутница ускорили шаги. Там в нерешительности стояли сотни людей, как будто не зная, что делать дальше. Резервисты в потертых серых шинелях группами прохаживались по мостовой. Они были молчаливы и напоминали овец, ищущих глазами пастуха. Затем Анастасия Александровна вывела своего спутника на улицу, по которой недавно удирала от броневиков; вывела с противоположной стороны. Многие стекла в домах были разбиты — явный признак ожесточенной, беспорядочной стрельбы. Улица была совершенно пустынна. Видно было, где до этого собиралась толпа: кругом валялись брошенные в спешке предметы — книги, мужская шляпа, дамская сумочка, корзина. Анастасия Александровна потянула писателя за рукав — на мостовой, уронив голову на колени, сидела женщина; она была мертва. Чуть дальше лежали рядом двое мужчин, они также не подавали признаков жизни. Раненые, надо полагать, ухитрились отползти подальше или их оттащили друзья. И вот, наконец, они обнаружили мистера Харрингтона. Котелок его скатился в канаву. Американец лежал в луже крови, лицом вниз, его лысый череп с выступающими костями бледным пятном выделялся на темном асфальте, безукоризненный черный пиджак побурел от грязи. Руки мертвеца сжимали сверток с четырьмя рубашками, парой пижам и четырьмя воротничками. Мистер Харрингтон не упустил свое белье.

Редьярд Киплинг

ДЖОНАТАН СВИФТ (1667—1745)

В спорах как на войне: слабая сторона разжигает костры и устраивает шум, чтобы противник решил, будто она сильней, чем на самом деле.

Порицание — это тот налог, который человек платит обществу за право быть знаменитым.

Я сетую на то, что колода плохо перемешана, лишь до тех пор, пока не придет хорошая карта.

Сатира — это такое зеркало, в котором видны все лица, кроме своего собственного.

Партия — это безумие многих ради выгоды единиц.

Давно известно, что те, кому все отводят вторые места, имеют неоспоримое право на первое.

Самую большую и самую искреннюю часть наших молитв составляют жалобы.

ЛОРД ЧЕСТЕРФИЛД (1694—1773)

Советы редко принимаются с благодарностью; те, кто больше всего в них нуждается, реже всего ими пользуются.

Насмешка — лучшее испытание для истины.

Хитрость — тайное прибежище бездарности.

Дети и придворные ошибаются много реже, чем родители и короли.

На свете нет ничего более неразумного, чем полугнев и полудоверие.

Истинное остроумие — качество столь редкое, что многие им восхищаются, большинство к нему стремится, все его боятся и мало кто его ценит — разве что в себе самом.

СЭМЮЭЛ ДЖОНСОН (1709—1784)

Обездоленные лишены сострадания.

Доброта в нашей власти; привязанность — нет.

Гения чаще всего губит он сам.

Истинное удовлетворение похвала доставляет лишь в том случае, если в ней во всеуслышание повторяется то, что шепчет нам на ухо гордыня.

Чувствительные особы вовсе не рвутся сделать вам добро. Они предпочитают расплачиваться чувствами.

Похвала и лесть — это два гостеприимных хозяина; только первый поит своего гостя вдоволь, а второй спаивает.

Чем больше я знаю людей, тем меньшего от них жду. Поэтому теперь добиться от меня похвалы гораздо легче, чем раньше.

Почему-то мир так устроен, что о свободе громче всех кричат надсмотрщики рабов.

Праздной жизнью я живу не столько потому, что люблю общество, сколько потому, что избегаю самого себя.

Если ваш знакомый полагает, что между добродетелью и пороком нет никакой разницы, следует после его ухода пересчитать чайные ложечки.

Когда мясник говорит вам, что при мысли о родине сердце его обливается кровью, он знает, что говорит.

А. С. БАЙЕТТ

Розовые чашки

РАССКАЗ

Перевод Л. БЕСПАЛОВОЙ

В той комнате сидели три женщины, две — в низких креслах с овальными спинками, одна — в изножье кровати, из окна на ее светлые волосы падали лучи летнего солнца, лицо оставалось в тени. Молодые женщины, полные жизни — это было видно по всему: по тому, как стремительно, резко они поворачивали головы, как подносили руки ко рту, держали сигареты в длинных мундштуках, розовые чашки. На них были платья-рубашки до колен, на одной — оливковое, на другой — рыжее (порой оно казалось приглушенно-алым), на третьей, светловолосой,— платье цвета не то густых сливок, не то некрашеной шерсти. Все в гладких, без блеска, светлых чулках и туфлях с перепонками на пуговках, узконосых, на небольшом каблучке. У одной, темноволосой, волосы длинные, собраны в узел на затылке. У двух других — короткая стрижка. Светловолосая повернулась поглядеть в окно, и тут открылся на редкость красивый срез коротких серебристых и золотистых прядей от макушки к красивой шее. В красивом изгибе верхней губы чувствовались спокойствие, невозмутимость; вид у нее был собранный, и вместе с тем в нем сквозило ожидание. Третью женщину она видела хуже, ее волосы были острижены совсем коротко, по-мужски; Веронике стоило больших усилий увидеть ее волосы без проседи, не такими, какими они врезались ей в память.

А вот кресла она видела очень четко: одно в светло-зеленом полотняном плотно пригнанном чехле, другое в свободном ситцевом, в пышных, чуть поникших розах. Видела она и камин, рядом с ним совок для угля и медные щипцы с кочергой. Порой она видела в камине пламя, но чаще его устье зияло черной пустотой; стояло лето, и за окном, в просвете между розовыми ситцевыми занавесками, виделся неизменный сад колледжа с клумбами роз, густой цветочной каймой, прудом в лощинке, запахом скошенной травы. Эту картину оплетали листья, обвивавшие оконную раму снаружи,— степная роза, плющ, что же там вилось? Еще она видела бюро, но довольно смутно. Чтобы увидеть его, не стоило напрягать зрение: надо было терпеливо подождать. И еще там был темный угол, а в нем какой-то предмет, его ей так и не удавалось увидеть — шкаф, что ли? Зато низкий столик, накрытый для чая, она видела всегда. На нем стояли заварочный чайничек на подставке, поместительный чайник в мелкий цветочек, ореховый торт на блюде, нарезанная ломтиками солодовая булка и шесть розовых глянцевых чашек, радужно-веселых, переливчатых, с блюдцами в форме лепестков. По блестящей ярко-розовой поливе раскинулась сеть серовато-голубых и бело-золотых прожилок. Здесь же должны были лежать ножи для масла с закругленными концами и ручками слоновой кости — где ж им еще быть? — и хрустальная тарелочка с маслом. И еще одна с вареньем, а при ней особенная, плоская ложка для варенья. Женщины раз-

© A. S. Byatt, 1987

говаривали. Они кого-то ждали... Она не слышала ни слов, ни взрывов смеха. А вот скатерть белого полотна с мережкой по краю и выпуклую кайму, вышитую специальным шелком, нитками, попеременно окрашенными в разные оттенки одного тона, видела. Цветы на кайме ей виделись по преимуществу розами, хотя, если вглядеться, часто оказывалось, что это какие-то гибриды, а то и вовсе плоды фантазии. Она явно переложила розового.

Со второго этажа послышался голос Джейн, ее дочери, настырный, ноющий. Вопреки обыкновению, Джейн сидела дома — вследствие какого-то непредсказуемого перерыва в ее обычно весьма насыщенной светской жизни, которая протекала по разным домам и перетекала из одного в другой, из одной дружеской кухни в другую, в сопровождении оглушительного рока, едкого противозаконного дымка и гула голосов. Джейн взбрело в голову что-то сшить. Швейная машинка стояла в пустующей спальне. Судя по всему, Джейн раскромсала наволочку и сооружала из нее тряпичные полоски и диковинные банты, которыми порой украшала кое-какие варианты своих причесок. Машина не строчит, сказала Джейн, идиотская развалюха. Подсела к машине, решительно шлепанула ее, вскинула глаза — вокруг необычного лица лучами темной звезды торчат прямые налакированные пряди — чем не произведение искусства, только что колючее. Большие черные глаза — в ее отца — подведены черным, красивый рот — в Вероникиного отца — в лоснящейся, ярко-красной помаде. Крупная и складная, округлая и стройная, полная жизни женщина и нравный ребенок разом. Машина не строчит, чтоб ее, сказала Джейн, а сама крутила-накручивала колесо, изношенные поршни и шарниры лязгали. Дело в натяжении. Натяжение ни к черту. Джейн в бешенстве дергала лоскуты, и нитка, жужжа, вырывалась из-под лапки, где вращался челнок. Верхняя нитка рвется. Вероникиной матери подарили машинку в тридцатом году, на свадьбу,— она досталась ей уже подержанной. К Веронике она перешла в шестидесятом — тогда родилась старшая сестра Джейн. Вероника шила на ней платьишки детям, ночные рубашки. Что попроще. Портнихи из нее не получилось. Ее мать управлялась с машинкой с грехом пополам, тем не менее в войну машинка помогла ей как-то перебиться — она лицевала воротнички, укорачивала брюки, переделывала пальто на юбки, занавески на комбинезоны. А мать ее матери в конце века зарабатывала на жизнь шитьем. И вдобавок вышивала подушки, полотенца, платки и дорожки на буфеты.

Джейн теребила серьги, сложного плетения кольца золотой проволоки с подвесками из стеклянных бусинок. Я пыталась наладить натяжение, сказала она. Нить не идет назад. Джейн напористо хваталась за многое, к чему Вероника, как и все ее поколение, обнаружила полную непригодность: приборы, групповую жизнь, власть. Джейн жила в механизированном мире. Расхаживала по улицам, повесив на шею черный ящик, жилье ее опутывали гирлянды проводов — от радиоприемников, фенов, магнитофонов, щипцов для завивки волос, электробигуди. Она отцепила регулятор строчки на допотопном «Суон-Викерсе» и расшвыряла всевозможные металлические колесики по столу машинки. Сорвала злость на тонкой проволочной пружине, оканчивающейся игольным ушком, на котором при нормальной работе машинки подпрыгивает нитка. Она дергала, тянула пружину, выпрастывая из нее ушко, и вот оно уже торчало дрожащим, грозным, одиноким острием, указующим невесть куда.

Вероникой овладело бешенство. «Но это же пружина, Джейн»,— и в мозгу предупредительно зазвучал призрак ее собственного голоса, готового вот-вот жалобно заскулить: как ты можешь, у тебя что, совсем нет сердца, моя мать шила на этой машинке всю жизнь, а уж как я ее берегла, как следила за...

И вдруг услышала голос матери — в пятидесятых она так же безудержно, без конца ныла: как ты можешь, как можешь? И на миг увидела себя с матерью вдвоем — лицо у матери жалкое, убитое, углы рта опущены,

а сама она еще студентка, в туго накрахмаленной юбке, кожа без единой морщинки, глаза подведены, пылкая, смотрит на осколки глянцево-розовых чашек в обитом свинцом ящике из-под чая. Чашки эти подарила ей материнская подруга еще со времен колледжа, чтобы они послужили в том же колледже следующему поколению. Чашки ей не понравились. Она не любила розовый цвет, да и блюдца в форме лепестков сочла ужасно старомодными. Она и ее друзья пили растворимый кофе из керамических кружек или бесхитростных цилиндров основных цветов спектра. И она как сунула в шкаф, так ни разу и не вынула оттуда скатерть, вышитую для нее бабкой, о чьей работе теперь можно было судить лишь по хрустящей, белоснежно-яркой скатерти на призрачном чаепитии, которое она пристрастилась вызывать в воображении с тех пор, как умерла мать. Скорбь принимала странную форму, но не отпускала и немного утешала. На большее она, похоже, была не способна. Неистовая материнская ярость, обращенная на дом и домашнее хозяйство, эти опутавшие ее тенета — и как следствие, на умных дочерей: они-то ухитрились хоть отчасти высвободиться из этих тенет,— мешала отдаться скорби всецело. Безмолвие материнского отсутствия походило на затишье после бури. Или на безмолвие этой мирной комнатки, проникнутой радостным ожиданием, в один, да нет — в любой день конца двадцатых годов.

Обрушиться с такой же неистовой яростью на Джейн она не могла. Она твердила: «Это же пружина, ее нельзя раскручивать!» — а Джейн лениво отбивалась: она, мол, не понимает, почему нельзя,— и они сели рядом, чтобы разобраться в раскиданных деталях регулятора натяжения.

Вероника помнила, как паковала розовые чашки. Что-то ее тогда серьезно удручало. Помнила, как расхаживала по комнате, отупевшая от потерянности и тревоги — ее едва хватило на то, чтобы кое-как сунуть презренный сервиз в ящик, думала, что надо бы обернуть чашки газетой, но газет под рукой не оказалось. А пойти на поиски было выше ее сил. И хотя она помнила то снедавшее ее великолепное безумие — ну до чашек ли тут? — чем оно было вызвано, она начисто забыла. Бросил любовник? Не дали роль в студенческом спектакле? Что-то ляпнула некстати? Боялась забеременеть? А то и просто испытывала смутный страх перед опустошенностью и безволием, свойственными ей в ту пору, когда она была полна жизни, и уже давно заменившимися более четким и определенным страхом смерти и боязнью ничего не успеть? Девушка, вспомнившаяся ей в тот злосчастный, занятый укладкой вещей день, казалась никак с ней не связанной, увиденной снаружи точно так же, как и воображаемое чаепитие. Она живо помнила, что украдкой заглянула через дверь в той части колледжа, где жила когда-то ее мать, и увидела два низких кресла и кровать у окна. Кресла в созданном ее воображением видении покрывали неплотно пригнанные чехлы, но совсем другого периода, такие же, как те, что окутывали их, когда она мимолетно, почти помимо воли, глянула на них через дверь. Мать хотела, чтобы она училась в этом колледже, но потом почувствовала себя отторженной от своих воспоминаний о нем из-за того, что в нем живет дочь. Прошлое превратилось в прошлое, никак не связанное с настоящим. Вероника лишь в воображении могла сидеть в тех же креслах, у того же освещенного солнцем окна, пить из тех же чашек. Нельзя дважды войти в одну реку. Старшая сестра Джейн, Вероникина старшая дочь, училась в том же колледже, и Вероника, зная все наперед, наблюдала, как она завоевывает свое место в сегодняшней жизни.

Зазвонил телефон. Джейн, сказала: это, наверное, Барнаби,— и вздорность и вялость с нее как рукой сняло. Уже на выходе, в дверях, она обернулась и кинула Веронике: «Мне жаль, что так вышло с машинкой. Я уверена, она наладится. И потом, ей все равно сто лет в обед». С лестницы донеслось ее пение: она бежала к телефону — возобновлять свою жизнь. Пела она прекрасно, сильным, чистым голосом, унаследованным от

отца — он хорошо пел,— а не от Вероники и ее матери: они-то фальшиво пищали. Она пела «Реквием» Брамса в школьном хоре. Джейн ликующе выводила: «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, дабы я знал, какой век мой»[1].

Три женщины сидели в тесной комнатке, вызванной к жизни воображением, не памятью. Вероника усмотрела в материнском платье сливочного цвета некоторую нескладность, свидетельство бабушкиной неумелости в ремесле, к которому у нее было мало данных: плечо не на месте, манжет, пришитый так же плохо, как и бесчисленные пуговицы, и манжеты, и пояса в те скудные времена, когда приходилось изворачиваться. Сквозь материнскую нескладность просвечивали прелесть и беззащитность. Другая женщина с короткой стрижкой подняла чайник и разлила янтарный чай по розовым чашкам. Две из этих чашек и одно блюдце, чудом уцелевшие, стояли теперь у Вероники на буфете, бесполезные и, по мнению Вероники, изысканно прелестные. Ее мать выжидательно вскинула светлую голову, вздернула вырезную, красивую губку, она ничего не замечала сейчас, кроме двери, в которую входили — их-то Вероника видела — молодые люди в блейзерах и широченных фланелевых брюках, шарфах цветов колледжа, с приглаженными волосами и приличествующими случаю улыбками. Вероника увидела его красивую, широкую улыбку — она недавно промелькнула, презрительная и небрежная, на совсем непохожем, более смуглом лице Джейн. Увидела, как на хорошеньком личике блондинки у окна засветились чистая радость, чистая надежда, едва ли не довольство. Дальше она никогда ничего не видела; отсюда все всегда начиналось сначала: кресла, скатерть, залитое солнцем окно, розовые чашки, приют.

Мэри Шелли

[1] Псалтирь, 38. 5.

ЭДМУНД БЕРК (1729—1797)

Есть некий предел, после которого выдержка, самообладание перестают быть добродетелью.

Существует широко распространенное заблуждение, будто самые рьяные радетели интересов народа больше всего пекутся о его благосостоянии.

Идеальная демократия — самая постыдная вещь на земле.

Тот, кто с нами борется, укрепляет наши нервы, оттачивает наши навыки и способности. Наш враг — наш союзник.

Чтобы быть истинным патриотом, не следует забывать, что мы прежде всего джентльмены, а уж потом патриоты.

Те, кому есть на что надеяться и нечего терять,— самые опасные люди на свете.

Обычаи более важны, чем законы, ибо именно от них законы зависят.

СИДНЕЙ СМИТ (1771—1845)

Какая жалость, что в Англии нет иных развлечений, кроме греха и религии!

Выгоднее всего быть низким человеком, способным на широкий жест.

В основе всех наиболее значительных изменений лежит компромисс.

За исключением цифр, нет ничего более обманчивого, чем факты.

Живя в деревне, я всегда боюсь, что мироздание рухнет еще до вечернего чая.

Я еще ни разу не встречал человека, который был бы способен думать две минуты подряд.

Знание — сила, всезнание — слабость.

В конце жизни свое превосходство чувствуют лишь те, кто в начале ощущал неполноценность.

УИЛЬЯМ ХЭЗЛИТТ (1778—1830)

Мы говорим мало — если не говорим о себе.

Лишь те заслуживают памятника, кто в нем не нуждается.

Тот, кто боится нажить врагов, никогда не заведет истинных друзей.

Ни один по-настоящему великий человек не считал себя великим.

В хороших делах мы раскаиваемся ничуть не реже, чем в дурных.

Нет более ничтожного, глупого, презренного, жалкого, себялюбивого, злопамятного, завистливого и неблагодарного животного, чем Толпа. Она — величайший трус, ибо боится самое себя.

Откровенная неприязнь всегда подозрительна и выдает тайное родство душ.

Без помощи обычаев и суеверий я не смог бы пройти из одного конца комнаты в другой.

Никогда не жалейте людей, с которыми поступили дурно. Они лишь ждут удобного случая так же дурно поступить с другими.

В зависти, среди прочего, заложена и любовь к справедливости.

ДУГЛАС ДАНН

Стихи

Дуглас Данн родился в 1942 г. в Шотландии, бо́льшая же часть его жизни прошла в северо-восточной Англии, в Гулле. Впечатления, приобретенные в рабочих кварталах этого города, составили основу первого сборника Данна «Терри-стрит» (1969) [1]. Книга была благожелательно принята критиками, отметившими наблюдательность, яркую, иногда парадоксальную образность и одновременно сдержанный тон речи молодого поэта.

Уже в ранних стихах за фрагментом жизни то отчетливо, то чуть заметно ощущается некая общая пространственно-временна́я перспектива, в которую погружено происходящее. С годами это становится главной темой Данна: современный человек в его культурной и социально-исторической среде. «Варвары» (1979) и «Парламент Сент-Килды» (1981) посвящены прошлому и настоящему Шотландии и всей Британии, аллегорическая поэма «Любовник Европы» (1982) — о единстве и драме европейской цивилизации, о «европейском доме», если говорить языком последних лет. Размышления на эту тему не могут не быть для нас любопытны, а тема «распада империй» и вовсе актуальна.

Данн — поэт внешнего мира: предметов, лиц, событий, отношений, концепций. Глубинный драматизм человеческого существования как бы оставался на периферии его сознания. Но трагедия ворвалась в его жизнь — и появились «Элегии» (1985), посвященные памяти Лесли Бальфур Данн, жены поэта. В неожиданном, каком-то фантастическом ракурсе высветилась под лучом горя эта душа, холодная и страдающая, в недоумении и прозрении. И оставшаяся все-таки сама собой.

А. ГРИБАНОВ

Зимнее кладбище

Замшелые обелиски
И плиты, поросшие мхом,
Торчат над гиблой землей
В глухую, мертвую пору;
Потрескавшиеся ангелочки
Взмывают над головами
Чиновников без надежд,
Магнатов без состоянья;
Увядший вьюнок — словно куст
Нервов, проросших из праха.

Потомкам поблекших семей
Не разобрать эпитафий.
Когда умерла Эмилия? А Фредерик?
Покойники в них возбуждают
Жалостливый интерес

---

[1] Стихи Д. Данна из этой книги см. в «ИЛ», 1976, № 2.

© Douglas Dunn, 1974, 1979, 1981, 1982, 1985.

И вдохновляют на вылазки,
Встречаемые в штыки
Шиповником и бурьяном,—
Еще один вопиющий (ворчат старики)
Пример равнодушья детей
К памяти своих предков.

Легко ли им сознавать,
Что их ждет такая же участь
Среди покосившихся плит
В каком-нибудь захолустье?
Ведь даже эта великая эра
Побед, образцовых лакеев
И мебели на птичьих лапках —
Канула в вечность, исчезла
Под мелкой готической вязью;
Из викторианских вьюнков
Взросли прямые платаны.

О рай викторианства!
Уткнуться в подушечный бархат
И, как из консервной банки,
Отведать любви, сохраненной
Средь трогательных завитушек,—
Помещик, хваливший погоду,
Покинув дом развлечений,
Вояка, рассказывавший полупьяным
Купцам о стычке в Ассаме,—
Они сейчас танцуют рэгтайм
В притоне с пурпурным плюшем.

Я вижу их в дымке улиц
На фоне спешащих кебов,
Глаза закрою и вижу
В безбурных сумерках века
Людей того поколенья,
Чьи сыновья — новобранцы
Четырнадцатого года —
Нашли покой на чужбине,
Сражаясь за флаг Имперский.
(Незыблемые идеалы,
Незыблемое лицемерье!)

Тошнотворная вечность,
Могильная хлипкая каша,
Вот они, ваши деньги —
Ржавый пенни, затоптанный в грязь.
Гомон скворцов меж статуй
И урн во всех закоулках,
Где прячется Бог — владетель
Этой казенной свалки,
Мусор имен под накипью мха,
Надписи, потонувшие
В тонком, пушистом ворсе,—

Аукаются и лепечут
В призрачном мареве снов.
И я замираю бессильно
Перед розовой явью неба
И взлетом темных деревьев,
Их тягой к любви и простору —
Над обветшалой пошлостью
Памятников, переживших
Память, помпу и деньги.
Белый голубь взлетает
С голой ветки.

Перевод Г. КРУЖКОВА

Роза

Вот, роза, все и кончено,
И незачем смотреть
На нежные камеи
Живучих лепестков.

Ты в голубом стаканчике
Стоишь четвертый день —
Я насмотрелся, я смотрел
Не отрывая глаз.

Четыре дня тому назад
Любимая ушла.
Она опять придет, а ты,
Я знаю, ты умрешь.

И вот в стаканчике стоишь
И слушаешь меня,
Ты молча слушаешь, как я
Раздумываю вслух.

Нет, мне не по себе: ну что
С тобою делать мне?
Не разработан ритуал
Захороненья роз.

Ты там живи, где всё живет,
Чего забыть нельзя.
И пусть изобразит тебя
Какой-нибудь Матисс.

Уже подъехало такси,
А ты молчишь в ответ.
Хлебну воды, в которой ты
Недолго прожила.

Я проглочу твой лепесток —
Пускай живет во мне.
«Привет. Входи. Шипами я
Все губы исколол».

Империи

Империи... они навек ушли,
И с ними вместе — чванная эпоха.
Они кроили карту как могли
Под знаком розы и чертополоха.
Казалось нашим дедам не зазорно
Без спросу, посреди чужой земли,
Наш пестрый флаг поднять под звуки горна.
Они перелопачивали всласть
Людей и время, ни в малейшей мере
Не замечая смерти тех империй,
Которые на смерть их гнали. Власть,
Торговля, флот и маршевые роты
Жизнь продлевали гордости и вере.
Все растеряв, мы подведем счета:
Их власть и сила — наша нищета,
У ног их был весь мир, а мы — банкроты.
Нам впору их мундиры. Нам под стать
На них ишачить и о них читать.
Так суждено: нам — до конца ишачить,
А им — дурачить нас и одурачить.
Нет, этому пока не вышел срок.
Глядите — безработный паренек
Английский гимн твердит на сиплой флейте,
Сил не жалея. Вот его — жалейте.

Перевод В. ОРЛА

Из поэмы «Любовник Европы»

XII

Слышишь души Европы,
На дунайских ветрах
Болтающие о визитах
В тенистую Прагу,
В Краков, Париж, Вену,
В Рим, ведущие речи
О диких цветах Карпат
И пикардийских садоводах,
О проконсулах в отставке,
Среди ботаники вилл
Дряхлеющих в креслах,
О королях плантаций
Явы и Камеруна
В блеске старых трофеев?

«Идем,— она [1] сказала,—
Нас ждет дорога могил:
Между Москвой и Кале
Есть множество пунктов,
Требующих посещенья.

Эти люди в ямах
Давних захоронений
По местам страданий
В лесах и белых полях —
Это тоже Европа.
Утратив национальность,
В братстве общей лжи
О жизни после смерти
Они спят в почвах
Республики Европейской
И, в равенстве наконец-то,
Сочатся в Рейн и Вислу,
И в тысячи еще рек.

В празднующей Европе
Слишком много граждан
Стали жатвой скорби,
Умершие с ними тексты
Поют над землей и морем
На всех языках наших.
И это реальность».

[1] «Она» означает в контексте поэмы аллегорическую фигуру, символизирующую Европу. *(Прим. перев.)*

Из книги «Элегии»

Памяти Лесли Бальфур Данн
(1944—1981)

Франция

Морозный день. Мы у окна стоим.
За стайкой воробьев скользит наш взгляд.
Наверно, снизу призраком двойным
Мы мнимся. Поправляю ей халат.
Она прохожих узнает внизу.
Ее судьбу легко прочесть извне
(«Ты штор не опускай, когда умру»)
По всем цветам, столпившимся в окне.

(«Так стыдно всё, так быстро, так больна.
Уехать бы куда-нибудь вдвоем».)
Мы видим Францию, смежив глаза,
Ее луга, и реки, и леса...
Счет дней любви, полученных сполна.
(«Нет, не сейчас, мой друг. Потом, потом...»)

Страна любви

Здесь, где мы вместе ждали темноты,
Я указал ей на прыжки форелей
В секундных нимбах радужной воды.

Здесь голоса детей меж сонных елей
Тонули в сумеречной глубине
Воздушной, полной ранних звезд купели.

Вдовцом брожу теперь уже во сне
По мягким тропам здесь, где жил когда-то,
Где всё принадлежит лишь ей и мне.

Что время? Сумрак шепчущий, крылатый,
Насыщенная звуком тишина
И ветер на лице, смешавший даты.

И, полусферою окружена,
В осеннем платье августа, который
Здесь и повсюду, предо мной она.

И в шуме крон что слышно, как не скорый
Итог мольбы, открытие дверей
В смешную веру, ставшую опорой?

На темной влаге пара лебедей
Дает нам образ этой сказки в гордом
Рисунке белой цельности своей.

Ночь как звезда, глазок, открытый горем
В страну, где звездные шуршат снопы.
Их отзвук длится в шелесте листвы.
В земной любви тоска по тем просторам.

Перевод А. ГРИБАНОВА

ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ (1795—1881)

Любая реформа, кроме моральной, бесполезна.

Хорошо описанная жизнь — такая же редкость, как и хорошо прожитая.

Публика — больная старуха. Пусть себе брюзжит и капризничает.

Демократия — это необходимость мириться с тем, что управляют нами не герои.

Метафизика — это попытка ума подняться над умом.

Все великие народы консервативны: с недоверием относятся к нововведениям, склонны не доверять фактам.

Главный орган человеческого тела, незыблемая основа, на которой держится душа,— кошелек.

Если бы Иисус Христос явился сегодня, никто бы не стал его распинать. Его бы пригласили к обеду, выслушали и от души посмеялись.

СЭМЮЭЛ БАТЛЕР (1835—1902)

Прогресс человечества основывается на желании каждого человека жить не по средствам.

Искусству можно научиться лишь у тех, кто зарабатывает им себе на хлеб.

Считается, что любовь к деньгам — корень всех бед. То же можно сказать и про отсутствие денег.

Жизнь — это искусство извлекать значительные выгоды из незначительных обстоятельств.

Жить — то же, что любить: разум против, здоровый инстинкт — за.

В конечном счете, удовольствие — более надежный советчик, чем правота или чувство долга.

Разбойники требуют кошелек или жизнь; женщины — и то и другое.

ОСКАР УАЙЛЬД (1854—1900)

Никогда не путешествую без дневника. Увлекательное чтение необходимо в дороге.

Искусство ничего не выражает, кроме себя самого.

Тщеславие — последнее прибежище неудачника.

В этом мире существуют лишь две трагедии. Первая — когда не добиваешься того, чего хочешь; вторая — когда добиваешься.

Умеренность губительна. Успех сопутствует только излишеству.

Скептицизм — начало веры.

Публика на удивление терпима; она прощает все, кроме гениальности.

Единственный наш долг перед историей — это постоянно ее переписывать.

Жизнь слишком серьезная штука, чтобы говорить о ней всерьез.

Философия учит нас с невозмутимостью относиться к неудачам других.

В наше время у каждого великого человека есть ученики, причем его биографию всегда пишет Иуда.

Мужчина может быть счастлив с любой женщиной — при условии, что он ее не любит.

РОАЛД ДАЛ

Семейный пансион

РАССКАЗ

Перевод А. ЛИВЕРГАНТА

Из Лондона Билли Уивер выехал на маленьком пассажирском поезде, в Рединге к тому же пришлось делать пересадку,— поэтому в Бат он приехал в девять вечера, когда над домами, окружавшими привокзальную площадь, в усыпанном звездами ясном небе уже стояла луна. Было, однако, ужасно холодно, ветер обжигал щеки.

— Скажите,— спросил Билли носильщика,— здесь есть где-нибудь поблизости дешевый трактир?

— Загляните в «Дракон»,— посоветовал носильщик,— может, там вас и приютят. Это недалеко, четверть мили, не больше.— И он показал пальцем на противоположную сторону улицы.

Поблагодарив носильщика, Билли поднял чемодан и отправился на поиски «Дракона». В Бате он был впервые, знакомых здесь у него не было, но мистер Гринслейд из главного управления очень Бат расхваливал. «Великолепный город,— сказал он.— Как устроитесь с жильем, тут же сообщите о своем приезде директору нашего филиала».

Билли недавно исполнилось семнадцать лет. На нем было новое темно-синее пальто, новая бежевая фетровая шляпа, новый, с иголочки, бежевый костюм, и чувствовал он себя превосходно. Он шагал по мостовой бодрым, деловым шагом. Билли вообще последнее время старался вести себя по-деловому, ведь деловитость, он в этом не сомневался,— неотъемлемая черта всех без исключения преуспевающих бизнесменов. Крупные чиновники в главном управлении всегда на редкость деловиты. Есть с кого брать пример.

На широкой улице, по которой он шел, ему не попалось ни одного магазина; по обеим сторонам тянулись высокие, совершенно одинаковые дома. Судя по галереям, колоннам и высокому, в четыре-пять ступенек, крыльцу, в домах этих когда-то жила городская знать, однако теперь, даже в темноте, видно было, что краска на дверях и окнах облупилась, а красивые белые фасады покрыты трещинами и пятнами.

И вдруг в ярком свете уличного фонаря над нижним окном одного из таких домов Билли разглядел вывеску, на которой небольшими печатными буквами значилось: СЕМЕЙНЫЙ ПАНСИОН. Под вывеской на окне стояла ваза с красной декоративной ивой, красивой и высокой.

Он остановился. Подошел ближе. Красная ива отлично смотрелась на фоне зеленых, плотных, то ли плюшевых, то ли бархатных занавесок. Занавески были раздвинуты, и, подойдя еще ближе, Билли увидел за окном погруженную в полумрак уютно обставленную комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, был огонь, ярко пылавший в камине. На ковре перед камином, уткнувшись носом в живот, лежала, уютно свернувшись, такса. Напротив камина стоял небольшой рояль, а в противоположном углу —

широкий диван и несколько мягких кресел вокруг. Над диваном висела клетка с большим нахохлившимся попугаем. «Хороший знак,— сказал себе Билли, которому пансион сразу же приглянулся.— Уютное местечко,— подумал он,— наверняка уютнее, чем «Дракон».

С другой стороны, у трактира были свои преимущества. По вечерам там можно выпить пива и поиграть в «дротики», вдобавок всегда есть с кем перекинуться словом, да и комната обошлась бы ему значительно дешевле. Один раз он уже снимал комнату в трактире и остался вполне доволен, а вот в пансионах не останавливался ни разу и, если честно, немного их побаивался. Семейный пансион почему-то ассоциировался у него с водянистой капустой, прижимистыми хозяйками и тошнотворным запахом копченой рыбы в гостиной.

Потоптавшись на холоде минуты три, Билли решил, что сначала все же имеет смысл дойти до «Дракона», а уж потом выбирать между пансионом и трактиром. Но не успел он повернуться и сделать несколько шагов по тротуару, как с ним произошла странная вещь: маленькие печатные буковки СЕМЕЙНЫЙ ПАНСИОН, точно немигающий взгляд круглых черных глаз, вперились в него, властно, неумолимо поманили к себе, заставили остановиться и вернуться назад, а в следующий момент Билли поймал себя на том, что, миновав окно, он подходит к двери, подымается по ступенькам на крыльцо и нажимает кнопку звонка.

Он услышал, как по всему дому разнеслась трель, а буквально через секунду — именно через секунду, ибо он не успел даже оторвать палец от кнопки,— дверь распахнулась, и на пороге появилась женщина.

Обычно после звонка приходится ждать как минимум полминуты, однако на этот раз дверь открылась мгновенно, дамочка возникла в дверях, точно чертик из коробочки. Билли даже вздрогнул от неожиданности.

Женщине было лет сорок пять, самое большое — пятьдесят, и, как только их глаза встретились, она широко, радушно улыбнулась.

— Пожалуйста, входите,— ласково проговорила она, придерживая дверь и отступая назад, и Билли, вновь совершенно машинально, переступил через порог, будучи не в состоянии справиться с необыкновенно сильным желанием последовать за ней в дом.

— Я увидел вывеску...— начал Билли, в нерешительности останавливаясь в дверях.

— Да, я знаю.

— Я хотел бы снять комнату...

— Комната ждет вас, мой мальчик,— перебила его женщина. У нее было круглое, розовое лицо и нежные голубые глаза.

— Я, собственно, шел в «Дракон»,— сообщил Билли,— но мне на глаза попалась ваша вывеска.

— Мой мальчик, зачем же стоять на улице? Входите в дом — холодно.

— Сколько вы берете?

— Пять фунтов шесть пенсов в сутки, включая завтрак.

Это было фантастически дешево, почти вдвое дешевле, чем Билли имел в виду заплатить.

— Если это слишком дорого,— добавила она,— я готова немного сбросить цену. Вы едите на завтрак яйцо? Яйца сейчас в цене, поэтому я и беру лишние шесть пенсов.

— Пять фунтов и шесть пенсов меня вполне устраивают,— сказал Билли.— Если вы не возражаете, я бы с удовольствием остался.

— Я так и знала. Входите же.

Какая славная! Гостеприимна, как мать ближайшего друга, у которого проводишь рождественские каникулы. Билли снял шляпу и вошел в прихожую.

— Можете повесить шляпу на вешалку,— сказала она.— Разрешите, я помогу вам снять пальто.

Вешалка была совершенно пуста. Ни зонтов, ни тростей — ничего.

— В доме, кроме нас с вами, никого нет,— пояснила хозяйка, улыбнувшись Билли через плечо и направляясь к ведущей на второй этаж лест-

нице.— Не часто, прямо скажем, не часто удается мне заполучить в свое гнездышко постояльца.

«Мамаша, видать, не в себе,— подумал Билли.— Но коль скоро она берет всего пять фунтов шесть пенсов — какая мне разница?»

— А я подумал, что у вас от постояльцев отбою нет,— вежливо сказал он.

— Совершенно верно, дорогой мой. Совершенно верно. Не было бы — не будь я излишне разборчива. Вы ведь понимаете, что я хочу сказать?

— О да.

— Но я всегда рада гостям. В доме в любой день и в любой час все готово на тот случай, если появится какой-нибудь приличный молодой человек. Вы себе даже не представляете, мой мальчик, какое это удовольствие, когда время от времени раздается звонок и на пороге оказывается именно тот, кто *надо*.— Она остановилась и, положив руку на перила лестницы, повернула голову и улыбнулась Билли своими бледными губами.— Вроде вас,— закончила она и окинула Билли с ног до головы внимательным взглядом своих нежных голубых глаз.

На площадке она остановилась снова и сказала:

— Этот этаж — мой.

Они поднялись еще на один марш.

— А этот — ваш. Вот ваша комната. Надеюсь, она вам понравится,— сказала хозяйка, включая свет в небольшой, но необычайно уютной спальне.

— Окна выходят на солнечную сторону, мистер Перкинс. Вы ведь мистер Перкинс, не так ли?

— Нет, я — Уивер.

— Мистер Уивер. Очень приятно. Я положила вам под одеяло грелку, мистер Уивер. Согласитесь, приятней ложиться в чужую постель, когда она немного согрета? Если вам будет холодно, можете в любой момент включить отопление.

— Спасибо,— сказал Билли.— Большое спасибо.— Он обратил внимание, что постель расстелена — хоть сейчас ныряй под одеяло.

— Я так рада, что вы приехали,— сказала хозяйка, с серьезным видом заглядывая Билли в глаза.— А то я уже начала беспокоиться.

— Все в порядке,— подбодрил ее Билли.— Обо мне можете не беспокоиться.— Он положил чемодан на стул и раскрыл его.

— А как насчет ужина, мой мальчик? Вам удалось что-нибудь перекусить в дороге?

— Я абсолютно не голоден, благодарю,— сказал Билли.— С вашего разрешения я бы прямо сейчас лег, а то мне завтра рано вставать. Я ведь здесь по службе.

— В таком случае, доброй ночи. Я вас сейчас покину, чтобы вы могли спокойно разложить вещи, но, прежде чем ложиться, не сочтите за труд спуститесь на минутку в гостиную и распишитесь в книге гостей. Таковы здешние законы, не мы с вами их устанавливали, не нам их и нарушать. Давайте хотя бы на *этом* этапе будем законопослушными, хорошо? — И, помахав ему на прощанье, хозяйка пансиона быстро вышла из комнаты и закрыла за собой дверь.

То, что она «с приветом», Билли нисколько не смущало. В конце концов, эта дамочка не только не могла причинить ему вреда,— об этом не было и речи,— но, безусловно, отличалась добрым и великодушным нравом. Потеряла, должно быть, на войне сына или мужа и так и не смогла с этой потерей смириться.

Через несколько минут, распаковав чемодан и вымыв руки, Билли сбежал вниз, на первый этаж, и вошел в гостиную. Хозяйки не было, но огонь по-прежнему ярко пылал в камине, а на коврике, свернувшись калачиком, крепко спала такса. В комнате было на удивление тепло и уютно. «Мне здорово повезло»,— подумал, потирая руки, Билли.

Книгу гостей долго искать не пришлось, она лежала раскрытой на

рояле, и Билли вынул ручку, подошел и записал свое имя и адрес. На этой странице было всего две записи, и Билли, как и все, кто расписывается в книгах гостей, из любопытства прочел их. Одна принадлежала некоему Кристоферу Малхолланду из Кардиффа, а другая — жителю Бристоля Грегори У. Темплу.

Кристофер Малхолланд... Где-то он уже слышал это имя. Вот только где?

Его соученик? Нет. Один из многочисленных ухажеров сестры? Тоже нет. Друг отца? И опять же нет. Билли еще раз перечел сделанные в книге записи.

Кристофер Малхолланд	Кардифф, Соборная улица, 231.
Грегори Темпл	Бристоль, Платановая аллея, 27.

На этот раз второе имя показалось ему почти таким же знакомым, как и первое.

«Грегори Темпл? — вслух произнес Билли, мучительно роясь в памяти.— Кристофер Малхолланд?..»

— Такие очаровательные мальчики,— раздался голос у него за спиной, и Билли, обернувшись, увидел, как в гостиную с серебряным чайным подносом вплыла хозяйка. Поднос она держала на вытянутых, слегка приподнятых руках, будто это был не чайный поднос, а поводья резвой лошадки.

— Эти имена почему-то кажутся мне знакомыми,— сказал он.

— В самом деле? Как интересно.

— Я почти уверен, что где-то они мне попадались. Странно, правда? Может, в газете? Эти люди ничем не знамениты, не припоминаете? Известные игроки в крикет или в футбол?

— Нет, они ничем не прославились,— сказала хозяйка, ставя поднос на низкий столик у дивана.— Зато оба были необыкновенно хороши собой, можете мне поверить. Высокие, молодые, красивые — в точности как вы, мой мальчик.

Билли еще раз перечел запись в книге гостей.

— Смотрите-ка,— сказал он, обратив внимание на даты.— Последняя запись сделана больше двух лет назад.

— Серьезно?

— Именно так. А Кристофер Малхолланд останавливался у вас еще на год раньше Темпла — больше трех лет назад!

— Подумать только,— сказала хозяйка, качая головой и сокрушенно вздыхая.— Как, однако ж, летит время, не правда ли, мистер Уилкинс?

— Я — Уивер,— сказал Билли.— *Уивер*.

— Ну, разумеется,— воскликнула хозяйка, усаживаясь на диван.— Какая же я растяпа! Ради Бога извините, мистер Уивер. У меня всегда так: в одно ухо влетает, в другое вылетает.

— И знаете, что́ во всем этом самое удивительное? — спросил Билли.

— Пока нет, мой мальчик.

— Самое удивительное то, что оба имени, Малхолланд и Темпл, помнятся мне не только по отдельности, но и вместе, как будто они чем-то одним прославились... Ну как, например, Черчилль и Рузвельт...

— Любопытно,— откликнулась хозяйка.— Что ж вы стоите, мой мальчик, присаживайтесь рядом со мной на диван и выпейте перед сном чашку крепкого чаю с имбирным печеньем.

— Вы совершенно напрасно все это затеяли,— сказал Билли.— Я вовсе не собирался пить перед сном чай.— Билли стоял у рояля и смотрел, как хозяйка проворно расставляет на столике чашки и блюдца. Он обратил внимание, что ручки у нее были маленькие, белые, подвижные, с покрытыми ярко-красным лаком ногтями.

— Я почти уверен, что эти имена попадались мне в газете,— задумчиво сказал Билли.— Одну минуту, сейчас вспомню. Обязательно вспомню...

Нет ничего мучительнее, чем пытаться вспоминать то, что вертится в голове, но в памяти не всплывает.

— Постойте, постойте,— рассуждал он вслух.— Одну минуту... Малхолланд... Кристофер Малхолланд... Если мне не изменяет память, это старшеклассник из Итона, который отправился в пешую экскурсию по западным графствам, а затем, совершенно внезапно...

— Вы пьете с молоком? — спросила она.— С сахаром?

— Да, благодарю... А затем, совершенно внезапно...

— Школьник из Итона, говорите? — переспросила хозяйка.— О нет, мой мальчик, вы что-то путаете, *мой* мистер Малхолланд был не старшеклассником Итона, а студентом Кембриджа. Что вы стоите, садитесь рядом со мной, поближе к камину. Я уже налила вам чаю.— И она, опустившись на диван, с улыбкой провела пальцами по плюшевой обивке, приглашая его сесть.

Билли медленно пересек комнату и присел на край дивана. Хозяйка поставила перед ним чашку.

— Ну вот, наконец-то,— сказала она.— Правда, здесь хорошо? Уютней не бывает?

Билли стал маленькими глотками пить чай. Хозяйка — тоже. С минуту оба молчали, однако Билли знал, что она украдкой на него смотрит. Хозяйка сидела, повернувшись к нему вполоборота, и он чувствовал, что от нее исходит какой-то странный, довольно, впрочем, приятный запах, напоминавший... Трудно сказать, что это был за запах... Грецких орехов в маринаде? Новой кожи? А может вовсе, от нее пахло больницей?

Наконец, хозяйка пансиона прервала молчание:

— Мистер Малхолланд обожал чай. Ни разу в жизни не видела человека, который пил бы столько чая, как милый, трогательный мистер Малхолланд.

— Если не ошибаюсь, он пропал совсем недавно,— припомнил Билли. Имена обоих постояльцев не шли у него из головы. Теперь он не сомневался: и Малхолланд и Темпл попадались ему в газетах — в заголовках.

— «Пропал»?! — Хозяйка от удивления даже приподняла брови.— Что вы, мой мальчик, никуда он не пропал. Он еще здесь. И мистер Темпл тоже. Они на четвертом этаже, оба.

Билли медленно поставил чашку на стол и уставился на хозяйку. Та улыбнулась и ласково погладила его по колену своей маленькой, пухлой белой ручкой:

— Сколько вам лет, мой мальчик?

— Семнадцать.

— Семнадцать! Идеальный возраст! Мистеру Малхолланду тоже было семнадцать. Если не ошибаюсь, он был немного ниже вас ростом, определенно ниже, да и зубы у него были не такие белые, как у вас. У вас совершенно потрясающие зубы, мистер Уивер, вам это известно?

— Это только так кажется,— смутился Билли.— Сзади у меня сплошные пломбы.

— А вот мистер Темпл был постарше вас обоих,— продолжала вспоминать хозяйка, не обращая никакого внимания на слова Билли.— Значительно старше, однако сама я никогда бы не подумала, что ему уже двадцать восемь. Никогда в жизни. У него на теле не было ни *пятнышка*.

— Чего не было? — переспросил Билли.

— Я хотела сказать, что кожа у него была, как у младенца.

Последовала пауза. Билли поднял чашку, отпил из нее и осторожно поставил обратно на блюдце. Он ждал, что хозяйка скажет что-нибудь еще, но она вновь погрузилась в молчание. Билли тоже сидел молча, глядя прямо перед собой, в дальний конец комнаты и покусывая нижнюю губу.

— Знаете, когда я первый раз увидел через окно этого попугая в клетке,— сказал он наконец,— то решил, что он живой.

— Увы, уже нет.

— Что ж, отличная работа. В жизни не скажешь, что это чучело. Кто это делал?

— Я.

— Вы?!

— Конечно. А как вам мой Базиль? — И она кивком головы показала на таксу, уютно свернувшуюся около камина. Билли взглянул на собачонку и только теперь вдруг сообразил, что за все это время такса, как и попугай, не проявляла никаких признаков жизни. Он нагнулся, протянул руку и провел по спине Базиля. Спина была твердой и холодной, когда же Билли раздвинул пальцами шерсть, под ней проступила черно-серая, сухая, отлично сохранившаяся кожа.

— Господи помилуй! — вырвалось у него.— Потрясающая работа.— И Билли, отвернувшись от чучела таксы, с восхищением посмотрел на маленькую полную женщину, сидевшую рядом с ним на диване.— Представляю, как это, должно быть, трудно.

— Вот и не угадали. Когда мои четвероногие и пернатые друзья отправляются на тот свет, я сама мастерю из них чучела. Еще чаю?

— Нет, благодарю.— Чай слегка отдавал горьким миндалем и пришелся Билли не по вкусу.

— Вы расписались в книге?

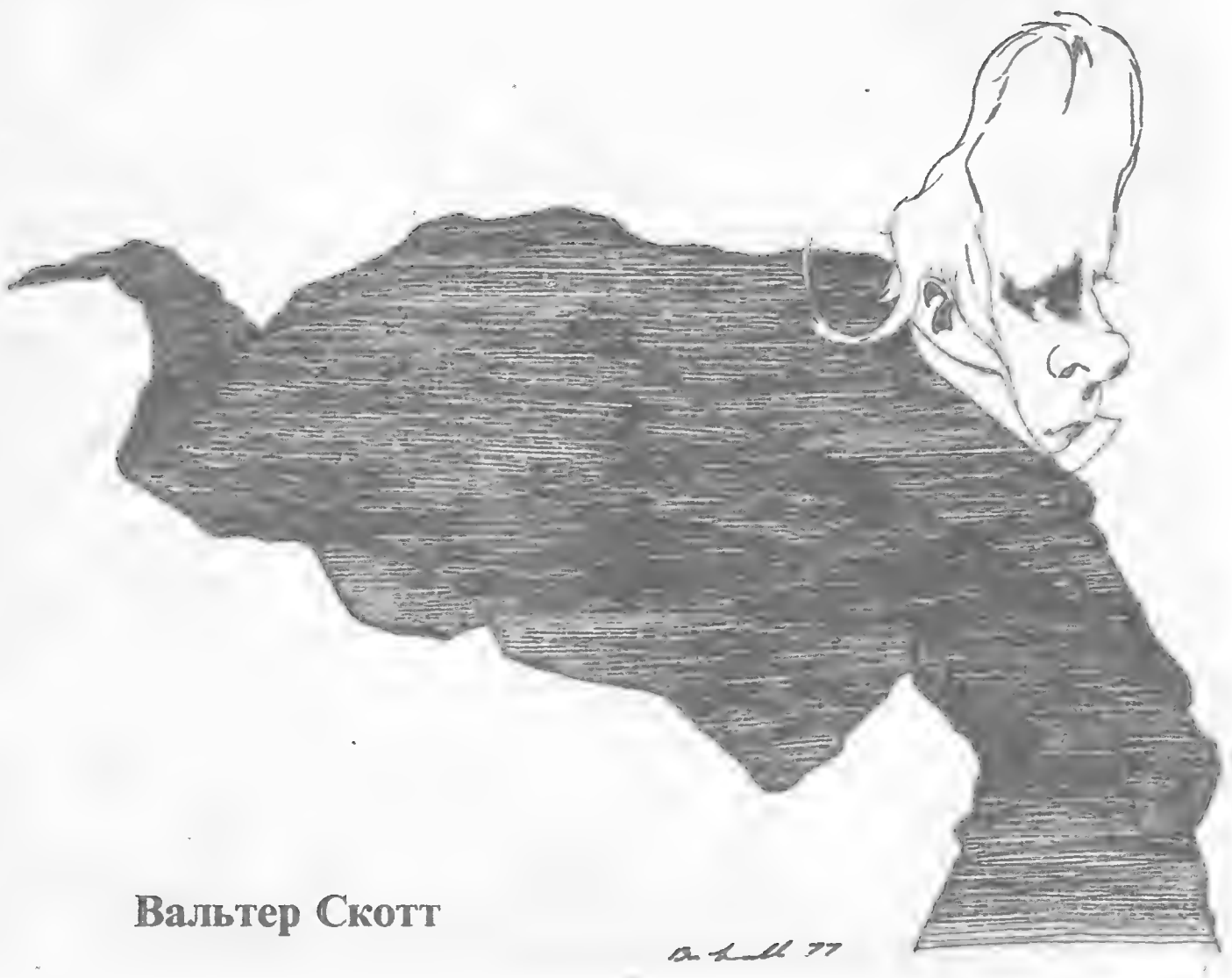
— О да.

— Вот и хорошо. Если потом я почему-то вдруг забуду ваше имя — со мной, вы знаете, это бывает,— то спущусь в гостиную, открою книгу гостей и прочту сегодняшнюю запись. Я ведь до сих пор почти каждый день перечитываю фамилию и адрес мистера Малхолланда и мистера... мистера...

— Темпла,— подсказал Билли.— Грегори У. Темпла. Простите за нескромный вопрос, а что, за последние два-три года у вас было всего двое постояльцев?

Держа чашку на вытянутой руке и слегка склонив голову набок, хозяйка бросила на Билли быстрый взгляд и едва заметно, как всегда ласково, улыбнулась.

— Да, мой мальчик,— сказала она.— Вы будете третий.



Вальтер Скотт

БЕРНАРД ШОУ (1856—1950)

Веры, как таковой, мы не утратили; мы лишь перенесли ее с Бога на профессию медика.

Свобода — это ответственность. Вот почему все ее так боятся.

Революции никогда не облегчали бремя тирании; они лишь перекладывали это бремя с одного плеча на другое.

Опасайтесь того, кто не отвечает ударом на удар: он и вас не простит, и не даст вам простить себя.

Тот, кто ни во что не верит, всего боится.

Гений делает то, что должен; талант — то, что может.

Нобелевская премия — это спасательный круг, который бросают пловцу, когда тот уже благополучно достиг берега.

Демократия — это гарантия, что нами руководят не лучше, чем мы того заслуживаем.

Секрет успеха состоит в том, чтобы обидеть как можно большее число людей.

Газета — это печатный орган, не видящий разницы между падением с велосипеда и крушением цивилизации.

Если человек хочет убить тигра — это называется спортом; если тигр хочет убить человека, это называется жестокостью. В этом, собственно, и состоит разница между преступлением и правосудием.

Репутация врача зависит от числа выдающихся личностей, которых он отправил на тот свет.

БЕРТРАН РАССЕЛЛ (1872—1970)

Скука — серьезная проблема для моралиста, ибо со скуки совершается по крайней мере половина всех грехов человечества.

Те, кто несчастлив, равно как и те, кто страдает бессонницей, всегда этим гордятся.

Как это ни грустно, люди соглашаются лишь с тем, что их, по существу, не интересует.

Даже в цивилизованном обществе инстинкт единобрачия иногда дает о себе знать.

Патриотизм — это готовность убивать и быть убитым по самым тривиальным причинам.

Плохие философы могут иметь определенное влияние в обществе; хорошие — никогда.

Из беседы с ученым мужем я каждый раз делаю вывод, что счастье нам не дано; когда же я говорю с садовником, то убеждаюсь в обратном.

Немногие могут быть до конца счастливы, не испытывая ненависти к другому человеку, нации, вероисповеданию.

Мы живем двойной моралью: одну исповедуем, но не используем на практике, а другую используем на практике, но исповедуем очень редко.

Зависть — основа демократии.

Всякая точная наука основывается на приблизительности.

П. Г. ВУДХАУС

Эссе. Рассказы

Перевод А. ЛИВЕРГАНТА

От переводчика

Пэлем Гренвилл Вудхаус единодушно считается одной из наиболее заметных фигур в английской юмористике XX века не только по объему литературной продукции (в общей сложности свыше 90 книг), но и по ее разнообразию (романы, рассказы, пьесы, киносценарии, эссе, либретто, автобиография [1]). Сквозные персонажи романов и рассказов Вудхауса: слуга-интеллектуал Дживз, повеса Берти Вустер, незадачливый детектив Маллинер, газетчик Псмит, проходимец и вымогатель Стэнли Акридж и другие давно уже стали фигурами нарицательными.

О героинях и криминальных романах

Ума не приложу, зачем прелестной блондинке заходить в дом, где засел убийца, или шляться по улице, где идет перестрелка. Там ей не место. Не поймите меня превратно: есть места (например, ипподром в Аскоте, стадион «Лордз» во время крикетного матча «Итон-Харроу»), где женщины, особенно хорошенькие,— желанные гости. Если я зайду в ночной клуб и не увижу там ни одной представительницы слабого пола, моему разочарованию не будет предела — но в портовом притоне Одноглазого Джо дамам, по моему глубокому убеждению, делать абсолютно нечего. Мне даже кажется, что уважающая себя женщина не будет в восторге, если ее затолкают в платяной шкаф с кляпом во рту, а ведь с героиней криминального романа случаются истории и похуже.

А все дело в том, что героиня криминального романа, обворожительная девушка с огромными серыми глазами и кудрями цвета спелой пшеницы, высоким интеллектом, увы, не отличается. Больше того. Не будет преувеличением сказать, что по своему развитию она немногим превосходит шестилетнего умственно отсталого ребенка. Сколько раз была она на волоске от гибели, ей хорошо известно, что банда «Черный дрозд», разнюхав, где хранятся секретные документы, преследует ее по пятам; полиция наверняка многократно предупреждала ее, чтобы она не вздумала выходить из дому,— и все же, стóит в половине третьего ночи появиться посыльному с запиской «Приходи немедленно», как она, надев шляпку, стремглав бросается к двери и в сопровождении посыльного, одноглазого рябого китайца с ядовитой улыбочкой, которому она, разумеется, всецело доверяет, идет к машине, черному лимузину с пуленепробиваемыми стеклами,

---

[1] См. «Вопросы литературы», 1991, № 6, с. 232—243.

и мчится к полуразрушенному особняку на болотах. Когда же сыщик, рискуя жизнью, приходит ей на помощь, героиня заявляет, что не желает иметь с ним ничего общего, ибо, по словам мулата с отрубленным носом, сыщик убил ее брата Гарри.

Такой героини нам, читателям, не надо. Да, мы знаем: издатель не может обойтись без представительницы слабого пола, которую можно было бы, со связанными руками и с безумным блеском в глазах, посадить на капот подпрыгивающей по ухабам машины,— и все же мы требуем, чтобы женщин в криминальных романах не было. Пусть уж лучше будет бандит в маске, который, осклабившись, тычет в брюхо миллионеру ножом из папье-маше, чем все эти суетливые и бессмысленные Мертл, Глэдис или Джейн, которыми напичкана современная приключенческая литература.

В отличие от современных детективов Шерлок Холмс, и это в нем подкупает, знал цену женщинам и держался от них на почтительном расстоянии. Да, иногда он принимал их на Бейкер-стрит и терпеливо выслушивал сбивчивые истории про странное поведение их дядюшек и отчимов... Он мог даже, расслабившись, познакомить их с Ватсоном, но когда начиналось расследование, женщинам приходилось отступать на задний план и, что называется, «не высовываться».

Единственный человек, который мог бы остановить этих несносных героинь,— это убийца и, надо отдать ему должное, он делает все от него зависящее, чтобы заставить их замолчать, однако ему катастрофически не везет. Даже когда он приковал блондинку к лебедке в подвал и пустил воду, мы, в глубине души, не верим в успех дела. Наш читательский опыт подсказывает, что в подобного рода вещах доверять убийце нельзя, он ведь уже много раз подводил нас, злоупотреблял нашим доверием.

Убийце в криминальном романе фатально не везет, его подводит излишняя изобретательность. Вероятно, когда он был еще ребенком, недальновидные родители внушили ему, что он вундеркинд, и это самым пагубным образом сказалось на его деятельности.

Если обычный человек, непрофессионал, в силу сложившихся обстоятельств, вынужден убить свою знакомую, он занимает у приятеля револьвер, несколько патронов и, придя с работы, за какие-нибудь пять минут выполняет задуманное. Техническая сторона дела его не заботит.

Литературному же убийце простота претит. Ему не приходит в голову, что можно прицелиться в героиню и спустить курок. (Если сказать ему об этом, он решит, что его водят за нос.) Обычно убийца из криминального романа привязывает героиню к стулу, перед стулом устанавливает треногу, на треногу кладет пистолет, к спусковому крючку привязывает бечевку, вбивает в стену гвоздь, бечевку перекидывает через гвоздь, к первой бечевке привязывает вторую, к свисающему концу второй бечевки привязывает кирпич, под кирпичом ставит зажженную свечку и терпеливо ждет, пока от огня не лопается вторая бечевка; кирпич падает, от его веса натягивается первая бечевка и курок спускается. Но ведь в это время кто-то, по чистой случайности, может войти в комнату, задуть свечу — и придется начинать все сначала.

Если убийце, к примеру, необходимо прикончить муху, то он с помощью пилы проделает отверстие в полу, привяжет к двери веревку и пошлет мухе записку, где говорится, чтобы она немедленно прилетала, ибо это «в ее интересах». Убийца все рассчитал: муха влетит в комнату, запутается в веревке, упадет под пол и сломает себе шею. И учтите, с точки зрения убийцы это не только самый простой, но и единственно возможный способ прикончить муху. Вы можете часами, до хрипоты спорить с ним, но никогда не убедите его, что можно добиться лучших результатов с помощью свернутой в трубку газеты.

И вот что самое обидное: убийца прибегает к столь хитроумным методам, лишь имея дело с представительницами слабого пола. С мужчинами-то он церемониться не станет. Дайте ему баронета — и он, с хладнокровием средневекового палача, не моргнув глазом, вонзит ему в спину нож по самую рукоятку. Однако поручите ему расправиться с женщиной — и тут же появятся ядовитые змеи, подвешенные к люстрам, или бомбы, которые взрываются, только если оперный певец на пластинке «дает петуха».

Я сам знал одного убийцу, который сажал героиню на бочонок с порохом и терпеливо ждал грозы, чтобы в бочонок попала молния. Нет, это не деловой подход.

Всем этим людям следует запомнить раз и навсегда: чтобы избавиться от девушки с локонами цвета спелой пшеницы, лучше всего хватить ее что есть силы по этим самым локонам монтировкой или, на худой конец, кочергой. Подкладывать же в косметичку героини тарантулов или смазывать ее помаду экзотическими азиатскими ядами — занятие неблагодарное и совершенно бесперспективное.

Пока же убийцы (а точнее, авторы криминальных романов) не овладеют этой универсальной истиной, мы легко обойдемся без героинь. А там — а там посмотрим.

Старый волк знает толк

1

— Доброе утро, Дживз,— сказал я.

— Рад приветствовать вас, сэр,— отозвался Дживз, бесшумно ставя чашку чая на столик у моего изголовья. Я поднес чашку к губам. Чай был, как всегда, изумительный. Не слишком горячий и не чересчур сладкий, не жидкий, но и не чрезмерно крепкий; молока налито ровно столько, сколько надо, и ни одна капля не вылилась на блюдце. Нет, Дживз верен себе — мастер на все руки, иначе не скажешь. Я всегда это говорил и могу повторить снова. Хотите пример? Пожалуйста. Мои прежние слуги, все как один, имели обыкновение врываться ко мне в комнату, когда я еще видел сны. Дживз же — поразительное дело! — не входя в спальню, точно знает, сплю я или нет. Телепат, одно слово! В отличие от своих предшественников он всегда заглядывает в спальню ровно через десять минут после моего возвращения к жизни. А это, черт возьми, немаловажно, ведь от того, как начнешь день, зависит многое.

— Как погода, Дживз?

— Исключительная — во всяком случае, для этого времени года, сэр.

— Что в газетах?

— Ничего — если не считать некоторой напряженности на Балканах.

— Послушай-ка, Дживз, один мой знакомый, я встретил его вчера вечером в клубе, посоветовал поставить все, вплоть до рубашки, на Пирата, который скачет сегодня в два. Что скажешь?

— Если откровенно, сэр, эта идея сердцебиения у меня не вызывает. На конюшнях от этого жеребца не в восторге.

Сказал — как отрезал. Что ж, Дживз знает, что говорит. Каким образом — понятия не имею, но знает. Сознаюсь, было время, когда я не воспринимал его слова всерьез, а мчался на ипподром и, вопреки его советам, ставил все, что было, на проклятую лошадь. Теперь же я стал осмотрительнее.

— Кстати о рубашках,— вспомнил я.— Дюжину розовых, в полоску, которые я на днях заказывал, привезли?

— Рубашки доставили вовремя, сэр, однако я отправил их обратно.

— Обратно?!

— Именно, сэр. Они вам не пойдут.

М-да... Мне-то, честно говоря, рубашки понравились, и даже очень, но Дживзу виднее... Скажете, у меня нет собственного мнения? Не знаю, не знаю... В наше время в обязанности большинства слуг входит лишь гладить своим хозяевам брюки и давать им завтрак в постель, а никак не ценные советы. Но Дживз — особая статья. С первого же дня он стал для меня наставником, философом, другом.

— Каких-нибудь две-три минуты назад вам звонил мистер Литтл, сэр. Я сказал ему, что вы еще не проснулись.

— Он просил что-нибудь передать?

— Нет, сэр. Сказал лишь, что у него к вам важное дело, однако в подробности вдаваться не стал.

— Неважно, мы наверняка увидимся в клубе.

— И я того же мнения, сэр.

Не могу сказать, чтобы я был очень заинтригован. С Бинго Литтлом мы вместе учились в школе, довольно часто видимся и теперь. Он — племянник старого Мортимера Литтла, который недавно отошел от дел, успев сколотить приличное состояние (неужели не слышали о мази Литтла — «Мужская мазь «Мажестик»?). Щедрый дядюшка назначил любимому племяннику весьма щедрое содержание, поэтому Бинго ни в чем себе не отказывает и жизнь ведет самую беззаботную. Звонок «по важному делу», скорее всего, означал, что Бинго обнаружил новый сорт сигарет или что-нибудь в этом роде и хочет похвастаться,— поэтому нельзя сказать, чтобы за завтраком я сгорал от любопытства.

После еды я, как водится, закурил сигарету и подошел к окну. День и в самом деле выдался великолепный.

— Дживз,— сказал я.

— Сэр? — В это время Дживз убирал со стола, но, услышав голос хозяина, с готовностью оставил это занятие.

— Ты оказался, как всегда, прав. Утро сегодня что надо.

— Целиком с вами согласен, сэр.

— Весна, весна...

— Именно, сэр.

— Как сказал поэт, «по весне в мозгу роятся только мысли о любви...» [1]

— Совершенно справедливое замечание, сэр.

— Ну, а раз справедливое, принеси-ка мне, дорогой мой Дживз, бамбуковую трость, желтые штиблеты и мою любимую зеленую фетровую шляпу. Пойду в Гайд-парк танцевать пасторальные танцы.

Знакомо ли вам чувство, какое испытываешь обыкновенно в последние дни апреля — в самом начале мая, когда небо высокое и голубое, облака словно ватные, а с запада дует легкий ветерок? Возвышенное, я бы даже сказал, романтическое чувство... Я, знаете ли, не причисляю себя к дамским угодникам, но этим утром мне почему-то ужасно захотелось, чтобы какая-нибудь обворожительная юная особа кинулась мне на шею, спасаясь от убийц и насильников, преследующих ее по пятам. Однако меня поджидало разочарование: вместо обворожительной юной особы на шею мне кинулся юный Бинго Литтл в совершенно идиотском атласном малиновом галстуке с нарисованными на нем лошадиными копытами.

— Салют, Берти,— сказал Бинго.

— Господи помилуй! — возопил я.— Ну и галстучек! Ничего красивее ты найти не мог?

— Дело в том...— Он покраснел как рак.— Дело в том,. что это подарок.

Бинго был явно смущен, и я переменил тему. Мы немного прошлись, а затем сели на берегу Серпантина [2].

— Дживз передал мне, что ты звонил по делу.

— Я? — Бинго вздрогнул.— А, ну да, по делу.

Я замолчал в ожидании очередной истории, однако на этот раз поделиться со мной ценной информацией Бинго не торопился. Он сидел, подавшись вперед и уставившись в одну точку.

— Слушай, Берти,— заговорил он наконец после затянувшегося молчания.

— Слушаю.

— Тебе нравится имя Мейбл?

— Нет.

— Нет?

---

[1] Герой вольно цитирует поэму Альфреда Теннисона (1809—1892) «Локсли-холл». (*Здесь и далее — прим. перев.*).

[2] Озеро в Гайд-парке.

— Нет.

— Тебе не кажется, что от этого имени веет словно бы журчанием ручья, или нет, шелестом ветра в густой листве?

— Нет, не кажется.

Огорчившись, Бинго на минуту затих, однако затем воспрянул вновь:

— Ничего удивительного. Ты ведь всегда был бесчувственным поленом, человеком без сердца.

— Поленом так поленом. Скажи лучше, кто она?

Бедняга Бинго в очередной раз втюрился, дело ясное. Сколько его знаю (а ведь мы вместе учились в школе), он всегда весной в кого-то влюбляется. Прямо наваждение какое-то! Еще в школе он, как безумный, собирал фотографии киноактрис, в Оксфорде же его романтические увлечения были притчей во языцех.

— Кто она? — переспросил он.— Если с нами сегодня пообедаешь — узнаешь.

— Богатая идея. Где ж ты с ней договорился встретиться? В отеле «Риц» [1], я полагаю?

— Рядом.

Бинго не соврал: дешевая забегаловка, из тех, что разбросаны по всему Лондону, и в самом деле находилась в каких-нибудь пятидесяти ярдах от «Рица». Вид закусочная имела абсолютно непотребный, что, впрочем, не помешало юному Бинго нырнуть в нее, точно ручному кролику, и, не успел я раскрыть (а вернее, закрыть) рот, как нас усадили за угловой, обильно политый кофе столик.

Должен сознаться, я не вполне понимал, что, собственно, происходит. В миллионерах Бинго не ходил никогда, однако нельзя сказать, чтобы он испытывал серьезные денежные затруднения. В настоящее время, это я знал точно, он был «в плюсе», и в большом плюсе, да и дядюшка своего племянника не забывал. Какого же тогда черта он ведет обедать любимую девушку в эту дыру?!

Тут к нашему столику подошла молоденькая и довольно смазливая официантка.

«Мало того, что он затащил свою возлюбленную в этот вертеп, но еще заказывает еду до ее прихода»,— подумал я и сказал:

— А разве мы не будем ждать...— Но тут я увидел выражение лица Бинго и осекся.

Он густо покраснел и уставился на меня выпученными глазами. В этот момент он был похож на вурдалака.

— Привет, Мейбл! — выпалил он.

— Привет,— сказала официантка.

— Мейбл, познакомься, это мой друг Берти Вустер.

— Очень приятно,— сказала девушка.— Какая сегодня погода хорошая.

— Восхитительная,— буркнул я.

— Смотри, я в твоем галстуке,— сказал Бинго.

— Тебе очень идет,— откликнулась девушка.

Если бы *мне* сказали, что *такой* галстук мне идет, я бы, честное слово, разбил обидчику нос, невзирая на его пол и возраст,— однако бедняга Бинго, раскрасневшись от сделанного ему комплимента, лишь преглупо хихикнул.

— Ну-с, что будем кушать? — поинтересовалась официантка, переходя к делу.

Бинго благоговейно изучил меню.

— Я буду холодец с хреном, какао и миндальное пирожное. А ты, Берти? То же самое?

Я злобно посмотрел на Бинго. А еще друг называется! Угощает всякой отравой.

— А может, возьмем по порции горячего мясного пудинга и по бутылке ситро, а? — спросил Бинго.

---

[1] Фешенебельная лондонская гостиница.

Вот что делает с человеком любовь! Страшно подумать! Неужели этот же самый Бинго, который сейчас, как ни в чем не бывало, рассуждает о ситро и холодце с хреном, когда-то, в лучшие времена, подзывал в «Кларидже» метрдотеля и разъяснял ему, *как* шеф-повар должен приготовить sole frite au gourmet aux champignons [1]. «И учтите, если рыба придется мне не по вкусу,— помнится, предупреждал метрдотеля Бинго,— я швырну ее вам в физиономию!» Как же низко он пал! Боже, как низко!

Булочка с маслом и чашка жидкого кофе оставались, должно быть, единственными наименованиями в прейскуранте, которые не были отравлены новоявленной Лукрецией Борджиа, поэтому свой выбор я остановил на этих изысканных блюдах, и Мейбл, записав мой заказ, исчезла.

— Ну? — с придыханием спросил Бинго, которому, по всей вероятности, не терпелось узнать мое мнение о только что покинувшей нас прелестной отравительнице.

— Очень мила.

Бинго явно остался недоволен.

— А тебе не кажется, что это самая обворожительная девушка на свете? — упавшим голосом произнес он.

— Бесспорно! — воскликнул я, чтобы его не расстраивать.— Где ж ты ее подцепил?

— На танцах в Камберуэлле.

— Какого черта тебя понесло в Камберуэлл на танцы?

— Скажи Дживзу спасибо — это он предложил мне купить пару билетов: мероприятие ведь было благотворительное.

— Никогда не знал, что Дживз ходит на танцы!

— Должен же он тоже иногда расслабляться, верно? Короче, он там был и чувствовал себя, между прочим, как рыба в воде. Поначалу я идти не хотел, а потом подумал: дай-ка схожу. И слава Богу! Представляешь, чего бы я лишился!

— Чего бы ты лишился? — переспросил я, чувствуя, что старина Бинго совсем спятил.

— Не чего, а кого, болван! Мейбл, разумеется! Кого же еще. Если б я не пошел на танцы, то не познакомился бы с Мейбл.

— А, теперь понятно.

Тут Бинго впал в транс, из которого выходил лишь в те мгновения, когда запихивал в рот очередной кусок студня или миндальное пирожное.

— Берти,— сказал он, насытившись,— мне нужен совет.

— Валяй.

— Только не твой — твои советы, известное дело, до добра не доводят... то есть я хотел сказать...

— Я тебя понял.

— Мне бы хотелось, чтобы ты рассказал все это Дживзу,— посмотрим, что посоветует он. Ты же сам говорил, что старикан многих твоих друзей из беды выручил. Он у нас — что-то вроде библейского Соломона.

— Меня, по крайней мере, он еще ни разу не подвел.

— Тогда изложи ему мое дело.

— Какое дело-то?

— Мою проблему!

— Какую проблему?

— Господи! Дядя, дядя — вот моя проблема, неужели непонятно? Как ты думаешь, что на все это скажет мой дядя, а? Для него ведь такая новость — как ушат ледяной воды.

— Я смотрю, он у тебя чувствительный.

— Не знаю, чувствительный или нет, но его надо заранее подготовить. Вот только как?

— Да, задача не из легких...

— То-то и дело, что не из легких. Ты же знаешь, я от старика здорово завишу. Если он снимет меня с довольствия, я пропал. Поэтому, очень тебя

---

[1] Жареная рыба с шампиньонами *(франц.)*.

прошу, изложи эту историю Дживзу — может, ему что-нибудь в голову придет. Передай, что мое будущее в его руках и что если зазвонят церковные колокола, я его должник. Пообещай ему целое состояние — ну, скажем... десятку. Как ты полагаешь, десятка его устроит?

— Более чем.

Лично меня ничуть не удивило, что Бинго готов посвятить Дживза в свои любовные переживания. На его месте я сделал бы то же самое. Ведь Дживз — я имел возможность не раз в этом убедиться — мудр как сам Господь Бог, и мысли ему в голову залетают самые блестящие. Да, в создавшейся ситуации помочь бедняге Бинго мог только Дживз. Он один — и никто другой.

В тот же день после ужина я решил изложить старику суть дела.

— Дживз!

— Сэр?

— Ты сейчас занят?

— Нисколько, сэр.

— Точно?

— Абсолютно точно, сэр. В это время я вообще-то имею обыкновение читать какую-нибудь поучительную книжицу, однако если во мне возникла нужда, занятие это ничего не стоит перенести на более позднее время, а то и отложить вовсе.

— Видишь ли, мне нужен твой совет. Дело касается мистера Литтла.

— Простите, сэр, мистера Литтла-младшего или старшего, который в свое время живал в Паунсби-гарденз?

Все-то он знает! Я дружу с Бинго, можно сказать, всю жизнь, а никогда понятия не имел, где жил его дядюшка.

— Откуда тебе известно, что у него дом в Паунсби-гарденз?

— Дело в том, сэр, что я, как бы это поточнее выразиться, состою в доверительных отношениях с кухаркой мистера Литтла-старшего. Между нами установилось... определенное взаимопонимание.

Должен сказать, что это было для меня сюрпризом. Вот уж никогда не думал, что Дживза интересует эта сторона жизни!

— Вы что же, помолвлены, признавайся?

— В некотором роде, сэр.

— Ну и ну!

— Она превосходно готовит, сэр,— заметил, словно бы в свое оправдание, Дживз.— Итак, что вы хотели спросить меня по поводу мистера Литтла?

Я изложил ему суть дела.

— Такая вот история, Дживз,— закончил я.— Давай-ка соберемся с мыслями и постараемся помочь бедняге Бинго. Расскажи мне о старом Литтле. Что он собой представляет?

— Экземпляр прелюбопытный, сэр. Отойдя от дел, живет затворником, главный интерес в жизни — гастрономический.

— Обжора, что ли?

— С вашего разрешения, сэр, я бы употребил не столь сильное слово и назвал мистера Литтла-старшего «гурманом». Есть что попало он не станет, а потому услуги мисс Уотсон ценятся в его доме весьма высоко.

— Мисс Уотсон на него кухарит?

— Совершенно верно, сэр.

— Что ж, в таком случае имеет смысл подослать к нему Бинго как-нибудь вечером, после ужина, когда старикан разомлеет.

— К величайшему сожалению, сэр, в настоящий момент мистер Литтл, вследствие очередного приступа подагры, сидит на диете.

— Тогда дело дрянь.

— Не скажите, сэр. Как мне представляется, недуг мистера Литтла-старшего можно использовать в интересах мистера Литтла-младшего. На днях я беседовал с камердинером мистера Литтла, и тот сообщил мне, что теперь его главной обязанностью стало читать мистеру Литтлу вслух. Так вот, на вашем месте, сэр, я бы порекомендовал мистеру Литтлу-младшему читать вслух своему дядюшке.

— Старик тронут до глубины души самозабвенной заботой любимого племянника и идет ему навстречу, во всем ему потакает — ты это имеешь в виду?

— Да, но не только это, сэр. Выбор литературы тут также немаловажен.

— Тогда ничего не получится. Бинго — малый неплохой, но с мировой литературой отношения у него не сложились.

— Это поправимо, сэр. Если вы не возражаете, я мог бы подбирать литературу сам. Мысль же моя сводится к следующему...

— Рассказывай, не тяни!

— Психологический метод, к которому я предлагаю прибегнуть, принят, если не ошибаюсь, в рекламе и именуется «прямым внушением». Путем многократного повторения вы можете внушить собеседнику все что угодно. Вам когда-нибудь приходилось брать на вооружение этот метод, сэр?

— То есть тебе изо дня в день вбивают в голову, что такое-то мыло — самое лучшее, пока, наконец, ты не бросаешься в соседнюю лавку и не скупаешь этот сорт на корню?

— Именно так, сэр. Тот же метод, по сути, лег в основу антигерманской пропаганды во время войны. С тем же успехом можно использовать прямое внушение и для борьбы с классовыми предрассудками. Если юный мистер Литтл будет день за днем читать своему дядюшке произведения, в которых брачный союз с представительницами низших слоев считается не только не зазорным, но даже желательным, мистер Литтл-старший окажется психологически подготовленным к известию о том, что его непутевый племянник намеревается вступить в законный брак с официанткой из дешевой закусочной.

— Постой, а разве *такие* книги еще сочиняют? Из газетных рецензий я почерпнул, что герои современных романов — это в основном мужья и жены, которые невзлюбили друг друга и ссорятся по любому поводу.

— Да, сэр, таких книг немало, ими, как правило, пренебрегает критика, зато у широкого читателя они пользуются большим спросом. Неужели вам никогда не попадался роман Рози М. Бэнкс «На алтарь любви»?

— Нет.

— А «Алая, алая летняя роза» той же романистки?

— Нет.

— У моей тетушки, сэр, есть полное собрание сочинений Рози М. Бэнкс, поэтому, если понадобится, я смогу позаимствовать у нее любой том. Пишет мисс Бэнкс живо, увлекательно.

— Что ж, попробовать, по-моему, стоит.

— Я, со своей стороны, очень рекомендую вам этот подход, сэр.

— Вот и отлично. Завтра же отправляйся к своей тетушке и возьми у нее парочку романов поколоритней. Глядишь, что-нибудь из этого и получится.

— Обязательно получится, сэр.

2

Через три дня Бинго доложил, что Рози М. Бэнкс — это именно то, что прописал доктор, и даже лучше. Поскольку старый мистер Литтл не слишком жаловал художественную прозу, предпочитая романам солидные научные журналы, поначалу, узнав о перемене в литературной диете, он было заартачился, однако Бинго, не вдаваясь в объяснения, прочел ему первую главу «Алтаря любви», после чего старикан от Рози М. Бэнкс уже не мог оторваться. За это время они осилили «Алую, алую летнюю розу», «Непоседу Несси», «Фабричную девчонку» и дошли до середины «Флирта доктора Флита».

Все это Бинго изложил мне охрипшим голосом, поминутно прикладываясь к взбитому в хересе яйцу,— перенапряжение голосовых связок (а по-научному «афония», как он выяснил в медицинской энциклопедии) давало о себе знать. И вместе с тем юный Литтл, безусловно, двигался в нужном направлении, не говоря уже о том, что каждый вечер, после сеанса

художественного чтения, его оставляли обедать, и, по его словам, дядюшкина кухарка и в самом деле творила чудеса. Говоря о черепаховом супе, бедняга не мог сдержать слез, и я его понимаю: если неделями питаться черствыми миндальными пирожными и холодцом сомнительной свежести, домашний обед и впрямь покажется пиром.

Что же касается старого Литтла, то он, не имея возможности принимать участие в вечерней трапезе, довольствовался тем, что подходил к столу, съедал приготовленную специально для него порцию крахмальной муки, плотоядно обнюхивал тарелки, после чего рассказывал истории о званых обедах, на которых ему доводилось присутствовать, и рассуждал о том, какие блюда он закажет, когда врачи поставят его на ноги,— так что, думаю, старик тоже внакладе не оставался. Дела, иными словами, шли неплохо, и юный Литтл похвастался, что ему в голову пришла отличная мысль, которая, как он полагал, обеспечит успех всего предприятия. Делиться со мной своей задумкой Бинго, правда, пока не собирался, сказав лишь, что идея эта — лучше не придумаешь.

— Дела идут на лад, Дживз,— сказал я.

— Очень рад, сэр.

— Мистер Литтл говорит, что когда он дошел до кульминационной сцены в «Фабричной девчонке», его дядюшка таращился, точно кастрируемый бычок.

— Неужели, сэр?

— Когда лорд Клод заключает героиню в объятия и...

— Я хорошо помню это место, сэр. Эпизод и в самом деле запоминающийся. Любимый роман моей тетушки, сэр.

— Полагаю, мы на правильном пути, Дживз.

— Будем надеяться, сэр.

— Ты и на этот раз оказался прав, Дживз. Я всегда говорил и буду говорить: в интеллектуальном отношении тебе нет равных. Крупнейшие мыслители века не идут с тобой ни в какое сравнение.

— Спасибо на добром слове, сэр. Рад, что пригодилась моя помощь.

Через неделю Бинго сообщил, что дядюшке полегчало и на следующий день старик собирается вновь сесть за стол и, вооружившись ножом и вилкой, наверстать упущенное.

— Да, чуть не забыл,— сказал Бинго.— Он изъявил желание пригласить на обед тебя.

— Меня?! Но почему меня? Он ведь даже не подозревает о моем существовании.

— Подозревает, очень даже подозревает. Я рассказывал ему о тебе.

— И что ж ты ему рассказал?

— Много чего. Короче, он хочет с тобой познакомиться. И не вздумай отказываться, слышишь? Завтрашний обед будет иметь решающее значение.

Что-то в поведении Бинго было странное, я бы даже сказал, настораживающее. Как будто он что-то замышлял.

— Нет, дорогой мой, не виляй, выкладывай все как есть,— сказал я.— С какой это стати твой дядюшка станет приглашать на обед совершенно незнакомого человека?

— Вот бестолковый, говорю же тебе: я ему все уши про тебя прожужжал — и что ты мой лучший друг, и что в школе мы вместе учились, и так далее.

— Нет, все-таки странно. И потом, тебе-то от этого какая корысть? Почему ты так настаиваешь, чтобы я принял приглашение?

Бинго медлил с ответом.

— Ты же помнишь,— сказал наконец он,— что мне в голову пришла одна замечательная идея. Так вот: мне хочется, чтобы о моих планах рассказал ему ты. А то самому мне неловко.

— Я?! Да ни за что на свете!

— А еще друг называется!

— Да, друг, но всему есть предел.

— Берти,— с упреком в голосе сказал Бинго,— я ведь однажды спас тебе жизнь.

— Ты — мне?!

— А что, разве нет? Значит, я с кем-то тебя перепутал. Впрочем, какая разница. Мы же с тобой знакомы с детства, вместе росли, ходили в школу... Не бросай меня в трудную минуту.

— Так и быть,— сдался я.— Но когда ты говоришь, что тебе неловко, честное слово, ты себя недооцениваешь. Человек, который...

— Я побежал! — перебил меня юный Бинго.— Итак, завтра в половине второго. Не опаздывай.

Должен признаться, что чем больше я думал о приглашении, тем меньше оно мне нравилось. Бинго мог сколько угодно расписывать кулинарные способности поварихи мистера Литтла-старшего, но что за радость даже в самых изысканных кушаньях, если тебя выпихивают пинком под зад после первого же блюда? Однако слово Вустера — закон, а потому назавтра, ровнехонько в половине второго я взбежал по ступенькам дома № 16 по Паунсби-гарденз и нажал на кнопку звонка. А спустя еще полминуты я уже стоял в гостиной, пожимая руку самого толстого человека на свете.

Семья Литтлов, надо полагать, строилась по принципу многообразия, ибо, если юный Бинго был долговяз и худ, как спичка,— за время нашего с ним знакомства он не прибавил ни единой унции,— то дядюшка являл собой полную противоположность племяннику, и даже больше того. Рука, обхватившая мою, была такой величины, толщины и силы, что я уже стал подумывать, не придется ли извлекать мою ладонь с помощью экскаватора.

— Мистер Вустер, я счастлив... я горд... я польщен...

Должно быть, юный Бинго ужасно меня расхвалил.

— О... ооо! — вырвалось у меня.

Литтл-старший немного отступил назад, однако руки моей упорно не отпускал.

— Вы так молоды, а уже столького добились в жизни!

Я никак не мог взять в толк, что́ старик имеет в виду. Мои родственники, в особенности тетя Агата, которая с раннего детства читала мне мораль по любому поводу, внушили мне, что я загубил свою жизнь и что, за исключением гербария из диких цветов, собранного мною во время каникул и удостоенного специального школьного приза, я не совершил ровным счетом ничего, дабы занести свое имя на скрижали национальной славы. Я уже стал было думать, не спутал ли меня старикан с кем-то другим, когда в холле раздался телефонный звонок и горничная, войдя в гостиную, позвала меня к телефону. Я пулей вылетел за дверь, снял трубку и услышал голос юного Литтла:

— Салют! Ты уже здесь? Молодчина! Я всегда знал, старина, что на тебя можно положиться. Скажи, как дядюшка тебя принял?

— С распростертыми объятиями. Не пойму только почему.

— Сейчас все объясню, для этого я и позвонил. Дело в том, что я... я сказал дядюшке, что книги, которые я ему читал, написал ты.

— Что?!

— Да, я сказал, что «Рози М. Бэнкс» — это твой псевдоним и что ты как человек скромный, застенчивый предпочитаешь об этом особо не распространяться. Уж теперь-то он тебя послушает. Поверит каждому твоему слову. Неплохая идея, а? Такое бы даже Дживзу в голову не пришло, согласись? Так что будь на высоте, старикан, и помни: если я женюсь, мне назначенного содержания мало. Женатому человеку на него не прожить. Поэтому если мы хотим, чтобы эта любовная история кончилась голливудским поцелуем, мое содержание должно быть увеличено как минимум вдвое. У меня все. Привет.

Не успел я положить трубку, как из гостиной грянул гонг, и с лестницы, подобно Ниагарскому водопаду, низвергся радушный хозяин.

Всякий раз, вспоминая об этом обеде, я испытываю чувство горького разочарования. Ведь такое событие происходит не чаще одного раза в жизни, а я оказался психологически к нему не готов. То есть подсознательно

(понимаете, что я имею в виду?) я чувствовал, что значение обеда выходит за рамки обычного, но возмущение негодяем Бинго, поставившим меня в идиотское положение, было так велико, что в истинный смысл этой трапезы я не в силах был проникнуть. Вдобавок у меня напрочь пропал аппетит, тончайшие блюда, которыми потчевал меня хозяин, я поглощал без всякого разбора и вкуса, точно опилки.

Старый Литтл сразу же повел разговор о литературе:

— Мой племянник, вероятно, говорил вам, что в последнее время я пристально слежу за вашим творчеством? — начал он.

— Да, у нас шел об этом разговор. Ну и как вам вся эта... вся эта галиматья?

Толстяк окинул меня благоговейным взглядом:

— Мистер Вустер, я нисколько не стыжусь того, что не мог без слез слушать ваши книги. Просто поразительно, как такой молодой автор сумел столь глубоко проникнуть в человеческую психологию, столь виртуозно сыграть на душевных струнах своих читателей; сочинить такие правдивые, такие гуманные, такие трогательные, такие значительные произведения...

— Это, знаете ли, дело техники,— с трудом выговорил я.

Пот ручьями бежал у меня по лицу. Никогда, кажется, не бывал я еще так смущен.

— В комнате не слишком душно?

— Нет, нет, что вы, в самый раз,— поспешил ответить я.

— Тогда это перец. Моя кухарка безупречна, вот только перцем немного злоупотребляет. Кстати, как вам ее стряпня?

Я так обрадовался, что мы отвлеклись от моего литературного творчества, что принялся громогласно превозносить ее кулинарное искусство.

— Очень приятно это слышать, мистер Вустер. Быть может, я пристрастен, но, на мой взгляд, это гениальная женщина.

— Бесспорно! — вскричал я.

— Она служит у меня уже восьмой год, и за все это время, даже с точки зрения самого взыскательного гурмана, ни разу не совершила ни единого просчета. Только однажды, зимой семнадцатого года, она слишком густо взбила майонез. Но тут следует сделать скидку на то, что зимой участились воздушные налеты, что, естественно, не могло самым пагубным образом не отразиться на нервах бедной женщины. Впрочем, не зря же говорят, мистер Вустер, что в этом мире нет совершенства, вот и мне тоже приходится нести свой крест. В течение семи лет я жил в постоянном страхе, как бы какой-нибудь негодяй не переманил ее. До меня доходили слухи, что у нее нет недостатка в предложениях, причем весьма заманчивых. Можете себе представить мое отчаяние, мистер Вустер, когда сегодня утром гром наконец грянул. Она сообщила, что уходит!

— Боже милостивый!

— Ваше участие лишний раз доказывает, что у автора «Алой, алой летней розы» благородное сердце. Но должен вас обрадовать: худшего избежать удалось. Все уладилось. Джейн остается.

— Ни хрена себе!

— Вот именно — хотя, честно говоря, я не совсем понимаю, при чем тут хрен. Что-то не припомню, чтобы это выражение попадалось мне в ваших книгах. Кстати, о ваших книгах: они, на мой взгляд, не только на редкость проницательны и живо написаны, но и глубоко философичны. Одно могу сказать, мистер Вустер: если бы в Лондоне было побольше таких, как вы, это был бы совсем неплохой город.

Мнение Литтла-старшего являлось полной противоположностью тому, что считала тетя Агата, которая неоднократно давала мне понять, что если Лондон — клоака, то в основном из-за таких отбросов общества, как я. Но я, разумеется, не стал рассказывать хозяину дома, что думала обо мне тетя Агата.

— Больше всего, мистер Вустер, я ценю в вашем творчестве тот вызов, который вы смело бросаете дремучим предрассудкам нашей обветшалой сословной системы. Высоко ценю! Как человек талантливый и непредвзя-

тый вы прекрасно понимаете, что социальное положение — это, в сущности, не более чем почтовый штемпель ценой в гинею и что, как замечательно сказал в «Фабричной девчонке» лорд Блетчмор, «простая, добрая женщина, пусть даже самого скромного происхождения, ничуть не хуже самой блестящей и знатной дамы».

— Послушайте! Вы что, действительно так считаете?

— Именно так, мистер Вустер. Сейчас мне даже стыдно признаться вам, что было время, когда я, и не один я, верил в то, что принято называть «классовыми барьерами». Какая чушь! Однако прочитав ваши книги...

Нет, это все-таки удивительно! Дживз и тут оказался прав.

— Стало быть, вы полагаете, что молодой человек, занимающий, скажем так, определенное положение в обществе, может взять в жены девушку из низкого сословия?

— Может, конечно, может, мистер Вустер.

Тут я собрался с духом и выложил толстяку все как есть:

— Юный Бинго... ваш племянник... он... он хочет жениться на... официантке.

— Это делает ему честь.

— И вы не возражаете?

— Нисколько. Наоборот, приветствую.

Я снова набрал полную грудь воздуха и перешел к материальной стороне дела:

— Простите, что вмешиваюсь...— осторожно начал я.— Но... э... как быть с...?

— Как быть с чем? Я не вполне понимаю, о чем вы говорите, мистер Вустер.

— Как быть... с его содержанием? Вы ведь были столь великодушны, что назначили вашему племяннику содержание. Вот он и подумал, нельзя ли... в связи с его матримониальными планами... немного это содержание увеличить?

Старый Литтл с грустью покачал головой.

— Боюсь, из этого ничего не выйдет. Видите ли, у человека в моем положении на счету каждый пенни. Я буду рад продолжать выплачивать своему племяннику то содержание, которое ему назначено, но давать больше, чем сейчас, я, увы, не в состоянии. Это было бы несправедливо по отношению к моей жене.

— К вашей жене?!! Но вы ведь не женаты!

— Да, пока не женат, но в самом скором времени собираюсь сочетаться священными, так сказать, узами брака. Не далее, как сегодня утром, та, что кормила меня в течение многих лет,— и как кормила! — согласилась отдать мне свою руку и сердце.— Его глаза победоносно сверкнули.— Теперь уж ее у меня не переманишь! — злорадно пробормотал он.

— Вам весь день дозванивается юный мистер Литтл, сэр,— сообщил мне Дживз, когда я вечером вернулся домой.

— Еще бы он не дозванивался,— буркнул я. (Вскоре после обеда я передал с посыльным бедняге Бинго записку, где вкратце излагал ситуацию.)

— Голос у него, насколько я могу судить, был немного взволнованный, сэр.

— Ничего удивительного, Дживз. У меня плохие новости — для тебя в том числе. Поэтому возьми себя в руки. Твой план сорвался.

— Он не пересмотрел свои взгляды?

— В том-то и беда, что пересмотрел. Должен тебя огорчить, старина: твоя невеста, мисс Уотсон, кухарка... она, как бы это сказать, предпочла богатство честной бедности.

— Сэр?

— Она пренебрегла тобой и согласилась выйти замуж за толстяка Литтла.

— В самом деле, сэр?

— По-моему, ты не слишком расстроен?

— Дело в том, что я предвидел такое развитие событий, сэр.

Я с изумлением уставился на Дживза:

— Какого ж тогда черта ты предложил этот план действий?

— По правде говоря, сэр, мысль о разрыве с мисс Уотсон последнее время не казалась мне такой уж нелепой. Скажу больше, я стремился порвать с этой дамой. Поймите меня правильно, сэр, я глубоко уважаю мисс Уотсон, но давно уже убедился, что мы друг другу не подходим. Зато еще одна юная особа, с которой у нас установилось... взаимопонимание...

— Черт возьми, Дживз! Еще одна?!

— Да, сэр.

— И давно это продолжается?

— Недели три, сэр. Мы познакомились в Камберуэлле, на танцах, и эта девушка показалась мне чрезвычайно привлекательной...

— Господи помилуй, Дживз! Не она ли...

Дживз слегка наклонил голову:

— Она, сэр. По странному совпадению, это та самая юная особа, в которую мистер Литтл-младший... Я кладу сигареты на столик у вашего изголовья, сэр. Доброй ночи.

Деловая сметка

— Еще портвейна, старина? — предложил гостеприимный хозяин Стэнли Фэзерстоун Акридж.

— Благодарю.

— Бокал портвейна для мистера Коркорана, Бакстер. Кофе, сигары и ликер можешь принести в библиотеку через четверть часа.

Дворецкий наполнил мой бокал и исчез. Я осовело огляделся по сторонам. Мы сидели в громадной столовой в особняке на Уимблдон-коммон, принадлежавшем леди Джулии, которой Акридж доводился племянником. Великолепный обед уже подходил к концу, а мне по-прежнему не верилось, что я здесь.

— Не понимаю одного,— сказал я.— Как получилось, что я нахожусь в этом доме и уплетаю изысканнейшие блюда, за которые платила твоя тетушка?

— Все очень просто, дружище. Я выразил желание пригласить тебя в гости, и тетушка сразу же согласилась.

— Но почему? Раньше ведь она никогда не позволяла тебе меня приглашать? Она же меня на дух не переносит.

— Все дело в том, Корка (так он меня называл),— доверительно сказал Акридж, пригубив портвейн,— что за последнее время в доме произошли события, которые знаменуют собой начало новых отношений между мной и тетушкой Джулией. Можно без преувеличения сказать, что сейчас она буквально ест из моих рук и стелется передо мной, словно пыль под колесами моей колесницы. Могу рассказать тебе всю историю — она весьма поучительна. Мораль же ее в том, что, какие бы тучи ни сгущались над головой, все преодолимо, если есть деловая сметка. «Тропой альпийской в снег и мрак шел юноша, державший стяг...» [1]

— Не тяни, рассказывай!

Акридж на минуту задумался, а потом сказал:

— Думаю, все началось с того, что я заложил ее брошь...

— Ты заложил тетушкину брошку?!

— Да.

— И за это она тебя полюбила?

— Сейчас все объясню. Тебе когда-нибудь встречался человек по кличке Джо Законник?

— Нет.

— Толстяк, с лицом, как сухая груша?

---

[1] Строки из стихотворения Лонгфелло «Excelsior» (1842).

— Первый раз слышу.

— И слава Богу, Корка. Тебе очень повезло. Ты же знаешь, я терпеть не могу злословить, но Джо Законник нечист на руку.

— А чем он занимается? Отдает в залог чужие брошки?

Акридж с обиженным видом поправил на переносице пенсне цвета имбирного пива:

— Напрасно ты язвишь, Корка. А еще старый друг. Когда я расскажу тебе все по порядку, ты сам убедишься, что заложить теткину брошку было совершенно необходимо. В противном случае я не смог бы купить полсобаки.

— Полсобаки?!

— А разве я не рассказывал тебе про собаку?

— Нет.

— Не может быть. В ней же все дело.

— Тем не менее не рассказывал.

— Кажется, я тебя окончательно запутал,— сказал Акридж.— Давай-ка начнем с самого начала.

Этот тип, Джо Законник,— букмекер, и отношения у меня с ним всегда были чисто деловые. Бывало, я выигрывал у него пару фунтов, и он присылал мне чек, или же, наоборот, он выигрывал пару монет у меня, и тогда мне приходилось тащиться к нему в контору и просить подождать с уплатой до следующей недели... Но до того дня, когда я по чистой случайности зашел в винный погребок на Бедфорд-стрит, мы с ним дружбы, как говорится, не водили. Ну вот, спускаюсь я в погребок и вижу — Джо Законник. Усаживает он меня за свой столик и предлагает, причем от всей души, стакан выдержанного светлого портвейна.

Что тебе сказать, старина, сам ведь знаешь: бывают минуты, когда стакана выдержанного светлого портвейна хочется до смерти, поэтому я с благодарностью согласился и говорю:

— Хороший денек сегодня.

— Неплохой,— отвечает.— Хочешь выиграть целое состояние?

— Еще бы.

— Тогда слушай. Про «Кубок Ватерлоо» [1] знаешь? Так вот, есть у меня собачка — мне ее один клиент за долги отдал,— которая должна этот кубок выиграть. А она темная, играть ее не будут. Что это значит? Это значит, что, во-первых, она привезет деньги, а во-вторых, сама будет стоить денег — и немалых. Хочешь половину этой собаки?

— Хочу.

— Половина твоя.

— Но у меня нет денег.

— Что ж ты, не можешь достать полсотни?

— Даже пятерки не могу.

— Проклятье!

И, смерив меня тем взглядом, каким смотрит отец на сына, оскорбившего его в лучших чувствах, Джо допил портвейн и вышел из погребка. А я отправился домой.

На обратном пути в Уимблдон, как ты догадываешься, мне было о чем подумать. Согласись, Корка, чем-чем, а широтой взглядов природа меня не обделила. В жизни я знаю толк — и в собаках тоже. Дело мне Джо предложил прибыльное, я это сразу понял. Весь вопрос был только в том, как собрать необходимую сумму — вечный камень преткновения. Сколько уже раз из-за отсутствия всего одного шиллинга я упускал случай стать миллионером!

И тут я задался вопросом, какими кредитами я располагаю. Джордж Таппер, если как следует попросить, в пятерке, как правило, не отказывает, да и ты, если б речь шла о нескольких шиллингах или полусоверене, охотно пришел бы мне на помощь. Но пятьдесят фунтов! Это ведь сумма немалая,

---

[1] Популярные ежегодные собачьи бега.

дружище, очень даже немалая! Необходимо было как следует пошевелить мозгами, и я употребил весь свой интеллект для решения этой задачи.

Когда я думаю, где бы взять денег, то всегда почему-то упускаю из вида свою тетушку Джулию. Как ты знаешь, к деньгам у нее отношение сложное. Я от нее не то что пятидесяти фунтов — пенса не получил, и тем не менее именно тетя Джулия на этот раз меня выручила. В такого рода вещах, Корка, уж ты мне поверь, есть какая-то мистика, не иначе...

Вернувшись в Уимблдон, я обнаружил, что тетушка занята приготовлениями к отъезду — наутро она в очередной раз уезжала читать лекции.

— Стэнли,— сказала она мне,— чуть не забыла. Зайди, пожалуйста, завтра в ювелирный магазин Мергатройда на Бонд-стрит и забери у них мою бриллиантовую брошь. Я отдала ее оправить. Принесешь брошку домой и положишь ко мне в бюро. Вот ключ. Ящик запрешь, а ключ вышлешь заказным письмом.

Как видишь, складывалось все на редкость удачно. Задолго до возвращения тетушки, прикинул я, состоится розыгрыш «Кубка Ватерлоо», я стану владельцем огромного состояния и без труда ее брошь выкуплю. Оставалось только заказать дубликат ключа, чтобы подложить брошь обратно в бюро, когда я заберу ее из ломбарда. План был продуман до мелочей. Утром я проводил тетушку на вокзал, сбегал на Бонд-стрит, забрал у ювелира брошку, затем побежал в ближайший ломбард, заложил ее — и впервые за последние месяцы вышел на улицу, заметно поправив свое финансовое положение. После этого я позвонил Джо Законнику, мы ударили по рукам — и я сделал первый шаг на пути к благосостоянию.

Но в этом мире, Корка, нас каждую минуту подстерегают неожиданности. Это то, что я всегда пытаюсь внушить молодым людям, только вступающим в жизнь: нас каждую минуту подстерегают неожиданности. Так вот, не прошло и двух дней, как в сад, где я отдыхал после обеда, вышел дворецкий и позвал меня к телефону. «Вас какой-то джентльмен спрашивает»,— сказал он.

Навсегда запомню этот момент. Был чудесный тихий вечер. Я сидел под раскидистым деревом и предавался безмятежным мыслям. Оранжевое, в алых подпалинах солнце катилось за горизонт, беззаботно пели, перепрыгивая с ветки на ветку, птички, в стакане плескалось благоуханное виски с содовой. Помню, что за минуту до того как в саду появился Бакстер, я размышлял, как же все-таки прекрасен этот мир.

Я подошел к телефону.

— Алло! — раздался голос в трубке.

Джо Законник. А Бакстер решил, что это какой-то джентльмен!

— Это ты? — говорит Джо.

— Я.

— Слушай.

— Слушаю.

— Помнишь собаку, про которую я сказал, что она выиграет «Кубок Ватерлоо»?

— Да.

— Так вот, никакого кубка она не выиграет.

— Это еще почему?

— Потому что она померла.

Сказать по правде, в этот момент у меня все поплыло перед глазами.

— Померла?!

— Померла.

— Что, правда померла?

— Чистая правда.

— А мои пятьдесят фунтов?

— Они теперь мои.

— Что?!

— Конечно, мои. Ведь сделка-то состоялась. Я, слава Богу, законы знаю, не зря ж меня прозвали Законником. Но я могу пойти тебе навстречу: напиши мне официальное письмо, в котором ты отказываешься от своих

прав на собаку, а я тебе заплачу пятерку, идет? Я, конечно, сам себя граблю, но что ж поделаешь: такой уж я человек — последнее готов отдать.

— А от чего собака померла?

— От пневмонии.

— Не верю. И что померла — тоже не верю.

— Ты мне не веришь?

— Нет.

— Можешь приехать на ипподром — убедишься.

Я приехал на ипподром, пришел на конюшню, вперился в еще не преданные земле останки и, убедившись, что собака и в самом деле сыграла в ящик, написал Джо официальное письмо, получил пятерку и вернулся в Уимблдон зализывать раны. А раны, Корка, были мне нанесены смертельные. Посуди сам: через несколько дней в Лондон должна была вернуться тетя Джулия, которая захочет полюбоваться на свою брошку, и хотя я — ее плоть и кровь и, очень может быть, в бытность мою ребенком она качала меня на коленях,— тетушка едва ли с христианским смирением перенесет известие о том, что бриллиантовую брошь заложили в ломбард, чтобы на вырученные деньги приобрести половину сдохшей собаки...

Но на следующее утро ко мне влетела поэтесса Анжелика Вайнинг, закадычная подруга тетки, старая дева, костлявая, с большими, как у лошади, зубами. Раза два, когда я гостил у тетушки, мисс Вайнинг приглашалась к обеду.

— Доброе утро! — воскликнула она, просияв.— Какой божественный день! Дышится так, будто ты где-то в лесу, а не в Лондоне, в двух шагах от Сити... Я пришла за брошкой вашей тетушки.

От неожиданности я вскочил со стула и вытянулся по стойке «смирно», положив руки на крышку рояля.

— Что, простите? — пролепетал я.

— Сегодня в клубе «Гусиное перо» — танцы,— пояснила поэтесса,— и я дала вашей тетушке телеграмму с просьбой одолжить мне на вечер бриллиантовую брошь. Леди Джулия ответила согласием и написала, что брошка лежит в бюро.

— Которое, к величайшему сожалению, заперто.

— Леди Джулия прислала мне ключ. Он у меня в сумочке.

И с этими словами, Корка, поэтесса раскрыла сумочку, но тут мой ангел-хранитель, который последнее время что-то совсем захирел, как видно, устыдился, ибо дверь приоткрылась, и в щель протиснулся один из тетушкиных китайских мопсов. Ты ведь помнишь тетушкиных мопсов, а, Корка? Как-то я позаимствовал их у тетушки для участия в мюзик-холле.

Мопс уставился на поэтессу, и та мгновенно растаяла:

— Боже, какая лапочка! — просюсюкала она, положила сумочку на стул и бросилась к собаке. Мопс попытался ретироваться, но не тут-то было.

— Ты мой сладкий! — простонала мисс Анжелика, а я, воспользовавшись тем, что старая дева повернулась спиной, рванулся к сумочке, извлек оттуда ключ, сунул его в карман и вновь застыл в первоначальной позиции.

— Простите, но я ужасно тороплюсь,— затараторила мисс Вайнинг.— Беру брошку и убегаю.— Она стала рыться в сумочке.— Господи, куда-то ключ подевался!

— Какая жалость! — посетовал я.— А впрочем, если вдуматься, к чему женщине драгоценности? Ее главная драгоценность — это молодость и красота, не так ли?

Мисс Вайнинг эта мысль понравилась, но не настолько, чтобы смириться с пропажей.

— Нет,— сказала она,— я обязательно должна надеть брошку, я уже настроилась. Давайте сломаем замок.

— Исключено,— твердо сказал я.— Меня оставили за хозяина, не могу же я портить тетину мебель.

— Да, но...

— Нет.

Тут, дружище, началось такое, что лучше не вспоминать. Не зря же

говорят: «Что́ пламя преисподней в сравненьи с девой разъяренной!» [1], тем более старой девой, которой не дают бриллиантовую брошь. Короче, расстались мы друзьями не самыми лучшими.

— Я поставлю леди Акридж в известность,— пригрозила мне уже в дверях поэтесса. Она удалилась, а я остался стоять возле рояля, как говорится, на ватных ногах,— такие сцены, сам знаешь, не проходят бесследно.

Я хорошо понимал, что необходимо действовать, и действовать как можно быстрее. Где-то надо было раздобыть пятьдесят фунтов. Но где взять такие деньги? В кредит, скажу тебе откровенно, Корка, мне уже давно не дают. Во всем мире был только один человек, который мог бы снабдить меня пятьюдесятью фунтами — и человеком этим был Джо Законник, которого, если только он окончательно не зачерствел душой, можно было при некотором старании уговорить протянуть руку помощи старому деловому партнеру, попавшему в переделку.

Во всяком случае, кроме него, спасти меня было решительно некому, поэтому я позвонил Джо в контору и, выяснив, что на следующий день он собирается на собачьи бега в Льюэсе, рано утром сел в поезд и отправился туда.

Какой же я был наивный человек, Корка! Скажи, ты видел когда-нибудь, чтобы у букмекера была душа?! Нет, такого не бывает и быть не может. Я простоял с этим негодяем несколько часов подряд, с двухчасовой до пятичасовой скачки, и собственными глазами видел, как он греб деньги лопатой, пока не нагреб столько, что наличные не помещались у него в сумке,— но когда я попросил его одолжить мне какие-то несчастные пятьдесят фунтов, Джо даже не посмотрел в мою сторону.

Надо знать психологию этих мошенников, Корка. Понимаешь, ему было нежалко расстаться с такой ничтожной суммой, просто он боялся, что увидят, как он дает в долг.

— Одолжить пятьдесят фунтов?! — произнес он, сделав вид, будто с такой просьбой к нему обращаются впервые.— Тебе? Хорошо же я буду выглядеть, если одолжу тебе полсотни!

— Какая тебе разница, как ты будешь выглядеть?

— Ты что же, хочешь, чтобы про меня говорили, что я — сердобольный осел?

— Человеку твоего масштаба должно быть безразлично, что о нем говорят,— не сдавался я.— Ты слишком большая птица, чтобы снисходить до этой мелюзги. Ты просто не можешь себе этого позволить.

— Чего я не могу позволить, так это бросаться такими суммами. Сегодня я одолжу тебе, а завтра другие попросят. Да мне проходу после этого не дадут!

Не могу понять, почему эти люди так боятся общественного мнения. Дикари, одно слово! Я заверил его, что буду держать язык за зубами и, если ему так спокойнее, не стану давать письменной расписки — однако Джо был непреклонен.

— Я знаю, что я сделаю,— сказал он.

— Одолжишь двадцатку?

— Нет, двадцатки не одолжу. И десятки — тоже. И на пятерку не рассчитывай. Ни одного фунта не получишь. Зато, если хочешь, могу завтра утром подвезти тебя на своей машине до Сэндауна. Устраивает?

По тому, как он это говорил, можно было подумать, что большей услуги никто еще никому не оказывал. Меня очень подмывало с негодованием отвергнуть предложение Джо, однако, поколебавшись, я его принял, и вот почему. Я рассудил, что если в Сэндауне ему будет сопутствовать такая же удача, как сегодня в Льюэсе, его черствое сердце может наконец смягчиться. Ведь даже у букмекеров, Корка, бывают минуты просветления — и если это случится с Джо Законником, я должен быть поблизости.

— Я выезжаю ровно в одиннадцать. Смотри не опаздывай — ждать я не буду.

[1] Стэнли цитирует трагедию английского драматурга Уильяма Конгрива (1670—1729) «Невеста в трауре» (1697).

Этот разговор, Корка, происходил в баре ресторана «На перекладных» в Льюэсе. Процедив последнюю фразу, Законник с важным видом удалился, а я решил, чтобы хоть немного поднять настроение после неудачных деловых переговоров, выпить еще виски и разговорился с сидевшим рядом посетителем.

— Ты случаем не с Джо Законником трепался? — полюбопытствовал тот.— Неплохо он сегодня заработал, ничего не скажешь.— Парень хмыкнул.

Мне не очень-то хотелось поддерживать разговор о человеке, который отказался одолжить старинному приятелю какие-то жалкие пятьдесят фунтов, поэтому я лишь молча кивнул головой.

— Слышал, что он выкинул?

— Нет.

— Джо — малый не промах, уж это точно. У него была собака, которую записали на «Кубок Ватерлоо», а она возьми да помри.

— Знаю.

— Да, но зато ты не знаешь, что Джо придумал. Мне только что ребята рассказали. Он ее разыграл.

— То есть как это «разыграл»?!

— Разыграл в лотерею, по двадцатке за билет.

— Но она ведь померла.

— Ясное дело, померла. Но он-то об этом умолчал.

— Помилуй, как же можно разыграть в лотерею мертвую собаку?

— А что тут такого? Никто ведь не знал, что она померла.

— А что он сказал тому, кто вытащил выигрышный билет?

— Ему Джо сказал всю правду и даже деньги вернул. Но пару сотен он на этой лотерее в карман положил, никак не меньше. Говорю же, Джо — малый не промах.

Скажи мне, Корка, у тебя когда-нибудь бывало настроение полнейшей безысходности, когда все твои самые лучшие побуждения, самые радужные надежды втаптываются в грязь, когда кругом сгущается кромешный мрак, когда никому нельзя верить ни на йоту? Что значит «вспомни свою собственную тетушку»? Постыдись, Корка, то, что ты говоришь,— гнусная клевета. Каждый раз, когда я что-то заимствовал у тети, делалось это из самых благородных побуждений, с целью заложить скромную основу для будущего благосостояния.

Сейчас же ситуация сложилась совершенно иная. Этот дьявол во плоти думал только о собственной выгоде, ни о чем другом. Мало того что он вытянул из меня пятьдесят фунтов и наложил на них свою лапу; он вдобавок уговорил меня за какую-то паршивую пятерку отказаться от прав на мертвую собаку, которая в самом скором времени — и он это прекрасно знал — должна была принести ему несколько сот фунтов. Ответь мне, справедливо это? По-дружески?

Самое же грустное во всем этом было то, что я ничего не мог поделать. Я не мог даже пристыдить его. То есть пристыдить-то его я, положим, мог — но что толку? Единственное, что мне оставалось,— это поехать с ним на машине, сэкономив хотя бы на железнодорожном билете.

Должен признаться, Корка (и это, кстати, лишний раз подтверждает старую истину: с кем поведешься, от того и наберешься), что той ночью мне не раз приходила в голову шальная мысль залезть к нему в сумку с деньгами, если, конечно, такая возможность по пути представится. Но в результате я отказался от этой подлой, недостойной меня мысли. Какие бы унижения ни выпали на мою долю, руки у меня должны быть чисты. Кроме того, я очень сомневался, что такая возможность представится.

И оказался прав. На следующее утро, когда мы выехали, я обратил внимание, что Джо поставил сумку справа от себя, под сиденье, чтобы я не мог до нее дотянуться. Такой уж он человек!

Как же, однако, странно устроен мир, Корка! Ты заметил, что никогда не бывает, чтобы можно было по-настоящему наслаждаться жизнью? Все это, разумеется, не случайно и задумано для того, чтобы мы больше

размышляли о душе и о загробной жизни,— и все-таки обидно! Взять хотя бы меня. Ты же знаешь, я ужасно люблю ездить на машине, а обстоятельства складываются так, что удается это крайне редко. А когда удается, то настроение, как в то утро, оставляет желать лучшего.

Казалось бы, и погода идеальная, и дорога чудесная, а на душе скребли кошки. И то сказать, как мог я получать удовольствие от автомобильной прогулки, если прошлое отзывалось тяжкой болью, а будущее рисовалось в самых мрачных красках?! Всякий раз когда я пытался не думать о том, как гнусно обманул меня сидевший за рулем, в голову поневоле лезли мысли о предстоящем разговоре с тетушкой, который не сулил мне ничего хорошего. Поэтому ни яркое солнце, ни бесплатная поездка на машине настроения мне не поднимали.

Мимо проплывали живописные леса и луга, сверкало солнце, в живых изгородях верещали птицы, ровно, бесперебойно гудел мотор нашего двухместного автомобиля.

И вдруг, совершенно неожиданно, мотор начал работать с перебоями. Вскоре послышался глухой стук, потом шипенье и из-под капота повалил густой пар.

Джо довольно непочтительно отозвался о механике в гостинице, который забыл залить в радиатор воду.

— Воды можно попросить вон в том доме,— сказал я, показывая пальцем на коттедж, стоявший немного в стороне от остальных, у самой дороги, среди деревьев. Джо остановил машину и вышел.

— Я останусь в машине и присмотрю за твоей сумкой,— сказал я с искренним желанием быть полезным.

— Только этого не хватало,— отрезал Джо.— Сумку я возьму с собой.

— Она же тебе будет мешать, если ты понесешь ведро с водой.

— Нет, не такой я дурак, чтобы оставлять тебе свою сумку.

Не знаю даже, что больше меня расстроило: полное отсутствие доверия или постоянный страх моего спутника, что его сочтут дураком.

Забегая вперед, должен тебе сказать, Корка, что в более дурацкое положение, чем спустя две минуты, Джо не попадал никогда в жизни.

Коттедж был обнесен металлической сеткой с калиткой посередине. Законник распахнул калитку, вошел во-двор и уже собирался обогнуть дом, когда навстречу ему трусцой выбежала собака.

Джо остановился, и собака тоже остановилась. С минуту они стояли, пристально глядя друг на друга.

— Брр...— произнес Джо.

Должен тебе сказать, Корка, что вид у собаки был абсолютно безобидный. Да, это была довольно крупная псина с глазами навыкате, но я сразу же заметил, что это одна из тех добродушных дворняг, которую какой-нибудь подгулявший прохожий приветствует причмокиваньем и, не раздумывая, тычет носком ботинка под ребра. Джо, однако, стало не по себе.

Собака сделала шаг вперед. Думаю, она просто хотела обнюхать Джо, не подозревая, что ни выгоды, ни удовольствия она от этого не получит.

— Пшшла прочь! — прошипел Джо.

Собака устремилась вперед, а затем — довольно, впрочем, нерешительно — залаяла. И тут Джо окончательно потерял голову: вместо того чтобы попытаться собаку успокоить, он швырнул в нее камнем.

Так себя не ведут — тем более с чужой собакой, тем более в чужом доме.

Спасла Джо сумка с деньгами, что лишь свидетельствует о том, Корка, что́ делает с человеком страх. Никогда бы не поверил, что такое бывает, если бы не видел этого собственными глазами. В следующий момент собака, к немалому моему удовольствию, прыгнула на Джо, а тот, покосившись на металлическую сетку и смекнув, что ему через нее не перемахнуть, издал истошный крик и запустил в собаку самое меньшее двумя сотнями фунтов стерлингов наличными. Сумка угодила животному в грудь, собака споткнулась и припала на передние лапы, а Джо, улучив момент, метнулся к калитке и захлопнул ее за собой.

И только тут он, вероятно, понял, какую допустил оплошность.

— Проклятье! — вырвалось у Джо.

А собака, перешагнув через сумку, подошла к калитке, просунула морду сквозь прутья и взвыла, как саксофон.

— Ну вот, доигрался,— сказал я.

Сказать по правде, Корка, я был рад. Искренне рад, что человек, во всеуслышание хваставшийся своей сообразительностью, ведет себя как последний идиот. Я не мог сочувствовать тому, кого все превозносили за недюжинный ум, кем все (кроме тех, разумеется, кто имел с ним дело!) восхищались, но кто не смог проявить, когда это понадобилось, самой заурядной деловой сметки. Джо спасовал, и перед кем — перед совершенно безобидной дворнягой, четвероногим, так сказать, другом.

Всего этого, впрочем, я ему говорить не стал. Из соображений дипломатии, Корка. Я ведь еще не расстался с надеждой выпросить у него свои деньги, и легкомысленные замечания могли бы мне повредить.

— Что будем делать? — спросил меня Джо.

— А ты покричи, позови хозяина,— посоветовал я.

Джо стал кричать, но, как и у всякого букмекера, простоявшего целый день на ипподроме, голос у него сел, а кроме того, хозяин коттеджа был, вероятно, одним из тех сельских жителей, которые с утра до ночи сеют зерно, обрабатывают землю и дома не сидят.

У Джо начали сдавать нервы.

— Проклятье! — вскричал он со слезами в голосе.— Хорошенькое дело! Представляешь, сколько денег я потеряю, если опоздаю в Сэндаун хотя бы на первый забег! Сотни фунтов!

И тут меня осенило. «Черт возьми,— подумал я,— на ипподром ходит столько дураков, что, пропуская забеги, букмекер грабит самого себя. Тысячи людей приедут сегодня в Сэндаун проиграть свои кровные, и если не будет Джо, они поневоле отдадут их другому букмекеру».

— Послушай,— предложил я,— если ты одолжишь мне полсотни, я зайду за ограду и принесу тебе сумку. Собак я не боюсь.

Джо ничего не ответил. Он покосился на меня, потом — на собаку, прикидывая в уме, с кем ему выгоднее иметь дело. Но в этот момент удача от меня отвернулась. Дворняга, которой, очевидно, надоело сторожить сумку, фыркнула и побежала обратно за дом, и Джо, не успела она скрыться из виду, прикинул, что время его пришло, и стремглав бросился в сад.

Но ведь ты ж меня знаешь, Корка. Я всегда начеку. Своего не упущу. На дороге лежала палка, выпрыгнуть из машины и подобрать ее было делом нескольких секунд. Я провел палкой по прутьям ограды, и верный пес,— вот что значит настоящий сторож,— словно он был у меня на поводке, возник вновь. Джо нельзя было терять ни минуты, и он, надо отдать ему должное, это понял. Даже я не ожидал от него такой прыти.

И злобы тоже. В выражениях, Корка, он не стеснялся.

— Полсотни,— сказал я, когда наступило некоторое затишье.

Джо исподлобья посмотрел на меня. А потом кивнул. Не скажу, чтобы с большой охотой, но кивнул. Я открыл калитку и вошел в сад.

Собака с громким лаем бросилась на меня, но я-то прекрасно знал, чего эта брехня стоит; я прикрикнул на дворнягу, нагнулся, похлопал ее по спине, после чего пес встал на задние лапы, передние положил мне на плечи и лизнул меня в щеку. Потом я обхватил его голову обеими руками и помотал ее, а он, в свою очередь, схватил зубами мой палец и нежно его прикусил. Тогда я повалил его на землю и почесал ему живот, а когда взаимные ласки закончились, повернулся и стал искать глазами сумку.

Но сумки на месте не оказалось. Джо Законник, это исчадие ада, стоял у калитки и прижимал сумку к груди, как годовалого ребенка. Впрочем, такие, как Джо, годовалых детей к груди не прижимают, они бьют их ногами и вдребезги разбивают детские копилки. Короче, когда я, заигравшись с собакой, повернулся к сумке спиной, он потихоньку подбежал и схватил ее.

Я испытал мрачное предчувствие, что наша маленькая сделка отменяется, но виду не подал.

— Если можно, крупными купюрами,— безмятежно улыбаясь, сказал я.

— Чего? — отозвался Джо.

— Я бы хотел получить полсотни крупными купюрами. Они занимают меньше места в кармане.

— Какие еще полсотни?

— Те самые, что ты собирался мне дать, если я возьму сумку.

Джо вытаращил глаза:

— Это мне нравится! Интересно, кто взял сумку, ты или я?

— Да, но я отвлек собаку.

— Раз тебе нравится играть с собаками, дело твое. Каким же я дураком буду выглядеть, сам подумай, если дам тебе полсотни за то, что ты любишь играть с собаками. Впрочем, играй, дело твое, а я тем временем пойду попрошу воды в каком-нибудь другом доме.

Черная душа. Иначе не скажешь. Мне подумалось, Корка, что я заглянул к нему в душу и там было темнее, чем в глубоком погребе безлунной ночью.

— Послушай...— начал было я, но он уже ушел.

Трудно сказать, сколько времени я простоял в совершенном оцепенении. Мне показалось, что целую вечность, хотя, по-видимому, совсем недолго, ибо Джо еще не вернулся и у меня даже мелькнула слабая надежда, что его подстерегла другая собака и на этот раз искусала в кровь. И тут я услышал шаги.

Я обернулся. Ко мне приближался какой-то тип.

— Это ваш дом? — поинтересовался я.

Это был деревенского вида мужчина с длинной бородой, в подвязанных под коленями бриджах. Он подошел и уставился на машину. Потом перевел взгляд на меня и снова на машину.

— А? — переспросил он, вероятно, недослышав.

— Дом, говорю, ваш?

— Ага.

— Мы хотели попросить у вас воды. Залить в радиатор.

На это глухарь ответил, что дочь его зовут Джейн, а не Дора — нет, мол, у него никаких Дор.

— В радиатор! — крикнул я ему прямо в ухо.— Воды в радиатор!

— Ага.

— Но у вас никого не было, и мой спутник пошел в другой дом.

— А? — переспросил хозяин.

— Он пошел в другой дом. Его ваша собака испугала.

— А?

— Он хотел вашу собаку побить.

— Купить?

— Да нет, побить.

— Купить? Берите. Отдам всего за пять шиллингов.

Но ты ведь меня знаешь, Корка. Знаешь, что огромным состоянием, обладателем которого я стану в самое ближайшее время, я обязан такому редкому в наши дни качеству, как деловой сметке. Ведь посуди сам: какой-нибудь недотепа вроде тебя (прости, не хотел тебя обидеть) в этом случае повысил бы голос и объяснил этому бородатому истукану разницу между «побить» и «купить».

А я? Я поступил иначе. И знаешь почему? Потому что у меня в мозгу родилась гениальная идея.

— По рукам! — крикнул я.

— А?

— Вот ваши пять шиллингов. Позовите собаку.

Он свистнул, собака подбежала, и я, схватив несчастную псину на руки, запихнул ее в машину и захлопнул дверцу. И в тот же миг на дороге появился Джо Законник с полным ведром воды.

— Достал,— сообщил он, обошел машину, поднял капот, отвернул крышку радиатора и только начал заливать туда воду, как дворняга залаяла. Джо поднял голову, увидел в машине собаку и уронил ведро — по счастью, себе на брюки.

— Кто посадил собаку в машину?! — завизжал он.

— Я. Я ее купил.

— Ей в машине не место, черт побери!

— Но я везу ее к себе домой.

— Вези — только не в моей машине.

— В таком случае,— нашелся я,— я продам собаку тебе, а уж ты делай с ней что хочешь.

Лицо Джо стало наливаться краской.

— Не хочу я покупать никаких собак.

— Я тоже не хотел, однако ты же мне всучил. По-моему, тебе грех жаловаться. Я тебе предлагаю живую собаку, а ты мне продал мертвую.

— Ладно, сколько ты за нее хочешь?

— Сто фунтов.

Джо изменился в лице.

— Сто фунтов?!

— Всего-навсего. И никому об этом не рассказывай — а то меня засмеют.

Джо произнес довольно длинный монолог на отвлеченную тему.

— Сто пятьдесят,— сказал я.— Цена повышается.

— Нет, постой! Послушай! — закричал Джо Законник.

— Лучше ты послушай меня,— перебил я его.— Очень тебе рекомендую прислушаться к моим словам. Сто фунтов — если заплатишь в течение минуты. В противном случае цена увеличится.

Тебе же известно, Корка, старина, что у меня большой опыт вымогательства. Некоторые, будучи натурами широкими, отстегивают не глядя, другие раскошеливаются с довольно кислой миной. Но мне никогда, слышишь, никогда не приходилось лицезреть таких страданий, какие испытывал в ту минуту Джо Законник. Я тебе говорил, это тучный, низенький человечек, и в какой-то момент я даже испугался, что его хватит удар. Он весь побагровел, а губы у него побелели и задрожали, как будто он молится. Но в конце концов Джо запустил руку в сумку и отсчитал деньги.

— Благодарю,— сказал я.— И до свидания.

Джо явно чего-то ждал.

— До свидания,— повторил я.— Не хочу обижать тебя, дружище, но, к сожалению, вынужден с тобой расстаться. Дальше нам не по пути. Мы подъезжаем к цивилизованным местам, и какой-нибудь светский знакомый может увидеть меня в твоей машине, что, как ты догадываешься, отрицательно скажется на моей репутации. Ничего не поделаешь, придется идти пешком до ближайшей станции...

— Постой, черт тебя побери!

— Что еще?

— А ты не собираешься вытащить собаку из машины? — спросил он, попутно уточнив, что собой представляет, по его мнению, эта тварь. И я —тоже.

— Я?! — Я искренне удивился.— Но с какой стати? Я же продал тебе эту собаку, сам с ней и разбирайся.

— Но как мне попасть в Сэндаун, если я не могу сесть в машину?

— А зачем тебе в Сэндаун?

— Опоздание на ипподром обойдется мне в сотни фунтов.

— Вот как? Значит, ты, если я правильно понимаю, готов заплатить приличную сумму тому, кто поможет тебе туда добраться. Я же, со своей стороны, готов оказать тебе посильную помощь — разумеется, не бесплатно. Устранение собак из автомобилей — работа высококвалифицированная и расценивается соответственно. Ну, скажем, пятьдесят фунтов?

Джо заныл, что это грабеж средь бела дня, но я его оборвал:

— Дело твое. Не хочешь — не плати. Мне все равно.

Законнику ничего не оставалось, как отсчитать требуемую сумму, после чего я открыл дверцу машины и выманил собаку наружу. Джо сел за руль, и больше, Корка, я его с тех пор не видел. Впрочем, не очень-то и хотелось. Скользкий он тип, без стыда и совести. От таких лучше держаться подальше.

Я отвел собаку обратно и прокричал на ухо бородатому:

— Мне ваша собака не нужна. Забирайте ее.

— А?

— Собака, говорю, ваша мне не понадобилась!

— Ага, только пять шиллингов ты назад не получишь.

— О чем речь, дружище! — воскликнул я, похлопав бородатого по плечу.— Будь счастлив и не думай о таких пустяках. Для меня пять шиллингов — не сумма. Да благословит тебя Бог, вольный землепашец!

Бородатый в очередной раз сказал «А?» и ушел, а я отправился на поиски станции. И, признаюсь тебе, Корка, я пел. Да, дружище, твой старый товарищ брел по полям и лугам и заливался соловьем.

На следующий день я отправился в ломбард, выложил денежки, забрал брошку и запер ее обратно в бюро.

А еще через день с вокзала на такси прикатила моя любимая тетушка и, расплатившись с шофером, отвела меня в библиотеку, усадила и прожгла пристальным взглядом.

— Стэнли,— сказала она.

— Слушаю вас, тетя Джулия.

— Стэнли, мисс Вайнинг говорит, что ты отказался выдать ей мою бриллиантовую брошь.

— Совершенно верно, тетя Джулия. Мисс Вайнинг хотела взломать бюро, но я воспротивился.

— Сказать тебе почему?

— Потому что она потеряла ключ.

— Я не о том — и ты прекрасно это понимаешь. Сказать тебе, почему ты не дал ей взломать бюро?

— Потому что я с огромным уважением отношусь к вашей собственности.

— Неужто? А я склоняюсь к мысли, что ты не дал мисс Вайнинг взломать бюро, так как знал, что брошки там нет.

— Не понимаю...

— А вот я, представь, сразу все поняла — как только получила от мисс Вайнинг письмо. Я тут же догадалась. Ведь ты заложил мою брошку, признавайся, Стэнли? Я, слава Богу, хорошо тебя изучила.

Я надулся:

— Если бы вы, тетя Джулия, и в самом деле хорошо меня изучили, то никогда бы такого не подумали. И позвольте заметить, раз уж на эту тему зашла речь, что ваши подозрения ни на чем не основаны.

— Хватит разговоров. Открывай бюро!

— Взломать?

— Взломать.

— Кочергой?

— Чем хочешь. Но бюро должно быть открыто — и немедленно.

Я высокомерно посмотрел на нее:

— Тетя Джулия, скажите прямо, вы действительно хотите, чтобы я взломал бюро кочергой?

— Действительно хочу.

— Подумайте хорошенько.

— Уже подумала.

— Ну что ж, дело ваше.

Я взял кочергу и взломал бюро с таким наслаждением, с каким никто еще никогда мебели не ломал. Внутри, переливаясь в обломках красного дерева, красовалась бриллиантовая брошь.

— Тетя Джулия,— изрек я,— чуть больше доверия и здравого смысла, чуть меньше подозрительности — и этого можно было бы избежать.

Тетя Джулия вздохнула с облегчением.

— Стэнли,— сказала она после паузы,— я была к тебе несправедлива.

— Да, тетя.

— Я... я... виновата перед тобой.

— Да, тетя Джулия, вы передо мной виноваты.

И вот, поймав ее на слове, я всецело подчинил эту женщину себе, прибрал ее, что называется, к рукам. В этом положении, Корка, она находится и по сей день. Сколько это продлится, сказать трудно, но в настоящее время она во мне души не чает, потакает малейшей моей прихоти. Вот почему, когда я сказал тетушке, что сегодня жду тебя к обеду, она лишь лучезарно улыбнулась. А теперь, старина, давай-ка перейдем в библиотеку и побалуемся дорогими сигарами. Это сигары особые, я их на Пиккадилли заказываю.

Томас Стернз Элиот

Вирджиния Вулф

Оскар Уайлд

ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕСТЕРТОН (1874—1936)

Художественный темперамент — это болезнь, которой подвержены все любители.

Журналистика — это фраза типа «Лорд Джон скончался», адресованная людям, никогда не знавшим, что лорд Джон был жив.

Дело не в том, что мир стал гораздо хуже, а в том, что освещение событий стало гораздо лучше.

Психоанализ — это исповедь без отпущения грехов.

Если вы не хотите нарушать Десять заповедей — значит, с вами творится что-то неладное.

Ничто не наводит в наш век большего уныния, чем увеселения.

Стремление к свободной любви равносильно желанию стать женатым холостяком или белым негром.

Критики пренебрегают мудрым советом не бросаться камнями, если живешь в оранжерее.

Растущая потребность в сильном человеке — неопровержимый признак слабости.

Возможна только одна биография — автобиография; перечень же чужих поступков и эмоций — не биография, а зоология, описание повадок диковинного зверя.

Искусство — это всегда ограничение; смысл всякой картины в ее рамке.

Хороший роман рассказывает читателю правду о герое; плохой — правду об авторе.

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ (1874—1965)

Диктаторы ездят верхом на тиграх, боясь с них слезть. А тигры тем временем начинают испытывать голод.

Политический талант заключается в умении предсказать, что может произойти завтра, на следующей неделе, через месяц, через год. А потом объяснить, почему этого не произошло.

Написание книги — целое приключение. Сначала книга — это не более чем забава, затем она становится любовницей, женой, хозяином и, наконец,— тираном.

Русских всегда недооценивали, а между тем они умеют хранить секреты не только от врагов, но и от друзей.

Миротворец — это тот, кто кормит крокодила в надежде, что будет съеден последним.

Всякая медаль не только блестит, но и отбрасывает тень.

Консультация — это когда человека спрашивают: «Вы не против, если мы вам завтра отрубим голову?» — и, узнав, что он против, на следующий же день голову отрубают.

По миру распространяется огромное число лживых историй, и хуже всего то, что добрая половина из них — правда.

Время и деньги большей частью взаимозаменяемы.

Человек может простить человеку все, кроме плохой прозы.

Совесть в отрыве от истины — не более чем глупость, она достойна сожаления, но никак не уважения.

Главный недостаток капитализма — неравное распределение благодеяний; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.

Литературное наследие

ДЖЕФФРИ ЧОСЕР

Троил и Крессида

ФРАГМЕНТ ПОЭМЫ

Перевод М. БОРОДИЦКОЙ

От переводчика

Джеффри Чосер (1340—1400), первый великий английский поэт, известен у нас в основном как автор «Кентерберийских рассказов». Как ни странно, другая большая поэма Чосера — «Троил и Крессида», ценимая англичанами наравне с «Кентерберийскими рассказами», на русском языке ни разу не издавалась.

Эта вещь — совсем в другом духе: не сатирическая и нравоописательная, а лирическая. Законченная поэма в пяти книгах (свыше 8000 стихов), написанная семистишьями (так называемой королевской строфой — rime royale) — поэма о всемогущей Любви и всесокрушающей Судьбе.

Сюжет я пересказывать не стану, скажу лишь, что он заимствован не у Гомера или Вергилия, а из поэмы «Филострато» Дж. Боккаччо, который, в свою очередь, переложил французский «Роман о Трое» Бенуа де Сент-Мора. В сущности же, чосеровский «Троил» — по меньшей мере двойная мистификация.

Во-первых, сам автор изображает себя перед читателями (вернее, слушателями, ведь поэма предназначалась в первую очередь для придворных чтений вслух) вовсе не автором, но смиренным переводчиком некоего — несуществующего — древнего летописца по имени Лоллий. И в многочисленных «лирических отступлениях» Чосер забавно разводит руками: я, дескать, тут ни при чем, так у автора сказано... или: что поделаешь, у автора об этом ничего не говорится.

Во-вторых, все его персонажи — не более чем условные троянцы: ни в них самих, ни в их облике и нравах нет ничего античного, и Чосер это всячески подчеркивает. Все они — рыцари и дамы из окружения короля Эдуарда и Черного принца, Джона Гонта и королевы Филиппы. Они ездят на охоту и на войну, пишут любовные записки, сплетничают и даже заседают в парламенте (!),— словом, существуют в привычной для себя и автора обстановке.

Главное же достоинство «Троила и Крессиды» — то, что делает эту поэму одной из прекраснейших в английской литературе,— это необычайная психологическая достоверность ее персонажей, поистине ренессансная многомерность изображения человеческой души. Чосер выглядит здесь даже и не предтечей, но почти современником лучших авторов зрелого английского Возрождения — и это почти за два века до шекспировской эпохи! Характеры влюбленных, развитие их чувств и все перипетии взаимоотношений исследуются автором будто сквозь увеличительное стекло; воистину, эта незамысловатая история о любви и измене написана так, как в Англии до Чосера не писали — и долго еще не напишут после него. Недаром именно в этой поэме разглядел канву для своей драмы Шекспир.

Очень примечателен (и привлекателен!) в этом отношении образ Пандара. Пандар — закадычный друг царевича Троила и дядя юной вдовы Крессиды, благородный сводник, ловкач и весельчак; он так и сыплет пословицами и прибаутками. Его голос вводит комический контрапункт в драматическую историю любви — прием, впоследствии отработанный до блеска у Шекспира, создавшего знаменитые образы шутов и балагуров: Меркуцио, Фальстафа, дядюшки Тоби.

Это у него (у Пандара) в доме и благодаря его уловкам впервые соединяются влюбленные: робкая Крессида, приглашенная дядюшкой на ужин, остается ночевать, поддавшись на его уговоры; а изнемогающий от страсти Троил, сын царя Приама, прячется тут же в чулане, ожидая Пандарова знака...

Предлагаемый отрывок — прощание героя с героиней после первой ночи любви, проникновенностью напоминающее знаменитый спор Ромео и Джульетты о жаворонке и соловье. И в то же время здесь ощущается некая обстоятельность Чосера-ученого, весьма преуспевшего в средневековой философии и астрономии, автора трактата об астролябии. И тут же — проблеск насмешки, ренессансного лукавства: своими познаниями в области астрономии автор наделяет не высокородного Троила, а вдовушку Крессиду.

Невозможно не сказать хоть несколько слов о языке, на котором — и который! —

творил Чосер. Гений его проявился отчасти и в том, что, находясь как бы на языковом перепутье, на перекрестке средневековой латыни, французского, на котором говорило и читало «приличное» лондонское общество, а также разношерстных английских диалектов, составлявших еще не сгустившийся, бурлящий «мидл инглиш»,— что из всего этого языкового варева сын столичного виноторговца, паж принцессы Елизаветы, безошибочно выбрал для своих сочинений лондонский народный диалект. И как Данте преобразил тосканское наречье в единый итальянский литературный язык,— так, благодаря Чосеру, лондонский диалект лег в основу единого языка английской литературы.

Правда, современный английский настолько отличается от языка «Троила и Крессиды» или «Кентерберийских рассказов», что для сегодняшнего читателя Чосер издается с глоссами на полях и подстрочными комментариями, а то и в пересказах, прозаических и стихотворных. Иначе не прочесть! И все же, когда говорят об истоках литературного английского языка,— отсчет неизменно ведут «от Чосера».

В конце V книги «Троила» автор, уже отбросив личину «скромного перелагателя» и отправляя почти законченную поэму «в мир», восклицает:

Ступай, мое творенье, от творца!
Пускай размера твоего и слога
Вовек не исказит рука писца.
Меж речью и письмом, увы, столь много
У нас различий! Но молю я Бога,
Чтоб внятен был читателю мой труд,—
И пусть ни слова в нем не переврут!

Сие строгое назидание Чосера переписчикам, несомненно, следует отнести и к переводчикам. По мере сил, достопочтенный сэр Джеффри, по мере сил...

Книга III

200

Однако же пора нам воротиться
К царевичу с прекрасною вдовой;
Они, друг дружке вглядываясь в лица,
О прошлом толковали вперебой:
Как встретились они, как меж собой
Заговорили, как она скучала,
Как он страдал... и снова все сначала.

201

О горестях минувших разговор
Нередко прерывался для лобзаний
И новых ласк — как будто вперекор
Судьбе, пославшей столько им терзаний,
Они друг другу сделались желанней
И после мук упиться торжеством
Спешили, став единым существом.

202

О сне я умолчу, предполагая,
Что им сегодня было не до сна:
И впрямь ведь эта ночь, их ночь благая,
Не для того им наконец дана,—
О нет! Хотелось им, чтоб ни одна
Минутка понапрасну не пропала,
И оба преуспели в том немало.

203

Когда ж петух прилежный возвестил
Конец для тьмы отмеренного срока
Протяжным криком и биеньем крыл,
И Веспер засветился одиноко
На бледном небосводе, и с востока
Юпитер показался,— тут вдова
Промолвила, от грусти чуть жива:

204

«О, жизнь моя! Души моей отрада!
Уже разлуки нашей близок час:
День настает, увы! Расстаться надо,
Иль я погибла. О, зачем хоть раз
Не может мрак утешный ради нас
Подольше простираться над вселенной,
Как в ночь, когда Зевес лежал с Алкменой!

205

О ночь! О тьма! Иль философы зря
Толкуют, что Всевышним создана ты,
Чтоб, отдых нам достаточный даря,
Набрасывать на мир свой плащ крылатый?
Зачем же ты назад, в свои палаты
Бежишь? зачем до срока люд и скот
Спешишь запрячь в ярем дневных забот?

206

Тебя за нераденье пусть накажет
Господь, чтоб горю моему помочь,
И к полушарью нашему привяжет,
Чтоб ты опять не ускользнула прочь,
Под нижний край Земли... О гостья-ночь,
Ты слишком скоро покидаешь Трою,
Отраду сердца унося с собою!»

207

При сих речах Крессиды нежный друг
Едва дышал: в нем сердце больно сжалось
И точно кровью облилося вдруг
(По крайней мере так ему казалось);
В разгар блаженства муку он и жалость
Восчувствовал и, милую тесней
К себе прижав, воскликнул вслед за ней:

208

«Жестокий день! всех радостей гонитель,
Какими одарил нас щедрый мрак!
Зачем стучишься в нашу ты обитель?
Из каждой щели твой блестящий зрак
Таращится; чего ты хочешь, враг?
Завистник вечный, хитрый соглядатай,
Да угасит Господь твой свет проклятый!

209

За что ты, день злонравный, столько бед
Приносишь всякий раз влюбленным парам?
Нигде им от тебя спасенья нет.
Поди ты прочь! нам свет не нужен даром,
В кромешный ад ступай с таким товаром —
Иль в мастерскую, где златокузнец
Печатки вырезает для колец».

210

И к солнцу он воззвал в своем задоре:
«Ах ты, Титан безмозглый, неужель,
С ней ночь проспав, позволил ты Авроре
Чуть свет покинуть брачную постель?
Скорей верни назад ее! Тебе ль
Тревожить нас? Ты сам не будь разиней:
Сперва полядь-ка со своей богиней!»

211

И к милой вновь оборотился он
И ей промолвил, тяжко воздыхая:
«Увы! Неужто впрямь я принужден
Тебя покинуть? О, судьба лихая!
О, горечь мук моих и сладость рая,
Ты сердце раздираешь мне, любя:
Ты — жизнь моя! Как жить мне без тебя?

212

Бог весть когда теперь еще свиданье
Нам выпадет с тобой наедине!
И если долгим будет ожиданье —
Что станется со мной? Что делать мне?
Разлуки не вкусив, уж я в огне!
Минуты не прожив с тобою розно,
О встрече уж готов молить я слезно.

213

Но все-таки, будь я уверен в том,
Что у любимой в сердце столь же прочно
Я водворен, как ты царишь в моем
При свете полдня и во мгле полночной,
О госпожа! Когда бы знал я точно,
Что это так,— сия, пожалуй, весть
Мне помогла б разлуку перенесть».

214

На то со вздохом молвила вдовица:
«Ах, свет мой! Мне уж нет пути назад.
Скорее Феб с дороги может сбиться,
Скорей голубка выведет орлят,
Каменья мертвые заговорят
Скорей, чем из души своей Крессида
Изгладит милый образ Приамида.

215

О нет, ведь облик твой запечатлен
Столь глубоко во мне, что, вздумай даже
Сама тебя изгнать из сердца вон —
Я не смогла б! И впрямь, такой пропажи
Не пережить мне, видит Бог; тебя же
Прошу, любимый: так не думай впредь,—
Уж лучше прикажи мне умереть!

216

Я и сама увериться бы рада,
Что образ мой в душе твоей живет,
Как твой в моей: вот лучшая награда,
Иных не пожелала б я щедрот!
Но будет спорить; знай лишь наперед,
Что я верна — Господь мне в том порука,—
И верен будь, сколь ни продлись разлука.

217

Ступай и не тревожься; никому
Досель не сказывала я такого
И не скажу, но знай: тебя приму
Во всякий час, когда придешь ты снова,
И видит Бог, я вечно ждать готова!»
Так молвив, принялась она опять
Лобзаньями Троила осыпать.

218

В конце концов, хотя и с неохотой,
Царевич встал; и вот уж он одет.
Обняв Крессиду раз, наверно, в сотый,
Пустился было прочь — да мочи нет.
«Прощай,— вскричал он,— жизнь моя, мой свет!
Даст Бог, с тобою свидимся мы вскоре».
И удалился в превеликом горе.

219

Вдова никак на то не отвечала,
Поскольку чуть не плакала сама;
Троилу же отнюдь не полегчало
Дорóгою; напротив, он весьма
Измучен был, и все-то из ума
Не шла Крессида: прерванным усладам
Все жаждал он предаться с нею рядом.

220

Неслышно воротившись во дворец,
Прокрался царский сын в свои покои,
Чтоб долгим сном забыться наконец,
И лег уже в постель; но что такое?
Сна нет как нет! где забытье благое?
Любовным жаром снова он объят
И мнит ее желанней во сто крат!

221

Бессонной памятью перебирал он
Все ласки милой; пуще воспалясь,
Во всяком взоре и словечке малом
Дотоле неизведанную сласть
Он находил; томительная страсть
Владела им как прежде, и на ложе
Метался он, унять не в силах дрожи.

222

Крессида также променяла сон
На сладостные мысли о Троиле:
Сколь он пригож, и статен, и умен,
О доблести его и юной силе;
И за услады, что они вкусили,
Благодарила щедрую Любовь,
Мечтая с милым их изведать вновь.

223

Пандар, взошедши к ней, весьма учтиво
Спросил: «Как почивала ты, дитя?
Ужасный ливень лил без перерыва,
Всю ночь по нашей крыше колотя.
Увы, я опасаюсь не шутя:
Кой-кто не выспался и поневоле
Теперь от головной страдает боли».

224

И прошептал, поближе подошед:
«Прекрасный день! Надеюсь, ты здорова?»
— «Уж вашей-то заслуги в этом нет! —
Ему Крессида молвила сурово.—
Ах, старый лис! Поспорить я готова:
Без ваших плутней тут не обошлось.
Да-да! Теперь я вижу вас насквозь».

225

И, с головой накрывшись, запылала
Бедняжка от стыда. На эту речь
Пандар, откинуть силясь покрывало,
Воскликнул: «На, возьми же, вот мой меч,
Рази, чтоб голова слетела с плеч!»
И руку к ней просунул он под шею —
И вдруг поцеловал, склонясь над нею.

226

Что далее? Скажу без лишних слов:
С ним поступила добрая вдовица
По-христиански, и в конце концов
Он был прощен; тут нечему дивиться.
Она, устав болтать с ним и резвиться,
Ушла, оставив дядю одного.
Итак, Пандар добился своего.

ОЛДОС ХАКСЛИ (1894—1963)

То, что люди не учатся на ошибках истории,— самый главный урок истории.

Последовательность одинаково плоха для ума и для тела. Последовательность чужда жизни, чужда природе. До конца последовательны лишь мертвецы.

Смерть — это единственное, что нам не удалось окончательно опошлить.

Я могу сочувствовать страданиям людей, но не их радостям. В чужом счастье есть что-то на редкость тоскливое.

Плохую книгу написать так же трудно, как хорошую — и даже труднее; ведь плохой писатель пишет «от души», «сердцем».

Во всем считают себя правыми лишь те, кто чего-то добился в жизни. Чего-то, но немногого.

Опыт — это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Искусство — один из способов спасти жизнь, хаотичную, бессмысленную и глубоко порочную.

С точки зрения отдельно взятых барашков, ягнят и коз нет такого понятия, как «хороший пастух».

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ (1903—1950)

Англия — это... дом викторианского образца, где все шкафы до предела набиты скелетами.

У католиков и коммунистов общее то, что и те и другие полагают, будто их противник не может быть одновременно честным и умным.

Самый быстрый способ закончить войну — это потерпеть поражение.

Нам, представителям среднего класса, кроме правильного произношения, терять нечего.

Неискренность — главный враг ясной речи.

Пока святые не докажут свою невиновность, их следует считать виновными.

Вожди, которые сулят своему народу кровь, тяжкий труд, слезы и пот, пользуются бóльшим доверием, чем политики, обещающие благополучие и процветание.

Неопровержимый признак гения: его книги не нравятся женщинам.

УИСТЕН ХЬЮ ОДЕН (1907—1973)

Читать — значит переводить, ибо не бывает на свете двух людей, у которых бы совпадал жизненный опыт. Плохой читатель сродни плохому переводчику: он воспринимает буквально то, что следовало понимать фигурально, и наоборот.

Некоторые книги незаслуженно забываются, но нет ни одной, которую бы незаслуженно помнили.

Когда рецензент называет книгу искренней, сразу же становится ясно: книга а) неискренняя, б) плохо написана.

Нет ничего хуже плохого стихотворения, которое задумывалось как великое.

Нельзя иметь свободу без права нарушать ее.

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ

Англия, ваша Англия

(ФРАГМЕНТ ЭССЕ)

Перевод В. ВОРОНИНА

Характерные национальные черты с трудом поддаются определению, а попытки дать им определение сплошь и рядом оборачиваются набором банальностей, которые, похоже, никак не связаны друг с другом. Испанцы жестоки к животным, итальянцы ужасно шумны, а китайцы привержены азартным играм. Очевидно, что подобные вещи ничего не значат сами по себе. Однако все имеет свою причину, и даже тот факт, что у англичан плохие зубы, может кое-что сказать о реалиях английской жизни.

Вот пара обобщений, касающихся Англии и англичан, с которыми, наверное, согласятся почти все наблюдатели. Одно из них состоит в том, что англичане не наделены художественными способностями. Они не так музыкальны, как немцы или итальянцы, живопись и скульптура никогда не достигали в Англии такого расцвета, как во Франции. Второе заключается в том, что по сравнению с другими европейцами англичане не интеллектуальны. Они питают отвращение к абстрактному мышлению, не испытывают потребности ни в какой философии, ни в каком систематическом «мировоззрении». И вовсе не потому, что у них, как они сами любят утверждать, «практический склад ума». Достаточно посмотреть на то, какие методы применяют они в градостроительстве и водоснабжении и как упрямо цепляются за все, что устарело и служит помехой, вроде орфографии, не поддающейся никакому анализу, и системы мер и весов, доступной лишь авторам задачников, чтобы понять, как мало заботятся они о чистой эффективности. Но зато они обладают способностью действовать не раздумывая. Их известное на весь мир лицемерие — скажем, двуличное отношение к Британской империи — каким-то образом связано с этой способностью. К тому же в самые трудные, кризисные моменты вся нация может вдруг сплотиться и действовать, повинуясь своего рода инстинкту, а вернее, кодексу поведения, понятному почти всем, хотя и никогда не сформулированному. Выражение «нация сомнамбул», придуманное Гитлером для немцев, лучше подошло бы для англичан. Впрочем, вряд ли можно гордиться тем, что ты сомнамбула.

Но тут стоит обратить внимание на одну примечательную черточку английского характера, которая очень ярко выражена, хотя и редко удостаивается упоминания,— любовь к цветам. Это одна из первых вещей, которые бросаются в глаза по приезде в Англию из-за границы, особенно если прибываешь из Южной Европы. Не противоречит ли любовь к цветам английскому равнодушию к искусству? В сущности, нет, поскольку цветы любят и люди, напрочь лишенные всякого эстетического чувства. Зато она связана с другой характерно английской чертой, которая так органична нам, что мы ее почти не замечаем,— я имею в виду нашу приверженность любимым занятиям и увлечениям, сугубо *частную* природу английской жизни. Мы нация цветоводов, но мы также нация филателистов, голубятников, столяров-любителей, увлеченных вырезывателей рекламных купонов, азартных игроков в «дротики» и фанатичных любителей кроссвордов. Все наиболее истинно национальное в культуре проявляется у нас в таких формах, которые не становятся официальными, даже когда носят общественный характер, и обычно сосредоточено вокруг паба, футбольного матча, садика на заднем дворе, камина и чаепития. Тут по-

прежнему верят, почти как в XIX веке, в свободу личности. Но эта свобода не имеет ничего общего с экономической свободой — правом эксплуатировать других ради получения прибыли. Это свобода иметь свой собственный дом, заниматься в свободное время тем, что тебе по душе, и самому выбирать для себя развлечения, не допуская, чтобы их навязывали сверху. Для английского уха нет более отвратительного словосочетания, чем прозвище «приставала Паркер». Разумеется, даже эта сугубо частная свобода обречена. Англичане, как и все прочие современные народы, постоянно подвергаются регламентации: их пересчитывают, маркируют, мобилизуют, «координируют». Но тяга их внутренних импульсов направлена в противоположную сторону, и благодаря этому регламентация, которую удается им навязать, будет менее жесткой. Никаких массовых партийных сборищ, никаких молодежных движений, никаких одноцветных рубашек, никаких преследований евреев и «стихийных» демонстраций. И, по всей вероятности, никакого гестапо.

Во всяком обществе, однако, простым людям приходится жить до некоторой степени *наперекор* существующему строю. Подлинно народная культура Англии — это нечто происходящее под поверхностью, чуждое официальности и вызывающее более или менее неодобрительное отношение властей. Если непосредственно понаблюдать простых англичан, особенно в больших городах, то первое, что бросится в глаза: это отнюдь не пуритане. Они азартно играют на деньги, выдувают столько пива, сколько позволяет им заработок, любят рассказывать соленые анекдоты и сквернословят, как, наверное, никто в целом свете. Эти свои склонности они вынуждены удовлетворять вопреки удивительным по лицемерности законам (законы о торговле спиртными напитками, ограничивающие часы продажи спиртного в пабах, акты о лотереях и т. д. и т. п.), имеющим целью ставить людям палки в колеса, но на практике позволяющим всему свершаться своим чередом. К тому же эти простые англичане обходятся без какой бы то ни было определенной религиозной веры — и обходились без нее вот уже не одно столетие. Англиканская церковь никогда не оказывала на них реального влияния, будучи просто частной заповедной вотчиной мелкопоместного дворянства, а нонконформистские секты влияли только на меньшинства. И все же простые люди Англии, почти забывшие имя Христа, сохранили в глубине души искру христианского чувства. Культ силы, ставший новой религией Европы и распространивший свое влияние на английскую интеллигенцию, никогда не прельщал простых англичан. Они так и не «доросли» до одобрения политики, основанной на военной мощи. «Реализм», проповедуемый со страниц японских и итальянских газет, ужаснул бы их. Рассматривая шутливые цветные открытки в витринах дешевых магазинов канцелярских принадлежностей, можно многое узнать об истинном духе Англии. Они являются своего рода дневником, которому англичане бессознательно поверяют свои мысли и чувства. Здесь, как в зеркале, отражаются и их старомодные взгляды, и их сословный снобизм, и их смешанное с лицемерием пристрастие к непристойностям, и их необыкновенная мягкость, и их глубоко нравственное отношение к жизни.

Мягкость английской цивилизации — вот, пожалуй, наиболее ярко выраженная ее черта. Ее замечаешь сразу, как только ступаешь на английскую землю. Это страна, где кондукторы в автобусах добродушны, а полицейские не носят револьверов. Здесь, как ни в каком другом краю, населенном белыми людьми, легче легкого столкнуть прохожего с тротуара. А с этой особенностью англичан связано чувство, которое европейские наблюдатели всегда сбрасывают со счетов как признак «декаданса» или лицемерия,— чисто английское отвращение к войне и милитаризму. Оно имеет глубокие исторические корни и сильно не только в среде рабочего класса, но и в низших слоях буржуазии. Войны, следовавшие одна за другой, поколебали его, но не уничтожили. На памяти живущих «красным мундирам» свистели вслед на улицах, а хозяева порядочных пивных не пускали солдат на порог своих заведений. В мирное время даже при наличии двух миллионов безработных трудно полностью укомплектовать маленькую постоянную армию, офицеров в которую поставляет мелкопоместное дворянство и профессиональный слой буржуазии, а рядовых — батраки да обитающий в трущобах пролетариат. Народные массы не имеют ни военных знаний, ни военных традиций, и их отношение к войне неизменно является оборонительным. Ни один политик не мог бы прийти к власти, посулив им завоевания или «военную славу»; им никогда не импонировал никакой гимн ненависти. Во время прошлой войны песенки, которые сочиняли и по собствен-

ному почину распевали солдаты, носили не мстительный, а юмористический и шутливо-пораженческий характер. Единственный враг, который когда-либо в них упоминался,— это старшина.

В Англии всяческий хвастливый ура-патриотизм и воинственный шовинизм в духе «Правь, Британия» раздувается усилиями малочисленных групп лиц. Простой народ не выражает свой патриотизм в словах, даже не сознает его. В его исторической памяти не сохранилось ни одного названия, связанного с военной победой. Английская литература, как и всякая другая, изобилует стихами батального жанра, но интересно отметить, что стихотворения и поэмы, завоевавшие популярность, всегда повествуют о поражениях и отходах. У нас нет, например, популярного стихотворения о Трафальгаре или Ватерлоо. Отчаянное арьергардное сражение армии сэра Джона Мура под Ла-Коруньей перед эвакуацией за море (точь-в-точь как в Дюнкерке!) больше трогает нас, чем блистательная победа. Самая волнующая батальная поэма во всей английской литературе посвящена кавалерийской бригаде, которую по ошибке бросали в атаку под гибельный огонь. Из всех названий битв минувшей войны в народной памяти по-настоящему запечатлелись четыре: Монс, Ипр, Галлиполи и Пашендейл, из которых каждое знаменует собой катастрофу. А названия великих сражений, в ходе которых были в конце концов сокрушены немецкие армии, попросту неизвестны широкой публике.

Антимилитаризм англичан раздражает иностранных наблюдателей по той причине, что он вовсе не исключает существования Британской империи. Это кажется им сущим лицемерием. Как-никак эти англичане захватили четвертую часть земной суши и удерживают ее с помощью громадного военно-морского флота. И после всего этого они осмеливаются как ни в чем не бывало твердить, что война — зло?!

В отношении своей империи англичане, спору нет, лицемерят. У английских рабочих это лицемерие принимает форму незнания о самом существовании Британской империи. Но их нелюбовь к постоянным армиям продиктована совершенно здоровым инстинктом. В военно-морском флоте служит не так уж много людей, и флот является внешнеполитическим орудием, которое не может впрямую влиять на внутреннюю политику. Военные диктатуры существуют повсюду в мире, а флотской диктатуры нет нигде. Англичане практически всех слоев общества всеми фибрами души ненавидят офицерскую спесь, звяканье шпорами и щелканье каблуками. За много десятилетий до Гитлера слово «пруссак» имело в Англии примерно такой же смысл, как «нацист» сегодня. Это чувство настолько глубоко въелось в нас, что уже добрую сотню лет офицеры британской армии в мирное время всегда носят в неслужебной обстановке штатскую одежду.

Быстрый, но довольно надежный способ сориентироваться в социальной атмосфере той или иной страны состоит в том, чтобы приглядеться к парадному шагу ее армии. Ведь военный парад — это в действительности своеобразный ритуальный танец, нечто вроде балета, выражающего определенную философию жизни. Гусиный шаг, например, являет собой одно из самых страшных зрелищ на свете, гораздо более ужасающее, чем пикирующий бомбардировщик. Он откровенно утверждает голую силу; вполне осознанно и намеренно нам внушают представление о сапоге, надменно опускающемся на человеческое лицо. Его безобразие неразрывно связано с его сущностью: «Да, я безобразен,— как бы говорит он,— но ты не посмеешь смеяться надо мной». Так корчит рожи своей жертве уличный хулиган. Почему гусиный шаг не принят в Англии? В армии, видит Бог, хватает офицеров, которые были бы рады-радешеньки ввести нечто подобное. Не принят он у нас потому, что люди на улицах стали бы смеяться. Культ военных парадов возможен только в тех странах, где простой народ не смеет насмехаться над армией. Итальянцы ввели у себя гусиный шаг примерно в то самое время, когда Италия со всей определенностью подпала под контроль Германии, и маршируют они, как и следовало ожидать, хуже немцев. Правительству Виши, если оно будет существовать и дальше, тоже придется вводить в сохранившемся остатке французской армии более строгую дисциплину по части отработки парадного шага. В британской армии солдат подвергают суровой и бессмысленной строевой муштре, в которой многое является отрыжкой XVIII века, но тут определенно нет этого уклона в шагистику; маршировка у нас — не больше как формализованная ходьба. Это порождение общества, которое, несомненно, управляется мечом, но мечом, который никогда не должен выниматься из ножен.

И вместе с тем мягкость английской цивилизации сочетается с поистине варварскими обычаями и анахронизмами. Наше уголовное право так же устарело, как мушкеты в Тауэре. Вместо нацистского штурмовика существует у нас типично английская фигура судьи-вешателя, этакого подагрического старца, крутого нравом и верного понятиям XIX века, который выносит самые свирепые приговоры. В Англии людей все еще предают казни через повешение и секут плетьми. Оба эти наказания оскорбительны и жестоки, но широкая общественность никогда по-настоящему не протестовала против них. Англичане стерпелись с ними (равно как с существованием тюрем вроде Дартмута и Борстала), почти как с дурной погодой. Для них это составная часть «закона», а закон, по их понятиям, непреложен.

Тут мы касаемся чрезвычайно важной черты английского характера — уважения к конституционному образу правления и законности, веры в «закон» как в нечто, стоящее и над государством, и над личностью и при всей своей глупости и жестокости, безусловно, *неподкупное*.

Никто не заблуждается насчет того, что закон всегда справедлив. Всем известно, что для богатых закон один, а для бедных — другой. Но никому нет дела до вытекающих отсюда следствий; все считают само собой разумеющимся, что закон, какой он есть, должен соблюдаться, и возмущаются попранием справедливости, когда его нарушают. Замечания типа «Меня не могут посадить, я закона не преступал» или «Не могут они поступить так, это против закона» являются важным компонентом атмосферы Англии. У заведомых врагов общества это чувство развито не меньше, чем у всех прочих англичан. Об этом можно судить и по книгам, написанным в тюрьме, таким, как «Стены имеют уши» Уилфреда Маккартни или «Тюремное странствие» Джима Фелана, и по торжественному идиотизму судебных процессов над людьми, отказывающимися служить в армии по религиозным соображениям, и по письмам, которые пишут в газеты видные профессора-марксисты, указывая: так, мол, и так, допущена «неправильность в отправлении британского правосудия». В глубине души каждый верит, что правосудие может и должно отправляться беспристрастно и что в общем и целом так оно и происходит. Тоталитарная идея, согласно которой никакого права нет, а есть лишь сила, не прижилась на английской почве. Даже интеллигенция восприняла ее только в теории.

Иллюзия может стать наполовину правдой, маска может изменить выражение лица. В знакомых доводах, что, мол, демократия — это «то же самое, что тоталитаризм», или «ничем не лучше его», никак не учитывается этот факт. Все подобные доводы основываются на утверждении, что половина — все равно что ничего. В Англии пока еще верят в такие понятия, как справедливость, свобода и объективная истина. Может быть, это иллюзии, но иллюзии весьма могущественные. Вера в них влияет на поведение людей, сказывается на характере национальной жизни. В доказательство чего предлагаю вам оглядеться по сторонам. Где резиновые дубинки, где касторовое масло? Меч по-прежнему в ножнах, и, покуда он остается там, коррупция должна будет оставаться в определенных пределах. Например, английская избирательная система граничит с открытым мошенничеством. При помощи десятка откровенно нечестных приемов избирательные округа перекраиваются в интересах богатых. Но пока не произойдет какого-нибудь глубокого сдвига в общественном сознании, эта система не может коррумпироваться *полностью*. Придя на участок, вы не встретите у избирательных урн людей с револьверами, приказывающих голосовать за кандидата; не будет ни жульничества при подсчете голосов, ни прямого подкупа. Даже лицемерие служит прочной гарантией. Судья-вешатель, этот злобный старик в ярко-красной мантии и парике из конского волоса, которого ничто, кроме динамита, не заставит вспомнить, в каком веке он живет, но который во всяком случае будет держаться буквы закона и ни при каких обстоятельствах не возьмет денежной взятки, является одной из символических фигур в Англии. Он олицетворяет собой странную смесь реальности и иллюзии, демократии и привилегий, притворства и порядочности, ту тонкую сеть компромиссов, с помощью которой нация сохраняет свой привычный облик.

Английская литература в рисунках Мервина Пика

Многие английские писатели были замечательными художниками. Некоторые из них вошли не только в историю литературы, но и в историю изобразительного искусства — Блейк, Теккерей, Россетти, Моррис... В этом же ряду — поэт и романист Мервин Пик (1911—1968). Книги М. Пика на русский язык еще не переводились, и в этом номере «ИЛ» читатели познакомятся с ним как с художником-графиком. Для первого знакомства мы выбрали из обширного наследия Пика-художника несколько иллюстраций к книгам английских классиков.

«Холодный дом»
Ч. Диккенс

Снегсби

Тарвидроп

Р. Л. СТИВЕНСОН
«Остров сокровищ»

«Я изо всей
силы дернул
за веревку,
которой Сильвер
привязал
меня к себе»

С. Т. КОЛЬРИДЖ
**«Сказание
о Старом Мореходе»**

Старый Мореход
уходит

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА

Алиса

«Гонец прыгал то на одной ножке, то на другой, а то извивался, как уж, раскинув руки, словно крылья»

Белая Королева на угольном совке

Траляля и Труляля

Герцогиня с младенцем

«Старый папа Вильям»

Критика

ХЕНРИК БЬЯЛЬКЕ

«ЛИТЕРАТУРА — ЭТО НОВОСТИ, КОТОРЫЕ НЕ УСТАРЕВАЮТ» [1]

Летний вечер... летний вечер; для меня два этих слова всегда были самыми прекрасными в английском языке.

Генри Джеймс

ОКРУЖЕНИЕ

Чудесным летним вечером июля 1991 года на ослепительно-зеленой, коротко подстриженной лужайке перед зданием старинного колледжа Христа в Кембридже собралось человек пятьдесят...

Мой зачин напоминает фразу из английского романа столетней давности, но это не страшно, поскольку понятие «викторианский роман» снова стало пусть не основополагающим, но весьма и весьма современным. Британский Совет пригласил нас на семинар по литературе с емким названием «Английский писатель сегодня». Намечалось участие ряда писателей en vogue [2], каковые и прибыли: из Западной и Восточной Европы, из стран Дальнего Востока, из Африки и Южной Америки,— и всех объединяло не только умение изъясняться на английском, но еще и любовь к этому языку. Среди участников я хотел бы выделить (просто чтобы дать представление о многообразии творческих характеров) уроженку Родезии, ныне знаменитую на весь мир, но не особенно разговорчивую Дорис Лессинг; известного исследователя поэзии сэра Фрэнка Кермода; автора научно-фантастических романов Брайана Олдисса; бывшего актера Пола Бейли, который оставил свою профессию и начал писать романы; специалиста по творчеству Гёльдерлина — поэта Дэвида Константайна; драматурга Дэвида Эдгара, уроженца Британской Гвианы прозаика и критика Уилсона Харриса; родившуюся в Египте Пенелопу Лайвли, которая дебютировала как детская писательница; уроженца Вест-Индии романиста и драматурга Кэрила Филипса и Блейка Моррисона — поэта, живущего на севере Англии и пишущего на почти непостижимом языке. Моррисон прочел нам поэму о «Йоркширском потрошителе», на слух чем-то напоминавшую Чосера. Поэма написана на диалекте и воссоздает — рифмой и ритмом — фольклорные традиции.

ДЭВИД ЛОДЖ: ПОДВОДЯ ИТОГИ СТИЛИСТИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА

Дэвид Лодж не случайно сформулировал название своего доклада в виде вопроса: «На перепутье ли все еще писатель-романист?». Лодж оперировал тремя категориями, поделив — условно — литературу послед-

[1] Эзра Паунд. Азбука для читателей, 1934. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] В данном случае: на гребне успеха *(франц.)*.

АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА СТРАНИЦАХ «ИЛ»

Проза, пьесы, стихи

1955

ЛЕССИНГ Д.
Муравейник (*повесть*), № 6.

1956

ГРИН Г.
Тихий американец (*роман*), № 6—7.

ШОУ Б.
Почему она отказывалась (*пьеса*), № 11.

1957

БЛЕЙК У.
Стихи, № 10.

ОЛДРИДЖ Дж.
Не хочу, чтобы он умирал (*роман*), № 11.

1958

ПРИСТЛИ Дж. Б.
Теперь пусть уходит (*пьеса*), № 2.

МАККЕНЗИ К.
Ракетная горячка (*роман*), № 6—7.

ЭМИС К.
Счастливчик Джим (*роман*), № 10—12.

них лет на литературу вымысла, реалистическую и «проблемную», которую предпочел называть «металитературой». В металитературе вымысел сочетается с элементами реализма, представляя подчас как имитацию старых текстов, скажем, у Джона Фаулза, пастиш [1] викторианского романа (например, у Антонии Байетт) или же, как в «Бойне номер пять» Воннегута, сплав сюрреализма и исторических документов, куда вторгается (в автобиографических отрывках) комический реализм, приближающийся к пародии. По мнению Лоджа, подобной стилистический плюрализм четко выражен и в таких произведениях, как «Попугай Флобера» Джулиана Барнса, «Белый отель» Д. Г. Томаса и «Разбирательство перед нисхождением в ад» Дорис Лессинг. Одновременно с этим Лодж вынужден был констатировать, что реалистический роман хотя и продолжает главенствовать — вследствие коммерческого успеха — с художественной точки зрения не самообновляется. К тому же его главенствующему положению угрожают упомянутые гибридные формы: заявив о себе уже в начале века, они сегодня все больше и больше определяют читательские предпочтения. Отношение к творчеству Эко и Рушди — хорошие примеры того, как читательский вкус постепенно обретает независимость.

Лодж указал также и на тот очевидный парадокс, когда прозаика, обреченного на одиночество за письменным столом и служение своему призванию, с одной стороны, объявляют «умершим для мира», с другой же — извлекают из рабочего кабинета: на него направлен прожектор средств массовой информации, он должен давать интервью и отвечать на вопросы, на которые никто еще не нашел ответа (тем самым подвергается сомнению его «мудрость», поскольку стандартные объяснения набили уже публике оскомину), он обязан также разъезжать по всевозможным конференциям и так далее. Иными словами, он вынужден рассматривать свою работу не только как призвание, но и как ремесло. Отсюда — немалая опасность утраты творческой индивидуальности.

О себе Лодж сказал так: «Прежде чем начать роман, мне нужно найти структурную идею, из которой может родиться история: к примеру, два профессора встречаются на Северном полюсе, чтобы обменяться работой; или — параллель между путешествиями ученых-первооткрывателей и приключениями странствующих рыцарей. Я питаю слабость к двойным структурам, это определяет и круг моих интересов как литературного критика, специалиста по структурализму. Я использую комедию для серьезных исследований и нахожу необычайно привлекательной мысль Бахтина о том, что в роман изначально заложена карнавальная форма, которая смехом и полифоническим словом подрывает монологические идеологии. Меня завораживает власть, которой обладает повествование; если умело ею распорядиться, читатель и дальше будет перелистывать страницы книги, но я стремлюсь и к тому, чтобы писать романы, способные выдержать проверку временем».

Проза Лоджа в основе своей реалистична, хотя он и высказывает интерес к своеобразию литературы вымысла. Вопреки тому, что в ипостаси критика Лодж склонен в своих суждениях к формализму, Лодж-писатель сохраняет связь слова с предметным миром. Как романист, он опирается на хорошо знакомый

[1] Пастиш — литературный стиль на грани пародии и фарса.

1959

КРОНИН А.
Северный свет *(роман)*, № 1—2.

ГРИН Г.
Наш человек в Гаване *(роман)*, № 3—4.

ПАРКИНСОН С. Н.
Закон Парксинсона, или Пути прогресса, № 6.

1962

ПРИСТЛИ Дж. Б.
31 июня *(повесть)*, № 9.

БЕРНС Р.
Стихи, № 11.

1963

СИЛЛИТОУ А.
Ключ от двери *(роман)*, № 5—7.

1964

ГРИН Г.
Ценой потери *(роман)*, № 9—10.

ТОМАС Д.
Стихи, № 10.

1965

БАРСТОУ С.
Любовь... любовь? *(роман)*, № 11—12.

ПРИСТЛИ Дж. Б.
Сэр Майкл и сэр Джордж *(роман)*, № 8—9.

1966

ГРИН Г.
Комедианты *(роман)*, № 9—10.

СНОУ Ч. П.
Коридоры власти *(роман)*, № 11—12.

ему материал. Ни один из этих романов нельзя назвать явно автобиографическим, но зачастую они вбирают в себя его личный опыт — это и детство, прошедшее в Южном Лондоне в семье среднего достатка, и служба в армии, и университетская жизнь (особенно в поздних романах). Лодж родился в католической семье, и некоторые его книги как бы иллюстрируют особую культуру и обычаи английских католиков.

Кстати, что касается мировоззрения Дэвида Лоджа и материала, которым он пользуется,— его книги разительно отличаются от романов столь полюбившихся читателям католических писателей старшего поколения — Грэма Грина и Ивлина Во (между прочим, Лодж — автор их биографий). Те обратились в католицизм, а образование получили в частных школах и в Оксфорде. Их католицизм имеет некую экзотическую окраску и сопряжен с проблемой выбора и духовной драмой. Лодж — выпускник муниципальной школы и Лондонского университета — знакомит нас с более будничной формой католицизма; пристально, с сочувствием наблюдая жизнь религиозного меньшинства, он придает больше значения социологической, нежели теологической стороне вопроса. Так, в романе «Британский музей» разваливается» он с блеском, юмористически описывает проблемы, возникающие в связи с запретом католической церкви на противозачаточные средства.

Спустя пятнадцать лет Лодж возвращается к религиозной теме в более «толстом» и серьезном романе «Как далеко ты можешь зайти?», где прослеживает жизнь группы английских католиков — выходцев из среднего класса — с начала пятидесятых годов, когда они — еще студенты Лондонского университета, до конца семидесятых, когда они вступают в пору зрелости и становятся свидетелями значительных преобразований в лоне католической церкви, последовавших после Вселенского собора в 1962 году. Лодж описывает своих героев с нежной симпатией, сохраняя вместе с тем некую отстраненность, и показывает их жизнь как с трагической, так и с комической стороны... Последняя его книга «Работа на славу» — трогательное, местами даже сентиментальное повествование, мягкого юмора здесь куда больше, чем фарса. В этом романе отчетливо распознаются отзвуки предшествующей литературы: «несовременный» счастливый конец несомненно заключает в себе «викторианскую ноту».

МАРГАРЕТ ДРЭББЛ И ФЕМИНИСТКИ

Маргарет Дрэббл — вот уж кто действительно en vogue — прочла нам отрывок из своей книги «Ворота слоновой кости». Если говорить о языке и даре повествования, Маргарет Дрэббл — профессионал высшего класса, однако в качестве архианглийской писательницы, описывающей трудности, с коими сталкивается нищая вьетнамская хозяйка, она вызывает у меня некоторое недоверие. Как женщина, которая пишет о женщине, к тому же представительнице так называемого «третьего мира», и не столько потому, что это модная тема, сколько пытаясь создать новую моду. В английском языке есть слово «patronizing», оно означает «покровительство», «защита», «забота» — но с позиции вышестоящего, позиции власти, что придает слову унизительный оттенок. На мой взгляд, подобного рода литература представляет собою «matronizing», и будь я нищей вьетнамской хозяйкой, я попросил бы изба-

1967

ОСБОРН Дж.
Неподсудное дело *(пьеса)*, № 7.

1968

ГРЕЙВЗ Р.
Стихи о любви, № 2.

ОЛДРИДЖ Дж.
Сын земли чужой *(роман)*, № 3—5.

ГОЛДИНГ У.
Шпиль *(роман)*, № 10.

1969

ВО И.
Незабвенная *(сатирическая повесть)*, № 2.

ЛЬЮИС Н.
От руки брата его *(роман)*, № 9—10.

1970

ЛЕ КАРРЕ Дж.
В одном немецком городке *(роман)*, № 1—3.

ЭЛИОТ Т. С.
Стихи, № 12.

1971

МОЭМ У. С.
Рассказы, № 2.

1972

ПАРКИНСОН С. Н.
Зятья и прочие. Закон отсрочки. Закон миссис Паркинсон, № 1—2.

УЭЙН Дж.
Зимой в горах *(роман)*, № 5—7.

1973

СИЛЛИТОУ А.
Начало пути *(роман)*, № 8—11.

вить меня от такого покровительства со стороны британских интеллектуалок. Правда, это всего лишь один аспект, и он затрагивает проблемы этики, а не литературы. С художественной же точки зрения текст — и сильный, и трогательный — мог бы послужить поводом для разговора о писательском ремесле. Но не успела Маргарет Дрэббл закончить чтение, как женщины — за исключением некоторых участниц из Восточной Европы — дружно бросились обсуждать феминизм, в результате чего, вплоть до горького конца, диалог увяз в политике, перекрыв всякий доступ Искусству.

Маргарет Дрэббл работает над жизнеописанием Энгуса Уилсона, на склоне лет сэра Энгуса Уилсона, наконец, блаженной памяти Энгуса Уилсона, творчество которого менее известно, но несравнимо значительнее ее собственного. Стань оно темой дискуссии, феминистки, если они вообще хоть что-нибудь слышали об Энгусе Уилсоне, или вконец разошлись бы, и тогда с ними можно было бы поспорить, или же умолкли бы и внимательно слушали. И в том и в другом случае получился бы хоть какой-то, но разговор о литературе.

УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ, НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ

Представляя сэра Уильяма Голдинга, председательствующий Крис Бигсби с британской неустрашимостью сказал, что длинновласый и седовласый, длиннобородый и седобородый восьмидесятилетний Нобелевский лауреат при всем желании не смог бы походить на Нобелевского лауреата в большей степени, нежели сейчас.

Сам же Голдинг поведал: когда он неожиданно узнал эту новость — ему позвонили из Стокгольма,— он попал себе молотком по большому пальцу, и палец болит до сих пор, и вообще, столько людей звонили ему и говорили, что он не заслужил этой премии (он и сам так думает в минуты слабости), и подобных звонков было не меньше, чем поздравлений. «Я с раннего детства предчувствовал, что мне не миновать стать писателем,— рассказывал Голдинг.— По мере того как я взрослел, я все прочнее связывал понятие «успех» с писательской деятельностью. Успех пришел ко мне далеко не сразу. Больше всего мне хотелось бы добиться признания на поэтическом поприще, но я выпустил лишь один тоненький сборник стихов, оставшийся незамеченным. Писать стало для меня рутиной в самом хорошем смысле слова. Кажется, это Эйнштейн говорил, что у него «очень мало идей». В таком случае, я попал в неплохую компанию, потому что идеи осеняют меня довольно редко, хотя я не испытываю никаких затруднений с формой, в которой найденную идею нужно выразить. Сидеть и писать — занятие малоприятное и утомительное, но еще менее приятно и куда более утомительно не сидеть и не писать. Если у меня и остались еще те или иные творческие притязания, так это написать роман, где бы я исследовал многомерность человеческого характера основательнее, чем мне это удавалось до сих пор».

Голдинг принимал участие в операции по уничтожению броненосца «Бисмарк» (в 1940-м он добровольцем поступил в британский флот и шесть лет спустя был произведен в чин капитана третьего ранга), но только в одной своей, последней, книге, откуда читал нам отрывки, он описывает кораблекрушение. Описание показалось мне несколько скучноватым, однако в какой-то момент я почувствовал — меня захватил образ водной стихии, зеленых и черных вод, будто смотришь вниз с палубы корабля. В своем эссе

1974

МЕРДОК А.
Черный принц *(роман)*, № 8—11.

1975

ОЛДРИДЖ Дж.
Горы и оружие *(роман)*, № 1—3.

ПАРКИНСОН С. Н.
Мышеловка на меху, № 7.

1976

ХИЛЛ С.
Рассказы, № 1.

1977

ЛЕССИНГ Д.
Лето перед закатом *(роман)*, № 6—7.

1978

ХИЛЛ С.
Я в замке король *(роман)*, № 1—2.

ОЛДРИДЖ Дж.
Последний взгляд *(роман)*, № 12.

1979

ДЖОНСОН П. Х.
Особый дар *(роман)*, № 1—2.

ФАУЛЗ Дж.
Башня из черного дерева *(роман)*, № 3.

1980

ЛЬЮИС Н.
Сицилийский специалист *(роман)*, № 1—2.

СПАРК М.
Мисс Джин Броди в расцвете лет *(роман)*, № 7.

1981

УСТИНОВ П.
Крамнэгел *(роман)*, № 8—10.

1982

СМИТ Э.
Только раз в жизни *(роман)*, № 4—5.

«Лестница и дерево» Голдинг пишет: «Я не сомневался, что если наморщить лоб и долго смотреть на книжную страницу, мертвый шрифт оживет. Так оно и случилось. Слова и бумага исчезли. Вместо них возник образ».

Роман Голдинга «Повелитель мух», изданный в 1954 году (в 1962-м его экранизировал Питер Брук, а сейчас в Голливуде снимается американская версия), был эпохальным в смысле философского постижения человеческой природы: группа десяти- пятнадцатилетних мальчишек, выброшенных на необитаемый остров, устанавливает иерархический, основанный на насилии режим — естественная, par naturam [1] невинность и неведение вырождаются в жестокость, которая влечет за собой разрушение и смерть. Да и в последующих романах Голдинга нашло отражение разочарование относительно нового и лучшего мироустройства, которое ожидалось после войны и до которого поколение, одержавшее победу над фашизмом, так и не доросло.

Благосклонно согласившись сфотографироваться в окружении юных восторженных феминисток, старый морской волк удалился. Он тихо прошествовал через лужайку рука об руку со своей седовласой супругой, спутницей всей жизни,— издали они напоминали влюбленную пару.

МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ: СИНДРОМ «Fin de siecle» [2]

«Есть людей нехорошо». Заголовок самого первого романа Малькольма Брэдбери не может не вызвать улыбки. Почему? Вроде бы речь идет о каннибализме, в котором нет ничего забавного; каннибализме, являющем собой либо элемент примитивного культа, либо свидетельство человеческого вырождения. Но в том-то все и дело, что слова эти никоим образом не сопрягаются с реальностью, они как бы подшучивают над нами. «Нехорошо» само по себе уже неприменимо к людоедству, это сильное преуменьшение, здесь напрашивается «ужасно», «жестоко», «дико», а стоит «нехорошо». Трагикомическая несовместимость формы и содержания. (Таким Брэдбери был уже в 1959 году. Такими же были и Беккет, и Ионеско.) Последующие тридцать лет — становление Брэдбери в качестве романиста и философа. Серия телевизионных передач о десяти классиках Нового времени, подготовленная им в 1988 году, утвердила за ним звание прекрасного популяризатора литературы и принесла ему всемирную известность.

В своем выступлении — на мой взгляд, самом глубоком и остроумном из всех, какие я слышал на семинаре,— Брэдбери предложил легко усваиваемую точку зрения на модернизм и постмодернизм, обозначив три даты: 1789-й, когда французы отметили конец столетия революцией, казнями на гильотине и новым календарем; 1889-й, когда в Париже состоялась Всемирная выставка, где демонстрировали электрическую лампочку Эдисона и трамвай, увенчавший собою цепь открытий, предвосхитивших технологическую эпоху; 1989-й — год, когда праздновали двухсотлетие Великой французской революции (парады на Елисейских полях под карибские ритмы с девочками из Мулен-Руж, танцующими канкан, и левыми феминистками, танцующими «деконструкцию», то есть Бог знает что),

[1] От природы *(лат.)*.
[2] Конец века *(франц.)*.

ГРИН Г.
Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой *(повесть)*, № 6.

УОТЕРХАУС К.
Конторские будни *(роман)*, № 10.

1983

ХОЛДЕН У.
Узы денег *(роман)*, № 2.

ПРИСТ К.
Опрокинутый мир *(фантастический роман)*, № 8.

ПАРКЕР Г.
Омут *(роман)*, № 11—12.

1984

ВУЛФ В.
Миссис Дэллоуэй *(роман)*, № 4.

1985

ОЛДРИДЖ Дж.
Правдивая история Лилли Стьюбек *(роман)*, № 12.

1986

ЛОУРЕНС Д. Г.
Дева и цыган *(повесть)*, № 3.

ТАУНСЕНД С.
Тайный дневник Адриана Моула... *(фрагменты романа)*, № 4.

РИД П. П.
Женатый мужчина *(роман)*, № 10—11.

ГРИН Г.
Десятый *(повесть)*, № 12.

1987

ГРИН Г.
Сила и слава *(роман)*, № 1—2.

МЕРДОК А.
Сон Бруно *(роман)*, № 6—8.

ШАРП Т.
Дальний умысел *(роман)*, № 9—10.

1988

СКОТТ П.
Остаться до конца *(роман)*, № 2.

ХАКСЛИ О.
О дивный новый мир *(роман)*, № 4.

и конечно же год, когда пала Берлинская стена. Главный тезис Брэдбери таков: конец каждого столетия несет с собой ломку и разрушение. Ниспровергается устоявшийся порядок со всеми его структурами, потрясаются до самого основания идеологические построения, перекраиваются границы между странами, взрываются рамки духовного пространства, идентичность личности ставится под сомнение, формулировки теряют силу, мужчина и женщина меняются ролями — кто мы? кого ненавидим? кого любим? Возникает новый миропорядок, чтобы затем точно так же низвергнуться в хаос.

Вспомним Эйфелеву башню в Париже, говорит Брэдбери. Статую Свободы в Нью-Йорке возвел Бартольди, но над ее остовом трудился Гюстав Эйфель. В основном он сооружал горизонтальные конструкции — мост через Суэцкий канал, мосты в Америке, однако для Всемирной выставки в 1889-м построил мост-вертикаль, который уходил в никуда, это был шпиль без церкви, святыня без божества — в отличие от чикагских и нью-йоркских небоскребов, где поклонялись Мамоне. Французы, приветствовавшие Эдисона как пророка утилитарной технологии, возненавидели Эйфеля. Ги де Мопассан предпочитал обедать в Эйфелевой башне — единственное место в Париже, откуда ее не было видно. Башню предполагалось снести в 1910 году — бесполезное сооружение, бессмысленный рывок вверх, в ничто, в будущее, на то и годится лишь, чтобы стоять у ее подножия и глазеть на верхушку — и наоборот. И вдруг выяснилось: башня — идеальная радиовышка, построенная еще до того, как изобрели радио. Иными словами, это была первая великая метафора абстрактного модернизма, голая абстракция, тулово без внутренностей, скелет без плоти. В том же 1889 году Бергсон писал в своем исследовании «Время и свободная воля» об интуитивном сознании. А в Вене работал над теорией свободной ассоциации и основами психотерапии Фрейд. А в Базеле потихоньку сходил с ума Ницше, он направлял папе римскому послания за подписью «Цезарь» и предсказывал землетрясения и истребление целых рас; а в Англии вышла повесть Джерома К. Джерома «Трое в лодке (не считая собаки)»: даже англичане и те пришли к осознанию того, что мир — на пороге радикальных изменений. Апокалипсические пророчества сбылись ровно через двадцать пять лет — в 1914-м, когда разразилась первая мировая война, последствия которой сказались на ходе не только европейской, но и общемировой истории.

Модернизм, вероятно, и есть обозначение той самой эпохи, что наступает в 1889-м году и завершается «Поминками по Финнегану», то есть к концу 1930-х. Этот длинный и извилистый путь безусловно должен был найти свое отражение в литературе. И действительно: модернизм вбирает в себя *все* переоценки *всех* ценностей. Но вот грянула вторая мировая война. И после войны все приходится начинать сызнова. В Германии появляется «Группа 47», во Франции заявляют о себе Сартр и экзистенциалисты, Беккет работает с самовитым языком, в США возникает «новая литература» и «новая критика», а крупные еврейские писатели, уцелевшие после Холокоста, становятся в США основоположниками новых начал.

Неизбежное утверждение иного миропорядка в условиях «холодной войны» и диалектического противостояния марксизма и буржуазной идеологии определило границы культурного пространства на

УЭЛДОН Ф.
«Поларис» *(повесть)*, № 5.

ТАУНСЕНД С.
Тяжкое отрочество Адриана Моула *(фрагменты романа)*, № 7.

ДОНН Дж.
Стихи, № 9.

1989

ГРИН Г.
Монсеньор Кихот *(роман)*, № 1—2.

ФАУЛЗ Дж.
Дэниэл Мартин *(роман)*, № 10—12.

ОДЕН У. Х.
Стихи, № 12.

1990

КАРР Дж.
Месяц в деревне *(повесть)*, № 3.

СТОППАРД Т.
Розенкранц и Гильденстерн мертвы *(пьеса)*, № 4.

ЛЬЮИС К. С.
Христианское поведение, № 5.

ЛЕ КАРРЕ Дж.
Русский отдел *(роман)*, № 5—7.

ЛОУРЕНС Д. Г.
Любовник леди Чаттерли *(роман)*, № 9—11.

1991

ТАУНСЕНД С.
Ковентри возрождается *(повесть)*, № 3.

ХАКСЛИ О.
Гений и богиня *(повесть)*, № 5.

ВО И.
Черная беда *(роман)*, № 6.

ВУЛФ В.
Комната Джейкоба *(роман)*, № 9.

БЁРДЖЕСС Э.
Трепет намерения *(роман)*, № 12.

последующие сорок лет. А теперь наступило время очередной ломки. Писатели Восточной Европы, чьи усилия были главным образом направлены на создание подпольных эпицентров духовного сопротивления, последними отказались от идеологического восприятия мира; параллельно с поиском новых форм жизни им предстоит осмыслить свой собственный эстетический опыт и найти язык, способный адекватно этот опыт выразить.

Брэдбери стал писать в 1950 году, когда потребность в обновлении литературы как бы напрашивалась сама собой; решающее влияние на него оказал Дёрдь Лукач (а много позднее — Жак Деррида). Ломка порядка, господствовавшего на протяжении сорока лет, направила философскую мысль Брэдбери в глубь столетий, и он пришел к выводу: мы не только живем в эпоху, которая приближается к своему завершению, в эпоху «последних дней»,— подобное происходило уже и прежде, ибо каждое столетие завершалось разрушением старых норм и прорывом новых. Сопоставляя нашу и предшествующую ей переломные эпохи, Брэдбери пытается обнаружить элементы надежды и радости, неизменно присущие новым началам.

Сегодня мы должны примириться с потерей субъекта, автора текста, определений, более того — основная философская задача современности не предусмотрена общеевропейской традицией. Власть традиции в мышлении, допускавшей чуть ли не телеологическое повторение, но не инновацию, была столь сильна, что единственным выходом явилась деконструкция. В результате мы имеем деконструктивизм, разрушающий саму традицию. Таким образом, мы остались без наставников и без видимой цели и вынуждены изобретать новую философию для эпохи, что грядет, неминуемо идет на смену.

На вопрос, как бы он в общем и целом охарактеризовал постмодернизм, уходящий, по его мнению, в прошлое, Брэдбери ответил: «Если коротко, это три имени — Сэмюэл Беккет, Владимир Набоков и Хорхе Луис Борхес».

АНТОНИЯ БАЙЕТТ: НЕОВИКТОРИАНСКИЙ РОМАН

Слушая, как Антония Байетт читает отрывок из своей последней книги «Possession» (что можно перевести двояко: «Обладание» или «Одержимость»), проникаешься таким же настроением, как если бы ты внимал длинной поэме. О себе Байетт говорит: «Я пишу романы, потому что меня безумно интересует язык. Романы — это произведения искусства, которые *сделаны* из языка, в одиночестве, в уединении, и прочитываются в уединении — будем надеяться, что читающих одиночек немало. Меня также интересует, что́ происходит в голове у читателей, у писателей, у персонажей и рассказчиков в книгах. Я люблю писать о людях, которые думают, для которых мыслительный процесс равно важен и увлекателен, как секс или принятие пищи,— и даже мучителен. Но это не значит, что я стремлюсь к тому, чтобы мои книги были «головными» или «идейными».

Кристофер Хоуп предлагает следующую характеристику творчества Антонии С. Байетт: «Антония Байетт отнюдь не случайно проявляет столь пристальный интерес к литературе XIX века, а ее герои пребывают в интеллектуальном поиске. Она принадлежит к чи-

1992

ГРИН Г.
Конец одного романа *(роман)*, № 5—6.

Критика, публицистика

1956

КЕТТЛ А.
Английская литература в 1955 году, № 4.

1957

ШОУ Б.
Говорит Бернард Шоу (Выступление по телевидению 26 июля 1946 г.), № 5

СНОУ Ч. П.
Английская литература сегодня, № 6.

1961

КЕТТЛ А.
Поиски пути (Заметки о современной английской литературе), № 8.

1962

ШОУ Б.
Стопроцентная Америка (Речь, произнесенная 11 апреля 1933 г. перед Академией политических наук в зале «Метрополитен опера» в Нью-Йорке), № 3.

1963

ОЛДИНГТОН Р.
Из статей и писем, № 8

УИЛСОН Э.
Здоровый роман родится в здоровом мире, № 10

слу тех немногих английских писателей,— а таких единицы,— которых не пугает присутствие в романе идеи. Ее первый роман «Тень солнца» знакомит нас с двумя персонажами, которые в дальнейшем будут нередко появляться на страницах ее книг: это Генри Северелл, прозаик, чей зоркий взгляд безжалостно фиксирует все происходящее, не упуская ни одной детали и странности, и его дочь Анна, которая борется с тенью отца за право самостоятельного выбора. В мире романов Байетт женщины — как правило, дочери властных отцов — близки в своей борьбе к интеллектуальному экстазу, а их высокие устремления превосходят самые дерзкие надежды феминисток. Как получается, что вымысел порождает подлинные дилеммы, настоящую жизнь? Откуда у нас эта тоска по структуре, жажда метафор? И почему метафоры словно бы поглощают, пожирают наш жизненный опыт? Может ли быть иная, а не только иллюзорная связь между объектом нашего желания и тем, что уже существует само по себе, помимо нас?..»

О том, что Антония Байетт прежде всего прекрасный стилист, смакующий цвет и аромат слов, свидетельствует сборник ее новелл под названием «Сахар» * . Проза Байетт почти осязаема. В ее новеллах речь идет о потерях, пропажах, привидениях, тенях прошлого, которые вторгаются в настоящее и подавляют живых. Тени прошлого — это главная тема «Possession», последнего, самого глубокого и вместе с тем самого «игрового» романа Байетт. Его герои — Рэндольф Генри Эш, викторианский поэт, энциклопедист, ученый, и Кристабель Ламотт, женщина, которую он любил и потерял.

«Possession» одновременно и любовный роман, и в высшей степени глубокое и оригинальное исследование этого жанра, ибо жизни давным-давно умерших и похороненных Эша и Ламотт становятся предметом научных изысканий, которые ведет придуманная Байетт веселая группа ученых: Роланд Мишель, «постструктуралист-деконструктивист» (но в душе истинный рыцарь), литературовед Ливис и его «подмастерье» Джеймс Блэкеддер, что трудится в поте лица в подвалах Британского музея. Поскольку действие происходит в 80-х, в романе фигурируют также хиппи, «порши», храбрые феминистки, бледные архивариусы и страстный коллекционер американец Мортимер Кроппер, владелец дивного музея, где хранятся принадлежавшие Эшу вещи, ныне реликвии.

Что касается самого Эша и его возлюбленной Кристабель, жизнь их, заключенная в рамки XIX столетия, реконструируется в мельчайших подробностях,— дотошное воссоздание деталей чрезвычайно напоминает пастиш. Из их писем, стихов, рассказов, дневников рождается образ влюбленной пары, который подчиняет себе жизнь героев книги — наших современников. Роман «Possession» тем и силен, что порождения художественного вымысла воистину обретают плоть и кровь и, сходя со страниц книги, начинают властвовать над нашими душами.

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ АРНОЛЬД УЭСКЕР

Драматург Арнольд Уэскер решился на отчаянный шаг, а именно прочел монолог «Письмо к дочери», где одна женщина обращается к другой и рассказывает, что это такое — быть женщиной. Казалось бы, тема закреплена за писательницами, для писателя же про-

---

* Рассказ «Розовые чашки» из этого сборника напечатан в данном номере «ИЛ».

1965

ДОЙЛ А. К.
Преступление в Конго (Отрывки из книги), № 2.

1968

КУПЕР У.
Эра острых ощущений, № 5.

1973

Беседы Уильяма Голдинга, № 10.

1977

АЛЛЕН У.
Постскриптум к «Традиции и мечте», № 12.

1980

БРЭДБЕРИ М.
Собака, затянутая песками (Проблемы современной литературы и искусства), № 1

1983

ГРИН Г.
«J'accuse». Теневая сторона Ниццы, № 7

1984

КУПЕР У.
Два направления в современном английском романе, № 11

1985

ПРИСТЛИ Дж. Б.
Жизнь, литература и школа (К 90-летию писателя), № 1

УЭЛДОН Ф.
О необходимости феминистской литературы, № 6

никнуть в глубины женской души, тем более в отношения матери и дочери,— настоящий подвиг. Уэскеру, с моей точки зрения, удалось сохранить хрупкое равновесие между сатирической карикатурой и достоверным изображением крайне серьезных аспектов взаимоотношений разведенной актрисы и ее дочери (та остается как бы за сценой).

В начале 60-х Арнольд Уэскер играл ведущую роль в довольно известном «Комитете ста», который проводил на улицах Лондона демонстрации протеста против применения ядерного оружия (вместе с Бертраном Расселом и другими Уэскер был однажды приговорен к месяцу тюремного заключения). В 1982 году в лондонском театре «Водевиль» состоялась премьера его пьесы «Картошка ко всем блюдам», признанной впоследствии лучшей пьесой года. Другие пьесы Уэскера были отмечены премиями в Италии и Испании.

Вот что пишет об Уэскере Маргарет Дрэббл: «...он стяжал себе славу как драматург в 60-е годы, на новой волне, которую обычно связывают с труппой «Английская сцена», «сердитыми молодыми людьми» и так называемой «кухонной драмой», но слава его пережила превратности конъюнктуры, а произведения, как мы сегодня отчетливо видим, сохранили свой изначальный мощный заряд. В последующие десятилетия он завоевал международное признание, его пьесы переводились, ставились и изучались во многих странах, начиная с Германии и США и кончая Турцией и Японией. Их неизменная популярность свидетельствует об универсальности тематики и чуткости автора к специфике сценического воплощения. Уэскер всегда был *борцом,* принадлежал к числу тех, кто поднимал самые острые проблемы. Тесно общаясь с писателями из других стран, он давно уже утвердил себя как пионер гласности в литературе, как Комиссия-ООН-в-Одном-Лице. Уэскер из тех писателей, кто не позволяет нам забывать, что театр — это живой организм и что пьесы в бóльшей степени, чем прочие литературные произведения, зависят от человеческого фактора. Он постоянно, подчас даже в резкой форме напоминает нам о том, что такое гуманизм. Он не склонен почивать на лаврах в качестве живого классика. Он пишет новеллы, сценарии для телевидения, радиопьесы, эссе, рассказы для детей; свое вдохновение он черпает в произведениях как Достоевского, так и Шекспира. Его творчество может послужить назиданием для тех, кто привык разделять писателей по течениям и направлениям. Возможно, это и есть самое в нем для нас ценное — то, что искусство его животворно».

ДЖОРДЖ СТАЙНЕР, ВЕЛИКИЙ ПРОВОКАТОР

Стайнер читает лекции одновременно в колледже Черчилля в Оксфорде и Женевском университете, где преподает историю литературы, образование получил в Париже, Чикаго, Гарварде и Оксфорде, удостоен всевозможных ученых званий и наград, автор книг о Толстом, Достоевском и Хайдеггере, переведен на одиннадцать языков, член-корреспондент Немецкой литературной академии и почетный доктор ряда университетов.

По утверждению профессора Стайнера, для эпохи модернизма не только центральной, но и главенствующей идиомой стал гомосексуализм. В своей книге «Эрос и идиома» (1978) он пишет, что наподобие того, как гетеросексуализм составлял скрытую основу клас-

1986

ТЕККЕРЕЙ У. М.
«Милосердие и юмор» и другие статьи, № 1.

ГРИН Г.
Мое знакомство с генералом, или Как я оказался ко всему этому причастным (Фрагменты книги), № 4 —5.

КИПЛИНГ Р.
Из книги «От моря до моря», № 8

СТИВЕНСОН Р. Л.
Из книги «Эмигрант-любитель», № 8

УЭЛЛС Г.
Из книги «Будущее Америки», № 8.

1987

ДЭВИС Х.
Славная игра (Главы из книги), № 1

ТРОЛЛОП Т. А.
Что я помню (К 175-летию со дня рождения Чарльза Диккенса), № 2

ЛАКЕР У.
«Купить в Москве книгу», № 3

ХОСКИНГ Дж.
Интервью с ним и его лекция «Возврат к политической жизни», № 4

ЛОУРЕНС Д. Г.
Порнография и непристойность, № 5.

УОЛДЕН Дж.
Мирное созабытье, или Иной способ кануть в Лету, № 10

сического реализма, начиная примерно с 90-х годов XIX века важную роль в западной культуре начинает играть гомосексуализм. Радикальный гомосексуализм заявляет о себе в модернизме посредством нарциссического самоотражения. Идиому гомосексуализма можно рассматривать как творческое отрицание философского и бытового реализма, отражающего поведенческие условности и эмоциональные стереотипы XIX столетия. Помимо всего прочего, идиома гомосексуализма способствовала утверждению солипсизма, жесткому осмеянию обывательского common sense [1], каковые и заложили фундамент модернистского искусства. «Два исторических события — одно сформулировал Малларме: «отключение языка от внешнего мира»; второе мы находим у Рембо: «деконструкция самости» — *je* est un *autre* («я» тождественно «другому») — подрывают основы западной традиции, опрокидывая ее в бездну, открытую модернизмом. Рембо, вероятно, несет большую ответственность, поскольку деконструкция семантических форм, дестабилизация смысла, которые мы наблюдали на протяжении десятилетий, исходят из провозглашенного им распада «самости». «Я осмелюсь утверждать, что в сравнении с этими двумя событиями в истории европейской культуры все политические революции и великие войны — производные явления поверхностного порядка»,— говорит Джордж Стайнер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Присутствие в Кембридже Джорджа Стайнера, Дэвида Лоджа, Арнольда Уэскера, Маргарет Дрэббл и Антонии Байетт, Брайана Олдисса, Малькольма Брэдбери, Блейка Моррисона и Уильяма Голдинга означало, что на семинар собрались светлые умы, труженики духа: каждый из них по-своему вдохновил присутствующих своим личным взглядом на мир, а также на язык, в котором мы живем. Конечно же, наш мир далек от совершенства, однако утверждать, что мы беспомощны, нельзя: кто-то все же прилагает огромные усилия для того, чтобы переосознать и преобразить его. И я не ошибусь, если скажу, что каждый из шестидесяти писателей, собравшихся со всего света, приобрел по меньшей мере с десяток новых друзей — тоже со всего света — и проникся еще большей любовью к Англии духовной.

Сан-Катальдо,
октябрь 1991

Перевод с датского НОРЫ КИЯМОВОЙ
и АЛЕКСА ФРИШМАНА

КОННОЛЛИ Р.
Джон Леннон. 1940 —1980.
Биография, № 12.

1990

ЛАКЁР У.
Монолог в Москве
(Из книги «Долгий путь
к свободе»), № 2

БРУК-ШЕПЕРД Г.
Судьба советских
перебежчиков, № 6 —8

1991

ОГДЕН К.
Мэгги. Интимный портрет
женщины у власти
(Главы из книги), № 4

ЛАКЁР У.
Наставники Гитлера, № 5

[1] Здравый смысл *(англ.)*.

НИКЛАС ШЕКСПИР

ГРЭМ ГРИН

Есть поучительное предание о «Тайной вечере» Леонардо (у Вазари мы его не найдем). Художник не мог ее кончить из-за портрета Иуды. Однажды на рынке он встретил человека, чье лицо выражало точно то самое, что он так долго искал. Он привел его к себе в мастерскую, посадил на стул, поскорее приступил к работе, но, взглянув на нового натурщика, увидел, что тот плачет.

— Когда я сидел здесь прежде,— объяснил он,— вы писали с меня Иисуса.

Грешный, святой и двуликий. Именно их находим мы в мастерской другого творца, наверное, заслужившего право называться лучшим английским романистом нашего века.

Очарованием своим Грин в немалой мере обязан и тому, что всем было трудно о нем писать. Для Малькольма Маггериджа он — святой, который пытается стать грешником. Для доктора Дювалье — клеветник, кретин, шпион, наркоман, извращенец, палач, неуравновешенный невежда. Как писатель, он тоже упорно противится критике — скрытничает, хитрит, ревниво охраняет авторское право. Казалось бы, нетрудно понять и его, и его романы; но это не так. Они чем-то похожи на пустое пространство, где не хватало Иуды. Одного примера достаточно. Почти все его книги экранизированы, и ясно почему — он многое взял от кино. Почти все фильмы ужасны.

В предисловии к одной из своих последних книг, «Почему же эпиграф?» (1989), Грин обращается к тем, кто хочет знать, о чем он пишет. «Читайте только эпиграф,— советует он со свойственным ему лукавством.— Ведь в эпиграфе и сказано, о чем книга». В этом смысле показателен титульный лист к первому его роману «Человек внутри» (1929). Грин выбрал строку из сэра Томаса Брауна: «Внутри меня есть другой человек, и он на меня сердится». Уже тогда (ему было 24) его главная тема ясна: его притягивает раздвоенная личность, черные квадраты, а не только белые клетки на шахматной доске. Вино, которое не только плоть Христова, но манна пьяниц; люди, утратившие себя. Он подытожил это в эпиграфе, который так удачно выбрал для всех своих книг из «Апологии епископа Блума», у Роберта Браунинга:

> ...нас занимает
> опасный край у всех вещей — вор честный,
> убийца нежный, набожный безбожник.
> Мы наблюдаем, как они идут,
> стараясь равновесье сохранить
> посередине...

То, что пишет Грин, так человечно (поневоле вернешься к этому слову, когда говоришь о нем), ибо он исследует неверную линию «посередине», которая есть во всех нас, какой бы крови мы ни были, какой бы веры — католики, марксисты...

Но начнем, как хотел бы Грин,— с начала. Часто и упорно он повторял, что в первые двадцать лет решается судьба писателя. В них уже есть весь нужный опыт. Они объясняют все. Позже, напоминает он, меняется очень мало — линии на ладони уже не изменяются. «В несчастном отрочестве Иуда предал Христа».

Собственное его отрочество прошло в Беркхемстеде, зеленом предместье у самой кромки Лондона; его отец был там директором школы. «Все, чем я должен был стать, вероятно, было там»,— писал Грин.

Несмотря на устойчивость и благополучие, свойственные среднему классу, годы эти счастливыми не были. Видимо, их пригибал книзу жуткий груз его первого воспоминания — мертвой собаки в коляске. Родители были далеки. Сам он страдал от застенчивости. Соученики дразнили его, ведь он был сыном директора. Прибежища не было ни за дверью, отделявшей от школы кабинет отца, ни здесь, по эту сторону. Как только он переступал порог, ему приходилось быть или борцом сопротивления, или квислингом. С ранних лет знал он самую технику предательства, и сравнивал это с адом, который описывал Джойс в «Портрете художника». Так поверил он в то, что ад — не за гробом, а тут, в жизни. Когда Скоби в «Сути дела» спрашивают, верит ли он в ад, он отвечает: «Еще бы! Ведь нас учили, что это — непрестанное чувство утраты». Что до Грина, утраты начались для него с Пенделе из «Ценой потери» — детского царства, где «мы были счастливы». Потом оно превратилось в новые, более зрелые лишения — в тот утраченный мир, который он описывает в «Комедиантах», где голая девушка предается любви в пруду. Энтони Бёрджесс как-то сказал мне, имея в виду эти поздние утраты: «Он очень боится ада. Опыт у него, конечно, большой».

Тогда же, в отрочестве, бесом был мальчик по фамилии Картер, орудием пытки — два циркуля. Грин так хотел сбежать от него, что однажды спрятался на лугу, где его отыскала старшая сестра Молли. Другой раз один из его немногих друзей, Уотсон, предал его ради Картера. Страдал Грин ужасно. Из-за этого предательства и из-за пыток циркулем он впервые начал писать. Писал он ради отмщения, чтобы хоть как-то ослабить прошлое. Он встретил Уотсона в Малайе в 1951 году и подумал, стал бы он вообще писать, если бы не эти двое. В каждой книге он сумел воспроизвести тогдашнюю силу чувств. Во всех книгах есть люди, чьи чувства мучительны и непосредственны, как у подростка.

Попытки хоть как-то убежать проявились

тогда в чтении. «Нас выдают книги, которые мы читаем»,— говорит Роуз в «Тайном агенте», а еще где-то Грин признается, что «первые наши книги глубоко влияют на нас». Дед его умер на острове Сен-Китс, и в отрочестве он любил диковинные страны, где живут викторианские герои, которые всей душой за ценности «истинно мужского христианства» — справедливые республики, где, по слову капитана, из «Капитана и врага», человек может тихо и мирно нажить состояние.

Как Борхес, которым он восхищался, Грин искренне любил немодных, да еще и не очень хороших писателей, которые уж точно обеспечат «утраченный восторг, и ужас, и веселье». Он питал слабость к пошлым песенкам, которые почти за пределом поэзии, к банальнейшей мелодраме. Прелюбодеи, захваченные страстью, опасные экспедиции, тени на темной улице мерещились ему. В страшных снах его преследовали зловещие китайские шпионы, и он искал убежища у вооруженных сыщиков. Взглянув на свои руки, он видел длинные, загнутые, как у китайцев, ногти. Когда ему было двенадцать, из всех героев он больше всего любил сыщика Диксона Бретта, из писателей — Джона Бакана, Марджори Боуэн (чей роман «Миланская змея» побудил его писать «немыслимо жестокие и отчаянно романтические» рассказы), и Райдера Хаггарда, чьи книги уводили его из пригорода в Либерию и Мексику.

Смерть и дьявол были, как позже стал Бог, «огромными фигурами, глядевшими из шотландского тумана». Собака у ног, рухнувший самолет, человек, перерезающий себе горло в окне богадельни,— вот воспоминания, формировавшие душу Грина. Насилие, как и ад, осаждало его в детстве. Он стал завидовать Уилфриду Юарту, которого случайно застрелили во время восстания Панчо Вильи. В отчаянии, «непростительном грехе», он заигрывал с самоубийством. Как-то он проглотил тюбик бриллиантина. В девятнадцать лет он снова ушел на луг и приставил к уху пистолет своего брата.

Шесть раз пистолет дал осечку, и Грин положил его в стол. Выход он нашел в путешествии. Жена его, Вивиан, говорила, что он похож на Отиса П. Дрифтвуда, персонажа братьев Маркс. «Никогда не провели мы на одном месте больше нескольких недель». Как говорит Браун из «Комедиантов»: «...Корни мои никогда не уходили так далеко, чтоб я создал дом или защитился любовью». Грин считал, что эта перемена мест вызвана тем же, что и «русская рулетка»: он хотел избавиться от бремени тоски; но не только как Касл, двойной агент из «Человеческого фактора», он мечтал пойти «за героем детства Аланом Куотерменом... в глубь черного материка, и найти там надежный дом, и стать гражданином, не принося присяги — не в городе Маркса, и не в Граде Божием, но в городе, который зовется покоем души».

Словом, Грин сбежал в края Хаггарда и Хенти, в тропическое подобие своего пригорода, чтобы в зазоре между воображаемым и действительным найти «справедливые республики» из детских книг. Нашел же он совсем иное — то, что знаем теперь мы все как Гринландию, Землю Грина. «Могу только сказать, что это земля, в которой я провел большую часть жизни».

Какая же это земля? Не надо принимать совсем уж всерьез его неприязнь к ней. Он возразит, что описывал Индокитай так, как видел. Да, верно, все было так, но он ведь описывал что-то еще за этим. «Одна из стран души»,— говорит он, описывая Конго в предисловии к «Ценой потери». Страна, где простодушные и неколебимые ценности детства могут заразиться усталостью, испорченностью, нечеловечностью, и одни только дети знают что-то наверняка.

Мы неплохо усвоили ее признаки: плохая девочка, которая пищит: «в политике я разбираюсь», застоявшийся запах в полицейском участке, обтрепанные чиновники, унылое пьянство на веранде, эмигрантский отстойник, который иногда возмущают всплески совести или страсти. Мы можем указать ее на карте у края света, на границе, над которой кружат, как ястребы, Бог и дьявол; в запущенном месте, где прохудились ограды, отделяющие похоть от любви, верование от веры, добро от зла, священника от убийцы; там, где очень легко, того не заметив, перейти неверную черту. Объединено это место неудачей.

Всю остальную жизнь Грин стремился в эти места, словно муха — к трупу. Мало что трогает его, писателя, так, как зазор между человеком и службой, верой и поступком, непреложной догмой и ее противовесом — состраданием, любовью, «человеческим фактором». Он верит, что романист должен находиться «на границе между должным и недолжным», и жужжит трупной мухой в этой болотистой местности.

Там, в Земле Грина, вы предаете Бога — и ближе подходите к святости. Почему же? «Церковь знает все правила. Но ей неведомо, что творится в человеческом сердце». А вот герою Грэма Грина это ведомо, и автору — тоже. «Величайшие святые обладали особой, ненормальной способностью к злу,— писал он в эссе о Фредерике Ролфе,— и только самым порочным удавалось избежать святости». Иногда мирянин понимает лучше, чем пастырь, говорит отец Томас в «Ценой потери». Иногда он и верит больше.

В Земле Грина вы можете предать страну — и будете лучшим патриотом. «У нас своя страна,— говорит Сара Каслу в «Человеческом факторе».— Ты, да я, да Сэм. Эту страну, Морис, ты никогда не предавал».

В Земле Грина, в убогом краю страха, вы всегда — беглец, отщепенец или еретик. Неверность (он считает ее похвальной даже в писателях) — ключ к его характерам или к тем характерам, которые он одобряет. До самого конца сочувствие его не с теми, кто правит, а с теми, кем правят,— с побежденными, с неудачниками.

Верность непререкаемому закону связывает вас, мертвит, опустошает, как опустошила она архитектора Куэрри, который поражен почти таким же нечувствием, что и прокаженные. Верность — веревка, накрепко привязывающая вас к дереву в джунглях. Грин признает только ту верность, которая рождена любовью. «Разве в мире творилось бы вот такое, если бы мы были верны любви, а не стране?» — спрашивает Беатрис из «Нашего человека в Гаване». Уормолд не отвечает, но ответ — «Да, наверное» — можно найти в любом романе Грина; ведь именно эту ценность славят они, эту неразбериху исследуют.

Словом, Земля Грина — край неверности, но и край сострадания. Открыл он ее и описал не сразу. Мы слишком легко забыли его ранние неудачи, забыли и то, как рьяно хотел он стать писателем. После «Человека внутри» он написал два романа, а потом изъял их из продажи. Четвертым был «Стамбульский экспресс», который имел успех, но за ним следовали три «развлекательных» романа похуже, которые не покупали, и биография, которую вообще не стали печатать. Тираж десятой книги был 3000 — на 500 экземпляров больше, чем у первого романа. Книга называлась «Сила и слава»; упорство к этому времени усовершенствовало стиль.

Проза его обманчива. У Ивлина Во, другого католика, его друга, мы запоминаем целые абзацы, узнавая один и тот же почерк в каждой фразе. Редкие строки из Грина западают нам в память, и никак не параграфы. Если верить Энтони Бёрджессу, Грин стремился к тому, чтобы язык у него был «прозрачным» и ни в коем случае «не остановился самостоятельным персонажем». Проза его ясна, скудна, в ней нет «этих мерзких прилагательных». Нет в ней и разъяснений, и нравственных суждений; она свободна, как у Флобера. Орудие его — движение и персонаж, мысли же персонажей выражены в диалоге, а еще лучше — в действии. От Хаггарда и Конрада узнал он ценность приключений, верховную значимость рассказа. Вот и еще одно его свойство: он никогда не забывает, где он. Начинает он с самого начала, здесь и сейчас (может быть, и поэтому он кажется таким современным) и продвигается к концу, почти совсем не прерываясь и не оглядываясь. «Писатель ведь пишет не для читателей,— говорит Куэрри.— Но он должен хоть как-то постараться, чтобы им было получше».

Он позаимствовал у кино разные технические приемы. Чтобы превозмочь ужас, муку, истину, он использует пафос и мелодраму. Ему важна не скучная информация, а — как написал он в статье о кино для «Спектейтора» — «вера в то, как значим верный рассказ о человеческих действиях».

Однако ни один фильм не может хорошо передать ощущение тайны, сочную тусклость, поэзию его прозы. В кадриках будет Земля Грина — «Я не умею выдумывать»,— но атмосфера уже иная. Грин признается, что перенял у Конрада прием: он сравнивает абстрактное с конкретным («Я швырнул в него истину, как стакан с серной кислотой»). Если мы что и помним у него, так эти образы; ведь уподобление сродни воспоминанию: «Когда мы сравниваем, мы вспоминаем».

Лучшие его сравнения могут связать трагедию, разыгрывающуюся под далеким небом тропиков, с гостиной в лондонском предместье. Хищные птицы похожи на старые сломанные зонтики. Москиты жужжат как швейные машины. Уши у мула бесчувственны, как дверные ручки.

Худшие его сравнения — ниже всякой критики, но и этим он обязан «искаженному призраку» Конрада. Такие сравнения прилипчивы, словно болезнь: «Он был вроде тех растений, которые держат в ванной, и они от сырости вымахивают выше, чем надо. У него были черные усики, словно мазок сажи, а лицо такое узкое, плоское, длинное, будто оно доказывало, что параллельные прямые никогда не пересекутся». Иногда болезнь смертельна: «Рот захлопнулся, как моллюск», «Отцу Томасу хотелось бы выговориться, и это опасное желание росло в его душе, словно назревал оргазм», «Револьвер упал на мостовую, как увядший цветок».

Последний образ возвращает нас к пистолету на Берхемстедском лугу. Как быть, когда играешь в «русскую рулетку»? Шесть раз слышал Грин щелканье осечки, потом — остановился. Все встало на место. В отличие от Скоби, он остался жить. Вот в это мы и должны поверить. Но так ли велик был перекос? Джон Ле Карре пишет: «Если револьвер хорошо смазан, и вы его зарядите, и барабан начнет вращаться, пуля непременно вылетит». Примерно то же самое бывает иногда у Грина. Механизм у него всегда или почти всегда хорошо смазан, но опасность может оказаться мнимой хотя бы потому, что в конечном счете подстрахует Бог (не то у Ле Карре, где всегда настигает пуля возмездия). Конечно, в худших его книгах сочетание мелодрамы, сентиментальности и «Божьей помощи» наводит на мысль, что все это — розыгрыш; и когда он целится, когда нажимает курок, ничего страшнее щелчка не будет.

Бог мешает многим понять величие Грина, этот персонаж удался ему не больше, чем невесомые женщины. Когда он сообщил Во, что собирается написать роман «Тихий американец», где не будет ничего католического, Во заметил, что с таким же успехом мог бы Вудхаус отказаться от Дживза в самый разгар повествований о Берти Вустере. Джорджу Оруэллу гриновский ад казался ночным клубом для богатых, куда пускают одних католиков, предпочтительно таких, которые достаточно хороши для вечной гибели. Я люблю Оруэлла, но тут он не прав. Он судит как богослов, как идеолог. Не надо быть коммунистом, как был им Грин четыре недели, чтобы понять, чему учит коммунизм. Оруэлл — не коммунист и не католик, и ему кажется, что Бог у Грина — еще один авторитарный лидер, пусть и самый могучий, про-

тив которого непременно надо восстать, иначе не будешь человеком. Точно так же Грин считает, что непременно должен сунуть свой ломкий прутик в колесо государства, особенно американского. В конечном счете, важны люди, а не капитализм, не марксизм, не Церковь. Думая о Боге и об Его немыслимой милости, Куэрри спрашивает: «Если Он хотел, чтобы мы сохраняли ясный разум, зачем Он дал нам гениталий?»

Ключ к этому писателю — к человеку, не ведавшему суеты, но знавшему лучше прочих, как хорошо быть живым при всем убожестве и всей славе жизни,— ключ к нему для меня в одном отрывке из «Комедиантов». Не будем путать мысли персонажа с мыслями автора, это нечестиво. Однако признаем слова самого Грина о том, что главные герои романа непременно похожи на автора, ибо «вышли из его тела, как дитя из утробы». Браун, говорящий от первого лица, быть может, не во всем подобен Грину, но здесь он уж точно говорит за него:

«Может быть, уроженцы таких мест, как Монте-Карло, где никто не пускает корней, имеют какое-то преимущество перед другими, ибо они легче приемлют то, что им преподносит жизнь. Как и у всех людей, у нас — у таких вот перекати-поле — в прошлом был соблазн обрести опору в религии или в политических убеждениях, но по тем ли, по иным ли причинам мы не поддались ему. Наш удел — безверие; мы восхищаемся Мажио и Смитами — теми, кто отдает себя служению делу, восхищаемся их мужеством, их цельностью, преданностью идее, но кого, как не нас,— робких, не знающих душевного жара,— вербует мир зла и добра, мир глупых и мудрых, равнодушных и заблуждающихся. Мы, завербованные, ничего не выбираем, мы только живем...»

Перевод Н. ТРАУБЕРГ

ПРЕМИЯ «БУКЕР» ПРИХОДИТ В РОССИЮ

В 1968 году компания «Букер» учредила ежегодную награду за роман на английском языке. В то время в Великобритании литературных премий было немного и ни одна из них не приносила авторам такую известность и деньги, как Гонкуровская премия во Франции. Прошло 24 года, и сегодня премия «Букер» — основное событие в литературной жизни Великобритании; список кандидатов на премию и имя победителя находятся в центре внимания везде, где читают по-английски. Книга лауреата автоматически становится бестселлером; американские, английские и французские студенты пишут о ней работы. Наконец, в 1989 году парижская газета «Фигаро» удостоила награду высочайшей похвалы в редакторской колонке, назвав Гонкуровскую премию «французским Букером».

Премия целиком и полностью выполнила свою задачу — повысить интерес к серьезной художественной литературе и увеличить читательский спрос на романы.

Компания «Букер» ведет начало от сахарных плантаций в Гайане. Многие годы компания была частью истории Британской империи, а в 1950-х, когда заморские территории обрели независимость, она стала вкладывать средства в торговлю продуктами питания в Великобритании, а позже — в сельскохозяйственные предприятия во всем мире, и особенно в США. Сегодня компания является крупнейшим оптовым поставщиком продовольствия в Великобритании, а через наше дочернее предприятие в США «Арбо Эйкрз» — крупнейшим в мире производителем высококачественной домашней птицы. Связь с литературой возникла почти случайно. В 1960-х компания приобрела авторские права на книги популярных писателей, среди которых были Иэн Флеминг, Агата Кристи и Деннис Уитли. Их успех ускорил появление книжной премии — идея совпала с предложениями некоторых английских издателей о престижной премии, которая могла бы соперничать с Гонкуровской.

Это скромное начало заложило основу для развития принципов, сыгравших большую роль в успехе премии.

Премией распоряжается комитет, куда вместе с руководителями компании «Букер» входят писатели, книготорговцы, издатели, библиотекари. Они собираются три раза в год: в ноябре — обсудить процедуру и длинный список кандидатов в жюри, в феврале — избрать жюри и летом — встретиться с его председателем. Состав жюри меняется каждый год, за прошедшее время его членами побывали 105 профессоров, критиков, писателей и общественных деятелей, интересующихся литературой. Жюри предоставляется право толковать процедуру, составлять окончательный список претендентов и избирать победителя без вмешательства спонсора и распорядительного комитета. Члены жюри читают все представленные на конкурс романы — их обычно бывает около 100. Они составляют окончательный список в сентябре, а победитель выбирается в октябре, в тот самый день, когда об этом объявляется на обеде-презентации. Абсолютная независимость судей важна для престижа премии. Литературный мир никогда не чувствовал, что решение принималось под давлением издателей.

Жюри присуждало премию книге в жанре документальной прозы и двум небольшим романам на совершенно банальные темы. Оно мучительно выбирало между двумя большими писателями — Уильямом Голдингом и Энтони Бёрджессом (победил Голдинг,

а Бёрджесс на презентацию не пришел). Члены жюри подавали в отставку, потому что было «слишком много порнографии» и из-за того, что другие члены жюри не поддержали их любимые книги. Они присуждали премию неизвестному автору из Новой Зеландии, отвергнув такие признанные имена, как Айрис Мердок и Дорис Лессинг.

Все это порождало споры, которые, в свою очередь, усиливали интерес и создавали рекламу. Внимание прессы подогревается также тем, что победитель определяется лишь за несколько часов до оглашения — напрашивается сравнение со скачками в Дерби или конкурсом «Мисс Вселенная». Поэтому газеты, литературные издания, радио и телевидение уделяют огромное внимание шестерым авторам, включенным в окончательный список. Церемонию награждения телевидение показывает с 1981 года. Издатели часто публикуют роман-победитель и книги, вошедшие в окончательный список, к рождественской распродаже в книжных магазинах.

Влияние премии «Букер» на раскупаемость книг бросается в глаза: книга неизвестного новозеландца Кери Халма «Костяные люди» — победитель 1985 года — разошлась тиражом 98 500 экземпляров. Если бы она не получила Букеровской премии, то в Великобритании вряд ли удалось бы продать даже 1000 экземпляров этого романа, а во всем мире — не более 5 тысяч! Премия создала международную репутацию молодым писателям: Сальману Рушди, Питеру Кери, Кадзуо Исигуро и Бену Окри, которые ее получили, и Тимоти Мо, Иэну Макьюэну и Грэму Свифту, которые лишь вошли в окончательный список. Она расширила читательскую аудиторию Джона Бэнвилла и Джона Макгахерна из Ирландии, Маргарет Этвуд и Робертсона Дэйвиса из Канады, Уильяма Бойда и Джеймса Келмана из Шотландии.

В издательствах идут яростные споры о том, какую книгу выдвигать на премию. Каждому издателю разрешается представить три произведения, но этот список можно увеличить еще на пять названий, дав обоснование своему выбору. Члены жюри могут отобрать не менее пяти, но не более 15 из этих книг. Издатели должны решить, выбрать ли беспроигрышный вариант, предложив произведения известных авторов, или пойти на риск с неизвестным писателем, который будет в выигрыше за счет широкой продажи его произведений, рекламы и призовых денег.

Неудивительно, что часто в прессе критикуется то напряжение, в котором находятся авторы, попавшие в окончательный список (кое-кто из них отказывался прийти на презентацию, другие уходили из-за столов, узнав, что не получили премии). В этом потоке критики есть одна общая мысль, а именно: нет жюри, способного безошибочно выбрать «лучший роман года». Я согласен. Это непосильная задача, и решить ее может только время. Хотя и время не смягчает громкие споры о соответствующих достоинствах Конрада, Теккерея, Джойса и Пруста. Я же считаю, что в итоге это предприятие привлекло больше внимания к такой стороне человеческого творчества, как англоязычный роман. Такой довод в пользу премии очень важен. Череда талантов, награжденных за прошедшие 24 года и получивших широкую читательскую аудиторию, служит для меня достаточным оправданием.

Успех премии «Букер» с ее ежегодной сменой жюри, независимостью от издательских интересов и любой формы государственного вмешательства вдохновил нас «повторить» ее для других языков и стран. США — слишком широкое поле для британского спонсора, и там уже имеется и пресса и научный потенциал для поддержки литературы. В Европейском сообществе множество языков и огромное разнообразие культурных традиций сделали бы выбор такого произведения, даже без учета проблемы перевода, задачей почти невозможной. Самой замечательной была открывшаяся недавно возможность учредить премию «Букер» за роман на русском языке. Мы выражаем этим свое уважение одной из величайших литератур и надеемся привлечь внимание всего мира к энергии мысли и воображения, заключенных в русских романах наших дней.

Нас весьма подбодрил энтузиазм ведущих русских литературных деятелей, поддержанный Британским Советом в Москве. Первая награда будет присуждена в декабре 1992 года, и мы надеемся, что это станет началом долгих и счастливых взаимоотношений.

СЭР МАЙКЛ КЕЙН,
Председатель Букеровского комитета

Перевод О. БАСИНСКОЙ

ОТ РЕДАКЦИИ:

на русский язык переводились произведения следующих писателей — лауреатов Букеровской премии:

В. С. НАЙПОЛ (1971)
НАДИН ГОРДИМЕР (1974)
ПРАВЕР ДЖАБВАЛА (1975)
ДЭВИД СТОРИ (1976)
ПОЛ СКОТТ (1977)
АЙРИС МЕРДОК (1978)
УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ (1980)
САЛЬМАН РУШДИ (1981)
ДЖ. М. КУТЗЕЕ (1983)
КИНГСЛИ ЭМИС (1987)
ПИТЕР КЭРИ (1988)

ДОЛОЙ «МИР И ДРУЖБУ»! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСТВО!

В феврале 1992 года «Российская газета» опубликовала интервью с Михаилом Любимовым. Бывший полковник разведки КГБ СССР, долгое время работавший в Англии, говорил о пересылке валюты западным компартиям, например, «через общества дружбы и другие организации бывшего СССР, имевшие выход за рубеж». Он мог бы добавить, что, в свою очередь, эти советские общества состояли в братских отношениях (вернее, в кровосмесительных отношениях) с обществами дружбы в западных странах, являющимися их зеркальными отражениями, сочувствующими коммунистической идеологии и абсолютно не представляющими общественное мнение. Многие из членов западных обществ дружбы были старыми людьми, например, ветеранами гражданской войны в Испании, и, как Войницкая в «Дяде Ване», одним глазом смотрели в могилу, а другим искали зарю новой жизни.

Эту ситуацию хорошо понимала группа влиятельных лиц в Великобритании во время первой «оттепели». По их инициативе и при имевшей важное значение поддержке тогдашнего премьер-министра Гарольда Макмиллана (1959) была создана Ассоциация «Великобритания — СССР». С момента своего основания она пользовалась поддержкой в парламенте как со стороны правительства, так и оппозиции. В январе 1992 года члены нашей Ассоциации официально приняли решение о ее переименовании. Отныне она будет называться Центр «Великобритания — Россия»! Как директор Центра и до этого директор Ассоциации в течение почти двадцати лет я рад представившейся возможности приветствовать моего старого друга — главного редактора «Иностранной литературы» по случаю выхода при поддержке Центра специального английского номера журнала.

Вскоре после основания Ассоциации произошла неизбежная проверка того, согласится ли советская сторона иметь на серьезном уровне взаимоотношения с этой новой британской организацией скорее, чем с организациями-попутчиками, такими, как Общество Британо-Советской дружбы и др., которые советские дипломаты в Лондоне могли с уверенностью считать «своими». Весной 1961 года британская сторона составляла программу визита Юрия Гагарина в Лондон. Когда проект программы был показан советским официальным лицам, они посчитали, что намечено слишком много встреч и что придется отменить прием, предложенный новой Ассоциацией. В ответ им было заявлено, что программа Ее Величества на эту неделю тоже очень насыщенная. Тактичный намек был понят. Гагарин встретился с королевой в назначенное время, Ассоциация устроила прием, на котором председательствовал ее президент, бывший премьер-министр лейбористского правительства лорд Эттли, и присутствовали премьер-министр тогдашнего консервативного правительства и много других ведущих общественных деятелей.

С тех пор Ассоциация начала развиваться, увеличивая взаимополезные связи Великобритании и СССР. История наших тридцати лет не может уместиться в короткой статье — для нее потребовалась бы целая книга. Оглядываясь назад, видишь среди людей, которые были причастны тем или иным образом к работе Ассоциации, имена ангелов и негодяев. Ниже приведен перечень некоторых из этих имен. Я предоставляю читателям самим распределить их по вышеуказанным категориям. Я уверен, что мы все в состоянии, подобно принцу из «Лебединого озера», обнаружить черного лебедя среди стаи белых лебедей: Минас Аветисян, Абел Аганбегян, Чингиз Айтматов, Василий Аксенов, Патриарх Алексий II, Юрий Афанасьев, Белла Ахмадулина, Анна Ахматова, сэр Исайя Берлин, Борис Биргер, Олег Борисов, Генрих Боровик, Бенджамин Бриттен, Владимир Буковский, Василь Быков, Аркадий Ваксберг, герцог Веллингтонский, сэр Гарольд Вильсон, Андрей

Вознесенский, генерал-полковник Д. Волкогонов, Владимир Высоцкий, трио Ганелина, Александр Гельман, Эмиль Гилельс, Михаил Горбачев, Григорий Горин, Даниил Гранин, Николай Губенко, Эдисон Денисов, Нодар Думбадзе, Евгений Евтушенко, Олег Ефремов, Сергей Залыгин, Леонид Замятин, Фазиль Искандер, Илья Кабаков, Архиепископ Кентерберийский, Элем Климов, Лев Копелев, Виталий Коротич, Джон Ле Карре, академик Д. С. Лихачев, Юрий Любимов, Гарольд Макмиллан, Екатерина Максимова, Роберт Максвелл, Сергей Михалков, Генри Мур, Дмитрий Налбандян, Валентина Николаева-Терешкова, Сергей Образцов, Булат Окуджава, Константин Паустовский, проф. Б. Б. Пиотровский, Джон Б. Пристли, Геннадий Рождественский, Юрий Рост, Мстислав Ростропович, Михаил Рощин, Эдуард Сагалаев, Иннокентий Смоктуновский, Чарльз Сноу, Анатолий Собчак, Юрий Соломин, Владимир Солоухин, Сергей Станкевич, Галина Старовойтова, Алексей Сурков, Олег Табаков, Андрей Тарковской, Леонид Трауберг, Виталий Третьяков, Николай Федоренко, проф. Святослав Федоров, Екатерина Фурцева, Руслан Хасбулатов, Корней Чуковский, Олег Чухонцев, Рамаз Чхиквадзе, Михаил Шатров, Альфред Шнитке, Дмитрий Шостакович, Геннадий Янаев.

Это не исчерпывающий перечень. Есть сотни людей, необязательно широко известных, совершивших при нашем содействии поездки в обоих направлениях для встречи с коллегами по профессии или с деятелями в тех же областях культуры. Что касается британских имен, я привел только те, которые могут быть знакомы читателям «Иностранной литературы». Я мог бы добавить имя управляющего Банка Англии, посетившего при нашем содействии Москву в 1990 году для изложения своих взглядов на то, что представляет собой разумная банковская система. Я мог бы упомянуть сэра Джона Лоуренса, вице-президента Центра «Великобритания — Россия», основателя и первого редактора уникального бесцензурного еженедельника «Британский союзник», издававшегося в Москве и Куйбышеве во время войны. В годы процветания брежневского застоя сэр Джон, один из самых мудрых «руссковедов», опубликовал в газете «Таймс» свои размышления о перспективах в СССР. Его взгляды на то, как надо начать почти все сначала, и о значении возрождения духовности в стране — последнее вызывало смех со всех сторон,— сильно не понравились советским партнерам. Несмотря на то, что сэр Джон был тогда председателем Ассоциации «Великобритания — СССР», он сразу стал «невъездным», и его перестали приглашать на приемы в советское посольство. Через несколько лет я настоял на отмене этой анафемы в качестве частичной платы за принятие советских предложений о возобновлении контактов с Ассоциацией, приостановленных нами, когда «ограниченные контингенты» вошли в Афганистан.

Примерно в это же время в результате давления Гельмута Шмидта на Леонида Брежнева Юрию Любимову разрешили поставить оперу в Баварском государственном оперном театре. Я вылетел в Мюнхен, чтобы обсудить с Ю. Любимовым предложение поставить театральный спектакль в одном из лондонских театров. К тому времени когда уже начались его репетиции лондонской постановки «Преступления и наказания», у власти в СССР находился Андропов, а министром культуры СССР был ничтожный Демичев. В один из августовских уик-эндов Юрий Петрович тайно поехал со мной в морской городок Снейп, для того чтобы посоветоваться с Мстиславом Ростроповичем, руководившим там ежегодным фестивалем Бриттена. Вскоре «Таймс» опубликовала беспрецедентную статью Любимова, в которой он подверг критике чиновников от культуры, в частности, за то, что они запретили пять спектаклей Театра на Таганке, включая «Бориса Годунова». Любимов считал, что Андропов может использовать этот скандал как повод для чистки авгиевых конюшен. Позднее мы узнали, что Андропов был уже слишком болен для принятия каких-либо мер. В дальнейшем Любимов был лишен советского гражданства. Сейчас стыдно вспоминать об этом, но кое-кто с британской стороны высказывал мнение, что я поступил бы благоразумно, если бы сразу отмежевался от моего советского гостя. Я поступил как раз наоборот. С этого момента стало раз и навсегда ясно, что

Ассоциация представляет собой совершенно иную организацию по сравнению с теми обществами, которые все эти годы покорно провозглашали мир и дружбу.

Перечень имен, который я привел, может создать впечатление, что Ассоциация (ныне Центр) работала почти исключительно в области культуры. В этом есть доля правды. Однако недавний крах идеологии делает возможным содержательный диалог на новых путях и в новых областях. Вероятно, самым крупным западным «шоу», состоявшимся в бывшем Советском Союзе, были «Дни Великобритании в Киеве», открытые принцессой (дочерью королевы) в июне 1990 г. Это важное событие было разработано под покровительством Ассоциации «Великобритания — СССР». Кроме обычных драматических и оперных спектаклей, музыкальных концертов и выставок книг, живописи, предметов искусства и материальной культуры, состоялись торгово-промышленная выставка, открытая Маргарет Тэтчер, и грандиозная выставка британской семейной и трудовой жизни.

Одной из областей, на которую, как я обнаружил, было в прошлом наложено советское табу, являлась забота об инвалидах; еще в 1989 году киевские власти оказали сопротивление одной из идей, которые мы предложили, когда обсуждали с ними план фестиваля. Нам все-таки удалось привезти специально сконструированный микроавтобус, в котором инвалиды-киевляне доставлялись из своих домов на британские выставки. Это произвело настолько сильное впечатление, что позднее к нам в Англию приехала украинская делегация, чтобы ознакомиться с тем, как решается у нас проблема оказания помощи инвалидам. Несмотря на наше новое название, мы не порываем связи с Украиной (а равно и с другими республиками). Например, Центр организует выставку, посвященную жизни и деятельности промышленника из Уэльса Джона Хьюза, основавшего в прошлом веке город Юзовку, ныне Донецк, где она будет открыта, а затем переедет в Киев и Кривой Рог.

В течение многих лет я поддерживаю тесные контакты с Всесоюзной государственной библиотекой иностранной литературы (которой тоже пришлось изменить свое название). В прошлом году я был удостоен чести стать одним из членов международного комитета попечителей Библиотеки. Благодаря этим контактам Центр «Великобритания — Россия» издает на русском языке серию книг, рассчитанных на молодого читателя. Эти книги рассказывают о жизни в условиях рыночной экономики и плюралистической демократии. Мы также сотрудничаем с этой библиотекой в первом издании на русском языке академической серии книг таких классиков английской политической и экономической философии, как Адам Смит, Джон Стюарт Милль и Эдмунд Берк.

От Екатерины Гениевой, исполняющей обязанности директора ВГБИЛ, мы впервые услышали о необыкновенном священнике отце Александре Мене. Он был тогда еще жив. После жестокого убийства 9 сентября 1990 года Центр содействует знакомству британцев с образом и творчеством этого замечательного человека. Хотя он трагически ушел от нас, его пример продолжает жить в качестве идеала для всех тех, кто стремится развивать не пустую поверхностную «дружбу», а содержательное, благородное общение между людьми.

ДЖОН РОБЕРТС, Центр «Великобритания — Россия», Лондон

У книжной витрины

ЭНТОНИ БЁРДЖЕСС

Моцарт и волчья стая

Anthony Burgess. Mozart and the Wolf Gang. «Hutchinson»

Энтони Бёрджесс не пожелал петь в хоре художников всех жанров, исполнивших хвалебные гимны в юбилейный год Моцарта. Этот известный английский писатель решил выступить «постскриптум» с сольным произведением. Оно представляет собой литературно-музыкальный коллаж, куда вошли оперный вариант сцен из жизни бессмертного зальцбуржца, аранжировка отрывка из симфонии № 40, пародийная биографическая зарисовка (анти-«Амадей») и беседы двух «колючих» персонажей — Энтони и... Бёрджесса.

Открывает антологию фантастический сюжет: семинар композиторов в потустороннем мире, посвященный дню памяти их великого коллеги. Во встрече участвуют Бетховен и Вагнер, Мендельсон (председатель), а также Стендаль, удостоенный такой чести за почитание Россини. Классики, конечно же, не сделали каких-либо сногсшибательных выводов; примечателен, однако, подмеченный ими парадокс: Моцарта могут любить и понимать абсолютно разные во всех отношениях люди, к примеру, еврей в концлагере и охранник-эсэсовец.

Книга увлекает оригинальностью формы и изобретательностью уже с заглавия: разбив имя «Вольфганг» на два слова, автор получил в английском написании соответственно «волчья» и «стая».

АНИТА БРУКНЕР

Закрыв глаза на правду

Anita Brookner. A Closed Eye. «Cape»

Анита Брукнер продолжает разговор на свою излюбленную тему: доброта и бессердечие, внешнее благополучие и внутренний разлад традиционных персонажей ее книг — представителей среднего класса (о ее романе «Быстротечность жизни» см. «ИЛ», 1991, № 4). В центре повествования — судьба типичной героини Брукнер. Харриет живет не вполне для себя и не исключительно для других. Чтобы спасти родителей от нищеты, она выходит замуж за богатого старика, но ее обуревает страсть к Джеку, мужу лучшей подруги. Главной героине суждено пережить и мужа, которому она не дала ни капли тепла, и дочь, которую вырастила бессердечной, себялюбивой. И тогда Харриет механически переносит все неизлитые чувства на Лиззи, дочь Джека,— ею в семье никто не занимается. Разумеется, забота о Лиззи оказывается неискренней и не спасает стареющую Харриет от бремени неисполненных желаний. Героиня пытается жить «закрыв глаза на правду», не замечать того, чего не хочется видеть. Такая попытка сродни поиску «третьего пути» между жизнью и смертью. Но этого третьего, как известно, не дано.

АЛАН СИЛЛИТОУ

Война Леонарда

Alan Sillitoe. Leonard's War. «Harper/Collins».

Действие двадцать четвертой книги Алана Силлитоу (о его предыдущем романе «Последняя любовь» см. «ИЛ», 1991, № 12) происходит в Ноттингеме во время второй мировой войны, однако касается оно совсем других баталий. Главный герой, рабочий Леонард Франкленд, ведет «битву за жизнь». Жена его умерла, одна из дочерей больна туберкулезом, старший сын отправляется воевать в морскую пехоту. Все удары судьбы Леонард переносит стоически, но когда в сорок шесть лет он вдруг влюбляется, то оказывается совершенно не готовым к такому крутому повороту.

Со своей избранницей — шумной, растрепанной Софи — Леонард знакомится случайно. Старшей дочери Леонарда достаточно одного взгляда на новую подругу отца, чтобы все понять и уйти из дома. Однако самому Леонарду взор туманят собственные чувства, поэтому он не сразу догадывается, что означают ее уединенные ночные прогулки и откуда после них берутся деньги. Когда же в конце концов и у Леонарда открываются глаза, он не может ни простить измен, ни расстаться с Софи. И хотя герой Силлитоу стремится найти философское решение в бо-

рьбе с самим собой, его молчаливые страдания порой прерываются вспышками ярости, а долго сдерживаемая горечь оборачивается в финале закономерным инфарктом.

МАРТИН ЭМИС

Стрела времени

Martin Amis. Time's Arrow. «Cape»

Германия, 1916 год, город Золинген. Здесь появляется на свет Одило Унфердорбен — главный, и, исходя из значения фамилии по-немецки, «неиспорченный» герой новой книги Мартина Эмиса, которая выдвигалась на премию «Букер» 1991 года (о его предыдущем романе см. «ИЛ», 1990, № 9). Детство, юность, изучение медицины, врачебная практика, которую Одило начинает в еврейских гетто во времена национал-социализма и продолжает в гитлеровских концлагерях. Там он достигает вершины карьеры, ставя под руководством доктора Менгеле чудовищные опыты над людьми, но теряет семью: погибает ребенок, уходит жена, считая занятие мужа преступным. После падения рейха Одило бежит в Ватикан, затем в Португалию, где скрывается под именем Гамильтон де Соуза. Затем ему приходится бежать дальше — в Америку, где, выдавая себя за хирурга Джона Янга, он растворяется среди сотрудников травматологического отделения нью-йоркской клиники. Однако в конце 50-х годов прошлое опять грозит его благополучию, и он снова, теперь уже в последний раз, меняет имя, и хоронят его как Тода Френдли.

Этой смертью заканчивается, вернее, начинается роман, ибо стрела его художественного времени направлена в обратную сторону, и повествование от лица внутреннего голоса, или души героя ведется с конца. Восстают из пепла сожженные в печах евреи; здоровыми, без следов ран, выходят из больницы травмированные пациенты; а старик Тод становится малышом Одило. Подобный прием в литературе не нов, и автор воспользовался им, дабы читатель задумался над парадоксом: повинный в гибели и горе многих людей был некогда беспомощным младенцем; и в маленьком слабом существе может таиться огромное Зло и разрушительная Сила.

КЭТРИН ПИТЕРЗ

Король выдумщиков

Catherine Peters. The King of Inventors. «Secker and Warburg»

Помимо известных книг «Женщина в белом» и «Лунный камень» из-под пера Уилки Коллинза вышло более двадцати романов, а также множество пьес, рассказов и проблемных статей. Кэтрин Питерз отмечает, что поток фантазии у «короля выдумщиков» начался еще в детстве при весьма своеобразных обстоятельствах. Будущий писатель был маленького роста, и одноклассники в школе-интернате часто обижали его. Однако Уилки обнаружил, что обидчики могут оставить его в покое, если рассказать им на ночь какую-нибудь интересную историю. С тех пор ему давали уснуть лишь после очередного «устного сочинения», и Уилки изобретал все новые и новые сюжеты.

Впоследствии у Коллинза появились и другие, куда более серьезные, причины для обильного творчества. Официально считаясь холостяком, он содержал сразу двух любовниц: одну с приемной дочерью, другую — с тремя его собственными детьми. Обоим семействам нужны были деньги, как, впрочем, и самому Коллинзу, который любил веселье и дорогие удовольствия. Среди современников он выделялся также пренебрежительным отношением к условностям в одежде и поведении, повышенной и, по его словам, ранней сексуальностью, отвращением к браку. Писал он постоянно, а когда мучившая его долгие годы подагра обострялась, ему приходилось принимать все большие дозы настойки опия и надиктовывать тексты секретарям. Так создавался «Лунный камень» — его последняя, по мнению автора биографии, достойная книга, ибо с начала 1870-х годов «царство выдумки» Уилки Коллинза померкло.

«Курьер «Ил»

КТО ИЩЕТ ДЖЕНТЛЬМЕНА — ТОТ НАЙДЕТ!

Живы ли традиции пресловутого английского джентльменства и не перевелись ли еще истинные джентльмены? Не перевелись, утверждает Хью Дейвид в своем социологическом исследовании «Герои, индивидуалисты и плуты». В этой книге перед читателем проходит целая галерея исторических личностей и литературных персонажей последнего столетия, начиная, как следует из подзаголовка, с лорда Керзона и кончая легендарным Джеймсом Бондом. Наибольшего внимания удостоился сэр Освальд Мосли, которого автор, к великому удивлению вдовы этого известного в прошлом крайне правого политического деятеля, называет «джентльменом до кончиков ногтей». Рассказ о взлете и падении аристократа занимает обширную главу.

Элитарные колледжи, узкие светские круги, течение «новое англичанство» времен второй мировой войны, общества «новых елизаветинцев» послевоенной эпохи — вот где находит своих джентльменов Хью Дейвид. Непонятно, однако, по́ какому признаку, ибо он судит о людях и событиях, не потрудившись четко объяснить, какой именно смысл вкладывает в понятие «настоящий джентльмен», и довольствуется расплывчатыми фразами о чести и долге.

Сэр Джон Гилгуд в фильме «Книги Просперо».

(Журнал «Нувель обсерватёр)

ЮБИЛЕЙ ДЖ. Р. Р. ТОЛКИЕНА

В январе этого года поклонники творчества Дж. Р. Р. Толкиена отметили его столетний юбилей. Многие издательства европейских стран выпустили книги знаменитого английского писателя и ученого. При жизни Толкиен опубликовал тринадцать книг, в том числе популярные во всем мире философские сказки «Властелин колец» и «Хоббит».

Сын писателя Кристофер, его душеприказчик и держатель литературного архива отца, передал нескольким английским издательствам рукописи более двух десятков ранее не публиковавшихся произведений Толкиена, которые увидят свет в юбилейном году. Кроме того, будут выпущены различные сувениры, календари, художественные открытки и плакаты с иллюстрациями к его книгам. Конечно, и старые произведения не останутся без внимания. Выйдут в свет новое подарочное издание «Хоббита», выполненное по эскизам самого автора, и первое иллюстрированное издание «Властелина колец» (Толкиен не разрешал делать к нему иллюстраций). По словам сына писателя, издание потребовало колоссального труда, но он считает, что отцу книга понравилась бы.

ОТ РОМЕО ДО ПРОСПЕРО

Восьмидесятисемилетний сэр Джон Гилгуд вновь сыграл одного из шекспировских персонажей, но не на сцене, а на экране — в фильме «Книги Просперо», созданном по пьесе «Буря». Примечательно, что корифей британского театра успешно участвовал и в инсценировке этого произведения, которую еще в конце 50-х гг. осуществил знаменитый Питер Брук.

Идею экранизации «Бури» легендарный актер вынашивал более десяти лет; однажды, во время съемок телефильма «Ад» по Данте, он поделился своим замыслом с режиссером Питером Гринауэем, и тот сразу же загорелся этой идеей.

Критики отмечают высокое техническое исполнение новой киноленты, красочность кадров, более похожих на искусно нарисованные картины со множеством персонажей и предметов. Но самое большое украше-

ние фильма — блистательный Гилгуд-Просперо, создавший еще один запоминающийся образ в ряду таких классических героев, как Ромео, Гамлет, король Лир, Шейлок. Его творческим конкурентом мог бы стать, пожалуй, лишь великий Лоренс Оливье, о котором Гилгуд отзывается так: «Он меня восхищал; я плакал от его Гамлета». Сравнивая себя с Л. Оливье, актер замечает: «Он занимался спортом — бегом, боксом, а я так и не научился ни плавать, ни ездить верхом. Он — экстраверт, я — интроверт». На вопрос о том, кто же из них двоих лучше, старый британский лев лукаво отвечает: «Я иногда ему завидовал — иногда».

Гравюры, приписываемые Франсуа Рабле.

(Еженедельник «Таймс литерари сапплмент»)

«Я — ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ»

Джорджу Оруэллу посвящены десятки биографических и мемуарных изданий, которые широко охватывают его творческий и человеческий путь. Однако исследователь Майкл Шелден отважился предложить еще один вариант жизнеописания прославленного английского романиста.

Книга «Оруэлл» объемом в пятьсот с лишним страниц вызвала понятный интерес и острые споры в литературоведческих кругах. Критики отдают должное большому количеству впервые опубликованных материалов, оговаривая, тем не менее, что среди них есть как существенные, так и малозначимые и даже сомнительные. Любопытны подробности о годах учебы будущего писателя в Итоне и службе в Бирме, сведения о его конфликтах с издателями и перипетиях выхода в свет таких произведений, как «Скотный двор» и «1984». Особую ценность представляет огромная подборка писем Оруэлла, обнаруженных в архиве университета штата Индиана. Например, одно из писем позволяет понять истинную позицию писателя в оценке советского режима: «...Я вовсе не хочу гибели этой страны и ратую за ее защиту, если таковая потребуется. Но я хочу, чтобы люди на Западе перестали обманываться относительно ее настоящего и будущего... Я за то, чтобы западный демократический социализм способствовал возрождению России...»

Значительное место М. Шелден отводит рассказу о личной жизни писателя. Однако именно эту часть книги некоторые эксперты считают неудачной, ибо здесь есть новые факты, но нет свежих мыслей. Кроме того, исследователь навлек на себя гнев подруг покойной жены писателя, которые утверждают, что ее портрет нарисован весьма предвзято, в чрезмерно темных тонах.

При анализе новинки специалисты невольно сопоставляют ее с наиболее солидным, «в викторианском стиле», биографическим трудом Бернарда Крика, и многие из них признают, что на фоне этого монументального полотна одиннадцатилетней давности «Оруэлл» Шелдена смотрится бледнее.

ШКОЛА СКВЕРНОСЛОВИЯ

В издательстве «Блэкуэлл» вышел необычный филологический труд — исследование Джеффри Хьюза «Сквернословие: социальная история нецензурных выражений, ругательств и божбы в Англии». Автор ведет летопись английской бранной лексики от англосаксонской древности — эпической поэмы «Беовульф» — до современности. В средние века божба в основном затрагивала атрибуты Бога (кости, сердце, кровь и т. п.) и потому яростно преследовалась церковной цензурой. Богатый материал для разысканий Дж. Хьюз обнаружил в «Кентерберийских рассказах» Чосера. В XVI веке мишенью для сквернословного красноречия стала католическая церковь и «неверные» (мусульмане, иудеи). В эпоху царствования королевы Елизаветы I, имевшей склонность к сильным выражениям, в английской литературе — особенно в театре — наблюдается расцвет богохульства и сквернословия, чему примером могут служить ранние произведения Шекспира. Вскоре после кончины «королевы-девственницы» в 1606 г. был принят закон «О пресечении сквернословия на театральных подмостках». Впрочем, английские писатели сумели обойти цензурные запреты, широко используя эвфемизмы. Широкое распространение эвфемистической бранной лексики стимулировал появившийся во второй половине XVII века перевод «Гаргантюа и Пантагрюэля» — книги, давшей английской литературе неистощимый источник для словотворчества.

В последующие два века установившаяся в эпоху классицизма норма благородного языка изредка нарушалась отдельными любителями сквернословия. Например, Свифт любил уснастить свою речь крепкими выражениями.

Последний бастион лексической цензуры в странах английского языка пал в начале 1960-х годов, когда были «реабилитированы» «Тропик Рака» Генри Миллера и «Любовник леди Чаттерли» Д. Г. Лоуренса, изобилующие словами-табу. Сегодня, делает вывод исследователь, в англоязычной литературе деление языка на «цензурный» и «нецензурный» утратило всякий смысл.

По материалам еженедельников «Таймс литерари сапплмент», «Лондон ревью оф букс» (Великобритания), журналов «Нувель обсерватёр», «Магазин литтерер» и «Кензен литтерер» (Франция)

Авторы этого номера

КАДЗУО ИСИГУРО (KAZUO ISHIGURO; род. в 1954 г. в Японии, гор. Нагасаки) — английский писатель. В Англии живет с 1960 г., где получил образование в университетах Кента (г. Кентербери) и Восточной Англии (г. Норидж). Автор двух романов из японской жизни: «Холмы в дымке» («A Pale View of the Hills», 1982; премия Уинифред Холтби, присуждаемая Королевским литературным обществом) и «Художник зыбкого мира» («An Artist of the Floating World», 1986; премия Уитбреда за лучшую книгу года). К. Исигуро выступает также как теледраматург. Его книги переведены на многие иностранные языки. На русском публикуется впервые.

Роман «Остаток дня» («The Remains of the Day», London, Faber & Faber, 1989) удостоен одной из наиболее крупных литературных наград Великобритании — премии «Букер» и выдвинул автора в число ведущих английских прозаиков.

АНТОНИЯ С. БАЙЕТТ (ANTONIA S. BYATT; род. в 1936 г.) — английская писательница, литературовед, критик. Автор романов «Тень солнца» («Shadow of a Sun», 1964), «Игра» («The Game», 1967), «Девица в саду» («The Virgin in the Garden», 1978), «Натюрморт» («Still Life», 1985), «Одержимость» («Possession», 1990; отмечен премией «Букер»), многих литературоведческих работ, посвященных творчеству Айрис Мердок, У. Вордсворта, С. Т. Кольриджа и др. В 1990 г. за литературную деятельность награждена орденом Британской империи. Рассказ «Розовые чашки» взят из сборника «Сахар и другие рассказы» («Sugar and Other Stories», London, Chatto & Windus, 1987).

РОАЛД ДАЛ (Roald Dahl; 1916—1991) — английский писатель, поэт. Родился в Норвегии. Во время второй мировой войны был военным летчиком. Первые рассказы Р. Дала, отражавшие его военный опыт, вошли в сборник «Тебе» («Over to You», 1946).

Известность писателю принесли рассказы из более поздних сборников «Вроде тебя» («Someone Like You»), «Поцелуй-поцелуй» («Kiss-Kiss»), «Двадцать девять поцелуев» («Twenty-Nine Kisses»), «Чарли и шоколадная фабрика» («Charlie and the Chocolate Factory»), «Волшебный пальчик» («The Magic Finger»), «Огромный крокодилище» («The Enormous Crocodile») и др.

Рассказ «Семейный пансион» был впервые напечатан в американском журнале «Нью-Йоркер» в 1948 г., впоследствии вошел в сборник «Поцелуй-поцелуй».

УИЛЬЯМ СОМЕРСЕТ МОЭМ (WILLIAM SOMERSET MAUGHAM; 1874—1965) — английский прозаик, драматург, эссеист. Перу Моэма принадлежит много произведений разных жанров — романы, рассказы, пьесы, литературно-критические эссе, мемуары и др. Нашим читателям известен по переведенным на русский язык романам: «Бремя страстей человеческих» («Of Human Bondage», 1915; рус. пер. 1959), «Луна и грош» («The Moon and Sixpence», 1919; рус. пер. 1927), «Пироги и пиво» («Cakes and Ale», 1930; рус. пер. 1981), «Театр» («Theatre», 1937; рус. пер. 1982),— рассказам, автобиографической книге «Подводя итоги» («The Summing Up», 1938; рус. пер. 1957). На русском вышли также «Избранные произведения», т. 1—2, М., 1985.

Рассказы «Мисс Кинг» («Miss King») и «Белье мистера Харрингтона» («Mr. Harrington's Washing») были изданы в Англии в 1928 г. в книге «Эшенден, или Британский агент» («Ashenden Or The British Agent», 1928).

ПЭЛЕМ ГРЕНВИЛЛ ВУДХАУС (PELHAM GRANVILLE WODEHOUSE; 1881—1975) — английский писатель. Автор романов «Так держать, Дживз!» («Carry On, Jeeves!», 1925), «Дживз на взморье» («Jeeves in the Offing», 1960), «Законы Вустеров» («The Code of the Woosteres», 1938) и многих других. В русском переводе издавались его романы, повести, рассказы: «Роман на крыше» (Л., 1928), «Левша на обе ноги» (М.—Л., 1928), «Капризы Мисс Мод», «Дела и приключения мистера Экриджа», «Эликсир бодрости» (Л., 1928), «Собачий университет» (М., 1935), «Случай с Джорджем» (М., 1969).

В предлагаемую подборку вошли эссе Вудхауса «О героинях и криминальных романах» из сборника «Громче и смешнее» («Louder and Funnier», London, Barrie & Jenkins, 1976) и два рассказа: «Старый волк знает толк» из сборника «Неподражаемый Дживз» («The Inimitable Jeeves», Harmondsworth, Penguin Books, 1978) и «Деловая сметка» из сборника

«Лорд Эмсуорт и другие» («Lord Emsworth and Others». London, Barrie & Jenkins, 1976).

ХЕНРИК БЬЯЛЬКЕ (HENRIK BJELKE) — датский писатель, критик, переводчик. Печатается с 1968 г. Автор романов, сборников рассказов, эссе, книг стихов и поэм. Лауреат литературных премий. Статья «Литература — это новости, которые не устаревают» получена от автора в рукописи.

НИКЛАС ШЕКСПИР (NICHOLAS SHAKESPEARE; род. в 1957 г.) — английский писатель, литературный критик. Автор романов: «Человек, который был бы королем» («The Man Who Would Be King», 1984), «Лондонцы» («Londoners», 1986), «Елена Сильверс, ее ви́дение» («The Vision of Helena Silvers», 1989; премия имени Сомерсета Моэма, 1990) и др., а также статей, обзоров, очерков.

Статья «Грэм Грин» написана специально для журнала «Иностранная литература».

ПЕРЕВОДЧИКИ:

СКОРОДЕНКО ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ (род. в 1937 г.) — критик, литературовед. Автор книги «Английская поэзия (1945—1970)» (1972), сопроводительных статей к изданиям на русском языке произведений писателей Англии, США, Канады, Ирландии, Австралии. Составитель ряда антологий английской новеллы и английской поэзии XX века. В его перевоДе опубликованы романы М. Спарк «Умышленная задержка» и П. Хайсмит «Бес-толочь» (совместно с Н. Куняевой), монография Х. Пирсона «Вальтер Скотт», Д. Дайчеса «Сэр Вальтер Скотт и его мир», рассказы М. Спарк, Д. Кольера, Р. Шекли и др.

БЕСПАЛОВА ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА — переводчик с английского и французского языков. В ее переводах издавались романы И. Во «Пригоршня праха», А. Моруа «Три Дюма» (совместно с С. Шлапоберской), С. Беллоу «Родственники» и «В связи с Белларозой», Э. Дж. Гейнса «И сошлись старики» (совместно с Е. Коротковой, «ИЛ», 1987, № 8), повесть К. Энн Портер «Падающая башня» («ИЛ», 1990, № 3), рассказы У. Фолкнера, В. Вулф, Ю. Уэлти и др.

ЛИВЕРГАНТ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1947 г.) — литературовед и переводчик, кандидат искусствоведения. В его переводе с английского публиковались романы И. Во «Черная беда» («ИЛ», 1991, № 6), Р. Чандлера «Высокое окно» и «Вечный сон», Д. Хэммета «Красная жатва», У. Тревора «Пасынки судьбы», афоризмы Свифта и С. Джонсона, рассказы Д. Кольера, Ш. О'Фаолейна, Дж. Тербера, эссе, статьи и очерки Дж. Б. Пристли, Г. Честертона, Т. Пикока и др.

КУДРЯВИЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИСАЕВИЧ (род. в 1954 г.) — поэт, прозаик, переводчик с английского. В его переводах изданы романы Дж. Голсуорси «Джослин», С. Моэма «Вилла на холме», Э. Гарднера «История куклы-непоседы», рассказы С. Ликока, А. Конан Дойла, Г. Честертона, Р. Шекли и др.

В следующем номере «ИЛ»:

АБЕЛЬ ПОССЕ «РАЙСКИЕ ПСЫ»
Время действия романа современного аргентинского писателя — вторая половина XV века, период расцвета Испанской империи, открытия Христофором Колумбом Америки. События развиваются при испанском королевском дворе со всеми его тайнами, интригами, любовными связями и преступлениями, на родине Колумба в Генуе, среди индейцев Латинской Америки.

ЭДУАРДО ГАЛЕАНО «ПЕРВЫЕ ГОЛОСА»
Это голоса древней Америки, мифы, легенды, предания, пророчества, дошедшие до нас из доколумбовой эпохи, когда человек еще не отделял себя от природы, связь с которой мы мучительно пытаемся восстановить...
Лаконичные, странные и очень поэтичные истории собрал, пропустив сквозь «магический кристалл», известный уругвайский писатель.

МАРЕК ХЛАСКО «ПЕТЛЯ»
Одно из лучших произведений замечательного польского писателя-эмигранта. Повесть о трагедии алкоголика, пытающегося вырваться из жизненного тупика.

Заключительная часть знаменитой автобиографии САЛЬВАДОРА ДАЛИ «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ САЛЬВАДОРА ДАЛИ, НАПИСАННАЯ ИМ САМИМ».

Статья культуролога М. СОСНОВСКОГО «ХАЙЛЕ СЕЛАССИЕ, ПЕСЕНКИ РЭГГИ И МИФЫ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ», в которой рассказывается о растафари — теории превосходства черной расы над остальным человечеством, которая породила в том числе сверхпопулярное течение современной рок-музыки, набирающее силу и на наших российских широтах.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

С 1 августа с. г. будет открыта подписка на «ИЛ» на 1-ое полугодие 1993 г.
Наш индекс 70394
Подписная цена на 6 месяцев — 198 руб.
Проспект основных публикаций «ИЛ» 1993 года читайте в следующем номере.

"TO-DAY"

PRICE 2D.

A WEEKLY MAGAZINE JOURNAL

EDITED BY JEROME·K·JEROME·

17 - 114

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130—6545 Иностранная литература, 1992, № 7 1—256